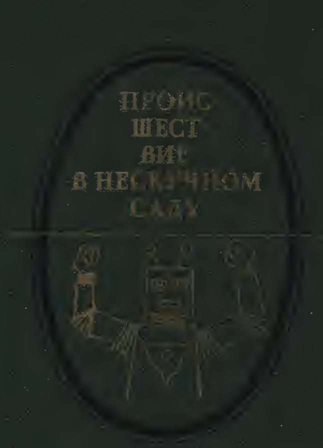
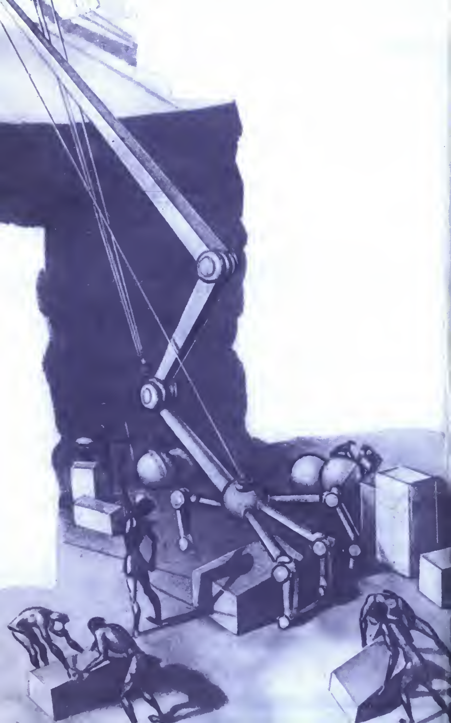










Литературная летопись Москвы



ПРОИСШЕСТВИЕ В НЕСКУЧНОМ САДУ

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ,
РАССКАЗЫ,
ПЬЕСА,
ПОЭМА



МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
1988

Р2
П80

Составитель
Всеволод Александрович РЕВИЧ

Происшествие в Нескучном саду: Научно-фантастические повести, рассказы, пьеса, поэма / Сост. В. Ревич.— М.: Моск. рабочий, 1988.— 528 с.— (Литературная летопись Москвы).
П80

Сборник составлен из произведений советской фантастики 20—40-х гг. В книге публикуются рассказы и повести В. Катаева, А. Платонова, Н. Асеева, Л. Лагина, К. Паустовского, Вс. Иванова, В. Яна, М. Булгакова, И. Ефремова и других авторов.

П $\frac{4702010206-137}{М172(03)-88}$ 150—88 Р2

ISBN 5-239-00107-3

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Послереволюционная советская фантастика являет собой уникальное историческое образование. После 1917 года словно рухнула какая-то невидимая преграда. Новая, советская фантастика расцвела почти мгновенно. Перед начинающими советскими писателями, как и перед всем нашим народом, открылась небывалая, никогда в истории человечества не встречавшаяся действительность.

И вот свершилось. Рок принял грезы,
Вновь показал свою превратность:
Из круга жизни, из мира прозы
Мы вброшены в невероятность! —

воскликнул Валерий Брюсов. Невероятными, фантастичными прежде всего были произошедшие в жизни перемены, они-то и родили ни с чем не сравнимую советскую фантастическую литературу. Фантастика с ее безграничными горизонтами, с ее отрицанием догм, оказалась созвучной революционным преобразованиям в обществе.

В данном сборнике представлена советская фантастика 20—30-х годов, а серия «Литературная летопись Москвы» окрашивает сам подбор произведений в московские тона. Слово «летопись» подразумевает, что речь должна идти о крупных, об исторических свершениях, к тому же летописцы обычно повествуют про день минувший. Фантастов же можно назвать летописцами будущего. Без знакомства с представлениями о будущем, с общественными идеалами будет неполной картина любого периода, тем более такого необыкновенного, как два

послереволюционных десятилетия, когда тяга заглянуть в завтрашний день была особенно велика.

В ряде напечатанных здесь произведений мы находим прямые описания будущей Москвы; правильнее, конечно, сказать так: тогдашних представлений о городе будущего. (Многие сроки, обозначенные фантастами, уже прошли, так что мы имеем возможность сравнить их предположения с реальностью.) Разумеется, картинки эти отрывочны, никто из писателей и не ставил себе такой самостоятельной, центральной задачи, но все же общее впечатление они создают. Нетрудно заметить, что образ города будущего у разных авторов довольно схож. Он вырисовывается в виде образцового конгломерата красоты, комфорта и целесообразности. Некоторые черты этой красоты могут не совпадать с нашими сегодняшними взглядами на идеальное градостроительство, но с тогдашней точки зрения ничего дисгармоничного, уродливого, оскорбляющего взоры или мешающего жить людям в «городе солнца» фантастами не признавалось. Такие мажорные настроения характерны не только для сцен, в которых изображался конкретный город, конкретная Москва, но для всех прочих утопических эпизодов. Должно быть, людям тех лет показалась бы кощунственной попытка отыскать в обществе будущего противоречия, споры, борьбу, преодоление трудностей... Они считали, что рисуют в своих книгах именно тот законченный идеал, за осуществление которого народ выходил на баррикады революции.

Наш паровоз, вперед лети,
В коммуне остановка,—

пели комсомольцы 20-х годов. Поющие не понимали, что остановки быть не может, остановка — это застой, разложение, смерть. Будем надеяться, что никогда не наступит день, в который человечество дойдет до такой степени самодовольства, что захочет заявить: остановись, мгновение, ты прекрасно.

Но подобные, более сложные представления о будущем придут позже, а еще позже придет осознание трудностей на путях к его достижению. Тогда же многим казалось, что до полного коммунизма подать рукой, от него отделяет какой-нибудь десяток лет, от силы несколько десятилетий. А уж до начала Всемирной революции оставалось всего несколько месяцев, а то и недель. И эти

сроки вовсе не были выдуманы фантастами, литература лишь отражала убеждения, царящие вокруг.

Но именно этой оптимистической верой в скорую победу светлых начал, этой жаждой немедленных преобразований и дороги нам люди тех легендарных лет, дорога воспевшая этих людей литература. Может быть, именно нам, сегодняшним, должен быть особенно близок задорный дух, пафос всеобщей перестройки, напряженные поиски новых ответов в литературе 20-х годов. «Перестройка» — слово сугубо современное, но ведь оно в том же значении употреблялось и тогда. Фантастика в силу своей природы выражала общественные мечты, идеалы, устремления наиболее прямо, наиболее непосредственно. И так же прямо и непосредственно она отрицала неприемлемое, тормозящее, путающееся в ногах у нового мира.

Но конечно, не во всех произведениях сборника мы находим зарисовки Москвы будущего, или страны будущего, или даже мира будущего. В книгу попали рассказы и повести, не только написанные о Москве, но и написанные в Москве. Они дополняют и расширяют картину тогдашних умонастроений. И в этом смысле фантастика всегда служит верным зеркалом времени, верным памятником событий, о чем бы ни писал автор и в какое бы отдаленное будущее или прошлое он ни заглядывал. Сама смена представлений о желаемом будущем прочерчивает движение человеческой мысли. В таком повороте любое произведение о будущем — это произведение о настоящем.

Понимать данный тезис можно и более широко. Писатель — всегда дитя своего времени, из его пут он никуда вырваться не может, и любое его сочинение — документ своей эпохи, ее летопись, если хотите. Мы, конечно, имеем в виду только тех литераторов, которым талант дает право представлять свое время. Принципиальной разницы между фантастикой и «обыкновенной» литературой нет. Задачи они решают одни и те же. Только фантастика, в силу присущих ей гиперболизации, остраненности, непривычности угла зрения, решает их более категорично, более вызывающе, если можно так сказать. Потому-то она и неприемлема для стереотипно настроенных умов, способна испугать их своей непривычностью. Но панорама, изображаемая фантастикой, служит необходимым дополнением к той общей панораме времени,

которую мы стремимся обозреть в любой летописи. Подчеркнем это слово — дополнение. Фантастика, конечно, имеет свои пределы и не в состоянии передать общественную мысль, общественные движения данного момента во всей их полноте, даже если бы мы прочли не отдельный сборник, а все книги в целом. К тому же она нередко подвергалась различным неблагоприятным воздействиям, и нельзя сказать, что они проходили для нее бесследно, особенно когда речь заходит о писателях 30-х годов.

Для того чтобы произведение литературы пережило свое время и заслуживало бы переиздания, оно как минимум должно обладать одним необходимым качеством, о котором, к сожалению, постоянно забывают, когда речь заходит о фантастике. Бывает, ее хвалят за богатство воображения, за оригинальность выдвинутых гипотез, за пророческий дар, но любое сочинение должно обладать еще и художественными достоинствами, быть еще и безукоризненным по выделке, по форме. Истина эта, казалось бы относящаяся к разряду очевидных, на практике оказывается далеко не очевидной. И по сей день под маркой научной фантастики печатается ошеломляющее количество бездарной, антихудожественной чепухи, которая ничего не в состоянии дать ни сердцу, ни уму читателей. Авторы этой псевдолитературы бойко спекулируют популярностью жанра, популярностью, заработанной действительно талантливыми, действительно выдающимися ее представителями. Подобные явления, понятно, имели место и в прошлом. Хотя и не в нынешних удручающих масштабах, всегда хорошей фантастики было много меньше, чем серой (что, конечно, можно наблюдать и в других сферах искусства). Поэтому отбор фантастики прошлых лет, которая представляла бы для современного читателя непосредственный интерес, не очень прост, а возможный выбор вовсе не велик.

Читатель, бегло проглядевший список авторов этого сборника, вероятно, будет несколько удивлен, потому что ряд представленных здесь писателей не входит в сложившиеся и часто повторяемые «обоймы» имен, характерных для довоенной советской фантастики. Фантастику 20—30-х годов, грубо говоря, сводили к двум романам А. Толстого, «Человеку-амфибии» А. Беляева и «Плутонии» В. Обручева. В действительности же она была на-

много богаче, намного многообразнее. К этому часто третируемому жанру оказываются причастными очень крупные писатели, чьи имена никогда не входят в традиционные списки.

Впрочем, мы не станем настаивать на том, чтобы перевести в ранг ведущих советских фантастов, например, И. Ильфа и Е. Петрова. Мы хотим только сказать, что даже случайное их обращение к этому жанру раскрывает его возможности гораздо полнее, чем множество иных опусов. Большая же часть фантастики прошлых лет любопытна прежде всего историкам литературы как своеобразный культурный феномен. Только в талантливом произведении — может быть, вне зависимости от желания сочинителя — всегда можно обнаружить сочетание сиюминутного и вечного, обращенного к современникам и обращенного к потомкам. Вот эти две стороны в фантастике — ее непосредственное отражение умонастроений тех лет и ниточки, протянувшиеся в будущее, т. е. к нам, и попробуем уловить в кратких комментариях.

В начале сборника помещены те произведения, в которых авторы выразили свои позитивные взгляды на жизнеустройство, мироощущение человека нового мира, творца и созидателя, воплотили в образных картинах мечты о лучшем будущем. Повторим, что некоторые из тогдашних представлений могут показаться сегодня нам странными, с другими мы не согласимся, многое в наших глазах будет наверняка выглядеть простодушием. Герой платоновского «Эфирного тракта» Кирпичников сетует: «Все любовь, да творчество, да душа, а где же хлеб и железо?» Мы бы сегодня сказали и подумали как раз наоборот. Ну что ж, история идет вперед, убеждения меняются... Давайте заглянем в душу поколения, уступившего нам свое место, воссоздадим не только летопись событий, но и летопись умонастроений.

Итак, Москва, 20-е годы — время и место действия многих рассказов Андрея Платонова. Рассказ «В звездной пустыне» опубликован лишь недавно, но достоин того, чтобы его включили в избранные сочинения писателя. С высоким художественным мастерством здесь передано романтическое мироощущение человека 20-х годов, перед которым раскрылись необъятные дали. Человек наедине со вселенной, которая притягивает его своей необъятностью, своей неизведанностью, своей загадочно-

стью, и он принимает этот вызов — да ведь перед нами генеральная линия всей советской фантастики, а может быть, и всей советской литературы. Нечто подобное ощущениям Чагова, должно быть, испытывают космонавты, когда далеко за пределами атмосферы они получают возможность взглянуть на родную планету со стороны и лицом к лицу рассматривают Млечный Путь во всем его величии и великолепии. Это душевное потрясение Платонов угадал удивительно точно.

Подобные же настроения, только, так сказать, перебазированные из Галактики на Землю, мы находим и в повести «Эфирный тракт».

Герои «Эфирного тракта» на первый взгляд — люди трех поколений. Физик Попов, из дореволюционных «спецов»,— это «прошлое». Михаил Кирпичников, рабочий парень, который своим умом дошел до понимания идеи старого профессора,— «настоящее». А его сын Егор, который завершил научную эстафету,— «будущее». Но, по правде говоря, все они люди одного поколения, одного времени — они из того племени энтузиастов, которое самым решительным способом взялось переделывать мир, ничуть не сомневаясь в успехе. Не все у этих людей получилось так, как того они хотели, но это знаем и говорим мы, отделенные от них более чем полустолетием. Они-то считали неподъемные трудности, а тем более бытовые неурядицы, делом само собой разумеющимся и частенько даже не замечали того, что сейчас нам показалось бы ужасным. Это были удивительные люди, энергичные, преданные и мужественные, хотя и грубоватые в мыслях и в лексике, хотя и не очень образованные. В фантастике обобщены их черты, снят налет обыденности.

Обратим внимание на комбинированное время действия повести А. Платонова. Будущее у него очень тесно соприкасается с настоящим; и десяти лет не проходит, как в мире уже ликвидированы все границы, а заодно и политические распри. По дорогам бегают столь совершенные электромобили, что нам о таких еще мечтать и мечтать. Но, с другой стороны, параллельно со всеми достижениями научно-технического прогресса, «полунаучный человек», которому в стороне от науки стоять не было терпения», пишет корреспонденции в газету «Беднота». (Логично предположить, что если существует газета с таким наименованием, то существует и сама бед-

нота.) Что же это за странное время? Да все те же 20-е годы, только преломленные призмой фантастики.

В жанровом плане повесть А. Платонова тоже любопытна. Она, может быть, нагляднее других произведений обнажает условность, а порой и нелепость традиционного толкования термина «научная фантастика». Вроде бы в «Эфирном тракте» есть все признаки серьезной научной фантастики: в центре внимания необыкновенная научная гипотеза, которая получает пространные научные или, по крайней мере, наукообразные обоснования. И даже не одна гипотеза, а несколько — тут и «допотопная» цивилизация, и геотермальная энергетика, и космический телекинез,— повесть, пожалуй, даже несколько перегружена ими. К сожалению, к печати ее готовил не сам автор, тогда она, наверное, была бы более стройной. На мой взгляд, Платонов не верил в придуманную им научную игру: электроны — это живые существа, питающиеся своими мертвыми собратьями? Для чего же он их придумал? Писателю понадобилась лихая и ультрасовременная посылка, вокруг которой он мог бы выстроить свои соображения о мире, о путях его развития, о месте человека в нем. Научное правдоподобие собственного предположения волновало его весьма мало. Не знаю, есть ли смысл называть подобную фантастику научной? Но сюжет, бесспорно, фантастичен.

«Граммофон веков» Ефима Зозули увидел свет в 1919 году, т. е. тогда, когда наша литература только-только начинала осваивать новую действительность. И главная тема тех лет — антагонистическое столкновение двух миров, старого и нового — с сегодняшней точки зрения подана в рассказе наивно, прямолинейно. Абсолютно совершенное общество создано в невообразимо сжатые сроки, а старый мир, запечатлевший свои шепоты и крики на поверхности тел, выглядит исключительно как обитель насилия и страдания, низости и предательства. Как будто бы нет и не было в нем борцов, и разве сама революция и революционеры не зарождались в недрах старого мира? Но эта наивность, сам этот максимализм в стремлениях напрочь порвать со старым — это опять-таки очень характерная и очень привлекательная черта литературы, и в частности фантастики тех лет.

Здесь «научная» основа изобретения Кукса напоминает рассказ барона Мюнхгаузена о звуках, которые замерзли в рожке, но, между прочим, патент Е. Зозули

(прошлое, каким-то образом оставляющее материальные следы, которые можно расшифровать) впоследствии не раз использовался в фантастике.

Другой, можно сказать, фельетонный вариант прямого сопоставления «старого» и «нового» предстает перед нами в рассказе Валентина Катаева «Экземпляр». Здесь изображен «экземпляр» обывателя, пока еще не приспособившегося, пока еще ошарашенного революционными преобразованиями, но он вскорости приспособится, на что есть прямое «указание» в последних строках рассказа. Дальнейшее развитие этого типа мы найдем у И. Ильфа и Е. Петрова.

Между прочим, использованный в рассказе сюжетный ход — человек засыпает до революции и пробуждается уже при новой власти — как бы напрашивался сам собой, его можно отыскать и у других авторов. На той же схеме основан известный в те годы фильм Ф. Эрмлера «Обломок империи». Этот же мотив лег в основу «Клопа» В. Маяковского, только в этой пьесе иной временной интервал: Присыпкин засыпает в настоящем, а просыпается в будущем.

Два небольших рассказа Николая Асеева контрастны по своему тону. В рассказе «Завтра» звучание достигает трагедийных нот. Грандиозные картины преображенного мира возникают в воображении смертельно больного поэта. Последним усилием он пытается представить себе мир, в котором он мог бы жить и выздороветь. Люди там всемогущи — они переносят города по воздуху, берут неисчерпаемую энергию от вращения самой планеты и уж конечно запросто заменяют изношенные, отработавшие свое людские сердца. Порой бесхитростные, порой дальновидные прогнозы автор отнес в 1961 год. Видимо, и ему при взятых тогда темпах четыре десятка лет казались сроком, достаточным для кардинальной реконструкции земного шара. А впрочем, кто знает, какой бы была наша страна к 60-м годам, если бы не война, если бы ее развитие пошло так, как о том мечтали те, кто делал великую революцию и кто принял ее всем сердцем?

Асеевскую же «Только деталь» можно назвать фантастической юмореской. В данном случае фантазирует студент литературного института, которого переполняет жажда жизни, деятельности, он совершенно уверен в том, что будущее, в которое ему предстоит вступить, будет прекрасным, как и тот замечательный город, в кото-

ром ои учится. Ивана совершеиио ие смущает, что пока у него нет денег даже на трамвай и приходится регулярно топать через всю Москву пешком иа свидаиие к любимой девушке, ждущей его на вокзале. Вокзал этот именуется Брянским. Не всякий москвич сегодня сообразит, что речь идет о Киевском вокзале. Пассия Иваиа Граня тоже учится, она студеитка Педологического института. Было же такое словечко — *педология.* Все ли сейчас знают, что это такое? И вот молодые люди иачинают воображать себе виды будущей Москвы — новые красивые здания, метрополитеи (его еще не иачинали строить); электричка, в которой они едут, отрывается от земли и летит, летит! Куда летит? В Египет. Тут разыгравшееся воображение приходится притормаживать, но даже завидно становится от такого избытка жизнениых сил и цельного, незамутненного мироощущения. По ныиешним меркам эти ребята, студенты, рабфаковцы, не имели ничего. Но в их распоряжении была вся вселеиная.

По теме и по духу близка к «Только детали» еще одна московская фантазия — «Странный случай в Теплом переулке» Всеволода Иванова.

Черты времени причудливо отразились и в таком иа первый взгляд странном рассказе, как «Сэр Генри и черт» молодого В. Катаева. Сначала перед читателем возникает вполне реалистичная картина заболевания сыпным тифом. Стоит вспомнить, какую страшную дань взымала эта болезнь с разоренной, ослабевшей страны, чтобы понять: сыпияк — существеииая примета тех дней. Но пожалуй, самое интересное в рассказе Катаева — это картина бреда. При всей ее фантасмагоричности она, конечно, совсем не случайна, совсем не сюрреалистична. Если хотите, мы можем обнаружить в ней маленькую романтическую утопию. Здесь вновь столкнулись две действительности, два мира — старый и новый, корыстный и бескорыстный, но уже не прямо, лобово, как в «Экземпляре», а символически. Обнаруживается мир, в котором обыкновенная пыль на сапогах, т. е. обыкновенная земля, на которой мы живем и которая нас кормит,— это и есть золото, предмет высочайшей ценности, объект почитания и благоговения. А настоящее золото в этом мире — ничего не стоящая пыль, никому не нужный песок на морском берегу. Но рассказчик и рожденные его больным воображением чудные компаньоны жи-

вут еще в нашем мире, в том, где ценности пока иные. И опять-таки эта максималистская инверсия отражает убеждения тех лет, она дает как бы парафраз известного изречения о том, что когда-нибудь из золота, в наказание за ту зловещую роль, которую этот металл сыграл в жизни людей, станут строить общественные уборные.

Поскольку в фантастике изобретаются самые невероятные вещи, поскольку она рассуждает о том, чего нет, то фантастика — почти всегда преувеличение, гипербола. Поэтому она легко, можно сказать, плавно переходит в сатиру или сатира в фантастику — как угодно.

Ревнители чистоты научной фантастики иногда начинают отрицать родовую принадлежность сатирической фантастики, утверждая, что фантастика в сатире всего лишь «прием», маскирующий иные, нефантастические цели. Но, как уже говорилось, конечные цели у фантастики действительно не специальные, а общелитературные, общечеловеческие, поэтому споры о том, что в ней «прием», а что не «прием», в достаточной мере бессодержательны. Та литература, которая этих целей перед собой не ставит, и не заслуживает права называться художественной. Она должна удовлетвориться участью технического очерка на страницах научно-популярного журнала. Как ни крути, а вопрос, зачем что-то изображается, в произведении искусства всегда остается важнее вопроса, что в нем изображается.

Разве «изобретение» невидимости в «Человеке-невидимке» не было для Г. Д. Уэллса приемом, с помощью которого английский романист вытащил на свет божий лицемерие, бездушие общества, в котором жил выдающийся физик, трагическую судьбу гения, изуродованного и растоптанного обществом? Кто-нибудь может возразить, что для этого фантастика не нужна, этой же цели можно достичь и «обычными» способами. Можно, конечно. Но не следует забывать, что фантастика обладает собственными, и очень сильными, средствами для воздействия на читателей, зачем же от них отказываться? Того же «Человека-невидимку» прочитало на земле значительно больше народу, чем все многочисленные реалистические романы Уэллса, вместе взятые.

Разумеется, «качество» фантастической гипотезы, ее неожиданность, свежесть, масштабность тоже имеют немаловажное значение, но все же вряд ли кто-нибудь устремится с заявлением, что Уэллс всерьез полагал,

будто человек может сделаться невидимкой, хотя он и рассуждает о подобных возможностях, казалось бы, с солидным и основательным видом. Или откровенно иронизирующие Ильф и Петров. Но право же, с научной точки зрения аппарат Гриффина в романе Уэллса точно такая же литературная игра, как препарат «веснулин», изобретенный городским сумасшедшим для изничтожения веснушек. Сатирическая фантастика — одна из самых главных составных частей всей фантастической литературы, и именно с этим направлением связаны многие крупные ее достижения.

Говоря уже не о форме, а о существе, надо заметить, что молодая Советская Республика отчаянно нуждалась в литературе подобного характера. У нее было очень много врагов — внешних и, не менее опасных, внутренних. Советские писатели с самых первых своих шагов завязали с ними смертный бой. Главнокомандующим на данном фронте можно считать Маяковского, сатирическая линия в творчестве которого занимала видное место, а в своей сатире он нередко использовал фантастические приемы, фантастические гиперболы. Вспомним известный ленинский отзыв о стихотворении «Прозаседавшиеся», а ведь оно тоже основано на фантастическом приеме.

Поэт не раз обращался к собрату-сатирику с настойчивым призывом:

Чтоб не скрылись,
хвост упрятав,
Крупных
вылови налимов —
кулаков
и бюрократов,
дураков
и подхалимов...

И если понимать термин «кулак» расширительно, то нельзя не признать, что призыв великого поэта остается весьма актуальным. Творчество И. Ильфа и Е. Петрова было как бы ответом на этот призыв.

Их повесть «Светлая личность» сравнительно малоизвестна, что не совсем заслуженно, она писалась в те же годы, что и их романы «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», на том же подъеме их замечательного творческого вдохновения. Близость приемов, использованных в дилогии и в повести, бросается в глаза, и, воз-

можно, именно эта близость и послужила причиной того, что «Светлая личность» была отодвинута в тень «Двенадцатью стульями».

Противник, с которым сражаются сатирики и в «Двенадцати стульях», и в «Светлой личности», один и тот же — это мещанство, обывательщина, страшная, вязкая сила, которая обволакивает любые дерзкие начинания, которая способна обездвижить, окуклить любой энтузиазм, потому что для обывателя нет ничего дорогого, ничего святого, кроме собственной шкуры. Именно обывательщина служит питательной средой для разъедающего наше общество бюрократизма, а точнее можно сказать, что это просто разные ипостаси одного и того же духовного омертвления. Справедливо видя в мещанстве опаснейшего врага революционной перестройки, его обличали ведущие советские литераторы — Горький, Алексей Толстой, Маяковский, Булгаков, Зощенко, Кольцов... Ильф и Петров занимают почетное место в этом списке.

«Титаническое строительство нового мира врезалось в мещанскую Россию... и теперь она пришла в своеобразное кипение и, как может, реагирует на исполинское явление революции и реагирует, конечно, невпопад». «Невпопад»,— понятно, с точки зрения А. В. Луначарского, написавшего эти слова, но с позиций самих обывателей очень даже впопад. Оказалось (и, увы, до сих пор оказывается), что в окружающей действительности обнаруживается множество щелей и лазеек, где обыватели устраиваются со всеми удобствами. И что еще печальнее — не так уж редко эти «щели» начинают уподобляться ущельям, а лазейки превращаются в парадные порталы.

Мещанин и бюрократ — это демоническая сила, но все же кое-чего боится и эта сила. Она боится ясного света, гласности, ей удобнее вершить свои делишки в потемках. С помощью фантастического хода Ильф и Петров как раз и вытащили обывателей на всеобщее обозрение. Для невидимого ведь не существует ни преград, ни секретов, он может проникать в любые пункты и присутствовать при любом разговоре. И этот дамоклов меч разрушающе действует на обывательское сознание. После того как Филюрин стал Прозрачным, заметно изменилась обстановка в провинциальном городе Пищеславе, побратиме щедринского города Глупова. Обыватель приутих и попрятался.

Когда-то явления, с которыми воевали Ильф и Петров, любили называть пережитками прошлого. Сила талантливых писателей в том, что они показали, как пережитки прошлого непринужденно становятся пережитками настоящего, как ловко эти самые пережитки приспосабливаются, как умело их носители овладевают новыми формами работы, новой терминологией, новыми правилами игры. Давно уже нет ни той терминологии, ни тех структур, но умение пристраиваться осталось. Осталась и боязнь гласности. Мы и сегодня без труда отыщем множество мест, где не мешало бы появиться Прозрачному с его сакраментальным возгласом: «А я здесь!» Персонажи Ильфа и Петрова называют «пыщей» «все, имеющее отношение к деньгам, карьере, поставкам и тому подобным приятным вещам». «Пыща» — кто бы осмелился утверждать, что это словечко и сейчас не работает со всей своей сатирической силой?

Сатиру Ильфа и Петрова нельзя назвать добродушной, но это, безусловно, веселая литература. Однако сатира бывает и невеселой. Так, у Михаила Булгакова, который обладал и даром заразительного смеха, события, изображенные в повести «Роковые яйца», не располагают к веселью, а если между строк там и припрятался смех, то этот смех достаточно горек. За что же столь сурово писатель наказал своих героев? Конечно, те разгильдяи, которые перепутали ящики с яйцами, виноваты. Но остальные вроде бы все так старались, чтобы было хорошо! Московский зоолог Персиков изучал «лучи жизни» с сугубо научными целями и никому не собирался причинять зла. А Александр Семенович Рокк, тот и подавно стремился принести обществу наибольшую пользу: как можно быстрее восстановить куриное поголовье, погибшее в результате невиданного мора. И — такой страшный финал, изображенный писателем, может быть, даже с чрезмерным натурализмом! Рокк исчез, профессора растерзала разъяренная толпа, а змеи погубили совершенно невинных людей, в том числе жену Рокка Маню и двух отважных милиционеров, которые первыми вступили в борьбу с чудовищными гадами. Им-то за что такая кара? Но, как известно, благими намерениями устлана дорога в ад, а невинные всегда гибнут из-за чьего-то равнодушия, или ошибок, или преступной халатности. Научные открытия, вырвавшиеся из-под контроля, могут быть очень опасными. Не нам, живущим в

конце XX века, сомневаться в справедлнвости этого утверждення. Думаю даже, что тогда, в 1925 году, оио было куда меиее очевидным и нужиа была иедюжинная прозорлнвость пнсателя, чтобы с такой силой почувствовать эту опасность, призвать к максимальиой осторожности в обращеиии с неизведаниыми снлами природы. Несмотря на то что автор придал своему Персикову ряд черт традициониой профессорской чудаковатости, он ие собнрается его реабилитнровать,— учеиый тоже виноват. Преступлеине совершилось нз-за его высокомерия, его равнодушия, его самовлюбленности.

А Рокк? А Рокк — недалекий аваитюрист, который хватается за любое дело, ннчего как следует ие проверив, ие испытав. Добиться сиюмииутиого успеха любой ценой! Предприимчнвость, конечно, вещь неплохая, еслн оиа не граиичит с безответствеииостью. Уже давно людн убедились, что любое открытне человеческого разума, любое достижение научио-техиического прогресса в иедобросовестиых руках может быть нспользоваио протнв них самих. Даже по даииому сборнику можно видеть, что это одна из центральных идей мировой фантастики, можно даже сказать, что во многом оиа и возникла как лнтература тревогн.

Запах опасности фантастика почуяла иамиого раиьше, чем всем остальиым стали очевидны размеры бедствия, обрушнвшегося иа человечество в XX веке. И дело ие только в атомной угрозе. Дело прежде всего в том, что беда возможиа тогда, когда научио-технический прогресс обгоияет прогресс нравствеииый.

Известно, что о повести М. Булгакова с похвалой отозвался М. Горький, ио, к сожалеиию, всего лишь в частиом пнсьме.

Разумеется, молодая советская фантастика не обошла своим вниманнем нашнх классовых и ндейных протнвииков за рубежом. «Месс-Менд» М. Шагинян, «Трест Д. Е.» И. Эренбурга, «Остров Эрендорф» В. Катаева, «Крушение республнкн Итль» Б. Лавренева, «Гнперболоид инженера Гарина» А. Толстого, «Бунт атомов» В. Орловского,— оставили след не только в истории фантастикн, но и всей советской лнтературы. Но к сожаленню, иа данном участке фронта появилось н множество пронзведеннй, авторы которых былн свято увереиы в том, что разоблачать империалистов — занятне чрезвычайио несложное. Надо только вложнть в это дело побольше

пролетарской ярости, раз-два и готово, кто надо, заклеймлен и все происки реакционных акул разрушены решительным выступлением сознательно настроенных масс. Однако зарубежную действительность авторы знали плохо, как правило, из вторых рук, буржуазную психологию того менее, поэтому образы получались бледными, поступки немотивированными, ситуации шаблонными. Из многочисленных фантастических «памфлетов» того времени мало что выдержало испытание временем. Даже некогда популярные произведения таких авторов, как А. Беляев, С. Беляев, А. Гребнев, Э. Зеликович, М. Зуев-Ордынец сегодня уже совершенно «не смотрятся», а если они иногда и переиздаются, то скорее по привычке, чем по действительной художественной потребности.

Мы предлагаем читателю рассказ Л. Лагина «Эликсир сатаны», сохранивший свою свежесть и актуальность. Открытие булгаковского Персикова имело трагические последствия как по вине самого профессора, так и потому, что оно попало в руки людей недобросовестных и попросту глупых. Против самого же изобретения ни у кого не было ни нужды, ни желания бороться. У нас оно никому бы не помешало. Не так обстоят дела в рассказе Л. Лагина с открытием эликсира. Для его уничтожения пускается в ход отлаженный социальный механизм. В обществе всеобщей купли и продажи расправа с неугодными элементами совершается достаточно безотказно и, можно сказать, демократично, при активной поддержке населения.

Внимательный читатель фантастики, несомненно, заметит, что «Эликсир сатаны» для Л. Лагина был наброском, развившимся уже после войны в большой роман «Патент АВ». Заметит он также и то, что в романе последствия, которые были вызваны сделанным открытием, прослежены более глубоко и более точно. Препарат роста уже не уничтожается, но ему находится «достойное» применение. Наивный эндокринолог мечтал резко увеличить привесы в животноводстве, уния дельцов и милитаристов имеет далеко идущие военные планы. Конечно, то, что изобразил фантаст и в рассказе, и в романе,— это гротеск, но если задуматься, он очень, к сожалению, недалек от того, что происходит сегодня в мире со многими, казалось бы, мирными изобретениями.

Два произведения стоят в сборнике особняком — их трудно отнести к какой-то определенной жанровой руб-

рике,— не утопия, не сатира... Первое из них — повесть Георгия Шторма «Ход слона».

Сочные, пластичные, хотя и несколько стилизованные «под старину» сцены московского бытия в эпоху правления Ивана Грозного вставлены в качестве обрамления довольно условных современных эпизодов. Связь между ними обнаруживается не вдруг, а ведь если такой связи нет, то зачем было автору механически соединять два различных временных пласта? Не разумнее было бы известному мастеру исторической прозы написать еще одну «обыкновенную» повесть — об опричнине, скажем? Но несколько завуалированно, с излишними, может быть, «орнаментальностями» автор проводит мысль о том, что прошлое есть составная часть настоящего, что прошлое постоянно вторгается в нашу жизнь, зачастую неожиданным, незагаданным образом и что между прошлым и настоящим протянуто множество нитей. Связь эта внешне обозначена в таком символе долголетия, как слон, который якобы так и прожил 4 века в нашей столице, будучи безмолвным наблюдателем ее бурной истории. Но в подтексте произведения есть множество других, менее заметных внутренних связей.

Драматические сцены В. Я. Брюсова «Мир семи поколений» написаны с незаурядным мастерством — посмотрите, как умело «вжат» в небольшую площадь глобальный трагедийный сюжет. Однако нельзя не обратить внимания на то, что это произведение переходного периода.

Космическая тема в те годы была редкостью. Кроме написанной в том же году, что и пьеса Брюсова, толстовской «Аэлиты» сразу ничего и не вспомнишь. Автор провидчески нащупывает конфликты будущего, вселенские катастрофы, которые касаются всех и каждого. Автор утверждает мысль: только наука способна спасти разумные существа от всеобщей гибели. Современна здесь и нота ответственности ученого за свои действия; истинным ученым может быть только человек самых высоких нравственных достоинств, готовый идти до конца во имя утверждения своих идеалов. В то же время некоторые сценические ходы явно взяты из театра прошлого; эти постоянные ремарки напоминают наивные концовки старинных мелодрам или немых «киношек».

В конце книги представлены сочинения, более отвечающие привычным представлениям о научной фан-

тастике. Нельзя не сказать еще раз, что произведения, построенные главным образом на разработке научно-технических гипотез, как правило, уступают по своим художественным достоинствам той фантастике, которая ставит социальные проблемы, смело вмешивается в общественные борения своего времени, изучает место человека в постоянно изменяющемся мире. Впрочем, «как правило» означает, что возможна и высокохудожественная научная фантастика, а здесь у нас все-таки собрано лучшее. Отнесем к исключениям прежде всего «Поэму о Роботе» Семена Кирсанова, хотя само словосочетание «научно-фантастическая поэма» достаточно непривычно. Однако это действительно научная фантастика. Известная поэма Маяковского «Летающий пролетарий», безусловно, содержит в себе элементы фантастики, но при этом не поддается каким-либо однозначным определениям.

Когда создавалась «Поэма о Роботе», на свете еще не существовало таких понятий и слов, как «кибернетика», «компьютер», «транзистор», «лазер» и т. п. Люди даже не подозревали, что они могут существовать. Сейчас мы знаем, что без этих и еще многих хитроумных штучек никакого робота не создать. Но, прочитав поэму С. Кирсанова, нетрудно убедиться, что поэт своим художественным видением, отдав дань тогдашним представлениям о внешнем облике роботов и их техническом исполнении, очень верно сумел представить себе, какие социальные функции можно было бы возложить на этих неутомимых помощников человека, чего от них можно ждать и какие опасности в них таятся. Ведь и до сих пор вопрос о том, как добиться, чтобы милые созданьица действительно стали помощниками людей, а не их конкурентами в борьбе за существование, не снят с повестки дня. Вспомним, что в пьесе самого создателя слова «робот» Карела Чапека человекоподобные креатуры замышляются прежде всего как средство для борьбы с бастующими рабочими. Кстати сказать, знаменитая его пьеса «R. U. R.» была написана всего за пятнадцать лет до создания поэмы С. Кирсанова — можно увидеть, как стремительно развились представления об искусственных двойниках человека. В сущности, если отбросить из поэмы реалии 30-х годов и имена, например, тогдашних пушечных королей, то тревога, прозвучавшая в поэме, выглядит очень злободневной. Желание завоевать мир с

помощью всевозможных автоматов, компьютеров и т. д. до сих пор не оставляет некоторые горячие головы.

Конечно, границы между научной и социальной фантастикой провести трудно, да и зачем их проводить? Та же «Поэма о Роботе» в равной мере и научна и социальна. А чем же «Концентрат сна» Л. Платова со своими картинами будущего отличается, например, от «Эфирного тракта» Платонова? Попробуем еще раз отыскать разницу. Дело, очевидно, в центре тяжести, в том акценте, который ставит сам автор. А. Платонова занимают люди, совершающие открытие, вдохновляет атмосфера времени, в котором они живут. Научно-техническая гипотеза в таком произведении, как мы уже говорили, служит необходимым, но все же вспомогательным компонентом. А Л. Платов в первую очередь увлечен данной идеей. Отдадим ему должное: это великая идея — освобождение людей от бремени сна. Писатель пытается представить себе благие последствия, к которым привело бы такое открытие в социалистическом обществе. Но можно ли утверждать, что в изобретателе Гонцове писателю удалось создать типичную фигуру своего времени? Нет, потому что Гонцов как художественный тип неосязаем, в нем нет черт никакого времени. И здесь дело не только в различии талантов этих авторов, но и в сознательной установке. Ведь тот же Платов в своих послевоенных романах сумел создать объемные человеческие характеры.

Возьмем для сравнения еще и рассказ Константина Паустовского «Доблесть», написанный примерно в то же время, что и «Концентрат сна». В основе обоих рассказов лежат общие исходные данные — в них отразился энтузиастский подъем, который был характерен для первых пятилеток. Этот подъем нашел отражение и в нефантастической литературе. «Через четыре года здесь будет город-сад»,— повторяют рабочие в известном стихотворении Маяковского. «Время, вперед!» называет свой роман В. Катаев словами того же Маяковского...

В рассказе К. Паустовского нет эпохальных открытий, в нем не строят Магнитку и не побеждают сон, но удивительная атмосфера сплоченности людей, их общность, коллективизм трогательно донесены до нас писателем. Вот в таком обществе, с таким отношением людей друг к другу, с такой нравственной атмосферой можно творить чудеса, можно в кратчайшие сроки воз-

двигать гиганты индустрии и совершать выдающиеся научные открытия. Это еще один общественный идеал, о котором мечтает автор, но изображен он не посредством изображения гигантских свершений или государственных структур, а с помощью частных и, казалось бы, не таких уж и крупных дел и поступков.

Рассказ Льва Гумилевского «Страна Гипербореев» принадлежит к довольно распространенному в предвоенное время «ответвлению» географической фантастики. Понятно, чем она влекла к себе писателей. Советская власть получила в наследство огромную и малоисследованную страну, на ее дальних окраинах можно было ждать самых удивительных открытий. Таинственность этих мест питала воображение, разогреваемое многочисленными легендами. И чего только не находили фантасты на Крайнем Севере или Крайнем Юге! Иноцивилизации попадались там на каждом шагу, вспомним, об одной из них нас уже проинформировал А. Платонов в «Эфирном тракте». На подобные сюжеты было написано немалое количество рассказов и даже несколько романов — «Плутония» и «Земля Санникова» В. Обручева, «Абджед хавез хютти» А. Адалис и И. Сергеева, «Крыша мира» С. Мстиславского, «Сказание о граде Ново-Китеже» М. Зуева-Ордынца...

При всей своей незамысловатости произведения типа «Страна Гипербореев» сыграли свою полезную роль. Они возбуждали тягу к неизведанным краям в сердцах молодых людей. Между прочим, исследование труднодоступных краев в те дни, когда еще не было ни самолетов, ни тем более вертолетов, ни современного оборудования, ни современных медицинских препаратов, было почти всегда подвигом. Своего наивысшего уровня тема достигла в дилогии Л. Платова «Повести о Ветлугине», но одновременно это было и ее концом. Советская наука расшифровала белые пятна на карте нашей страны. Теперь фантасты предпочитают искать новые цивилизации на других планетах.

Даже по произведениям этого сборника можно судить о том, как рождались в советской фантастике основные темы, сюжеты, ходы, гипотезы, которые будут старательно эксплуатироваться уже в наши дни, когда авторов-фантастов стало больше, чем ходов, сюжетов и гипотез. Вот, например, ихтиозавр («иштызавр»), чудом сохранившийся в глухом сибирском озере, из рассказа

В. Яна «Загадка озера Кара-Нор». Стоит только закрыть глаза, как возникнет целый табун дотянувших до наших дней динозавров, мамонтов и снежных людей. Достоинство рассказа известного исторического романиста в том, что фантастичный ход заключен у него в очень тонко выделанную рамку. Гражданская война в Забайкалье — ее участники, их язык, их нравы, обстановка и природа тех мест,— все тщательно проработано в «Загадке озера Кара-Нор». Современного читателя, конечно, резанет кульминационный пункт рассказа, как бы и не осуждаемый автором,— партизаны приканчивают «чудовище» гранатой, приканчивают без нужды, просто так, развлекаясь. Но откуда же возьмется экологическая сознательность у этих необразованных, хотя и правильно по части классовых отношений настроенных парней? Увы, и сегодня большинство граждан, охваченных «благородной» охотничьей страстью, поступили бы точно так же. К сожалению, мы знаем, как охотники-«любители» расстреливают все живое как раз на таких заброшенных озерах, вдали от небдительных и малочисленных охранников. Темноту этих людей, участвовавших в гражданской войне, еще можно понять и простить. А «темноту» современного браконьера?

Может, и в самом деле какие-то неизвестные науке виды были уничтожены, затоптаны, расстреляны жестокими и равнодушными губителями природы. Люди старшего поколения помнят, что лет двадцать пять — тридцать назад в прессе — не в фантастическом рассказе, а в газетной хронике — были сообщения о том, что в одном из якутских озер якобы видели загадочное существо. О прославленном Несси я уже и не говорю. Может быть, динозавры и не сохранились — это сказка, но природа полна разнообразных тайн и чудес — это правда.

Именно для того, чтобы разбудить в читателе мысль о том, что природу куда сподручнее изучать, чем уничтожать, чтобы зажечь читателя мечтой о невозможном, и запускают фантасты своих динозавров в озера или оживляют замерзших мамонтов, как это сделал академик В. А. Обручев в рассказе, давшем название сборнику.

Загадочное глубоководное животное появляется на свет и в рассказе Ивана Ефремова «Атолл Факаофо». Научно-исследовательские корабли, которые бороздят сейчас мировой океан и о которых мечтал ученый-фан-

таст еще в годы войны, принесли немало удивительных открытий. Ихтиозавры, правда, достоверно пока не обнаружены, но все же легенду о морском змее если и нельзя считать доказанной, то пока она убедительно и не опровергнута. Так что поле деятельности для молодых романтиков еще есть.

В рассказе И. Ефремова есть еще один современный акцент. Речь идет о взаимовыручке советских и американских моряков. Это правящие круги Соединенных Штатов с усердием, достойным лучшего применения, все пытаются проводить в жизнь безумную политику «отбрасывания» коммунизма и разжигать вражду к нашему народу. А когда встречаются простые люди, то между ними неизменно возникает сотрудничество. Народам нечего делить. Ведь только эта самая политика мешает человечеству уже сейчас, сегодня осуществить многие фантастические мечты и проекты, может быть, даже такие, о которых фантастика, особенно фантастика прошлых лет, и не догадывалась. А она, как вы могли убедиться, догадалась о многом.

Рассказ И. Ефремова завершает сборник, потому что творчество этого фантаста и ученого явилось промежуточным, связующим звеном между довоенной советской фантастикой и фантастикой сегодняшней, может быть, неизмеримо более разнообразной, более изощренной, может быть, даже более глубокой, но в то же время и что-то утерявшей от того молодого задора, которым были проникнуты сочинения первооткрывателей островов фантастического архипелага.

ВСЕВОЛОД РЕВИЧ

Андрей Платонов

В ЗВЕЗДНОЙ ПУСТЫНЕ

> Тих под пустынею звездною
> Странника избранный путь,
> В даль, до конца
> неизвестную,
> Белые крылья влекут.

День и ночь и всю вечность плывут и плывут над землей облака. Дома, под крышей мастерской, везде, где неба не видно, мы знаем, что есть облака.

Если небо просторно, пустынно, и солнце от зноя стонит, в нашем сердце идут облака. Их шорох, как тихая вечная музыка, которая гонит надежду. И не знаешь, что лучше, этот тоскующий шелест или пустынная радость, когда нечего больше желать. Путь облаков тих, как дыхание, как неспетая, несложенная песня, слова которой втайне знаешь.

Облака, звезды и солнце идут в одну сторону. В этой безумной и короткой неутомимости, в этом беге в бесконечность есть тоска, есть невозможность, и от нее рвется душа.

Есть мысль: земля — небесная звезда. В ней больше восторга и свободы, чем в целой жизни.

Сама мысль есть уже не жизнь, а больше жизни. От ее пришествия вспыхивают самые далекие миры.

Мысль не знает страданья и радости, она знает одно, что есть неизвестное. Она может восстать и на истину, если эта истина не нужна человеку.

Был глубокий вечер и звезды. От звезд земля казалась голубой. Звезды стояли. Игнат Чагов шел один в поле.

Далеко дышал город, который Чагов так любил за его мощные машины, за красивых безумных товарищей, за музыку, которую вечером слышно в полях, за всю боль и за восстание на вселенную, которое в близкие годы вспыхнет по всей земле.

Он не мог видеть равнодушно всю эту нестерпимую

рыдающую красоту мира. Ее надо или уничтожить, или с ней слиться. Стоять отдельно нельзя. Подними только голову, и радостная мука войдет в тебя. Звезды идут и идут, а мы не с ними, и они нас не знают.

И неимоверная жажда труда и страданий загорелась во всем теле. Мускулы надувались буграми, мысль билась, как горная птица в детской клетке. И небо было ниже, тяжелые камни оседали на дно, и мир стоял, как голубой и легкий призрак, он был разгадан. Звезды остановились. Но Чагов знал, что это ложь, внутренняя игра его несметных человеческих сил, и до истины всем далеко. Но человеку нужна не истина, а что-то больше ее. Чагов смутно чувствовал — что, но не мог сказать, только слепая радость надувалась в нем от смутного сознания, что нет невозможного, что невозможное можно сделать, как делают машины, одолевающие и превосходящие законы природы.

Днем сегодня прошел дождь, и после земля была как под стеклом. Теперь, ночью, леса глубоко запустили в нее корни, неподвижно молчат верхушками. Реки текут тише, чем днем, и далеко, на краю поля светит и не светит костер заночевавшего в курене человека.

И по всей вселенной текла сладкая влага жизни и наслаждений, истомляющая невыносимая боль.

Все застыло в покое и благе,
Со всех довольно того,
что есть.

Обрывы оврага остро глядели в небо, как в каменную непреодолимую пустоту. Черные четкие глиняные глыбы лежали мертвые и безнадежные. Они должны воскреснуть или взорваться.

Вселенная — это радость, позабывшая смеяться. Она не взорванная гора на нашей дороге. И зарницы мысли рвут покой и радость и угрожают довольному миру пламенем и разрушением до конца, до последнего червя.

Мы никого не забудем.

Сейчас, в эту минуту, по всем слободам, окружающим город, на полу, на нарах, по сеницам спят грязные, замученные, голодные люди. Это черная масса мастеровых, людей с чугунными мышцами и хрустальной ясностью сознания.

Днем они шевелятся у станков и моторов. Ночью спят без сиов и почти без дыхания, со смертной усталостью.

Чагов чувствовал, что он — это они, спящие сейчас, как трупы. Они недовольны миром, для них мир не загадка, а куча железного лома, из которого надо сделать двигатель. Этот двигатель увезет нас всех отсюда, из этой тоскливой пустыни, где смерть и труд и так мало музыки и мысли.

Рабочие и днем живут иаполовиину. Глубоко в материю, в железо мы запускаем свои души, и материя томит иас работой, как сатана. Чтобы мы ожили, материя, мир, вся вселенная должны быть уничтожеиы. Больше нет спасения. Ни одной двери для иас не оставлено: их надо проломать руками.

От вечернего до утреннего гудка мы томимся сном. И сои для нас не облегчение, ие отдых, а непосильная работа: мы растрачиваем, мы одолеваем во сне время и ие получаем за это ничего. Мы забываемся, а наш враг — вселенная все время живет и усиливается.

Сон — это отступление рабочих масс перед освирепевшим миром, душащим тело усталостью.

Мы изнурены черным зноем работы, мы не чуем себя, а спасения еще не видно. Никогда, ни в одном из нас, ие шевельиулась эта сладкая, сладкая боль — боль любви к женщине. Мы — сознающие, мы видящие, и мы принялись за самую тяжелую работу.

Пусть те, кто дети, играют в песке и думают, что мир им мать, а жизнь — влюбленность.

Душа наша — ненависть. И ненависть наша так велика, что она перерастет и захлестнет собою мир.

На земле, на далеких невидаиных плаиетах растут и растут иенавидящие рабочие массы. Труд и есть ненависть. Эта ненависть есть динамит вселенной. Мы растем и множимся без коица и спасем себя только мы сами, мы все, а не самые умные среди нас. Мы умны и могучи, когда вместе: в одиночку — мы погибаем.

Мы — масса, единое существо, родившееся из человека, но мы и не человек, и человеческого в нас иет ни-

чего. И на солнце я чувствовал бы всех в себе и не был одиноким.

Масса, новое вселенское существо, родилась. Она копит в труде свою ненависть, чтобы разбрызгать ею звезды и освободиться. В ее бездне — душе всегда музыка, всегда песнь освобождения и жажда бессмертия и неимоверной мощи.

И это чувствовал в себе Чагов. Всегда в нем пела и тосковала душа, и было легко жить в этой обреченной звездной пустыне, окруженным синими манящими безднами, машинами и товарищами.

— В безнадежности надеяться,— прошептал Чагов и улыбнулся.

Жизнь в нем была так велика, что он всегда смеялся, когда говорили смешное или несуразное, как бы он ни тосковал в это время.

Ночь шла и не проходила. Чагов сидел на дне оврага, и легко, бессознательно играла в нем мысль, как кровь, била по жилам.

Потоки звезд шли над ним. Один раз тень беззвучно молчащей птицы скользнула по траве, по белому серебру росы. Внутри его все затихло, и он прислушался, перестал дышать и замер, как зверь. Потом пощупал руки, способные разорвать пасть льва, и засмеялся.

Вместе с кровью и теплом шла в его тело вольная мысль и делала за него работу познания. В такие минуты он бессознательно и без желания был ясновидящим. Может быть, потому, что сам мир — только прозрачная, беззвучная ясность, и наша воля, наш труд, наше сомнение затемняют его.

В черной, еле шевелящейся Массе механиков и мастеровых мысль также текла из глубин тела и не управлялась сознанием, а была стихией и бурей.

И иногда, редко, тайно от самих себя, при безумных взрывах энергии в машинах и в Массе, мы смутно ощущали эту податливую, слишком покорную мягкость материи, и наша энергия, не находя модного сопротивления, нечаянно уходила на разрушения, уносилась, как гранитная глыба в пустом пространстве, удваивая скорость с каждым моментом.

Мы тогда напрягались, регуляторы ставили на полную скорость, мы размахивались и ударяли в пустоту и сами падали. Может, нету мира. Но машины дробили

металл, подшипники иакалялись, моторы выли, и здания от иих дрожали — и мы сомневались.

Но в такие минуты нас охватывала тоска, и мы сокращали иапор эиергии, под ними исчезала материя.

Чагов вспомнил эти миги, когда машииы перегружали сверх иормы до иевозможного, когда в кочегарках плавились дверцы топок и динамо ревели и между проводами вспыхивали молнии, когда забывалась иаука и выступало человеческое безумие и вера в свои машины, в созиательиость оргаиизованиого металла, в товарищество жизни с материей, и над всем телом Массы, слившейся с машинами, бегал и охватывал, и пронизывал его электрический ток — разум работающей Массы, урегулированиая точная мысль, новое великое сознание.

На вершинах труда исчезает мир, и ты свободен, и тебе не страшно. Не пустыня кругом тебя, а убегающие от тебя звезды. Ты свободен, ты больше ие ненавидишь, не любишь и ие мыслишь. Ты только зиаешь. И другая неведомая сила взорвется в тебе, какой тут нет имени.

Нежно и тонко где-то далеко запела птичка, будто заплакал ребенок. Чагов посмотрел иа иебо, на тишину, и старая боль от нестерпимой зовущей красоты вселенной впилась в него. Будто позвала оиа его, как девушка, которую Чагов всегда любил и которой не было на свете:

— Родиой мой!

И ои заплакал, как одииокий древиий человек. Звезды в мраке качались, как цветы, и оседала густая роса.

Чагов подиялся и вышел из оврага. Далеко также горел и не потухал костер уснувшего человека. Выл гудок иа заводе, распуская ночную смену, и тяжело дышала паром электрическая станция. Он вспомиил машииы, великих товарищей, спящих до утреннего гудка, и засмеялся от радости и надежды.

— Мы идем к тебе, неведомый мир, мы очарованы тобой, и мы никогда ие умрем.

Чагов вытянулся, кровь хлыиула от сердца, и ои задрожал от силы и бессмертия.

Внезапная, страшиая мысль ударила его. Ои остановился и потер руки.

Он долго не мог понять, что ему делать и иужио ли теперь идти в город, нужно ли работать. Красная звезда пробичевала небо и бесшумно исчезла в пустоте, озарив смутные дороги и какого-то человека на них.

Больше ничего не было видно.

Чагов очнулся. Низко блестел поздний месяц. Мертвая земля лежала без конца. Спали в городе товарищи.

В этот миг могла случиться страшная катастрофа, и никто бы не спасся. Человечество увидело бы только свой сон. Один Чагов больше не увидел бы сна и бился бы один с разбушевавшимся миром до конца, до смерти в восторге. И может, победил бы и увидел последний бесконечный сон.

Чагов понял свою внезапную пронесшуюся мысль. А что, если и мысль, и жажда истины есть только та же простая сила, как голод или ритмическое колебание крови в теле, только хорошо организованная, высшая форма этой простейшей силы... И поэтому мысль и истина — ничтожество в бездонной пучине вселенной, вселенная имеет более великие ценности, неизвестные человеку. Тогда работа Масс не имеет того смысла и цели, какие мы думаем, тогда сама полная победа Масс над природой есть только победа природы же над своим неравновесием, а не победа внешней силы — человечества — ради человечества. Тогда все это слишком ничтожно и потому ненужно.

Мысль есть жизнь моего тела, и тело произвело мысль ради себя, а земля произвела тело ради себя.

Чагов пошел. А тогда мы-то на что? Мы восстанем и на это, раз это так, но не обманемся и биться за ложь, за мечту не будем. Тогда мы восстанем и на мысль, и на истину, и на себя, но добьемся конца.

Без усилия, без муки, вольно и высоко вскинулся в нем живой, неистребимый дух, строящий надежды и радость везде, где есть тьма и сомнение. И он неуловимо, безмолвно и без мысли понял свою правду и пошел к городу, быстро и свободно, не чуя себя.

Город горел в электричестве.

Чагов оглянулся. Также горел на краю поля костер, может, уже ушедшего человека, но он был так далеко, будто на небе, и звезды были рядом с меркнущим огоньком.

Тихо подошел к Чагову из темноты человек и обнял его. Чагов ответил и поцеловал его. Человек заплакал.

— Что с тобой, товарищ?

Человек опомнился и заговорил:

— Я хочу для тебя сделать что-нибудь, я пришел поклониться... Я ходил всю ночь по городу, и никого нигде

нету. Я бросился в поле... Я от любви не могу жить и спать....

Его тонкие руки зашелестели по волосам Чагова. Чагов понял: в последнее время, время накануне восстания Масс на вселенную, много стало таких людей, которые поклонялись человеку, молились на него и часто умирали от своей безысходной, невыносимой любви.

Светало. Чагов пришел в общежитие и сел за чертежи любимой машины, за свой великий проект, который он творил, как поэму. В нем опять запела музыка, и его геройская человеческая душа заиграла в железной, неоконченной поэме.

Поднялось солнце, и сразу по одной команде заревели тысячи гудков.

ЭФИРНЫЙ ТРАКТ

I

Проснувшись в пять часов утра в своей московской квартире, Фаддей Кириллович почувствовал раздражение. Тусклый свет горел в комнате, и где-то визжали толстые крысы.

Сон больше не придет. Фаддей Кириллович надел жилетку и уселся, раскачивая очумелый мозг. Он лег в час, еле добравшись до постели, и не вовремя проснулся.

«Ну-с, Фаддей Кириллович, махнем снова,— сказал он самому себе,— микробы усталости могут успокоиться: я им пощады все равно не дам!»

Он воткнул перо в чернильницу, вытянул дохлую муху и рассмеялся: «Это же, понимаете, мухоловка! И у меня все так, милые граждане: перо тычет, а не скользит, чернила — вода, бумага — рогожа! Это удивительно, господа!..»

Фаддей Кириллович всегда представлял свою комнату населенной немыми, но внимательными собеседниками. Мало того, такие вещи он безрассудно принимал за живые существа, и притом похожие на самого себя.

Раз, мрачно утомившись, он обмакнул в чернила перо, положил его на недописанный лист бумаги и сказал: «Заканчивай, заноза!» А сам лег спать.

Одиночество, заглушенность души, сырость и полутьма квартиры превратили Фаддея Кирилловича в пожилого нерачительного субъекта с житейски неразвитым мозгом.

Работал Фаддей Кириллович бормоча, вслух перебирая возможные варианты стиля и содержания излагаемого.

— Поспешим, Фаддей! Поспешим...

Несомненно одно, что... что как только почва даст вместо сорока пятьсот пудов на десятину и что... если железо начнет размножаться, то... эти — как их? — женщины и ихние мужья сразу возьмут и нарожают столько детей, что не хватит опять ни хлеба, ни железа и настанет бедность. Довольно бормотать, ты мне мешаешь, дурак!..

Выругав этак себя, Фаддей Кириллович притих и усердно занялся работой, выводя аккуратные значки, как на уроке чистописания.

Москва проснулась и завизжала трамваями. Изредка вольтовы дуги озаряли туман, потому что токособиратели иногда отскакивали от провода.

— Идиоты! — не выдержал Фаддей Кириллович.— До сих пор не могут поставить рациональных токособирателей: жгут провод, тратят энергию и нервируют прохожих!..

Когда окончательно рассеялся туман и засиял неожиданный торжественный день, Фаддей Кириллович протер заслезившиеся глаза и начал в злостном исступлении драть ногтями поясницу.

В это время к Фаддею Кирилловичу постучали: Мокрида Захаровна, старушка, принесла Попову завтрак и пришла убирать комнату.

— Ну как, Захаровна? Ничего там не случилось? Люди не вымерли? Светопреставление не началось еще? Погляди, спина у меня назади?..

— И что ты, батюшка, Фаддей Кириллович, говоришь? Опомнись, батюшка,— такого не бывает! Сидит-сидит, учится-учится, переучится — и начинает ум за разуменье заходить! Поешь, голубчик, отдохни, ан и сердце отойдет и думы утихнут.

— Да, Захарьевна, да. Мокрида! Да, да, да! И трижды кряду — да. И еще раз — да!.. Ну, давай твою вкусную еду. Будем разводить гнилостные бактерии в двенадцатиперстной кишке, пускай живут в тесноте!.. А ты,

старушка, ступай! Мне некогда, за кастрюлями придешь вечером, тогда и комнату уберешь. Вечером я уеду.

— Ох, батюшка, Фаддей Кириллович, дюже ты чуден да привередлив стал, замучил старуху!.. Когда ожидать-то вас?

— Не жди, ступай, считай меня усопшим!

Спешно поев, Фаддей Кириллович закурил и вдруг вскочил, живой, стремительный и веселый:

— Ага, вот где ты пряталась! Вылезь, божья куколка! Души моей чучелко! Живи, моя дочка! Танцуй, Фаддей, крутись. Гаврила, колесо налево, оттормаживай историю! Эх, моя молодость! Да здравствуют дети, невесты и влажные, красные, жадные губы! Долой Мальтуса и госпланы деторождения! Да здравствует геометрическая и гомерическая прогрессия жизни!..

Тут Фаддей Кириллович остановился и сказал:

— Пожилой субъект ты, Фаддей, а дурак! Еле догадался, а уж благодетельствовать собираешься, самолюбивая сволочь! Садись к столу, сгною тебя работой, паршивый выродок!

Усевшись, Фаддей Кириллович, однако, почувствовал странную пустоту в мозгу, будто там ливни работы смыли всю плодоносную почву и нечем было питаться зелени его творчества.

Тогда он начал писать частное письмо:

«Профессору Штауферу, Вена.

Знаменитый коллега! Вы уже, без сомнения, забыли меня, который был Вашим учеником двадцать один год тому назад. Помните ли Вы звонкую майскую венскую ночь, когда в самом чутком воздухе была жажда научного творчества, когда мир открывался перед нами, как молодость и загадка? Помните, мы шли вчетвером по Националштрассе — Вы, два венца и я, русский рыжеватый любопытствующий молодой человек! Помните, Вы сказали, что жизнь, в физиологическом смысле, наиболее общий признак всей прощупываемой наукой вселенной. Я, по молодости, попросил разъяснений. Вы охотно ответили: атом, как известно, колония электронов, а электрон есть не только физическая категория, но также и биологическая, электрон суть микроб, то есть живое тело, и пусть целая пучина отделяет его от такого животного, как человек: принципиально это одно и то же! Я не забыл Ваших слов. Да и Вы не забыли: я чи-

тал Ваш труд, вышедший в этом году в Берлине: «Система Менделеева как биологические категории альфа-существ». В этом блестящем труде Вы впервые осторожно, истинно научно, но уверенно доказали, что электроны одарены жизнью, что они движутся, живут и размножаются, что их изучение отныне изъемлется из физики и передается биологической дисциплине. Коллега и учитель! Я не спал три ночи после чтения Вашего труда! У Вас есть в книге фраза: «Дело техников теперь разводить железо, золото и уголь, как скотоводы разводят свиней». Я не знаю, освоена ли кем эта мысль так, как она освоена мной! Позвольте же, коллега, попросить у Вас разрешения посвятить Вашему имени свой скромный труд, всецело основанный на Ваших блестящих теоретических изысканиях и гениальных экспериментах.

Д-р Фаддей Попов.
Москва, СССР».

Запечатав в конверт письмо и рукопись под несколько ненаучным названием — «Сокрушитель адова дна», Фаддей Кириллович спешно утрамбовал чемодан книжками и отрывками рукописей, автоматически, бессознательно надел пальто и вышел на улицу.

В городе сиял электричеством ранний вечер. Круто замешанные людьми, веселые улицы дышали озабоченностью, трудным напряжением, сложной культурой и скрытым легкомыслием.

Фаддей Кириллович влез в таксомотор и объявил шоферу маршрут на далекий вокзал.

На вокзале Фаддей Кириллович купил билет до станции Ржавое. А утром он уже был на месте своего стремления.

От вокзала до города Ржавска было три версты. Фаддей Кириллович прошел их пешком, он любил русскую мертвую созерцательную природу, любил месяц октябрь, когда все неопределенно и странно, как в сочельник накануне всемирной геологической катастрофы.

Идя по улицам Ржавска, Фаддей Кириллович читал странные надписи на заборах и воротах, исполненные по трафарету: «Тара», «брутто», «Ю. З.», «болен», «на дорогу собств.», «тормоз не действ.». Оказывается, городок строился железнодорожниками и из материалов ж. д.

Наконец Фаддей Кириллович увидел надпись: «Новый Афон». Сначала он подумал, что это кусок обшивки

классного вагона, потом увидел вырезанный из бумаги и наклеенный на окно чайник, заурядную личность в армяке, босиком вышедшую на двор по ясной нужде, и догадался, что это гостиница.

— Свободные номера есть? — спросил босого человека Фаддей Кириллович.

— В наличности, гражданин, в полной чистоплотности, в уюте и тепле!

— Цена?

— Рублик, рубль двадцать и пятьдесят копеек!

— Давай за полтинник!

— Пожалуйте наверх!

II

В полдень Фаддей Кириллович пошел в окружной исполком. Он попросил у председателя свидания, причем переговорить желательно вдвоем.

Председатель его тотчас же принял. Это был молодой слесарь — обыкновенное лицо, маленькие любознательные глаза, острая, хищная жажда организации всего уездного человечества, за что ему слегка попадало от облисполкома. У председателя были замечательные руки — маленькие, несмотря на его бывшую профессию, с длинными, умными пальцами, постоянно шевелящимися в нетерпении, тревоге и нервном зуде. Лицом он был спокоен всегда, но руки его отвечали на все внешние впечатления.

Узнав, что с ним желает говорить доктор физических наук, он удивился, грубо обрадовался и велел секретарю сейчас же открыть дверь, досрочно выпроводив завземотделом, пришедшего с докладом о посеве какой-то клещевины.

Фаддей Кириллович показал председателю бумаги научных институтов и секций Госплана, рекомендующих его как научного работника, и приступил к делу.

— Мое дело просто и не нуждается в доказательствах. Моя просьба обоснована и убедительна и не может быть отвергнута. Пять лет назад в вашем округе производились большие изыскания на магнитную железную руду. Вам это известно. Она обнаружена на средней глубине двухсот метров. Руду с такой глубины добывать пока экономически невыгодно. Она поэтому оставлена в покое. Я приехал сюда произвести некоторые

опыты. Мне не нужно ни сотрудников, ни денег. Я только ставлю вас в известность и прошу отвести мне двадцать десятин земли — можно и неудобной. Район я еще не выбрал — об этом после, когда я вернусь из поездки по округу. Далее, чтобы вы знали, что я приехал сюда не шутить, я скажу вам: работы мои имеют целью, так сказать, подкормить руду, для того чтобы она разжирела и сама выперла на дневную поверхность земли, где мы ее можем схватить голыми руками. В исходе опытов я уверен, но пока прошу молчать. Через три дня я выберу район и вернусь к вам. Вы поняли меня и согласны мне помочь?

— Понял совершенно. Держите руку. Работайте — мы вам помощники!

В тот же день Фаддей Кириллович на подводе выехал в поле — отыскать условную высотную отметку экспедиции академика Лазарева, в районе которой магнитный железняк высовывает язык и лежит на глубине ста семидесяти метров. На вторые сутки Попов нашел на бровке глухого дикого оврага чугунный столб с условной краткой надписью: «Э. М. А. 38, 168, 46.22».

Через неделю Фаддей Кириллович прибыл на это место с землемером, который должен отмежевать участок в двадцать десятин, и Михаилом Кирпичниковым.

Кирпичникова рекомендовал Фаддею Кирилловичу председатель окрисполкома, как совершенно идеологически выдержанного человека, а Попов увидел, что без помощника ему не обойтись.

Через три дня Попов и Кирпичников привезли из деревни Тыновки, что в десяти верстах, разобранную хатку и собрали ее на новом месте.

— Сколько мы здесь проживем, Фаддей Кириллович? — спросил Кирпичников Попова.

— Не менее пяти лет, дорогой друг, а скорее — лет десять. Это тебя не касается. Вообще не спрашивай меня. Можешь каждое воскресенье уходить и радоваться в своем клубе...

И пошли беспримерные дни. Кирпичников работал по двенадцати часов в сутки: покончив дела со сборкой дома, он начал рыть шахту на дне балки. Попов работал не меньше его и умело владел топором и лопатой, даром что доктор физических наук. Так в глубине равнинной глухой страны, где издавна жили пахари, потомки смелых бродяг земного шара, трудились два чужих че-

ловека: один для ясной и точной цели, другой в поисках пропитания, постепенно стараясь узнать от ученого то, чего сам искал,— как случайную, нечаянную жизнь человека превратить в вечное господство над чудом вселенной.

Попов молчал постоянно. Иногда он уходил на целый день в грязные ноябрьские поля. Раз Кирпичников слушал вдали его голос — живой, поющий и полный веселой энергии. Но возвратился Попов мрачный.

В начале декабря Попов послал Кирпичникова в областной город — купить по списку книг и всяких электрических принадлежностей, приборов и инструментов.

Через неделю Кирпичников возвратился, и Фаддей Кириллович начал делать какой-то небольшой сложный прибор.

Один только раз, поздно ночью, когда Кирпичников доливал керосин в лампу, Попов обратился к нему:

— Слушай, мне скучно, Кирпичников! Скажи-ка мне, кто ты такой, есть у тебя невеста, цель жизни, тоска, что-нибудь такое? Или ты только антропоид, и тебе только нужно нажраться и сопеть?

Кирпичников сдержался.

— Нет, Фаддей Кириллович! Ничего у меня нет. Жрать и сопеть я не люблю, а хочу понять дело, которое делаете вы, но вы не говорите — это зря, я бы еще лучше работал. Я пойму, Фаддей Кириллович, честное слово!

— Оставь, оставь, ничего ты не поймешь! Ну, довольно, наговорились. Ложись спать, я посижу еще...

III

Фаддей Кириллович отправился в свою очередную прогулку — теперь уже по замерзающим, недышащим полям. Кирпичников тесал на дворе сруб для укрепления шахты и вошел в хату за спичкой закурить.

Подойдя к столу, он прочитал несколько слов из того, что писал Попов ночью, и, не зажегши спички, потерял все окружающее и забыл свое имя и существование:

«Коллега и учитель! К восьмой главе той рукописи, которую я Вам выслал для просмотра, необходимо сделать добавление:

«Из всего сказанного о природе эфира следует сделать неизбежные выводы. Если электрон есть микроб, то

есть биологический феномен, то эфир (то, что я назвал выше «генеральным телом») есть кладбище электронов. Эфир есть механическая масса умерщвленных или умерших электронов. Эфир — это крошево трупов микробов-электронов. С другой стороны, эфир не только кладбище электронов, но также матерь их жизни, так как мертвые электроны служат единственной пищей электронам живым. Электроны едят трупы своих предков.

Несовпадение длительности жизни электрона и человека делает необычайно трудным наблюдение за жизнью этих, пользуясь Вашей терминологией, альфа-существ. Именно, время жизни электрона должно исчисляться цифрой пятьдесят — сто тысяч земных лет, то есть значительно продолжительней жизни человека. Между тем число физиологических процессов в теле электрона, как у более примитивного существа, значительно меньше, чем у человека — высокоорганизованного тела. Следовательно, каждый физиологический процесс в организме электрона протекает с такой ужасающей медленностью, что устраняет возможность непосредственного наблюдения этого процесса даже в самый чувствительный прибор. Это обстоятельство делает природу в глазах человека мертвой. Это страшное разнообразие времен жизни для различных категорий существ суть причина трагедии природы. Одно существо век чувствует как целую эру, другое — как миг. Это «множество времен» — самая толстая и несокрушимая стена меж живыми, которую с трудом начинает разрушать тяжелая артиллерия человеческой науки. Наука объективно играет роль морального фактора: трагедию жизни она превращает в лирику, потому что сближает в братстве принципиального единства жизни такие существа, как человек и электрон.

Но все же можно ускорить жизнь электрона, если смягчить те явления, которые обусловили длительность его жизни. Необходимо предварительное разъяснение. Эфир, как установлено наукой, необычайно инертная, нереагирующая, лишенная основных свойств материи сфера. Такая неощутимость и экспериментальная непознаваемость эфира объясняется тем, что «подобное познается подобным», а нет большего неподобия, чем человек и залежи трупов электронов, то есть эфир. Может быть, именно поэтому эфир «лишен» свойств мате-

рии, ибо между человеком и живым микробом-электроном, с одной стороны, и эфиром — с другой, есть принципиальное различие: первые живы, второй мертв. Я хочу сказать, что «непознаваемость» эфира скорее психологическая, чем физическая задача.

Эфир, на правах «кладбища», не обладает никакой внутренней активностью. Поэтому те существа (микробы-электроны), которые им питаются, обречены на вечный голод. Питание их обеспечивается подгонкой свежих эфирных масс за счет посторонних случайных сил. В этом причина замедленности жизни электронов. Интенсивная жизнь для них невозможна: слишком замедлен приток питательных веществ. Это и вызвало замедление физиологических процессов в телах электронов.

Очевидно, ускорение подачи питания должно увеличить темп жизни электронов и вызвать их усиленное размножение. Существующая замедленность физиологических актов легко превратится при благоприятных условиях питания в бешеный темп, ибо электрон — существо примитивно организованное, и биологические реформы в нем чрезвычайно легки.

Следовательно, одно изменение условий питания должно вызвать такую интенсивность всех жизненных отправлений электрона (в том числе и размножения), что жизнь этих существ станет легко наблюдаемой. Конечно, такая интенсивность жизни будет идти за счет сокращения продолжительности жизни электрона.

Вся загадка в том, чтобы уменьшить разницу во времени жизни человека и электрона. Тогда электрон начнет продуцировать с такой силой, что его может эксплуатировать человек. Но как вызвать свободный и усиленный приток питательного эфира к электронам? Как технически создать «эфирный тракт» — дорогу эфиру?..

Решение просто — электромагнитное русло...»

На этом рукопись Попова обрывалась. Он ее еще не закончил. Кирпичников слова не все понял, но всю сокровенную идею Попова ухватил.

Фаддей Кириллович вернулся поздно. Тотчас же он лег спать. Кирпичников посидел еще немного, почитал книжку «Об устройстве шахтных колодцев» и ничего в ней не понял.

Есть мысли, которые сами собой ведут человека и командуют его головой, хочет он этого или нет — все едино. Спать еще не хотелось. Было душно и тревожно.

Попов храпел и стонал во сне. Кирпичников вышел во двор, ухватил бревно и зашвырнул его в лог, как палку. Потом заскрипел зубами, застонал, вонзил топор в порог и улыбнулся. На дворе стояло одно дерево — лоза. Кирпичников подошел, обнял дерево — и их закачало обоих ночным ветром.

IV

Когда ели утром жареный картофель, Фаддей Кириллович вдруг бросил есть и встал, веселый, полный надежды и хищной радости.

— Эх, земля! Не будь мне домом — несись кораблем небес! — В смешном исступлении крикнул Попов эти неожиданные слова и сам оторопел.

— Кирпичников,— обратился Фаддей Кириллович,— скажи: ты вошь, ублюдок или мореплаватель? Ответь, обыватель, на корабле мы или в хате? Ага, на корабле — тогда держи руль свинцовыми руками, а не плачь на завалинке! Замолчи, сверчок! Мне известен курс и местоположение... Жуй и — на вахту!..

Кирпичников молчал. Попов болел малярией, бормотал во сне несбыточное, днем лютая злость в нем мгновенно переходила в смех. Работа головы высасывала из него всю кровь, и его истощенное тело вышло из равновесия и легко колебалось настроениями. Кирпичников это знал и смутно беспокоился за него.

Одиночество, затерянность в несчетных полях и устремленность к одной цели еще более расшатали душевный порядок Попова, и с ним было тяжело работать.

Так прошел месяц или два, Фаддей Кириллович работал все меньше и меньше. Наконец 25 января он совсем не поднялся утром и только сказал: — Кирпичников, вычисть хату и убирайся вон — я задумался!

Устроив домашние дела, Кирпичников вышел.

Степь пылала снегом — шла вьюга.

Кирпичников спустился в овраг и закрыл люк над шахтой, где Попов уже начал делать установку приборов. Вьюга свирепела, и на дворе от нее шевелился инвентарь. Деваться было некуда, и Кирпичников залез на тесный, захламленный чердак. Снег свиристел и метался по крыше; и вдруг Кирпичникову послышалась тихая, странная, грустная музыка, которую он слышал где-то очень давно. Отвлеченное плачущее чувство томилось и

разрасталось от музыки до гибели человека. И будто эта растущая тоска и воспоминания были единственным утешением человека. Кирпичников прилег и занемог от этого нового робкого чувства, которого в нем никогда не было. Он забыл про стужу и, дрожа, нечаянно заснул. Музыка продолжалась и переходила в сновидения. Кирпичников почувствовал вдруг холодную, тяжелую, медленную волну, и в нем начало закатываться сознание, борясь и пробуждаясь, уставая от ужаса и собственной тесноты.

Проснулся Кирпичников сразу, будто кто ему крикнул на ухо или земля на что наткнулась и вдруг застопорила. Кирпичников вскочил, стукнулся о крышу и спустился на двор. Буран тряс землю, и, когда он разрывал атмосферу и показывал горизонт, были видны голые почерневшие поля. Снег сдувало в овраги и в глухие долины. Тут Кирпичников заметил, что дверь в хату открыта и туда мело снегом. Когда он вошел в комнату, то заметил бугор снега и прямо на нем, а не на кровати, лежал мертвый Фаддей Кириллович Попов — бородой кверху, в знакомой жилетке, прильнувшей к старому телу, с печальным пространством на белом лбу. Снег его заметал все глубже, и ноги уже укрыло совсем.

Кирпичников в полном спокойствии схватил его под мышки и потащил на кровать. У Фаддея Кирилловича отвалилась нижняя губа, и он сам повернулся на бок на кровати и поник головой, ища места ближе к центру Земли. Кирпичников затворил дверь и разгреб снег на полу. Он нашел пузырек с недопитым розовым ядом. Кирпичников вылил остаток яда на снег — и снег зашипел, исчез газом, и яд начал проедать пол.

На столе, утвержденная чернильницей, лежала неоконченная рукопись: «Решение просто — электромагнитное русло...»

V

— Вы коммунист, товарищ Кирпичников? — спросил председатель окружного исполкома.

— Кандидат.

— Все равно. Расскажите, как это случилось? Вы понимаете, что это очень скверная история — не потому, что придется отвечать, а потому, что погиб очень ценный и редкий человек. Записки никакой не нашли?

— Нет.

— Ну, рассказывайте.

Кирпичников рассказал. В кабинете сидели кроме председателя еще секретарь комитета партии и уполномоченный ГПУ.

Кирпичникова слушали внимательно. Он рассказал все, даже содержание неоконченной рукописи, вьюгу, распахнутую дверь и странный, косой наклон головы Попова, какого не бывает у живого. И вместе с тем Попов не очень отличался от живого, как будто смерть обыкновенна, как еда.

Кирпичников кончил.

— Замечательная история! — сказал секретарь парткома.— Попов несомненный упадочник. Совершенно разложившийся субъект. В нем действовал, конечно, гений, но эпоха, родившая Попова, обрекла его на раннюю гибель, и гений его не нашел себе практического приложения. Растрепанные нервы, декадентская душа, метафизическая философия — все это жило в противоречии с научным гением Попова — и вот какой конец...

— Да,— сказал председатель исполкома.— Прямо агитация фактами. Наука могущественна, а носители ее — выродки и ублюдки. Действительно, срочно необходимы свежие люди с твердой внутренней установкой.

— А ты только сейчас в этом убедился? — спросил уполномоченный ГПУ.— Чудород ты, брат! Наше дело, по-моему, теперь оформить следствие и затем, если ничто не будет противоречить словам Кирпичникова, назначить его хранителем научной базы Попова. Ну, надо немножко Кирпичникову платить за это. Ты,— обратился он к председателю,— из местного бюджета это устроишь. Затем надо сообщить в тот научный институт, который командировал сюда Попова, чтобы выслали другого ученого для продолжения дела... А сохранить все надо в целости! Я пришлю сотрудника составить опись. Медь там есть, ценные приборы, рукописи Попова, кой-какой инвентарь и имущество...

— Верно,— сказал председатель.— Давайте на этом кончим. Я проведу все дело через президиум, и тогда зафиксируем наше постановление.

Через неделю закончили следствие, труп Попова отправили в Москву, а Кирпичникова назначили сторожем в научную усадьбу Попова, с окладом жалованья пятнадцать рублей в месяц.

Кирпичникову вручили копию описи, и он остался один.

Начиналась ранняя заунывная весна — время инерции зимы и мужественного напора солнца.

Заместитель Попова никак не ехал. Кирпичников усердно читал и перечитывал книги и рукописи Попова, рассматривал приборы, построенные здесь же самим Поповым, и перед ним открывался могучий мир знания, власти и жажды неутомимой, жестокой жизни. Кирпичников начал ощущать вкус жизни и увидел ее дикую пучину, где скрыто удовлетворение всех желаний и находятся конечные пункты всех целей.

«Эх, хорошо! — думал Кирпичников.— Зря умер Попов, сам это писал и сам же не понимал. А стоит только понять — и всякому захочется жить...»

Наступило лето. Шло одно и то же. Новый ученый на место Попова не приезжал. Кирпичников начал переписывать рукопись Фаддея Кирилловича начисто, не зная сам для чего, но так лучше ему понималось.

Наконец в июле приехали двое московских ученых и забрали все наследство Попова — и рукописи и аппараты.

Кирпичников вернулся работать в черепичную мастерскую, и все кругом для него затихло. Но открывшееся ему чудо человеческой головы сбило его с такта жизни. Он увидел, что существует вещь, посредством которой можно преобразовать и звездный путь и собственное беспокойное сердце и дать всем хлеб в рот, счастье в грудь и мудрость в мозг. И вся жизнь предстала ему как каменное сопротивление его лучшему желанию, но он знал, что это сопротивление может стать полем его победы, если воспитать в себе жажду знания, как кровную страсть.

Кирпичников пошел к председателю исполкома и заявил, что хочет учиться — пусть его отправят на рабфак.

— По следам Попова, сударь, желаете идти? Что же, путь приличный, валяйте! — и дал ему тут же записку, куда следовало ее дать.

Через неделю Кирпичников шел в областной город — полтораста верст — на рабфак.

Стоял август. Поля шумели земледельцами, пылили стада по большаку, изумительное молодое солнце улыбалось разродившейся измученной земле.

Рыба играла на речных плесах, деревья чуть-чуть трогались желтой сединой, земля лежала голубым пространством в ту сторону и в тот век, куда шел Кирпичников, где его ждало время, роскошное, как песнь.

VI

Прошло восемь лет — срок, достаточный для полного преображения мира, срок, в который человек перерождается начисто, вплоть до спинного мозга.

Михаил Еремеевич Кирпичников — инженер-электрик, научный сотрудник при кафедре биологии электронов, учрежденной после смерти Попова на основе его трудов.

Кирпичников женат и имеет детей — двух мальчиков. Его жена — бывшая сельская учительница, такая же сторонница немедленного физического преобразования мира, как и ее муж. Счастливая убежденность в победе любимой науки на всемирном плацдарме и помогла им пережить убийственные годы ученья, нужды, издевательства обывателей и дала смелость родить двух детей. Они верили, что наступает время, когда хлеба будет столько же, сколько воздуха. Кирпичников мозгом ощущал приближение этой раскованной эпохи, когда у человека освободятся руки от труда и душа от угнетения и он сможет перелепить мир.

Голодная и счастливая пребывала эта семья. Шел век социализма и индустриализации, шло страшное напряжение всех материальных сил общества, а благоденствие откладывалось на завтра.

Освоившись с научной работой, Кирпичников не занял кафедры, а пошел, для тренировки, на практическую работу. Кроме высшего образования Кирпичников имел стаж живой общественной работы и был твердым и искренним коммунистом. Как умный и честный человек, как выходец из черепичной мастерской, он знал, что вне социализма невозможна научная работа и техническая революция. В его время это подразумевалось само собой, как подразумевается, но не сознается биение сердца в живом человеке.

Десять лет прошло со дня смерти Попова. Это сказать легко, но еще легче было десять раз погибнуть в эти десять лет. Попробуйте описать эти десять лет во всем их крохоборстве борьбы, строительства, отчаяния и

редкого покоя. Невозможно — состаришься, умрешь, а не исчерпаешь темы!

В ответ на просьбу практической строительной работы Кирпичникова отправили в Нижнеколымскую тундру производителем работ по постройке вертикального тоннеля. Целью сооружения была добыча внутренней тепловой энергии Земли.

Семью Кирпичников оставил в Москве, а сам отправился. Термический вертикальный тоннель был опытной работой Советского правительства Якутии. В случае успеха работ предполагалось весь край Азиатского материка за Полярным кругом покрыть целой сетью таких тоннелей, затем объединить их энергию посредством единой электропередачи и на конце электрического провода продвигать культуру, промышленность и население к Ледовитому океану.

Но главная причина тоннельных работ была в том, что в равнинах тундры были изысканы остатки неведомых великолепных стран и культур. Почва и подпочва тундры были не материкового, древнегеологического происхождения, а представляли собой наносы. Причем эти наносы покрыли погребальным покровом целую серию древнейших человеческих культур. А благодаря тому, что этот смертный покров над трупами таинственных цивилизаций представлял пленку вечной мерзлоты, погребенные люди и сооружения хранились, как консервы в банке — целыми, свежими и невредимыми.

Уже то немногое, что случайно найдено учеными в провалах рельефа тундры, представляло неслыханный интерес и научную ценность. Найдены были трупы четырех мужчин и двух женщин.

Люди эти когда-то имели смуглую кожу, розовые губы, низкий, но широкий лоб, небольшой рост, широкую грудную клетку и спокойное, мирное, почти улыбающееся лицо. Очевидно, или смерть застала их внезапно, или, что вероятнее, смерть была у них совсем другим чувством и другим событием, чем у нас.

У женщин сохранились розовые щеки и тонкий аромат легкой, гигиеничной одежды. У одного мужчины в кармане найдена книга — маленькая, испещренная изящным шрифтом; ее предполагаемое содержание: изложение принципов личного бессмертия в свете точных наук. В книге описывались опыты по устранению смерти какого-то небольшого животного, срок жизни которого —

четверо суток; сфера жизни этого животного (пища, атмосфера, тело и проч.) подвергалась беспрестанному воздействию целого комплекса электромагнитных волн, причем каждый вид волны был рассчитан на убийство отдельного рода губительных микробов в теле животного; так, держа подопытное животное в поле электромагнитной стерилизации, удалось увеличить срок его жизни в сто раз.

Затем была найдена пирамидальная колонна из дикого камня. Совершенная форма ее напоминала работу токарного станка, но колонна была сорока метров высоты и десяти метров в основании.

Эти открытия разожгли научные страсти всего мира, и общественное мнение форсировало работы по освоению тундры с целью полной реставрации древнего мира, залегающего под почвой мерзлого пространства и, быть может, уходящего на дно Ледовитого океана.

Страсть к знанию стала новым органическим чувством человека, таким же нетерпеливым, острым и богатым, как зрение или любовь. Этим чувством иногда подминались даже непреложные экономические законы и стремление к материальному благополучию общества.

Такова была истинная причина сооружения первого вертикального термического тоннеля в тундре.

Система таких тоннелей должна была стать фундаментом культуры и экономики тундры, затем — ключом в подземные ворота, в мир неизвестной гармонической страны, нахождение которой ценнее изобретения паровой машины и открытия целого радиевого Монблана.

Ученые думали, что тот отрезок науки, культуры и промышленности, который нам предстоит пройти в течение ближайших ста-двухсот лет, содержится готовым в недрах тундры. Достаточно снять мерзлую почву — и история сделает скачок на век или на два века вперед, а затем снова пойдет своим темпом. Зато какая экономия труда и времени произойдет от такой получки задаром двух будущих веков! С этим не сравнится никакое историческое благодеяние человечества в прошлом!

Ради этого стоило сделать в Земле дырку глубиной в два километра.

Кирпичников поехал, сжимая от радости кулаки, чувствуя цель, которую он должен выполнить, как всемирную победу и обручение древнейшей эры с сегодняшним днем.

Тоннель был построен. Вот документ инженера Кирпичникова:

«Центральному Совету Труда

Управления работ по сооружению Вертикального термического тоннеля в Нижнеколымской тундре, на 67-й параллели.

Общий и заключительный доклад за 1934 год.

Термический вертикальный тоннель (№ 1) окончен 2 декабря этого года. Тоннель, как было задано, предназначается для утилизации теплоты нашей планеты, находящейся в ее недрах; эта теплота, превращенная в электрический ток, должна обслуживать район под именем Тао-Лунь, площадью 1100 квадратных километров, предназначенный для заселения.

Тоннель имеет форму усеченного конуса, обращенного усечением внутрь тела Земли. Ось его наклонена к плоскости экваториального сечения под углом в 62°. Длина оси тоннеля — 2080 метров. Диаметр широкого основания на дневной поверхности Земли равен 42 метрам, усеченной вершины внутри Земли — 5 метрам.

Достигнутая температура на дне тоннеля — 184 градуса (в том месте, где установлены термоэлектрические батареи).

Согласно проекту, утвержденному Советом Труда, работы начались 1 января 1934 года, окончены 2 декабря того же года.

Формовка тоннеля достигнута не взрывным методом, как указано было в проекте, а элетромагнитными волнами, отрегулированными соответственно микрофизической электронной структуре недр. Электромагнитные волны вибратора были настроены на такую длину и частоту, которые точно совпадали с естественными колебаниями электронов в атомах периферии Земли; поэтому от действия внешней дополнительной силы увеличивался их размах и получался разрыв атомных орбит, вследствие чего наступала реконструкция ядра атома: его превращение в другие элементы — разрушение.

Мы поставили на поверхности мощные и в больших пределах регулируемые резонаторы; нашли экспериментально среднюю волну каждой встречной породы недр, подлежащей разрушению (точнее, распылéнию, размягчению),— и так разжевали ствол тоннеля во всех поперечных сечениях.

Затем металлическими пятитонными ковшами скреперного типа на стальных тросах мы выели получившуюся тоннельную кашу. Впрочем, ее осталось немного после электромагнитной операции: большинство составных частей почвы и недр превратилось в газы и улетучилось. Одинаково были мягкою пылью и газом глина, вода, гранит, железная руда.

После этого было приступлено (в августе месяце) к проектной формовке тоннеля. Благодаря высокой температуре люди опускались только до 1000-го метра; глубже работа производилась на тросах: с их помощью устанавливались насосы, рылись кюветы, водосборные бассейны в террасах и управлялись землечерпательные ковши на формовке склонов. Дно и ствол тоннеля покрыты термоизолитом сплошь, начальной толщиной слоя (у поверхности Земли) в 2 сантиметра и конечной в 1,25 метра.

После сооружения тоннеля собранные наверху термоэлектрические батареи вместе с проводами были опущены на тросах на дно тоннеля и установлены — батарея над батареей — в двенадцать этажей.

Концы проводов закреплены на выводящих кронштейнах у поверхности Земли, и ток в них ждет своего потребителя.

Энергия пока пущена в почву тундры — тундра тает; тает в первый раз после того, как был ею накрыт и сохранен для нас тот странный, чудесный мир, ради которого, по распоряжению Центрального Совета Труда, была добыта внутренняя теплота земного шара.

Глав. инж. Верх. термтоннеля *Вл. Крохов*
Производитель работ инженер *М. Кирпичников*

№ 2/А, 4 ноября 1934».

VII

Вернулся к семье Кирпичников только в апреле, пробыв в отсутствии восемнадцать месяцев. Он чувствовал себя переутомленным и собирался поехать с женой и мальчишками куда-нибудь в деревню.

Есть люди, бессознательно живущие в такт с природой: если природа делает усилие, то такие люди стараются помочь ей внутренним напряжением и сочувстви-

ем. Может быть, это остаток того чувства единства, когда природа и человек были сплошным телом и жили заодно.

Так бывало у Кирпичникова. Если разгоралось время весны, таял снег и ручьям подпевали южные птицы с неба, Кирпичников был доволен. Когда же неожиданно возвращался снег, заморозки и мрачное молчаливое зимнее небо, Кирпичников печалился и напрягался.

28 апреля Кирпичниковы поехали в Волошино — дальнюю деревню Воронежской губернии, где когда-то учительствовала Мария Кирпичникова, жена Михаила.

У Марии там были девичьи воспоминания, одинокие годы, милые дни прозревающей души, впервые боровшейся за идею своей жизни. В оправе скудных волошинских полей лежала душевная родина Марии Кирпичниковой.

Михаила влекла в Волошино любовь к жене и ее тихому прошлому, а еще то, что около Волошина в соседнем селе Кочубарове жил Исаак Матиссен, инженер-агроном, знакомый Кирпичникова. Когда-то, в годы ученья в институте, Кирпичников встречался с ним, и они говорили на близкие им технические темы. Матиссен ушел со второго курса электротехнического института и поступил в Сельскохозяйственную академию. В Матиссене Кирпичникова интересовала его теория техники без машин — техники, где универсальным инструментом был сам человек. Матиссен, человек чести, единой идеи и несокрушимого характера, поставил целью жизни осуществление своего замысла.

Теперь он был заведующим Кочубаровской опытно-мелиоративной станцией. Кирпичников не видел его шесть лет, чего он добился — неизвестно, но что он старался добиться всего, в этом Михаил был уверен.

Уезжая в Волошино, Кирпичников заранее радовался встрече с Матиссеном.

От того Михаила Кирпичникова, который жил когда-то в Гробовске, работал в черепичной мастерской, искал истину и мечтал, осталось немного. Мечты превратились в теории, теории превратились в волю и постепенно осуществлялись. Истина стала не сердечным покоем, а практическим завоеванием мира.

Но одно тревожило Кирпичникова и толкало его на беспокойные изыскания всюду — среди книг, среди людей и чужих научных работ. Это жажда закончить труд

погибшего Попова об искусственном размножении электронов-микробов и технически исполнить «эфирный тракт» Попова, чтобы по нему прилить эфирную пищу к пасти микроба и вызвать в нем бешеный темп жизни.

«Решение просто — электромагнитное русло...» — бормотал время от времени Кирпичников последние слова неоконченной работы Попова и тщетно искал того явления или чужой мысли, которые навели бы его на разгадку «эфирного тракта». Кирпичников знал, что может дать людям «эфирный тракт»: можно вырастить любое тело природы до любых размеров за счет эфира. Например, взять кусочек железа в один кубический сантиметр, повести к нему «эфирный тракт» — и этот кусочек железа на глазах начнет расти и вырастет в гору Арарат, потому что в железе начнут размножаться электроны.

Несмотря на усердие и привязанность к этой проклятой мысли, решение «эфирного тракта» не давалось Кирпичникову уже много лет. Работая в тундре, он всю долгую, беспокойную, тревожащую полярную ночь думал об одном и том же. Его путала еще одна загадка, не решенная в трудах Попова: что такое положительно заряженное ядро атома, в котором присутствует материя?

Если чистые отрицательные электроны и есть микробы и живые тела, то что такое материальное ядрышко атома, к тому же положительно заряженное?

Этого не знал никто. Правда, были смутные указания и сотни гипотез в научных работах, но ни одно из них не удовлетворяло Кирпичникова. Он искал практического решения, объективной истины, а не субъективного удовлетворения первой попавшейся догадкой, может быть, и блестящей, но не отвечающей строению природы.

В Волошино Кирпичников поехал на своем автомобиле, который уже давно стал орудием каждого человека. Хотя от Москвы до Волошина лежала линия в девятьсот километров, Кирпичников решил ехать на автомобиле, а не в купе вагона. Его с женой влек к себе малоизвестный путь, ночевки в поселках, скромная природа равнинной северной страны, мягкий ветер в лицо — вся прелесть живого мира и постепенное утопание в безвестности и задумчивом одиночестве...

Машина «Алгонда-09» работала бесшумно: бензиновый мотор погиб пять лет назад, сокрушенный кристаллическим аккумулятором ленинградского академика Иоффе. Автомобиль шел на электрической аккумуляторной тяге и только тихо шипел покрышками по асбестоцементному шоссе. Запас энергии «Алгонда» имела на десять тысяч километров пути, при весе аккумуляторов в десять килограммов.

И вот развернулась перед путешественниками чудесная натура вселенной, глубину которой десятки веков старались постигнуть мудрецы всех стран и культур, идя дорогой мысленного созерцания. Будда, составители Вед, десятки египтян и арабов, Сократ, Платон, Аристотель, Спиноза, Кант, наконец, Бергсон и Шпенглер,— все силились, но догадаться об истине нельзя, до нее можно доработаться: вот когда весь мир протечет сквозь пальцы работающего человека, преображаясь в полезное тело, тогда можно будет говорить о полном завоевании истины. В этом была философия революции, случившейся восемнадцать лет назад и не совсем оконченной и сейчас.

Понять — это значит прочувствовать, прощупать и преобразить,— в эту философию революции Кирпичников верил всей кровью, она ему питала душу и делала волю боеспособным инструментом.

Кирпичников вел «Алгонду», улыбался и наблюдал. Мир был уже не таким, каким его видел Кирпичников в детстве — в глухом Гробовске. Поля гудели машинами; за первые двести километров пути он встретил шесть раз линию электропередачи высокого напряжения от мощных централей. Деревня резко изменила свое лицо — вместо соломы, плетней, навоза, кривых и тонких бревен в строительство вошли черепица, железо, кирпич, толь, террезит, цемент, наконец дерево, но пропитанное особым составом, делающим его несгораемым. Народ заметно потолстел и подобрел характером. История стала практическим применением диалектического материализма. Искусственное орошение получило распространение до московской параллели. Дождевальные машины встречались так же часто, как пахотные орудия. На север от Москвы дождеватели исчезали, и появлялись дренажные осушительные механизмы.

Жена Кирпичникова показывала детям эту живую экономическую географию социалистической страны, и

сам Кирпичников с удовольствием ее слушал. Трудная личная жизнь как-то погасила в нем эту простую радость видеть, удивляться и чувствовать наслаждение от удовлетворенной любознательности.

Только на пятый день они приехали в Волошино.

В доме, где остановились Кирпичниковы, был вишневый сад, который уже набух почками, но еще не оделся в свой белый, неописуемо трогательный наряд.

Стояло тепло. Дни сияли так мирно и счастливо, как будто они были утром тысячелетнего блаженства человечества.

Через день Кирпичников поехал к Матиссену.

Исаак совсем не удивился его приезду.

— Я каждый день наблюдаю гораздо более новые и оригинальные явления,— пояснил Матиссен Кирпичникову, увидев его недоумение равнодушным приемом.

Через час Матиссен немного отмяк.

— Женатый, черт! Привык к сентиментальности! А я, брат, почитаю работу более прочным наследством, чем детей!..— И Матиссен засмеялся, но так ужасно, что у него пошли морщины по лысому черепу. Видно, что смех у него столько же част, как затмение солнца.

— Ну, рассказывай и показывай, чем живешь, что делаешь, кого любишь! — улыбнулся Кирпичников.

— Ага, любопытствуешь! Одобряю и приветствую!.. Но слушай, я тебе покажу только главную свою работу, потому что считаю ее законченной. Про другие говорить не буду — и не спрашивай!..

— Послушай, Исаак,— сказал Кирпичников,— меня бы интересовала твоя работа над темой техники без машин, помнишь? Или ты уже забыл эту проблему и разочаровался в ней?

Матиссен пожмурился, хотел сострить и удивить приятеля, но, позабыв все эти вещи, тщетно вздохнул, сморщил лицо, привыкшее к неподвижности, и просто ответил:

— Как раз это я тебе и покажу, коллега Кирпичников!

Они прошли плантации, сошли в узкую долину небольшой речки и остановились. Матиссен выпрямился, приподнял лицо к горизонту, как будто обозревал миллионную аудиторию на склоне холма, и заявил Кирпичникову:

— Я скажу тебе кратко, но ты поймешь: ты электрик, и это касается твоей области! Только не перебивай: мы оба спешим — ты к жене,— Матиссен повторил свой смех — лысина заволновалась морщинами, и челюсти разошлись, в остальном лицо не двигалось,— а я к почве.

Кирпичников помолчал и продолжил свой вопрос:

— Матиссен, а где же приборы? Ведь мне хотелось бы не лекцию прослушать, а увидеть твои эксперименты.

— И то и другое, Кирпичников, и то и другое! А все приборы налицо. Если ты их не видишь — значит, ты ничего и не услышишь и не поймешь!

— Я слушаю, Матиссен! — кратко поторопил его Кирпичников.

— Ага, ты слушаешь! Тогда я говорю.

Матиссен поднял камешек, изо всех сил запустил его на другую сторону речки и начал:

— Видно даже глазам, что всякое тело излучает из себя электромагнитную энергию, если это тело подвергается какой-нибудь судороге или изменению. Верно ведь? И каждому изменению — точно, неповторимо, индивидуально — соответствует излучение целого комплекса электромагнитных волн такой-то длины и таких-то периодов. Словом, излучение, радиация, если хочешь, зависит от степени изменения, перестройки подопытного тела. Далее. Мысль, будучи процессом, перестраивающим мозг, заставляет его излучать в пространство электромагнитные волны.

Но мысль зависит от того, что человек конкретно подумал, от этого же зависит, как и насколько изменится строение мозга. А от изменения строения или состояния мозга уже зависят волны: какие они будут. Мыслящий, разрушающий мозг творит электромагнитные волны и творит их в каждом случае по-разному: смотря, какая мысль перестраивала мозг. Тебе все ясно, Кирпичников?

— Да,— подтвердил Кирпичников.— Дальше!

Матиссен сел на кочку, потер усталые глаза и продолжал:

— Опытным путем я нашел, что каждому роду волн соответствует одна строго определенная мысль. Я, понятно, несколько обобщаю и схематизирую, чтобы ты лучше понял. На самом деле все гораздо сложнее. Так вот. Я построил универсальный приемник-резонатор, который улавливает и фиксирует волны всякой длины и

всякого периода. Скажу тебе, что даже одной, самой незначительной и короткой мыслью вызывается целая сложнейшая система волн.

Но все же мысли, скажем, «окаянная сила» (помнишь этот дореволюционный термин?), соответствует уже известная, экспериментально установленная система волн. От другого человека она будет лишь с маленькой разницей.

И вот свой приемник-резонатор я соединил с системой реле, исполнительных аппаратов и механизмов, сложных по технике, но простых и единых по замыслу. Эту систему надо еще более усложнить и продумать. А затем распространить по всей Земле для всеобщего употребления. Пока же я действую на незначительном участке и для определенного цикла мыслей.

Теперь гляди! Видишь, на том берегу у меня посажена капустная рассада. Видишь, она уже засохла от бездождья. Теперь следи: я четко думаю и даже выговариваю, хотя последнее не обязательно: о-р-о-с-и-т-ь! Гляди на другой берег, голова!..

Кирпичников всмотрелся на противоположный берег речонки и только сейчас заметил полузакрытую кустом небольшую установку насосного орошения и какой-то компактный прибор. «Вероятно, приемник-резонатор»,— догадался Кирпичников.

После слова Матиссена «оросить!» насосная установка заработала, насос стал сосать из речки воду, и по всему капустному участку из форсунок-дождевателей забили маленькие фонтанчики, разбрызгивающие мельчайшие капельки. В фонтанчиках заиграла радуга солнца, и весь участок зашумел и ожил: жужжал насос, шипела влага, насыщалась почва, свежели молодые растеньица.

Матиссен и Кирпичников молча стояли в двадцати метрах от этого странного самостоятельного мира и наблюдали.

Матиссен ехидно посмотрел на Кирпичникова и сказал:

— Видишь, чем стала мысль человека? Ударом разумной воли! Не правда ли?

И Матиссен уныло улыбнулся своим омертвевшим лицом.

Кирпичников почувствовал горячую, жгущую струю в сердце и в мозгу — такую же, какая ударила его в тот

момент, когда он встретил свою будущую жену. И еще Кирпичников сознал в себе какой-то тайный стыд и тихую робость — чувства, которые присущи каждому убийце даже тогда, когда убийство совершено в интересах целого мира. На глазах Кирпичникова Матиссен явно насиловал природу. И преступление было в том, что ни сам Матиссен, ни все человечество еще не представляли из себя драгоценности дороже природы. Напротив, природа все еще была глубже, больше, мудрее и разноцветней всех человеков.

Матиссен разъяснил:

— Вся штука чрезвычайно проста! Человек, то есть я в данном случае, находится в сфере исполнительных механизмов, и его мысль (например, «оросить!») есть в плане исполнительных машин: они так построены. Мысль «оросить!» воспринимается резонатором. Этой мысли соответствует строгая неповторимая система волн. Именно только волнами такой-то длины и таких то периодов, какие эквиваленты мысли «оросить!», замыкаются те реле, которые управляют в исполнительных механизмах орошением.

Такая высшая техника имеет целью освободить человека от мускульной работы. Достаточно будет подумать, чтобы звезда переменила путь... Одним словом, я хочу добиться возможности обходиться без исполнительных механизмов и без всяких посредников, а действовать на природу прямо и непосредственно — голой пертурбацией мозга. Я уверен в успехе техники без машин. Я знаю, что достаточно одного контакта между человеком и природой — мысли, чтобы управлять всем веществом мира! Понял?.. Я поясню. Видишь, в каждом теле есть такое место, такое сердечко, что, если дать по нему щелчком,— все тело твое: делай с ним что хочешь. А если язвить тело, как нужно и где нужно, то оно будет само делать то, что его заставишь. Вот я считаю, что той электромагнитной силы, которая испускается мозгом человека при всяком помышлении, вполне достаточно, чтобы так уязвлять природу, что эта Маша станет нашей!..

Кирпичников на прощанье сжал руку Матиссену, а потом обнял его и сказал с горячим чувством и полной искренностью:

— Спасибо, Исаак! Спасибо, друг! Знаешь, только одна еще есть проблема, которая равна твоей! Но она еще не решена, а твоя почти готова... Прощай! Еще раз

спасибо тебе! Надо всем работать, как ты,— с резким разумом и охлажденным сердцем! До свиданья!

— Прощай! — ответил Матиссен и полез вброд, не разуваясь, на ту сторону своей маловодной речонки.

VIII

Пока Кирпичников отдыхал в Волошине, мир сотрясала сенсация. В Большеозерской тундре экспедицией профессора Гомонова откопаны два трупа: мужчина и женщина лежали, обнявшись, на сохранившемся ковре. Ковер был голубого цвета, без рисунка, покрытый тонким мехом неизвестного животного. Люди лежали одетыми в плотные сплошные ткани темного цвета, покрытые изображениями изящных высоких растений, кончавшимися вверху цветком в два лепестка. Мужчина был стар, женщина молода. Вероятно, отец и дочь. Лица и тела были того же строения, что и у людей, обнаруженных в Нижнеколымской тундре. То же выражение спокойных лиц: полуулыбка, полусожаление, полуразмышление, будто воин завоевал мраморный неприступный город, но среди статуй, зданий и неизвестных сооружений упал и умер, усталый и удивленный.

Мужчина крепко сжимал женщину, как бы защищая ее покой и целомудрие для смерти. Под ковром, на котором лежали эти мертвые обитатели древней тундры, были обнаружены две книги — одна из них напечатана тем же шрифтом, что и книжка, найденная в Нижнеколымской тундре, другая имела иные знаки. Эти знаки были не буквами, а некоторой символикой, однако с очень точным соответствием каждому символу отдельного понятия. Символов было чрезвычайное множество, поэтому ушло целых пять месяцев на их расшифровку. После этого книгу перевели и издали под наблюдением Академии филологических наук. Часть текста найденной книги осталась неразгаданной: какой-то химический состав, вероятно находившийся в ковре, безвозвратно погубил драгоценные страницы — они стали черными, и никакая реакция не выявляла на них символических значков.

Содержание найденного произведения было отвлеченно философское, отчасти историко-социологическое. Все же сочинение представляло такой глубокий интерес как по теме, так и по блестящему стилю, что книжка в тече-

иие двух месяцев вышла в одиннадцати изданиях подряд.

...Кирпичников выписал книгу. Везде и всюду он искал одного — помощи для разгадки «эфирного тракта».

Когда он посетил Матиссена, на обратном пути что-то зацепилось в его голове, он обрадовался, но потом снова все распалось — и Кирпичников увидел, что работы Матиссеиа имеют лишь отдаленное родство с его мучительной проблемой.

Получив книгу, Кирпичников углубился в нее, томимый одною мыслью — иайти между строк какой-либо иамек на решение своей мечты. Несмотря иа дикость, на безумие искать поддержки в открытии «эфирного тракта» у большеозерской культуры, Кирпичников с затаеиным дыханием прочел труд древнего философа.

Сочинение не сохранило имени автора, называлось оио «Песни Аюны». Прочитав его, Кирпичников ничему не удивился — чего-либо замечательиого в сочинении не содержалось.

— Как скучио! — сказал Кирпичников.— И в тундре ничего путного не думали! Все любовь, да творчество, да душа, а где же хлеб и железо?..

IX

Кирпичииков сильио затосковал, потому что ои был человеком, а человек обязательно иногда тоскует. Ему случилось уже тридцать пять лет. Построенные им приборы для создания «эфирного тракта» молчали и подчеркивали заблуждение Кирпичпикова. Фразу Попова «Решение просто — электромагнитное русло...» Кирпичииков всячески толковал посредством экспериментов, но выходили одни фокусы, а эфирного пищепровода к электронам ие получалось.

— Так-с! — в злобном исступлении сказал себе Кирпичников.— Следовательно, надо заияться другим! — Тут Кирпичников прислушался к дыханию жеиы и детей (была ночь и сон), закурил, прислушался к шуму за окном и сразу зачеркнул все.— Тогда тебе надо пуститься пешему по земле, ты гниешь иа корню, инженер Кирпичников! Семья? Что ж, жена красива, новый муж к ней сам прибежит, дети здоровы, страна богата — прокормит и вырастит! Это единственный выход, другой — смерть на снежиом бугре у распахнутой двери: выход

Фаддея Кирилловича!.. Да-с, Кирпичников, таковы дела!..

Кирпичников вздохнул с чрезвычайной сентиментальностью, а на самом деле искренне и мучительно.

— Ну, что я сделал? — продолжал он шепотом ночную беседу с самим собой.— Ничего. Тоннель? Чепуха! Сделали бы и без меня. Крохов был талантливее меня. Вот Матиссен — действительно работник! Машины пускает мыслью! А я... а я обнял жизнь, жму ее, ласкаю, а никак не оплодотворю...

Кирпичников спохватился:

— Философствуется, сударь? В отчаяние впали? Стоп! Это, брат, нервы у тебя расшились: простая физиологическая механика... Так зачем же ты страдаешь?

Зазвонил неожиданно и не вовремя телефон.

— У телефона Крохов. Здорово, Кирпичников!

— Здравствуй, что скажешь?

— Я, брат, получил назначение. Еду на Фейссуловскую атлантическую верфь: первое компрессорно-волновое судно строить. Знаешь эту новую конструкцию: судно идет за счет силы волн самого океана! Проект инженера Флювельберга.

— Ну, слыхал, а я-то при чем тут?

— Что ты бурчишь? У тебя изжога, наверно! Чудак, я еду главным инженером верфи, а тебя вот зову своим заместителем. Я ведь корабельщик по образованию — справимся как-нибудь, и сам Флювельберг будет у нас! Ну как, едем?

— Нет, не поеду,— ответил Кирпичников.

— Почему? — спросил пораженный Крохов.— Ты где работаешь-то?

— Нигде.

— Ну смотри, парень!.. Пройдет изжога, пожалеешь! Я подожду неделю.

— Не жди, не поеду!

— Ну, как хочешь!

— Прощай.

— Спокойной ночи.

Кирпичников прошел в спальню. Постоял молча в дверях, потом надел старое пальто, шляпу, взял мешок и ушел из дому навсегда. Он ни о чем не сожалел и питался своей глухою тревогой. Он знал одно: устройство «эфирного тракта» поможет ему опытным путем открыть эфир как генеральное тело мира, все из себя производя-

щее и все в себя воспринимающее. Он тогда технически, то есть единственно истинно, разъяснит и завоюет всю сферу вселенной и даст себе и людям горячий, ведущий смысл жизни. Это старинное дело, но мучительны старые раны. Только людские ублюдки кричат: «Нет и не может быть смысла жизни: питайся, трудись и молчи!» Ну, а если мозг уже вырос и так же страстно ищет своего пропитания, как ищет своего пропитания тело? Тогда как? Тогда — труба, выкручивайся сам. В этом мало люди помогают.

Вот именно! Найдите вы человека, который живет не евши! Кирпичников же вошел в ту эпоху, когда мозг неотложно требовал своего питания; и это стало такой же горячей воющей жаждой, как голод желудка, как страсть пола!

Может быть, человек незаметно для себя рождал из своих недр новое, великолепное существо, командующим чувством которого было интеллектуальное сознание, и не что иное! Наверное, так. И первым мучеником и представителем этих существ был Кирпичников.

...Он пошел пешком на вокзал, сел в поезд и поехал на свою забытую родину — Гробовск. Там он не был двенадцать лет. Ясной цели у Кирпичникова не было. Он влекся тоскою своего мозга и поисками того рефлекса, который наведет его мысль на открытие «эфирного тракта». Он питался бессмысленной надеждой обнаружить неизвестный рефлекс в пустынном провинциальном мире.

Очутившись в вагоне, Кирпичников сразу почувствовал себя не инженером, а молодым мужичком с глухого хутора и повел беседу с соседями на живом деревенском языке.

X

Русское овражистое поле в шесть часов октябрьского утра — это апокалиптическое явление для тех, кто читал древнюю книгу — Апокалипсис. Идет смутное столпотворение гор сырого воздуха, шуршит робкая влага в балках, в десяти саженях движутся стены туманов, и ум пешехода волнует скучная злость. В такую погоду, в такой стране, если ляжешь спать в деревне, может присниться жуткий сон.

По дороге, выспавшись в ближней деревне, шел че-

ловек. Кто знает, кем он был. Бывают такие раскольники, бывают рыбаки с Верхнего Дона, бывает прочий похожий народ. Пешеход был не мужик, а, пожалуй, парень. Он поспешал, сбивался с такта и чесал сырые худые руки. В овраге стоял пруд, человек сполз туда по глинистому склону и попил водицы. Это было ни к чему — в такую погоду, в сырость, в такое прохладное октябрьское время не пьется даже бегуну. А путник пил много, со вкусом и жадностью, будто утоляя не желудок, а смазывая и охлаждая перегретое сердце. Очнувшись, человек зашагал сызнова.

Прошло часа два; пешеход, одолевая великие грязи, выбился из сил и ждал какую-нибудь нечаянную деревушку на своей осенней дороге.

Началась равнина, овраги перемежились и исчезли, запутавшись в своей глуши и заброшенности.

Но шло время, а никакого сельца на дороге не случалось. Тогда парень сел на обдутый ветрами бугорок и вздохнул. Видимо, это был хороший молчаливый человек и у него была терпеливая душа.

По-прежнему пространство было безлюдно, но туман уползал в вышину, обнажались поздние поля с безжизненными остьями подсолнухов, и понемногу наливался светом скромный день.

Парень посмотрел на камешек, кинутый во впадину, и подумал с сожалением об его одиночестве и вечной прикованности к этому невеселому месту. Тотчас же он встал и опять пошел, сожалея об участи разных безымянных вещей в грязных полях.

Скоро местность снизилась и обнаружилось небольшое село — дворов пятнадцать. Пеший человек подошел к первой хате и постучал. Никто ему не ответил. Тогда он самовольно вошел внутрь помещения.

В хате сидел не старый крестьянин, бороды и усов у него не росло, лицо было утомлено трудом или подвигом. Этот человек как будто сам только вошел в это жилье и не мог двинуться от усталости, оттого он и не ответил на стук вошедшего.

Парень, житель Гробовского округа, вгляделся в лицо нахмуренного сидельца и сказал:

— Федосий! Неужели возвратился?

Человек поднял голову, засиял хитрыми, умными глазами и ответил:

— Садись, Михаил! Воротился, нигде нет благоче-

стия — тело наружи, а душа внутри. Да и шут ее знает, кто ее щупал — душу свою...

— Што ж, хорошо на Афоне? — спросил Михаил Кирпичников.

— Конечно, там земля разнообразней, а человек — стервец,— разъяснил Федосий.

— Что ж теперь делать думаешь, Федосий?

— Так чохом не скажешь! Погляжу пока, шесть лет ушло зря, теперь бегом надо жить. А ты куда уходишь, Михаил?

— В Америку. А сейчас иду в Ригу, на морской пароход!

— Далече. Стало быть, дело какое имеешь знаменитое?

— А то как же!

— Стало быть, дело твое сурьезное?

— А то как же! Бедовать иду, всего лишился!

— Видать, туго задумал ты свое дело?

— Знамо, не слабо. Без харчей иду, придорожным приработком кормлюсь!

— Дело твое крупное, Михайла... Ну, ступай, чудотворец, поглядим-подышим! Скорей только ворочайся и в морях не утопни!

Кирпичников вышел и пропал в полях. Он был доволен встречей с Федосием, восемнадцать лет пропадавшим где-то в поисках праведной земли и увидевшим в нем только черепичного мастера,— и своей беседой с ним. Но в этой беседе была и правда — Кирпичников на самом деле собрался в Америку.

Пройдя сквозь европейский кусок СССР, Михаил достиг Риги. Здесь в нем проснулся инженер. Его поразила прочность домов — ни ветер, ни вода такие постройки не возьмет — одно землетрясение может поразить такие монументы. Сразу почуял в Риге Михаил всю тщету, непрочность и страх сельской жизни. В Москве он почему-то это не думал. Еще удивил Михаила этот город стройной, задумчивой торжественностью зданий и крепкими, спокойными людьми. Несмотря на образование и жизнь в Москве, в Кирпичникове сохранилась первобытность и способность удивляться простым вещам.

Михаил ходил по Риге и улыбался от удовольствия видеть такой город и иметь в себе верную мысль всеобщего богатства и здоровья. Ходил он столько дней, пока у него не вышли харчи; тогда он пошел в порт.

Голландский пароход «Индонезия», сгрузив индиго, чай и какао, грузился лесом, пенькой, деревообделочными машинами и разными изделиями советской индустрии. Из Риги он должен идти в Амстердам, там произведет текущий ремонт машин, а затем уйдет в Сан-Франциско, в Америку.

Михаила Кирпичникова взяли на пароход помощником кочегара — подкидчиком угля, потому что Кирпичников согласился работать за половинную цену.

Через десять дней «Индонезия» тронулась: и перед Михаилом открылся новый могучий мир пространства и бешеной влаги, о котором он никогда особенно не думал.

Океан неописуем. Редкий человек переживает его по-настоящему, тем чувством, какого он достоин. Океан похож на тот великий звук, который не слышит наше ухо, потому что у этого звука слишком высок тон. Есть такие чудеса в мире, которых не вмещают наши чувства, именно потому, что наши чувства их не могут вынести, а если бы попробовали, то человек разрушился бы.

Вид океана снова убедил Михаила в необходимости достигнуть богатой жизни и отыскать «эфирный тракт», а вечная работа воды заражала его энергией и упорством.

XI

Десять месяцев прошло, как ушел Михаил из Ржавска. В свежее утро раннего лета среди молодых розовых гор Калифорнии шагал Михаил к далеким лимонным рощам и цветочным полям Риверсайда.

Кирпичников чувствовал в себе сердце, в сердце был напор крови, а в крови — надежда на будущее, на сотни счастливых советских лет.

И Михаил спешил среди ферм, обгоняя стада, сквозь веселый белый бред весенних вишневых садов. Калифорния немного напоминала Украину, где Кирпичников бывал мальчиком, где народ был сплошь здоровый, рослый и румяный, а коричневые обнажения древных горных пород напоминали Кирпичникову, что родина его далеко и что там сейчас, наверное, грустно.

И свирепея, отчаиваясь, завидуя, упираясь в твердые ноги, Кирпичников почти бежал, спеша достигнуть таинственного Риверсайда, где сотни десятин под розами, где из нежного тела беззащитного цветка выгоняется

тончайшая драгоценная влага и где, быть может, работает возбудитель того рефлекса, который выведет его на «эфирный тракт»: в Риверсайде находилась тогда знаменитая лаборатория по физике эфира, принадлежащая Американскому электрическому униону.

Четверо суток шел Михаил. Он немного заблудился и дал круг километров в пятьдесят.

Наконец он достиг Риверсайда. В городе было всего домов тысячу; но улицы, электричество, газ, вода — все было удобно обдумано и устроено, как в лучшей столице.

У околицы города висела вывеска: «Путник, только у Глэп-Бабкока, в гостинице «Четырех стран Света», высосут пыль из твоей одежды (вакуумпюпитры), предложат влагу лучших источников Риверсайда, накормят стерилизованной пищей, почти не дающей несваренных остатков, и уложат в постель, с электрическими грелками и рентгенокомпрессором, изгоняющим тяжелые сновидения».

Кирпичников немного понимал по-английски и теперь развлекался этими надписями.

«Американцы! В Вашингтоне — ваша мудрость! В Нью-Йорке — слава! В Чикаго — кухня! В Риверсайде — ваша красота! Американцы, вы должны быть настолько красивы, насколько энергичны и богаты: заказывайте тоннами пудру Ривергрэн!»

«В Фриско — наши корабли, в Риверсайде — наши женщины! Американки, объясните мужьям — нашей стране нужны не только броненосцы, но и цветы! Американки, записывайтесь в Добровольную ассоциацию поощрения национального цветоводства: Риверсайд, 1, А/34».

«Масло розы — основа богатства нашего округа! Масло розы — основа здоровья нации! Американцы, умащайте ваши мужественные тела эссенцией розы — и вы не потеряете мужества до ста лет!»

«В Азии — Месопотамия, но без рая! В Америке — Риверсайд, но в раю!»

«Элементы нашего национального рая суть:

Пища — жилище — влага: Глэн-Бабкок.

Одежда — красота — мораль: Кацманзон.

Искусство — рассуждение — религия — пути провидения — вечная слава: универсальное блок-предприятие Звездного треста.

Вечный покой: анонимная компания «Урна».
Эксплуатация времени в целях смеха и развлечения: изолированная обитель «Древо Евы».
Препараты «Антисексус»: «Беркман, Шотлуа и К°».
«Ходят только в башмаках Скржга, в остальной обуви ползают!»
«Приведи в действие тормоз опасности! Стоп! Дальше — конец света! Зайди в наш дом «Сотворение мира»!»
«Джентльмены! Танец творит человека — творите себя: танц-зал напротив! Маэстро Майнрити: стаж 50 лет в странах Европы».
«Помолись! Каждый обречен на смерть! Встреча с богом неминуема! Что ты скажешь ему? Зайди в Дом абсолютной религии! Вход бесплатный. Хор юных дев зафиксированного целомудрия! Оживленная статуя истинного бога! Мистические процедуры, стихи, музыка нерожденных душ, ароматное помещение! Кино религиозными методами иллюстрирует современность, пастор Фокс доказывает соответствие истории и Библии! Посетившему гарантируется стерилизация души и возвращение перводушевности!»
«Звездное знамя есть знамя небесного бога! Аллилуйя!»
«Наклони голову: тебя ждут обувные автоматы и препараты против пота!»
«Главное в жизни — пища! И — наоборот! Усовершенствованные экскрементарии в каждом квартале Риверсайда ждут тебя! Осознай желудок!»
«Аэропланы в розницу, с бесплатной упаковкой: «Эптон Гаген».
Кирпичников хохотал. Он читал где-то, что американцы по развитию мозга — двенадцатилетние мальчики. Судя по Риверсайду, это была точная правда.
Работу себе нашел Кирпичников через четыре дня: машинистом на насосной станции, поднимающей воду из реки Квебек в лимонные сады.
Прошел монотонный месяц. Кругом жили глупые люди: работа, еда, сон, ежевечернее развлечение, абсолютная вера в бога и в мировое первенство своего народа. Очень любопытно! Кирпичников наблюдал, молчал и терпел, друзей никаких не имел.
Адреса своего Кирпичников дома не оставил, записки тоже, однако то, что он отправился в Америку, на

родине было известно. Кирпичников, как всегда, внимательно читал газеты и однажды увидел в «Чикагском ораторе» следующее объявление:

«Мария Кирпичникова просит своего бывшего мужа Михаила Кирпичникова вернуться на Родину, если ему дорога жизнь жены. Через три месяца Кирпичников жену в живых не застанет. Это не угроза, а просьба и предупреждение!»

Кирпичников вскочил, бросился к машине и закрыл клапан паропровода. Машина остановилась.

Сейчас же зазвонил телефон:

— Алло! В чем дело, механик?

— Посылайте смену до срока! Ухожу!

— Алло! В чем дело? Куда уходите? Что за шутки дьявола? Пустите сейчас же насос, иначе взыщем убытки! Алло, вы слушаете? Достаточно ли у вас долларов для уплаты штрафа? Я звоню полиции.

— Убирайся к черту, двенадцатилетний дурак! Я предупредил: ухожу без расчета!

Кирпичников выбежал по мостику с плавучего понтона, на котором помещалась установка, и пустился по долине Квебека на запад, не успевая думать. Солнце жалило зноем, горизонт закрыт горами, подошвы которых устланы тучными плантациями, и жаль было, что великолепные плоды Земли превращались, в конечном счете, в темную глупость и бессмысленное наслаждение человека.

XII

Снова пошли дни, мучительные поиски заработка, тысячи затруднений и приключений. Описание даже обычного дня человека заняло бы целый том, описание дня Кирпичникова — четыре тома. Жизнь — в работе молекул; никто еще не уяснил себе, ценою каких трагедий и катастроф согласуется бытие молекул в теле человека и создается симфония дыхания, сердцебиения и размышления. Это неизвестно. Потребуется изобретение нового научного метода, чтобы его заостренным инструментом просверлить скважины в пучинах нутра человека и посмотреть, какая там страшная работа.

Снова океан. Но Кирпичников уже не кочегар на судне, а пассажир. В Нью-Йорке он попал в мертвую хват-

ку голода. Работы не было, и он вышел из бедствия лишь случайно. Еще в студенческие годы он изобрел однажды точный регулятор напряжения электрического тока. После недельной сплошной голодовки он начал обходить тресты и предприятия с предложением своего изобретения.

Наконец Западная индустриальная компания купила у него проект регулятора. Однако его заставили изготовить рабочие чертежи всех деталей. Кирпичников просидел над этим делом два месяца и получил всего двести долларов. Это его спасло.

Вез его океанский пароход линии Гамбург — Америка со средней скоростью шестьдесят километров в час. Кирпичников знал свою жену и был уверен, что, если он не поспеет к сроку домой, она будет мертвой. Самоубийства он не допускал, но что же это будет? Он слышал, что в старину люди умирали от любви. Теперь это достойно лишь улыбки. Неужели его твердая, смелая, радующаяся всякой чепухе жизни Мария способна умереть от любви? От старинной традиции не умирают, тогда отчего же она погибнет?

Размышляя и томясь, Кирпичников блуждал по палубе. Он заметил прожектор далекого встречного корабля и остановился.

Вдруг сразу похолодало на палубе — начал бить страшный северный ветер, потом на судно нахлобучилась водяная глыба и в один миг сшибла с палуб и людей, и вещи, и судовые принадлежности. Судно дало крен почти в 45° к зеркалу океана. Кирпичников уцелел случайно, попав ногой в люк.

Воздух и вода гремели и выли, густо перемешавшись, разрушая судно, атмосферу и океан.

Стоял шум гибели и жалкий визг предсмертного отчаяния. Женщины хватали ноги мужчин и молили о помощи. Мужчины били их кулаками по голове и спасались сами.

Катастрофа наступила мгновенно, и, несмотря на высокую дисциплину и мужество команды, ничего существенного по спасению людей и судна сделать было нельзя.

Кирпичникова сразу поразила не сама буря и мертвая стена воды, а мгновенность их нашествия. За полминуты до них на океане был штиль, и все горизонты были открыты. Пароход заревел всеми гудками, радио

заискрило тревогу, началось спасение смытых пассажиров. Но вдруг буря затихла, и судно мирно закачалось, нащупывая равновесие.

Горизонт открылся — в километре шел европейский пароход, сияя прожекторами и спеша на помощь.

Мокрый Кирпичников суетился у катера, налаживая отказывающийся работать мотор. Он не вполне сознавал, как попал к катеру. Но катер необходимо спустить немедленно: в воде захлебывались сотни людей. Через минуту мотор заработал: Кирпичников зачистил его окислившиеся контакты — в этом была вся причина.

Михаил влез в кабинку катера и крикнул: «Отдавай блоки!»

В эту минуту непроницаемый едкий газ затянул все судно, и Кирпичников не мог увидеть своей руки. И сейчас же он увидел падающее, одичалое, нестерпимо сияющее солнце и сквозь треск своего рвущегося мозга услышал на мгновение неясную, как звон Млечного Пути, песню и пожалел о краткости ее.

XIII

Правительственное сообщение, помещенное в газете «Нью-Йорк таймс», было передано из-за границы Телеграфным агентством СССР.

«В 11 часов 15 минут 24.IX с. г. под 42°11′ сев. шир. и 62°4′ зап. долготы затонули американское пассажирское судно «Калифорния» (8485 человек, считая команду) и германское судно «Клара» (6841 человек с командой), шедшее на помощь первому. Точные причины не выяснены. Надлежащее следствие ведется обоими правительствами. Спасенных и свидетелей катастрофы нет. Однако главную причину гибели обоих судов следует считать установленной: на «Калифорнию» вертикально упал болид гигантских размеров. Этот болид увлек корабль на дно океана; образовавшаяся воронка засосала также и «Клару».

По мере хода следствия и подводных изысканий публика будет своевременно и полностью информирована».

Сообщение было перепечатано во всех газетах мира. Наибольшее страдание оно доставило не сиротам, не невестам, не женам и родственникам погибших, а Исааку Матиссену, директору Кочубаровской опытно-мелиора-

тивной станции близ селения Волошино Воронежского округа Центрально-черноземной области.

— Ну что, голова! Достиг вселенской мощи — наслаждайся теперь победой! — шептал Матиссен самому себе с тем полным спокойствием, которое соответствует смертельному страданию.

И только пальцами он зря крошил хлеб, скатывал ядрышки и сшибал их щелчками со стола на пол.

— Ведь, по сути и справедливости, я ничего и не достиг. Я только испытал новый способ управления миром, и совсем не знал, что случится! — Матиссен встал, вышел на ночной двор и крикнул собаку.— Волчок! Эх ты, тварь кобелястая! — Матиссен погладил подбежавшую собаку.— Верно, Волчок, что сердце наше — это болезнь? А? Верно ведь, что сентиментальность — гибель мысли? Ну, конечно, так! Разрубим это противоречие в пользу головы и пойдем спать!

Матиссен закричал через забор в открытое поле, пугая невидимых, но возможных врагов, Волчок заскулил — и оба разошлись спать.

Хутор затих. Тихо шептала речонка в долине, подвигая свои воды к далекому океану, и в Кочубаровеселе отсекал исходящий газ двигатель электростанции. Там люди глубоко спали, не имея родственников ни на «Калифорнии», ни на «Кларе».

Матиссен тоже спал — с помертвелым лицом, оловянным, утихшим сердцем и распахнутым зловонным ртом. Он никогда не заботился ни о гигиене, ни о здоровье своей личности.

Проснулся Матиссен на заре. В Кочубарове чуть слышно пели петухи. Он почувствовал, что ему ничего не жалко: значит, окончательно умерло сердце. И в ту же минуту он понял, что ему неинтересно и то, чего он добился,— не нужно ему самому. Он узнал, что сила сердца питает мозг, а мертвое сердце умерщвляет ум.

В дверь постучался ранний гость. Вошел знакомый крестьянин Петропавлушкин.

— Я к вам от нашей коммуны пришел, Исаак Григорьевич! Вы не обижайтесь, я сам по званию и по науке помощник агронома и суеверия не имею!..

— Говори короче, в чем твое дело? — подогнал его Матиссен.

— Наше дело в том, что вы слово особое знаете и им

пользу большую можете делать. Мы же знаем, как от вашей думы машины начинают работать.

— Ну и что же?

— Нельзя ли, чтобы вы такую думу подумали, чтоб поля круче хлеб рожали...

— Не могу,— перебил Матиссен,— но, может быть, открою, тогда помогу вам. Вот камень с неба могу бросить на твою голову!..

— Это ни к чему, Исаак Григорьевич! А ежели камень можете, то почва ближе неба...

— Дело не в том, что почва ближе...

— Исаак Григорьевич, а я вот читал, корабли в океане утонули тоже от небесного камня. Это не вы американцам удружили?

— Я, товарищ Петропавлушкин! — ответил Матиссен, не придавая ничему значения.

— Напрасно, Исаак Григорьевич! Дело не мое, а полагаю, что напрасно!

— Сам знаю, что напрасно, Петропавлушкин! Да что же делать-то? Были цари, генералы, помещики, буржуа были, помнишь? А теперь новая власть объявилась — ученые. Злое место пустым не бывает!

— А я того не скажу, Исаак Григорьевич! Если ученье со смыслом да с добросердечностью сложить, то, я полагаю, и в пустыне цветы засияют, а злая наука и живые нивы песком закидает!

— Нет, Петропавлушкин, чем больше наука, тем больше ее надо испытывать. А чтоб мою науку проверить, нужно целый мир замучить. Вот где злая сила знания! Сначала уродую, а потом лечу. А может быть, лучше не уродовать, тогда и лекарств не нужно будет...

— Да разве одна наука уродует, Исаак Григорьевич? Это пустое. Жизнь глупая увечит людей, а наука лечит!

— Ну, хотя бы так, Петропавлушкин! — оживился Матиссен.— Пускай так! А я вот знаю, как камни с неба на землю валить, знаю еще кое-что похуже этого! Так что же меня заставит не делать этого? Я весь мир могу запугать, а потом овладею им и воссяду всемирным императором. А не то всех перекрошу и пущу газом!

— А совесть, Исаак Григорьевич, а общественный инстинкт? А ум ваш где же? Без людей вы тоже далеко не уплывете, да и в науке вам все люди помогали! Не сами же вы родились и разузнали сразу все!

— Э, Петропавлушкин, на это можно высморкаться! А ежели я такой злой человек?

— Злые умными не бывают, Исаак Григорьевич!

— А по-моему, весь ум — зло! Весь труд — зло! И ум и труд требуют действия и ненависти, а от добра жалеть да плакать хочется...

— Несправедливо вы говорите, Исаак Григорьевич! Я так непривычен, у меня аж в голове шумит!.. Так наша коммуна просит помощи, Исаак Григорьевич! Очень земля истощена, никакой фосфат уже не утучняет. Вам думу почве передать не трудно, а нам жизнь от этого! Уж вы, пожалуйста, Исаак Григорьевич! Вон как прелестно у вас: подошел, подумал что следует — и машина воду сама погнала! Так бы и нам материнство в почву дать! До свиданья пока!

— Ладно. Прощай! — ответил Исаак Григорьевич.

«А этот человек умен,— подумал Матиссен,— он почти убедил меня, что я выродок!»

Затем Матиссен окончательно оделся и перешел в другую комнату. В ней стоял плоский и низкий стол размером 4×2 метра. На столе помещались приборы. Матиссен подошел к самому маленькому аппарату. Он включил в него ток от аккумуляторов и лег на пол. Сейчас же он потерял ясное сознание, и его начали терзать гибельные кошмары почти смертельной мощи, почти физически разрушающие мозг. Кровь переполнялась ядами и зачерняла сосуды; все здоровье Матиссена, все скрытые силы организма, все средства его самозащиты были мобилизованы и боролись с ядами, приносимыми кровью, обращающейся в мозгу. А сам мозг лежал почти беззащитным под ударами электромагнитных волн, бьющихся из аппарата на столе.

Эти волны возбуждали особые мысли в мозгу Матиссена, а мысли стреляли в космос особыми сферическими электромагнитными бомбами. Они попадали где-то, быть может, в глуши Млечного Пути, в сердце планет, и расстраивали их пульс, и планеты сворачивали с орбит и гибли, падая и забываясь, как пьяные бродяги.

Мозг Матиссена был таинственной машиной, которая пучинам космоса давала новый монтаж, а аппарат на столе приводил этот мозг в действие. Обычные мысли человека, обычное движение мозга бессильны влиять на мир, для этого нужны вихри мозговых частиц — тогда мировое вещество сотрясает буря.

Матиссен не знал, когда начинал опыт, что случится на земле или на небе от его нового штурма. Тем чудесным и неповторимым строением электромагнитной волны, которую испускал его мозг, он еще не научился управлять. А именно в особом строении волны и был весь секрет ее могущества; именно это било мировую материю по самому нежному месту, и от боли она сдавалась. И такие сложные волны мог давать только живой мозг человека и лишь при содействии мертвого аппарата.

Через час особые часы должны прервать ток, питающий мозговозбудительный аппарат на столе, и опыт прекратится.

Но часы остановились: их забыл завести Матиссен перед началом опыта. Ток неутомимо питал аппарат, и аппарат тихо гудел в своем труде.

Прошло два часа. Тело Матиссена таяло пропорционально квадрату количества времени. Кровь из мозга поступала сплошной лавой трупов красных шариков. Равновесие в теле нарушилось. Разрушение брало верх над восстановлением. Последний неимоверный кошмар вонзился в еще живую ткань мозга Матиссена, и милосердная кровь погасила последний образ и последнее страдание.

В девять часов утра Матиссен лежал мертвым — с открытыми глазами. Аппарат усердно гудел и остановился только к вечеру, когда иссякла энергия в аккумуляторе.

Весь день мимо дома Матиссена бежали упряжки лошадей и полуторатонные грузовики — возить отаву с лугов, заготовлять впрок корм скоту.

Петропавлушкин водил автомобиль-грузовичок, улыбался мировому пространству в полях и успокоительно думал о пользе добросердечной науки, коей он сам немалый соучастник.

XIV

Через два дня «Известия» в отделе «Со всего света» напечатали информацию Главной астрономической обсерватории:

«В созвездии Гончих Псов при ясном небе вторые сутки обнаруживается альфа-звезда.

В Млечном Пути, на 4-й дистанции (9-й сектор), образовалось пустое пространство — разрыв. Его земной

угол=4°71′. Созвездие Геркулеса несколько смещено, вследствие чего вся солнечная система должна изменить направление своего полета. Столь странные явления, нарушившие вековое строение неба, указывают на относительную хрупкость и непрочность самого космоса. Обсерваторией ведутся усиленные наблюдения, направленные к отысканию причин этих аномалий».

В дополнение к этому в ближайшем номере обещалась беседа с академиком Ветманом. Из других телеграмм с ¼ земного шара (тогдашние размеры СССР) не явствовало, чтобы Земля потерпела что-либо существенное от звездных катастроф, исключая петитную информацию с Камчатки:

«На горы село небольшое небесное тело, около десяти километров в поперечнике. Строение его неизвестно. Форма — сфероид. Тело прилетело с небольшой скоростью и плавно приземлилось к вершинам гор. В бинокли видны огромные кристаллы на его поверхности. Местным Обществом любителей природоведения снаряжена экспедиция для предварительного изучения опустившегося тела. Но экспедиция не может дать быстрых результатов, горы почти неприступны. Из Владивостока затребованы аэропланы. Сегодня в направлении небесного тела пролетела небольшая эскадрилья японских аэропланов».

На следующий день эта заметка превратилась в сенсацию, и странному событию была посвящена статья в триста строк академика Ветмана.

В тот же день «Беднота» сообщила о смерти инженера-агронома Матиссена, известного в кругах специалистов работника по оптимальному режиму влаги в почве.

И только помощнику агронома в Кочубарове Петропавлушкину, выписывающему и «Известия» и «Бедноту», пришла в голову нечаянная мысль о связи трех заметок: Матиссен умер, на Камчатские горы села планетка, одна звезда пропала и лопнул Млечный Путь. Но кто же поверит такому деревенскому бреду?

Хоронили Матиссена торжественно. Почти вся Кочубаровская сельскохозяйственная коммуна шла за его гробом. Земледелец издревле любит странников и чудородных людей. А молчаливый одинокий Матиссен был из таких — это явно чувствовали в нем все. Последний ободок волос на лысом черепе Матиссена осыпался, когда гроб резко толкнули неловкие руки. Это

удивило всех крестьян, и к мертвому Матиссену прониклись еще большей жалостью и уважением.

Похороны Матиссена совпали с концом работ подводной экспедиции, отправленной правительствами Америки и Германии для отыскания затонувших «Калифорнии» и «Клары».

Снимаясь с места катастрофы, экспедиция отправила радио в Нью-Йорк и Берлин:

«Считать установленным точной разведкой — живая сила болида была титанически велика: «Калифорния» и «Клара» загнаны болидом глубоко в дно океана, и сам болид утонул в недрах океанического ложа. В месте катастрофы образовалась впадина диаметром в сорок километров, с наибольшей глубиной, считая от прежнего уровня дна, в 2,55 километра. Только подводное бурение может указать глубину залегания всех трех тел — «Калифорнии», «Клары» и самого болида. Надо ожидать сильной деформации изыскиваемых предметов».

В ответ на это оба правительства телеграфировали:

«Бурите дно океана. Соответствующие кредиты открыты».

Экспедиция послала одно из своих судов за добавочным оборудованием для буровых подводных работ, а через две недели начала бурение.

Петропавлушкин был селькором «Бедноты». Наука держала мир в панике сенсаций. Каждый день манифесты ее открытий занимали половину ежедневной прессы. Было время: веселился воин, потом торжествовал богач, а теперь настало время ученого-героя и ликующего знания. В науке поместилось ведущее начало Истории.

В стороне от науки стоять не было терпения, и Петропавлушкин написал в «Бедноту» корреспонденцию, которая должна дать ему внутреннее удовлетворение соучастника всемирной науки.

Девять дней его терзала догадка, потом она превратилась в теплое убеждение, греющее мозг.

Корреспонденция называлась «Битва человека со всем миром».

«Ученый-инженер и агроном Исаак Григорьевич Матиссен, что умер на днях, как то известно читателям, изобрел такие мысли, что они сами по себе могли кидать метеоры на Землю. Перед смертью Исаак Гри-

горьевич говорил мне, что он и не то будет еще делать. Американский корабль утонул тоже по его власти. А я ему отсоветовал так отягощаться бедой. Но он насмеялся над здравым смыслом полунаучного человека (я имею степень помощника агронома по полеводству). И вот я уверился, что Млечный Путь лопнул от мыслей Исаака Григорьевича. Смешно говорить, но он умер от такого усилия. У него жилы лопнули в голове и произошло кровоизлияние. Кроме Млечного Пути, Исаак Григорьевич навеки испортил одну звезду и совлек Солнце с Землею с их спокойного, гладкого пути. От этого же, я так думаю, и какая-то планета отчего-то прилетела на Камчатские полуострова.

Но дело прошлое. Теперь Исаак Григорьевич умер и только зря поломал мировое благонадежное устройство. А мог бы он и добро делать, только не захотел отчего-то и умер.

Я освещаю этот мировой факт и требую к нему доверия, потому что я очевидец всему. Доказательство тому — мой предварительный разговор с Исааком Григорьевичем перед его уединенной смертью.

Разгадка теперь дана всем малосведущим, и факт стал фактом во всеуслышание.

Долой злые тайны и да здравствует сердечная наука!

Селькор и помощник участкового агронома по полеводственной дисциплине Петропавлушкин».

В редакции «Бедноты» посмеялись над таким доносом на мертвого и написали товарищу Петропавлушкину теплое письмо, полное разубеждения, пообещав прислать ему такие книги, которые его сразу вылечат от идеалистического сумбура.

Петропавлушкин обиделся и перестал писать корреспонденции. Потом одумался, разозлился и написал открытку:

«Граждане! Редакторы-издатели! Полуученый человек сообщил вам факт, а вы не поверили, будто я совсем не ученый. Прошу опомниться и поверить хоть на сутки, что мысль не идеализм, а твердое могучее вещество. А все мироздания с виду прочны, а сами на волосках держатся. Никто волоски не рвет, они и целы. А вещество мысли толкнуло — все и порвалось. Так о чем же речь и насмеяние фактов? Вселенский мир — это вам не бумажная газета. Остаюсь с упреком — бывший селькор Петропавлушкин»

XV

Мария Александровна Кирпичникова прочитала в списке погибших на «Калифорнии» имя своего мужа. Она знала, что он к ней вернется, теперь узнала, что его нет на свете.

Она его не видела двенадцать месяцев, а теперь не увидит никогда.

— Кончена жизнь...— вслух сказала она и подошла к окну.

— Что, мама? — спросил пятилетний сын, возившийся с кошкой.

— Лето кончается, сынок! Видишь, падают листья на улице.

— А отчего ты плачешь? Папа не приедет?

— Приедет, милый!..

Мать его начала обнимать и уговаривать лечь поспать, чтобы не быть вечером дохлым. Мальчик сопротивлялся, лаская мать.

— Ляг, поспи, мальчик. Папа скорей приедет!

— Не ври, мамка. Сколько раз спал, а он все не едет!

— Ну, ты так ляг, полежи. А то к бабушке отправлю, как Левочку, скучать по мне будешь. Поедешь к бабушке?

— Не поеду я!

— Почему?

— Мне там скучно будет, а без меня папа приедет!

И все же мальчик улегся спать — мать знает, как это сделать. Мария Александровна посмотрела на ребенка — лицо его стало мирным и необыкновенным, вызывающим жалость и новые силы любви. Кажется, пусть только проснется он — и все станет новым, и мать его никогда не обидит. Но это был только милый обман образа спящего беззащитного ребенка: просыпался мальчик снова маленьким бандитом и изувером, и даже мебель от него уставала.

Оставшись в покое, Мария Александровна решила неуклонно жить. Но она понимала, что теперь всю энергию своего сознания она должна бросить на то, чтобы урегулировать свое плачущее, любящее сердце. И только тогда она устоит на ногах, иначе можно умереть во сне.

Спать она боялась ложиться, отдыхающий безза-

щитный мозг могут растерзать дикие образы ее неутомимого несчастья. Она знала, что в спящем человеке разводятся страшные образы, как сорняки в некультурных, заброшенных полях.

И грядущая ночь ей была непостижимо страшна.

Как женщина, как человек, она хотела бы иметь горсть пепла от праха своего мужа. Отвлеченная могила под дном океана не давала веры в настоящую смерть, но темным инстинктом она была убеждена, что Михаил уже не дышит воздухом Земли.

Спящий Егорушка до привидения напоминал ей мужа. Отсутствовали только морщины и складки утомленного рта.

Мария Александровна не совсем понимала мужа: ей была непонятна цель его ухода. Она не верила, что живой человек может променять теплое, достоверное счастье на пустынный холод отвлеченной одинокой идеи. Она думала, что человек ищет только человека, и не знала, что путь к человеку может лежать через стужу дикого пространства. Мария Александровна предполагала, что людей разделяют лишь несколько шагов.

Но ушел Михаил, а потом умер в далеком плавании, ища драгоценность своей затаенной мысли. Мария Александровна, конечно, знала, чего ищет ее муж. Она понимала смысл размножения материи. И в этой области хотела помочь мужу. Она купила ему десять экземпляров большого труда — перевод символов только что найденной в тундре книги, изданной под именем «Генерального сочинения». В Аюнии, вероятно, сильно было развито чтение: этому способствовала тьма восьмимесячной ночи и уединенность жизни аюнитов.

При строительстве второго вертикального термического тоннеля, когда Кирпичников уже пропал, строители обнаружили четыре гранитные плиты с символами на них, исполненными крупным рельефом. Символы были того же начертания, что и в ранее найденной книге «Песни Аюны», поэтому легко поддались переложению на современный язык.

Плиты-писанцы, вероятно, были памятником и завещанием философа-аюнита, но в них содержались мысли о сокровенном содержании природы. Мария Александровна исчитала всю книгу и нашла ясные намеки на то, что искал ее муж по всей пустой земле. Далекий мертвый человек давал помощь ее мужу, учено-

му и бродяге, давал помощь счастью женщины и матери.

И вот тогда Мария Александровна дала объявления в пять американских газет.

Она изучила на память нужные места в «Генеральном сочинении», боясь утратить как-нибудь книгу и не встретить Михаила с наилучшей для него радостью.

«Лишь живое познается живым,— писал аюнит,— мертвое непостижимо. Неимоверное нельзя измерить достоверным. Именно посему мы познали отчетливо такое далекое, как аэны (соответствует электронам.— Примечание переводчиков и излагателей), и нам осталось мало известным такое близкое, как мамарва (соответствует материи.— Примечание переводчиков и излагателей). Это потому что первое живет, как ты живешь, а второе — мертво, как Муйя (неизвестный образ.— Примечание переводчиков и излагателей). Когда аэны шевелились в пройе (соответствует атому.— Примечание переводчиков и излагателей), сначала мы видели в этом механическую силу, а потом с радостью открыли в аэнах жизнь. Но центр пройи, полный мамарвы, был веками загадкой, пока мой сын достоверно не показал, что центр пройи состоит из тех же аэнов, только мертвых. И, мертвые, они служат пищей живым. Стоило сыну моему извлечь из пройи ее середину, как все живые аэны погибли от голода. Так вышло, что центр пройи есть амбар пищи для живых аэнов, пасущихся вокруг этой обители трупов своих предков, чтобы пожирать их. Так просто и сияюще истинно была открыта природа всей мамарвы. Вечная память моему сыну! Вечная скорбь его имени! Вечное почитание его утомленному образу!»

Это Мария Александровна знала наизусть, как ее сын стихотворение про рыжего важного шофера.

Остальная часть «Генерального сочинения» содержала учение об истории аюнитов — о ее начале и близком конце, когда аюниты найдут свой зенит во времени и в природе, когда все три силы — народ аюнитов, время и природа — придут в гармоническое соотношение, и их бытие втроем зазвучит как симфония.

Это Марию Александровну мало интересовало. Она искала равновесие своего личного счастья и не вполне осваивала откровения неведомого аюнита.

И только последние страницы книги заставили ее вздрогнуть и забыться в удивленном внимании.

«...Ныне это так же стало возможным, как было в эпоху детства моей родины. Тогда возмутились пучины Материнского Океана (Северного Ледовитого.— Примечание редактора) и Океан начал заливать нашу Землю жесткой, мерзлой водой, перемешанной с глыбами льда. Вода ушла, а льды остались. Они долго ползли по холмам нашей просторной Земли, пока не стерли их, и наша родина превратилась в бесплодную равнину. Лучшие плодородные почвы на холмах были срезаны льдом, и народ остался в голодном поле. Но беда лучший наставник, а катастрофа народа — организатор его, если еще не обеспложена кровь людей долгой жизнью на Земле. Так и тогда: льды разрушили плодоносную землю, лишили наших предков питания и размножения, и гибель спустилась над головою народа. Горячий поток в океане, отапливавший страну, начал удаляться на север, и стужа завыла над той землей, где цвели сумрачные аргоны. На севере нас сторожил хаос мертвых льдов, на юге — лес, набитый темной тучей мощных зверей, наполненный свистом мрачных гадов и пересеченный целыми реками яда зундры (испражнения гигантских змей.— Примечание редактора). Народ Аюны, народ мужества и чувства уважения к своей судьбе, начал себя умерщвлять, закапывая свои книги — высший дар Аюны — в землю, оковав их золотом, пропитав листы составом веньи, дабы они могли уцелеть вечность и не сгнить.

Когда половина народа была покорена смертью и лежала трупами, явился Эйя — хранитель книг — и пошел бродить по опустевшим дорогам и замолкающим жилищам. Он говорил: «У нас отнято материнство почвы, погасает теплота воздуха, лед скребет нашу родину, и горе тушит мудрость ума и мужество. У нас остался только свет солнца. Я сделал аппарат — вот он! Страдание научило меня терпению, и дикие годы отчаяния народа я сумел плодотворно использовать. Свет — сила терзаемой мамарвы (изменяющейся материи.— Примечание редактора), свет — стихия аэнов; мощь аэнов сокрушительна. Мой аппарат превращает потоки солнечных аэнов в тепло. И не только свет солнца, но и луны и звезд я могу своей простой машиной превратить в тепло. Я могу получить огромное количество

тепла, которым можно расплавить горы. Нам теперь не нужен теплый поток океана, чтобы греть нашу землю!

Так Эйя стал водителем жизни и началом новой истории Аюны. Его аппарат, состоящий из сложных зеркал, преобразующих свет неба в тепло и в живую силу металла (вероятно, электричество.— Примечание редактора) и поныне служит источником народной жизни и довольства.

Равнины родины расцвели, и родились новые дети. Прошел эн (очень длительный промежуток времени.— Примечание редактора).

Организм человека был исчерпан. Даже молодой мужчина не мог производить семени, даже сильнейший разум перестал рождать мысль. Долины родины покрылись сумраком последнего отчаяния — человек дошел до предела в самом себе — солнце нашего сердца закатывалось навсегда. Перед этим льды были ничто, холод — ничто, смерть — ничто. Человек питался одним презрением к себе. Он не мог ни любить, ни мыслить и даже не мог страдать. Источники жизни иссякли в недрах тела, потому что они были выпиты. У нас были горы пищи, дворцы уюта и кристаллические книгохранилища. Но не было больше судьбы, не стало живости и жара в теле, затмились надежды. Человек — рудник, но руда была выработана вся, остались пустые шахты.

Хорошо погибнуть на крепком корабле в диком океане, но плохо насмерть захлебнуться пищей.

Так было долго. Целое поколение не познало молодости.

Тогда мой сын Рийго нашел исход. Чего не могло дать естество, то дало искусство. Он сохранил остатки живого мозга в себе и сказал нам, что судьба наша кончается, но еще можно открыть ей двери — нас ждет ясный день. Решение было просто: электромагнитное русло. (В подлиннике: труба для живой силы металла.— Примечание редактора). Рийго провел из пространства пищепровод к аэнам нашего мрачного тела, пустил по этому пищепроводу потоки мертвых аэнов (соответствует эфиру.— Примечание редактора), и аэны нашего тела, получив избыток пищи, ожили. Так были воскрешены наш мозг, наше сердце, наша любовь к женщине и наша Аюна. Но больше того; дети росли скорее в два раза, и жизнь в них пульсировала как сильнейшая машина. Все остальное — сознание, чувст-

ва и любовь — выросло в страшные стихии и напугало отцов. История перестала шествовать и начала мчаться. И ветер судьбы бил нас в незащищенное лицо великими новостями мысли и поступков.

Изобретение моего сына, как все замечательное, имеет серое лицо. Рийго взял два центра пройи, наполненные трупами аэнов, и поместил в одну пройю. Тогда живые аэны пройи стали быстро размножаться, и вся пройя выросла за десять дней в пять раз. Причина видна и невзрачна: аэны стали больше питаться, потому что запас их пищи увеличился в два раза.

Так Рийго развел целые колонии сытых, быстрорастущих, неимоверно множащихся аэнов. Тогда он взял обыкновенное тело — кусок железа — и мимо него, лишь касаясь железа, начал излучать в направлении звезд поток сытых аэнов, разведенных в колониях. Сытые аэны не перехватывали для пищи трупы своих предков (то есть эфир.— Примечание редактора), и те свободно текли к куску железа, где их ждали голодные аэны. И железо начало расти на глазах людей, как растение из земли, как ребенок в животе матери.

Так искусство моего сына оживило человека и начало выращивать вещество.

Но победа всегда подготовляет поражение.

Искусственно откормленные аэны, имея более сильное тело, стали нападать на живых, на естественных аэнов и пожирать их. А так как при всяком превращении вещества есть неустранимые потери, то пожранный маленький аэн не увеличивал тела большого аэна настолько, сколько имел сам, когда был живой. Так вещество то там, то здесь — всюду, куда попадали откормленные аэны (электроны — дальше пользуемся этим современным термином.— Примечание редактора),— начало уменьшаться. Искусство Рийго не смогло сделать пищепровод для всей Земли, и вещество таяло. Только там, куда был проложен тракт для потока трупов электронов («эфирный тракт».— Примечание редактора), вещество росло. «Эфирными трактами» были снабжены люди, почва и главнейшие вещества для нашей жизни. Все остальное уменьшалось в своих размерах, вещество сгорало, мы жили за счет разрушения планеты.

Рийго исчез из дому. В Материнском Океане начала пропадать вода. Рийго знал причину исчезновения

влаги и вышел встречать противника. Однажды откормленное и воспитанное им племя электронов работой времени и естественным отбором достигло того, что каждый электрон равнялся облаку по объему тела.

В неистовой свирепости шли тучи электронов из недр Материнского Океана, колыхаясь, как горы при землетрясении, дыша, как могучие ветры. Аюна будет выпита ими, как обычная вода, и Рийго пал. Нельзя вытерпеть взгляд электрона. Гнусна будет смерть от ужаса, но нет спасения больше Аюне. Рийго давно пал в безвестности, как камень в колодезь. Слишком медленно идут эти космические звери. Но слишком быстро прошли они путь от частички пройи до живой горы. Я думаю, они тонут в земле, как в твороге, потому что тело их тяжелее свинца. Наверное, Рийго пал не зря, а имея решение и способ победить неизвестные элементарные тела. В быстром росте, в бешеном действии естественного отбора — сила электрона. В этом и слабость их, потому что ясно указывает на предельную простоту их психики и физиологической организации, а стало быть, обнаруживает беззащитное, уязвимое место. Рийго постиг эту очевидность, но был убит лапой электрона, тяжелой, как пласт платины...»

Мария Александровна поникла над книгой. Егорушка спал. Часы пробили двенадцать ночи — самый страшный час одиночества, когда спят все счастливые.

— Неужели так труден корм человеку? — громко сказала Мария Александровна.— Неужели всегда победа — предвестник поражения?

Тишина в Москве. Последние трамваи спешат в парк, искря контактами.

— Тогда какой победой возместится мрачная смерть моего мужа? Какая душа мне заменит его сумрачную, потерянную любовь?

XVI

В Серебряном бору, близ крематория, стояло здание нежного архитектурного стиля. Оно исполнено было, как сфероид — образ космического тела, но не касалось земли, удерживаемое пятью мощными колоннами. От высшей точки сфероида уходила в небо телескопическая колонна — в знак и в угрозу мрачному стихийному миру, отнимающему живых у живущих, лю-

бимых у любящих,— в надежду, что мертвые будут отняты у вселенной силою восходящей науки, воскрешены и возвратятся к живым.

Это был Дом Воспоминаний, где стояли урны с пеплом погибших людей.

Седая и от старости прекрасная женщина вошла с юношей в Дом.

Тихо прошли они в дальний конец огромного зала, освещенного тихим синим светом памяти и тоски.

Урны стояли в ряд, как некие светильники с потухшим светом, освещавшие некогда неизвестную дорогу.

На урнах были прикреплены мемориальные доски.

«**Андрей Вогулов.** Пропал без вести в экспедиции по подводному исследованию Атлантиды.

В урне нет праха — лежит платок, смоченный его кровью во время ранения на работах на дне Тихого океана. Платок доставлен его спутницей».

«**Петер Крейцкопф,** строитель первого снаряда для достижения Луны. Улетел в своем снаряде на Луну и не возвратился. Праха в урне нет. Сохраняется его детское платье. Честь великому технику и мужественной воле!»

Седая женщина, сияющая удивительным лицом, прошла с юношей дальше.

Они остановились у крайней урны.

«**Михаил Кирпичников,** исследователь способа размножения материи, сотрудник доктора физики Ф. К. Попова, инженер. Погиб на «Калифорнии» под упавшим болидом. В урне нет праха. Хранится его работа по искусственному кормлению и выращиванию электронов и прядь волос».

Внизу висела вторая, малая доска:

«Чтобы найти пищу электронам, он потерял свою жизнь и душу своей подруги. Сын погибшего осуществит дело отца и возвратит матери сердце, растраченное отцом. Память и любовь великому искателю!»

Бывает старость, как юность: ожидающая спасения в чудесной опоздавшей жизни.

Мария Александровна Кирпичникова утратила молодость напрасно, теперь ее любовь к мужу превратилась в чувство страстного материнства к старшему сыну — Егору, которому шел уже двадцать пятый год. Младший сын, Лев, учился, был общителен, очень кра-

сив, но не возбуждал в матери того резкого чувства нежности, бережности и надежды, как Егор.

Егор лицом напоминал отца — серое, обычное, но необычайно влекущее скрытой значительностью и бессознательной силой.

Мария Александровна взяла Егора за руку, как мальчика, и пошла к выходу.

В вестибюле Дома Воспоминаний висела квадратная золотая доска с серыми платиновыми буквами:

«Смерть присутствует там, где отсутствует достаточное знание физиологических стихий, действующих в организме и разрушающих его».

Над входом в Дом висела арка со словами:

«Вспоминай с нежностью, но без страдания: наука воскресит мертвых и утешит твое сердце».

Женщина и юноша вышли на воздух. Летнее солнце ликовало над полнокровной землей, и взорам двух людей предстала новая Москва — чудесный город могущественной культуры, упрямого труда и умного счастья.

Солнце спешило работать, люди смеялись от избытка сил и жадничали в труде и в любви.

Всем их обеспечивало солнце над головой — то самое солнце, которое когда-то освещало дорогу Михаилу Кирпичникову в лимонном округе Риверсайда,— старое солнце, которое сияет тревожной, страстной радостью, как зачатие вселенной.

* * *

Егор Кирпичников кончил Институт имени Ломоносова и стал инженером-электриком.

Дипломный проект он сделал на тему: «Лунные возмущения электросферы Земли».

Егору мать передала все книги и рукописи отца, в том числе труд Ф. К. Попова, который начисто переписал Михаил Кирпичников после его смерти.

Егор познакомился с работами Попова, редкой литературой и всеми современными гипотезами по выкармливанию и воспитанию электронов. Что электроны были живыми существами — отпали все сомнения. Область электронов уже твердо определилась как микробиологическая дисциплина.

Егор избрал темой своей жизни конечную разгадку

вселенной; и он не напрасно, подобно своему отцу, искал первичное чрево мира в межзвездном пространстве — в таинственной жизни электронов, составляющих эфир.

Егор верил, что кроме биологического существует электротехнический способ искусственного размножения веществ, и искал его со всею свежестью и страстью молодости, не тронутой женской любовью.

В это лето Егор рано кончил свою работу в лаборатории профессора Маранда, которому он ассистировал по кафедре Строения эфира. Маранда в мае уехал в Австралию, к своему другу астрофизику Товту, и Егор наслаждался отдыхом, летом и собственными нечаянными мыслями.

«Отдых — лучшее творчество»,— писал когда-то в письме Марии Александровне отец Егора, бродя по тундре вокруг вертикального термического тоннеля, где он служил некоторое время производителем работ.

Егор уходил из дому утром. Его нес метрополитен под Красными Воротами, под площадью Пяти Вокзалов и выносил далеко за город, за Новые Сокольники, в кислородные рощи. Там шествовал Егор, чувствуя давление крови, свободную вибрацию мозга и острую тоску приближающейся любви.

И раз было так. Егор проснулся — на дворе стоял уже великий торжественный летний день. Мать спала, зачитавшись накануне до глубокой ночи. Егор оделся, прочитал утреннюю газету, прислушался к звенящему напряжению удивительного города и решил куда-нибудь уйти. От отца или от давних предков в нем сохранилась страсть к движению, странствованию и к утолению чувства зрения. Быть может, его далекие деды ходили когда-то с сумочками и палочками на богомолье из Воронежа в Киев не столько ради спасения души, сколько из любопытства к новым местам; может быть, еще что — неизвестно. И Егор посильно удовлетворял свое тревожное чувство бродяги в районе узкого радиуса.

Подземка вынесла Егора за Останкино и там оставила одного. Егор вышел на глухую полевую дорогу, снял шляпу, пробормотал забытое стихотворение, вычитанное в книгах матери:

Среди людей, мне близких и чужих,
Скитаюсь я без цели, без желанья...

Дальше он вспомнить слов не мог, но вспомнил другое:

Любимый твой умер далеко.
Как камень в колодезь упал,
В урне лежит его локон,
А голову он потерял.

Эту песнь иногда пела мать Егора, когда ее схватывала тоска о муже и она искала от нее защиты у детей и у простой песенки.

— Так,— сказал себе Егор,— но что же производит эфир? — и лег в траву.— А, черт его знает что!

Солнце гладило Землю против шерсти — и Земля вздымалась травами, лесами, ветрами, землетрясениями, северными сияниями.

Егор посмотрел на солнце — и сразу горячая волна прошла по его горлу и остановилась в голове.

Он поднялся и ничего не мог сообразить.

Как будто его обняла внезапно сзади утраченная любимая и сразу же скрылась.

Как в женщину, вонзилась в его сознание сияющая догадка и прополосовала мозг, как падающая звезда. Он ощутил страсть и успокоение, как цвет, сбросивший плодотворную пыль в материнское пространство.

Утратив нечаянную мысль, Егор крикнул от досады и пошел прочь со случайного места.

Но потом к нему не спеша возвратились все неясные мысли, как дети со двора, наигравшись и слабо сопротивляясь матери.

XVII

4 января в газете «Интеллектуальный труженик» была напечатана заметка:

«ЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ ЖИЗНИ»

Молодым инженером Г. Кирпичниковым в лаборатории эфира профессора Маранда производятся в течение ряда месяцев интересные опыты над искусственным производством эфира. В идее работа инженера Кирпичникова заключается в том, что электромагнитное поле высокой частоты убивает в материи живые электроны; мертвые же электроны, как известно, составляют тело эфира. Высоту технического искусства

инженера Кирпичникова можно понять из того, что для убиения электронов требуется переменное поле не менее 10^{12} периодов в секунду.

Высокочастотную машину Кирпичникова представляет само Солнце, свет которого разлагается сложной системой интерферирующих поверхностей на составные энергические элементы: механическую энергию давления, химическую энергию, электрическую и т. д.

Кирпичникову нужна, собственно, одна электрическая энергия, которую он, посредством особого прибора из призм и дефлекторов, концентрирует в очень ограниченном пространстве и достигает нужной частотности.

Электромагнитное поле, по существу, есть колония электронов. Заставляя быстро пульсировать это поле, Кирпичников добился, что живые электроны, составляющие то, что называется полем, погибали; электромагнитное поле превращалось по этой причине в эфир — механическую массу тел мертвых электронов.

Получая некоторые эфирные пространства, Кирпичников опускал в них какое-либо обыкновенное тело (например, самопис Ваттермана), и это тело за трое суток увеличивалось в два раза по своему объему.

В веществе самописа происходил следующий процесс: живые электроны, существующие в веществе самописа, получали усиленное питание за счет окружающих трупов электронов и быстро размножались, увеличиваясь также в своем объеме. Это вызывало рост всего вещества самописа. По мере поглощения эфира живыми электронами рост и размножение их прекращались.

Кирпичниковым на основании своих работ установлено, что в массиве Солнца зарождаются в неимоверных количествах исключительно живые электроны; но именно средоточие их гигантского количества в относительно тесном месте вызывает такую страшную борьбу между ними за источники питания, что почти все электроны погибают нацело. Борьба электронов за питание обусловливает высокую пульсацию Солнца. Физическая энергия Солнца имеет, так сказать, социальную причину — взаимную конкуренцию электронов. Электроны в солнечном массиве живут всего несколько миллионных долей секунды, будучи истребляемы более сильными противниками, которые, в свою очередь, по-

гибают под ударами еще более мощных конкурентов и т. д. Еле успев пожрать труп врага, электрон уже гибнет — и очередной победитель поедает его вместе с непереваренными клочьями тел ранее убитых электронов.

Движения электронов в Солнце настолько стремительны, что огромное количество их вытесняется за пределы Солнца и улетает в мировое пространство со скоростью трехсот тысяч километров в секунду, производя эффект светового луча. Но на Солнце идет настолько грозная и опустошительная борьба, что все электроны, покинувшие Солнце, бывают мертвы и летят за счет либо инерции движения, начатого, когда они были живы, либо от удара противника.

Однако Кирпичников убежден, что бывают редчайшие исключения, когда электрон может живым оторваться от Солнца. Тогда, имея вокруг себя эфир — обильную питательную среду, он служит отцом новой планеты. В дальнейшем инженер Кирпичников предполагает производить эфир в больших количествах, преимущественно из высоких слоев атмосферы, пограничных с эфиром. Электроны там менее активны, и на истребление их потребуется меньший расход энергии.

Кирпичников заканчивает свой новый метод искусственного производства эфира; новый способ заключается в электромагнитном русле, где действует высокая частота для умерщвления электронов. Электромагнитное высокочастотное русло направляется от земли к небу, и в нем, как в трубе, образуется поток мертвых электронов, подгоняемых давлением солнечного света к земной поверхности.

У земной поверхности эфир собирается, аккумулируется в особые сосуды и затем идет на питание тех веществ, объем которых желают увеличить.

Инженер Кирпичников произвел и обратные опыты. Действуя высокочастотным полем на какой-либо предмет, он достигал как бы угасания предмета и полного его исчезновения. Очевидно, убивая электроны в веществе предмета, Кирпичников уничтожал самую сокровенную природу веществ, ибо только живой электрон — частица материи, мертвый же принадлежит эфиру. Несколько предметов таким способом Кирпичников начисто превратил в эфир, в том числе и самопис Ваттермана, который он сначала «откормил».

Совокупность всех работ Кирпичникова указывает, какую титаническую силу созидания и истребления получило человечество в его изобретении.

По мнению Кирпичникова, благодаря постоянному снабжению земного шара эфиром, текущим из Солнца, Земля в целом постоянно увеличивается в своих размерах и в удельном весе своего вещества. Это обеспечивает прогресс человечества и подводит физический базис под исторический оптимизм.

Кирпичников говорит, что он в своем изобретении всецело скопировал деятельность Солнца по отношению к Земле и лишь ускорил его работу.

В связи с этими поражающими открытиями невольно приходят на память имена Ф. К. Попова, оставившего нам свой изумительный труд, и, наконец, отца изобретателя, странно и трагически погибшего инженера Михаила Кирпичникова».

XVIII

Как музыка, лилась работа у Кирпичникова, как любовь, он ощущал в себе страсть к неуловимому нежному телу — эфиру. Когда он писал пояснительную записку «О возможности и нормах дополнительного питания электронов», то чувствовал аппетит, и его полные юношеские губы бессознательно смачивались слюной.

Корреспондентов газет он не принимал, обещая скоро выпустить небольшой труд информационного характера и публично продемонстрировать свои опыты.

Однажды Егор Кирпичников заснул у стола, но сразу проснулся. Была ночь — глубокая и неизвестная, как все ночи над живой Землей. Тот напряженный и тревожный час, когда, по стихам забытого поэта:

> И по хребту электроволн
> Плывущее внимание,
> Как ночь в бульварном, мировом
> Таинственном романе.

В это время, когда человеку надо либо творчество, либо зачатье новой жизни, в дверь Егора постучали. Значит, пришел кто-то близкий или важный, кого впустила даже мать Егора, жестоко хранившая рабочий и трудный покой своего сына.

— Да! — сказал Егор и полуобернулся.

Вошла редкая гостья — Валентина Крохова, дочь инженера Крохова, друга и сотрудника отца Егора по работе в тундре на вертикальном тоннеле. Валентине было двадцать лет — возраст, когда выносится решение: что же делать — полюбить ли одного человека или любовную силу обратить в страсть познания мира? Или, если жизнь в тебе так обильна, объять то и другое?

Нам это непонятно, но тогда будет так. Наука стала жизненной физиологической страстью, такой же неизбежной у человека, как пол.

И эта раздвоенность неясного решения была выражена на лице Валентины Кроховой. Ищущая юность, жадные глаза, эластичная душа, не нашедшая центра своего тяготения и заключенная в оболочку пульсирующих мышц и бьющейся крови,— вот красота Валентины Кроховой. Нерешенность, бродяжничество мысли и неверные черты доверчивого лица — удивительная красота молодости человека.

— Ну, что скажешь мне, Валя? — спросил Егор.

— Да так, кое-что! Ты все занят ведь! — ответила Валентина.

— Нет, не особенно: и занят и нет! Живу как в бреду; сам еще не знаю, что у меня выйдет!

— Да уже вышло, Егор! Будет тебе скромничать!

— Не совсем, Валя, не совсем! Я открыл еще нечто такое, что сердце останавливается...

— Что это такое? Про «эфирный тракт» все?

— Нет, это другое совсем. «Эфирный тракт» — пустяки!.. Как вселенная, Валя, родилась и рождается, как вещество начинает дышать в недрах хаоса, свободы и узкой неизбежности мира! Вот, Валя, где хорошо! Но я только чувствую, а ничего не знаю... Ну, ладно! А где твой отец?

— Отец на Камчатке...

— Что, все эту несчастную планетку бурят? Черт, даже мне она надоела! Сколько лет ведь прошло, как она села с неба!..

— А когда, Егор, ты покажешь свой «эфирный тракт»?

— Да вот как-нибудь покажу. Сначала книжку напишу.

— А кому ты ее посвятишь?

— Отцу, конечно,— инженеру Михаилу Кирпичникову, страннику и электротехнику.

— Это очень хорошо, Егор! Чудесно, как в сказке,— страннику и электротехнику!

— Да, Валя, я забыл лицо отца. Помню, что он был молчаливый и рано вставал. Как странно он умер, ведь он почти открыл «эфирный тракт»!

— Да, Егор! И мать твоя старушкой стала!.. Может, ты проводишь меня немного? А то поздно, а ночь хорошая — я нарочно тихонько шла сюда.

— Провожу, Валя. Только недалеко, я хочу выспаться. Надо через два дня книжку в печать отдавать, а я только половину написал — не люблю писать, люблю что-нибудь существенное делать...

Они вышли в вестибюль, спустились в лифте и очутились на воздухе, в котором бродили усталые ночные теченья.

Егор и Валя шли под руку. В голове Егора струились неясные мысли, угасая, как ветры в диком и темном поле, зажигаясь от контакта с милой девушкой, такой человечной и женственной. Но Кирпичников изобретал не одной головой, а также сердцем и кровью, поэтому Валентина в нем возбуждала только легкое чувство тоски. Силы в его сердце были мобилизованы на другое.

Москва засыпала. Невнятно и смутно шумели какие-то далекие машины. Бессонно стояла луна, маня человека к полету, странствию и глубокому вздоху в межпланетной бездне.

Егор пожал руку Вале, хотел ей что-то сказать — какое-то медленное и девственное слово, которое каждый человек говорит по разу в жизни, но ничего не сказал и молча пошел домой.

* * *

20 марта не так велики дни и кратки ночи, чтобы утренняя заря загорелась в час пополуночи. Так еще не бывало никогда, даже старики не помнят.

А однажды случилось так. Московские люди расходились по домам — кто из театра, кто с ночной работы на заводе, кто просто с затянувшейся беседы у друга.

В этот вечер в Большом зале Филармонии был концерт знаменитого пианиста Шахтмайера, родом из Вены. Его глубокая подводная музыка, полная того величественного и странного чувства, которое нельзя назвать

ни скорбью, ни экстазом, потрясла слушателей. Молчаливо расходились люди из Филармонии, ужасаясь и радуясь новым и неизвестным недрам и высотам жизни, о которых рассказал Шахтмайер стихийным языком мелодии.

В Политехническом музее в половине первого кончился доклад Макса Валира, возвратившегося с полдороги на Луну. В ракете его конструкции обнаружился просчет; кроме того, среда между Землей и Луной оказалась совсем иной, чем о ней думали прежде, поэтому Валир вернулся обратно. Аудитория была взволнована до крайней степени докладом Валира и, заряженная волей и энтузиазмом великой попытки, со страшным шумом лавой растекалась по Москве. В этом отношении слушатели Валира и Шахтмайера резко отличались друг от друга.

А высоко над площадью Свердлова в этот миг засветилась синяя точка. Она в секунду удесятерилась в размерах и затем стала излучать из себя синюю спираль, тихо вращаясь и как будто разматывая клубок синего вязкого потока. Один луч медленно влекся к Земле, и было видно его содрогающееся движение, как будто он находил упорные встречные силы и, пронзая их, тормозил свой путь. Наконец столб синего, немерцающего, мертвого огня установился между Землей и бесконечностью, а синяя заря охватила все небо. И сразу ужаснуло всех, что исчезли все тени: все предметы поверхности Земли были окунуты в какую-то немую, но всепронзающую влагу — и не было ни от чего тени.

В первый раз с постройки города в Москве замолчали: кто говорил, тот оборвал свое слово, кто молчал, тот ничего не воскликнул. Всякое движение остановилось; кто ехал, тот забыл продолжать путь, кто стоял на месте, тот не вспомнил о цели, куда его влекло.

Тишина и синее мудрое сияние стояли одни над Землею, обнявшись.

И было так безмолвно, что казалось, звучала эта странная заря — монотонно и ласково, как пели сверчки в нашем детстве.

В весеннем воздухе каждый голос звонок и молод — пронзительно и удивленно крикнул женский голос под колоннами Большого театра: чья-то душа не выдержала напряжения и сделала резкое движение, чтобы укрыться от этого очарования.

И сразу тронулась вся ночная Москва: шоферы нажали кнопки стартеров, пешеходы сделали по первому шагу, говорившие закричали, спящие проснулись и бросились на улицу, каждый взор обратился навзничь к небу, каждый мозг забился от возбуждения.

Но синяя заря начала угасать. Темнота заливала горизонты, спираль свертывалась, забираясь в глубину Млечного Пути, затем осталась яркая вращающаяся звезда, но и она таяла на живых глазах — и все исчезло, как беспамятное сновидение. Но каждый глаз, глядевший в небо, еще долго видел там синюю кружащуюся звезду, — а ее уже не было. По небу шел обычный звездный поток.

И всем стало отчего-то скучно, хотя никто почти не знал, в чем дело.

XIX

Утром в «Известиях» было помещено интервью с инженером Кирпичниковым.

«Объяснение ночной зари над миром.

С большим трудом наш корреспондент проник в Микробиологическую лабораторию имени профессора Мараида. Это произошло в четыре часа ночи, непосредственно после оптического явления в эфире. В лаборатории корреспондент застал спящего Г. М. Кирпичникова — известного инженера, конструктора приборов для размножения материи, открывшего так называемый «эфирный тракт».

Наш корреспондент не осмелился будить усталого изобретателя, однако обстановка лаборатории позволила увидеть все результаты ночного эксперимента.

Кроме приборов, необходимых для производства «эфирного тракта» и аккумуляции мертвых электронов, на столе изобретателя лежала старая желтая рукопись. На открытой странице ее было написано: «Дело техников теперь разводить железо, золото и уголь, как скотоводы разводят свиней». Кому принадлежат эти слова, корреспондентом пока не установлено.

Половину экспериментальной залы занимало блестящее тело. По рассмотрении это оказалось железом. Форма железного тела — почти правильный куб размером 10×10×10 метров. Непонятнс, каким образом такое тело могло попасть в зал, так как существующие в нем окна и двери позволяют внести тело размером не больше

половины указанных. Остается одно предположение — железо в зал ниоткуда не вносилось, а выращено в самой лаборатории. Эта достоверность подтверждена журналом экспериментов, лежавшим на том же столе, где и рукопись. Рукою Г. М. Кирпичникова там записаны размеры подопытного тела: «Мягкое железо, размером 10× 10 × 10 сантиметров — 1 час 25 минут, оптимальный вольтаж». Дальнейших записей в журнале не имеется. Таким образом, в течение двух-трех часов железо в объеме увеличилось в миллион раз. Такова сила эфирного питания электронов.

В зале стоял какой-то ровный и постоянный шум, на который наш корреспондент вначале не обратил внимания. Осветив зал, наш сотрудник обнаружил некое чудовище, сидящее на полу близ железной массы. Рядом с неизвестным существом лежали сложные части разрушенного прибора, как бы пережженные вольтовой дугой. Животное издавало ровный стон. Корреспондент его сфотографировал (см. ниже). Наибольшая высота животного — метр. Наибольшая ширина — около половины метра. Цвет его тела — красно-желтый. Общая форма — овал. Органов зрения и слуха не обнаружено. Кверху поднята огромная пасть с черными зубами, длиною каждый по 3—4 сантиметра. Имеются четыре короткие (1/4 метра) мощные лапы с налившимися мускулами; в обхвате лапа имеет не менее полуметра; кончается лапа одним могущественным пальцем в форме эластичного сверкающего когтя. Животное стоит на толстом сильном хвосте, конец которого шевелится, сверкая тремя зубьями. Зубы в пасти имеют нарезку и вращаются в своих гнездах. Это странное и ужасное существо очень прочно сложено и производит впечатление живого куска металла.

Шум в лаборатории производил гул этого гада: вероятно, животное голодно. Это, несомненно, искусственно откормленный и выращенный Кирпичниковым электрон.

В заключение редакция поздравляет читателей и страну с новой победой научного гения и радуется, что эта победа выпала на долю молодого советского инженера.

Искусственное выращивание железа и вообще размножение вещества даст Советскому Союзу такие экономические и военные преимущества перед остальной, ка-

питалистической частью мира, что, если бы капитализм имел чувство эпохи и разум истории, он бы сдался социализму теперь же и без всяких условий. Но к сожалению, империализм никогда не обладал такими ценными качествами.

Реввоенсоветом и ВСНХ Союза уже приняты соответствующие меры для обеспечения монопольного пользования государством изобретениями Г. М. Кирпичникова.

Г. М. Кирпичников — член партии и Исполбюро КИМа, и от него еще несколько месяцев назад правительством получено согласие на передачу всех своих открытий и конструкций в пользование государства, и притом безвозмездно. Правительство, конечно, целиком и полностью обеспечит Г. М. Кирпичникову возможность дальнейшей работы.

Сегодня в 1 час дня Г. М. Кирпичников будет иметь свидание с Предсовнаркома Союза тов. Чаплиным».

Вся Москва — этот новый Париж социалистического мира — пришла в исступление от такой заметки. Живой, страстный, общественный город весь очутился на улицах, в клубах, на лекциях — везде, где пахло хотя бы маленькими новыми сведениями о работе Кирпичникова.

День родился солнечным, снег подтаивал, и неимоверная надежда разрасталась в человеческой груди. По мере движения солнца к полуденному зениту все яснее в мозгу человека освещалось будущее, как радуга, как завоевание вселенной и как синяя бездна великой души, обнявшей стихию мира, как невесту.

Люди не находили слов от радости технической победы, и каждый в этот день был благороден.

Что может быть счастливее и тревожнее того дня, который служит кануном технической революции и неслыханного обогащения общества?

В «Вечерней Москве» появилось описание рабочего собрания завода «Генератор», где Егор Кирпичников отбывал свою двухлетнюю студенческую практику.

Кирпичников сделал доклад об открытии «эфирного тракта» и его промышленной эксплуатации в ближайшем будущем. Он начал с работ аонитов в этом направлении, подробно остановился на трудах Ф. К. Попова, которого и следует считать изобретателем «эфирного тракта», затем изложил историю поисков своего отца и закончил кратким указанием на свою работу, завершающую труд всех предшественников.

XX

Как в старину, женщины теперь носили накидки и длинные платья, закрывающие ноги и плечи. Любовь была редким чувством, но считалась признаком высокого интеллекта.

Девственность и женщин и мужчин стала социальной моралью, и литература того времени создала образцы нового человека, которому не знаком брак, но присуще высшее напряжение любви, утомляемое, однако, не сожительством, а либо научным творчеством, либо социальным зодчеством. Времена полового порока угасли в круге человечества, занятого устроением общества и природы.

Наступило новое лето. Егор Кирпичников устал от «эфирного тракта» и беспомощно затосковал по далеким и смутным явлениям, как это бывало с ним не раз.

Он снова убивал дни, скитаясь и наслаждаясь одиночеством, то в Останкине, то в Серебряном бору, то уезжая на Ладожское озеро, которое он так любил.

— Тебе, Егор, влюбиться надо! — говорили ему друзья.— Эх, напустить бы на тебя хорошую русскую девушку, у которой коса травой пахнет!..

— Оставьте! — отвечал Егор.— Я сам себя не знаю куда деть! Знаете, я никак не могу устать — работаю до утра, а слышу, что мозг скрежещет и спать не хочет!

— А ты женись! — советовали все-таки ему.

— Нет, когда полюблю прочно, в первый раз и на всю жизнь, тогда...

— Что тогда?

— Тогда... уйду странствовать и думать о любимой.

— Странный ты человек, Егор! От тебя каким-то старьем и романтизмом пахнет...

В мае был день рождения Валентины Кроховой. Валентина весь день читала Пушкина и плакала: ей сравнялось двадцать лет. Вечером она надела серое платье, поцеловала перстень на пальце — подарок отца — и стала ждать Егора с матерью и двух подруг. Она убрала стол. В комнате пахло жимолостью, полем и чистым телом человека.

Огромное окно было распахнуто, но видно в него одно небо и шевелящийся воздух на страшной высоте.

Пробило семь часов. Валентина села за рояль и сыграла несколько этюдов Шахтмайера и Метнера. Она не

могла отделаться от своей сердечной тревоги и не знала, что ей делать,— расплакаться или сжать зубы и не надеяться.

Весенняя природа волновалась страстью размножения и жаждала забвения жизни и любви. И в круг этих простых сил была включена Валентина Крохова и не могла от них отбиться. Ни разум, ни чужое страдание в поэмах и в музыке — ничто не помогло горю ее молодости. Ей нужен был поцелуй, а не философия и даже не красота. Она привыкла честно мыслить и понимала это.

В восемь часов к ней постучали. Принесли телеграмму от Егора. В ней стояли странные, шутливые и жестокие слова, и притом в стихах, к которым Егор питал влечение с детства.

Дарю тебе Луну на небе
И всю живую траву на Земле,—
Я одинок и очень беден,
Но для тебя мне нечего жалеть.

Валентина не поняла, но к ней вошли веселые подруги.

В одиннадцать часов Валентина выпроводила подруг и пошла к Егору, зажженная темным отчаянием.

Ее встретила Мария Александровна. Егора дома не было уже вторые сутки. Валентина посмотрела на бланк телеграммы: она была подана из Петрозаводска.

— А я думала, он у вас будет сегодня вечером,— сказала Мария Александровна.

— Нет, его у меня не было...

И обе женщины молча сели, ревнуя друг к другу утраченного и томясь одинаковым горем.

XXI

В августе Мария Александровна получила письмо от Егора из Токио:

«Мама! Я счастлив и кое-что постиг. Конец моей работы близок. Только бродя по земле, под разными лучами солнца и над разными недрами, я способен думать. Я теперь понял отца. Нужны внешние силы для возбуждения мыслей. Эти силы рассеяны по земным дорогам, их надо искать и под них подставлять голову и тело, как под ливни. Ты знаешь, что я делаю и ищу — ко-

рень мира, почву вселенной, откуда она выросла. Из древних философских мечтаний это стало научной задачей дня. Надо же кому-нибудь это делать, и я взялся. Кроме того, ты знаешь мои живые мускулы, они требуют напряжения и усталости, иначе я бы затомился и убил себя. У отца тоже было это чувство; быть может, это болезнь, быть может, это дурная наследственность от предков — пеших бродяг и киевских богомольцев. Не ищи меня и не тоскуй — сделаю задуманное, тогда вернусь. Я думаю о тебе, ночуя в стогах сена и в куренях рыбаков. Я тоскую о тебе, но меня гонят вперед мои беспокойные ноги и моя тревожная голова. Быть может, верно, жизнь — порочный факт, и каждое дышащее существо — чудо и исключение. Тогда я удивляюсь еще больше, и мне хорошо думать о своей милой матери и беспокойном отце.

Егор».

Ефим Зозуля

«ГРАММОФОН ВЕКОВ»

1. КУКС НАКОНЕЦ ДОБИЛСЯ ЦЕЛИ

Едва ли возможно обстоятельно описать вид изобретателя Кукса и обстановку его рабочего кабинета, когда в это счастливое для него утро к нему пришел его старый друг Тилибом.

— Что с тобой? — развел руками Тилибом.— Кукс, посмотри на свои вывороченные ноздри, на поседевшую голову, на красные глаза и дрожащие руки! Взгляни на себя в зеркало! Что с тобой?

— Я счастлив,— закрыв глаза, утонул в улыбке Кукс.— В первый раз в жизни счастлив. Правда, я не спал шестнадцать ночей и совершенно обалдел, но все-таки счастлив. Ты говоришь, что у меня вывернутые ноздри,— пожалуй, это возможно, так как восемь ночей подряд я нюхал изобретенный мною состав. Но все-таки сегодня я счастлив.

Желчный Тилибом, лукаво усмехаясь, спросил:

— Не закончил ли ты свой замечательный «Граммофон веков»?

— Ты угадал, Тилибом,— мягко и беззлобно, как всегда, ответил на колкость ученый.— Ты угадал, мой друг! Ты, конечно, не поверишь, но сегодня я все-таки победитель. Да, «Граммофон веков» закончен. Совершенно закончен.

Тилибом не только не поверил, он искренно пожалел своего друга. Ему слишком надоела сорокалетняя история этого горемычного изобретения. Сорок лет Кукс работал над утверждением теории, что звуки человеческого голоса и вообще всякие звуки запечатлеваются в виде особых невидимых бугорков на всех неодушевленных предметах, вблизи которых они раздаются. Бугорки эти, по теории Кукса, сохраняются в течение веков, и новые отпечатки звуков ложатся на старые слоями, как наслаиваются пыль, песок и многие вещества в природе. В доказательство основательности своей теории Кукс обещал изобрести аппарат, который расшифровывал бы наслоения звуков. И этот аппарат — в соединении с усовершенствованным, усложненным граммофоном — должен был восстановить слова давно умерших людей, миллиарды слов ушедших поколений...

Задача, поставленная себе Куксом, была столь грандиозна и дерзка, что два короля (Кукс начал работу за десять лет до полного и всеобщего социалистического переворота в Европе) давали ему субсидию, а третьим королем, более нетерпеливым, он был посажен в тюрьму и только по настоянию королевы, отличавшейся добротой, переведен в сумасшедший дом.

Кукс все-таки не смущался и, освободившись от субсидий, тюрьмы и сумасшедшего дома, продолжал работать над изобретением и, как сможет убедиться читатель, добился-таки своей цели.

«Граммофон веков» был закончен. Кукс не лгал.

2. ИЗУМИТЕЛЬНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ

По старому лицу Кукса, изрытому годами, трудом и муками гения, продолжала блуждать усталая и счастливая улыбка.

Тилибом стоял неподвижно и чувствовал, что его недоверие тает, как мороженое под весенним солнцем. В усталой улыбке Кукса было то, что убедительнее фактов и, во всяком случае, слов.

— Покажи же мне аппарат, Кукс,— сдался наконец Тилибом.

Но было поздно: Кукс уснул.

Счастливый изобретатель спал тридцать пять часов и проснулся от собственного крика. Ему снилось, что кто-то ломает и топчет его чудесное изобретение.

Он вскочил с глубокого кресла, в котором спал, протер глаза и оглянулся: в кабинете никого не было, и аппарат, на создание которого он потратил почти всю жизнь, стоял с невинным, затаенным и равнодушным видом всякой машины.

Кукс вызвал по телефону Тилибома, и друзья приступили к осмотру и пробе чудесного аппарата.

Кукс необычайно оживился, бегал вокруг «Граммофона веков» и обращался к каждому винтику, как к живому существу.

— Ты успокоился, наконец,— погрозил он пальцем какому-то рычажку, похожему на полуоткрытый рот идиота.— Побежден, брат, а-га! Шестнадцать лет не покорялся, а теперь я тебя завоевал, хе, хе... Теперь ты на своем месте... Да, товарищ, терпение и труд все перетрут.

На вид «Граммофон веков» был неприятен: он напоминал гигантского паука, перевитого змеями-трубами. Из боков его, как мертвые рыбьи морды, неподвижно торчали широкие клещевидные рычаги. Всюду жесткой, небритой щетиной волосатилась черная проволока, а у белой маленькой головки — верхушки машины с одним синим стеклышком-глазом — была пристегнута большая и кривая раковина, похожая на ухо.

— Как тебе нравится? — потирал от удовольствия руки Кукс.

— Ничего, занятная штука,— неопределенно ответил Тилибом.

3. «ГРАММОФОН ВЕКОВ» НА РАБОТЕ

Щупальца, рычаги и трубы аппарата были приспособлены для укладки в ящик-футляр. В ящике «Граммофон веков» имел вид обыкновенного фотографического аппарата и был весьма удобен для переноски.

— Где начнем? — спросил Кукс.

— Где хочешь. Но испробовать надо основательно.

Спешить некуда, денег за это не дадут, патент тоже не нужен. Нужно только представить Академии, а для этого не мешает хорошенько испытать его...

Шутки Тилибома не отличались оригинальностью — денег давно уже не было в употреблении, патентов тоже, и даже остроты на эту тему никого не смешили.

— Да и хорошо, что нет денег,— вздохнул Кукс.— Во всяком случае, лучше, чем получать субсидии от королей и богачей, будь они прокляты, и бывать за это на их празднествах и именинах, толкаться в свите дураков и ничтожеств, поздравлять, улыбаться, унижаться, льстить. Ах, на что ушла моя молодость!.. На какую чепуху!..

— Ну, нечего, нечего, старик! Ближе к делу. Начнем.

— В кабинете я уже все выслушал. Вплоть до того, что говорили каменщики, когда складывали стены на постройке.

— А что они говорили?

— Судя по темам их бесед, дом этот строился лет за десять до торжества социализма. Прежде всего, они, конечно, сквернословили. Затем двое ссорились из-за партийных разногласий. Потом подрались. Две пощечины звонко восприняты и отчетливо повторяются машиной. Затем постройка, очевидно, долго оставалась недостроенной и служила бойницей, баррикадой или чем-то в этом роде. Машина оглушительно стреляет, кричит, стонет и плачет на разные лады. Я думаю, что лет пять постройка пустовала,— вероятно, в период революции, гражданских войн и упадка производства,— потом ее достроили. С песнями достроили, со смехом, с бодрыми звуками охотного, радостного труда... Я слушал звуковую биографию постройки, эту симфонию строящегося дома с огромным интересом... Ну, идем, нам предстоит еще много интересного.

— Если ты говоришь правду, то поставь аппарат сюда, в твою столовую, я хочу немедленно убедиться. Это слишком уж сказочно,— засуетился Тилибом.— Кабинет ты выслушал, а теперь послушаем столовую.

— Хорошо.

Кукс принес аппарат, повозился над ним, отошел, сел и пригласил сесть Тилибома.

«Граммофон веков» задрожал, зашипел и начал...

Слова, десятки, сотни, тысячи слов, нанизывались на тоненький металлический, заунывный, бесконечный стон валика...

Будничные слова, разговоры, восклицания, звуки шагов, хлопанье дверей, смех, плач...

Вдруг особенно громкий детский плач.

— Это моя Надя плачет...— тихо сказал Кукс.— По поводу смерти Мани, моей жены... А вот голос покойницы... Узнаешь?..

Тилибом, бледный и взволнованный чудом, встал и слушал с раскрытым ртом. Из раковины машины ровно вылетали слова и фразы:

— Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста! Здесь душно. Я открою окно.

— Мой муж так занят.

— Всегда, всегда занят.

— Надя! Надя! Оденься теплей!

Тысячи обыденных слов, фраз. Но оба слушали затаив дыхание.

И вдруг — крепкий, молодой голос молодого Тилибома:

— Мария Андреевна, Маня, Манечка, я люблю вас! Так люблю! Я не могу видеть этого старого дурака, вашего мужа, этого сумасшедшего... Как мне жаль вас... Маня, я люблю... тебя...

Тилибом закрыл руками лицо.

Кукс смотрел на пол. Машина продолжала вить нескончаемую ленту из слов, фраз — четких, беспощадных, страшных и невинных. Разных.

В живой стенографии былого нашлось, между прочим, и такое место:

— Кто тут был? Опять этот каналья Тилибом? Как надоела мне его бездарная рожа! Как надоела!

Это говорил Кукс сравнительно недавно...

Пять часов пролетели незаметно. Друзья устали. Они выслушали многое нелестное о себе, сказанное в разное время устами обоих. Тилибом не раз пытался соблазнить жену друга, но оказалось, что ее соблазняли другие друзья...

Но все это затмили слова людей, раньше живших в доме. И на фоне звуков жизни, горя, радости, смеха и отчаяния маленькими и неважными казались личные обиды или измены.

— Руку! — добродушно улыбнулся Кукс, подойдя к

Тилибому.— Видишь, мы стоим друг друга. Но забудем об этом. Все это минувшее. Двадцать лет живем в царстве социализма, а все еще продолжаем быть маленькими, подленькими... Но наши дети уже иные... Твой сын, Тилибом, уже не таков.

— Да, Кукс, мой сын иной, а следующее поколение будет прекрасно. Уже сейчас, всего за двадцать лет, успел измениться облик будущего человека. Нам, Кукс, будет казаться он несколько странным, но это неизбежно. Будущий человек будет наивнее нас, здоровее, крепче, чище, а главное, счастливее, Кукс... счастливее.

— Это не все и не совсем так,— добавил Кукс.— Новый человек будет умнее нас, несмотря на наивность. Да, друг, просто умнее. Напрасно думаешь, что ты умен с твоим великолепным цинизмом. Цинизм — это величайшая неразборчивость, смешанная с глубочайшим равнодушием, а между тем, то и другое происходит только от бессилия, только от слабости. Новому человеку не для чего быть циником. Он будет умным, великодушным и гордым, потому что будет прежде всего сильным. Посмотри, какие сейчас попадаются лица у молодежи, какие чистые глаза, какие цельные натуры сквозят в них, какие отчетливые черты и чуткие души.

— Да, да,— радовался Тилибом, что неприятный разговор принял столь неожиданный поворот.— Новый человек будет прекрасен. И даже мы, старые псы, от одной близости этого нового человека стали лучше и умнее... Если бы твой проклятый «Граммофон веков» разоблачил нас лет двадцать тому назад, разве мы были бы так спокойны?..

Друзья стояли и смотрели на пол, и глубокие черные морщины бороздили их усталые лица. В этих морщинах шел невидимый и великий процесс. Новая мысль, новая жизнь вспахивала старое и искала почвы для новых ростков...

— Кто знает,— задумчиво вздохнул Тилибом,— может быть, для победы над слабостями человека, которые нам казались непобедимыми, вовсе не нужны сотни лет...

— Конечно, гораздо меньше,— согласился Кукс.

4. ЛЮДИ СТРЕМИЛИСЬ СТАТЬ ХОРОШИМИ, НО ЖИЗНЬ УЖЕ БЫЛА ПРЕКРАСНА

В 19... году, в десятый год всеевропейского социализма, был проведен закон, по которому не должно было быть ни одной квартиры, ни одного дома, ни одной комнаты без солнца. Тысячи старых, сырых, темных домов были разрушены. К наиболее же крепким приделаны стеклянные крыши и потолки, а в совершенно бессолнечные квартиры и комнаты солнце привлекалось особыми перекидными зеркалами.

И солнце в этом году сияло, как никогда, и, как никогда, освещало и радовало. Город, утопающий в зелени и зеркалах, с аэроплана казался морем света и радости, а внизу давал то же ощущение в еще более ярких, живительных оттенках.

Восход солнца встречали музыкальные гудки и оркестры. В некоторых районах города в фабричных трубах сохранились аппараты, которые первым пытался ввести еще в 1920 году голодный, героический Петербург. В каждой трубе аппарат издавал отдельные мощные ноты, а все трубы вместе оглушительно пели прекрасные песни. Сейчас эти старые аппараты звучали только в некоторых районах. Они имели особых любителей — старых революционеров.

Новое поколение завело — по тому же принципу — оркестры. В каждом доме — жилом или рабочем — была впаяна мощная звуковая гамма, правильно сочетавшаяся с нотами других домов.

И яркая мощная музыка встречала восход солнца, будила трудящихся, провожала их на работу, на обед и домой.

Заводы и фабрики представляли собою уютные гнезда удобств, располагающих к труду и созиданию.

Город управлялся советами, причем так как советов было много, то участие в них не освобождало от трудовых повинностей. Порядок в городе охраняли по очереди жители районов. Постоянная милиция была упразднена, но потребность в ней все же сказывалась, и ее заменили всеобщим дежурством по районам. Преступность сократилась до неслыханых в истории человечества размеров: в крупных городах за год убивали не больше десятка людей, причем убийства происходили большей частью только на романтической и патоло-

гической почве. С каждым годом таких убийств становилось меньше. Суд почти не функционировал. Нечто похожее на суд, но в более мягкой форме, представляли собой организованные с 19... года «Камеры Способностей и Призваний», в которых ежедневно судили людей за вялую, непроизводительную работу, доискивались причин ненормального отношения к труду и старались открыть в обвиняемых настоящее их призвание и дать работу по способностям.

Для наиболее отсталых имелись специальные «Мастерские Опытов», в которых ученики пробовали себя на различных поприщах. Вопрос о способностях и призваниях был одним из труднейших вопросов социалистического быта. Еще в 1919 году в молодой, неокрепшей Социалистической Республике России служащих социалистических учреждений опрашивали, к чему они склонны и чем бы хотели заняться. Вопрос этот оказался более сложным, чем можно было предположить, и он не нашел полного разрешения за первые двадцать лет существования социалистического общества. Довольно значительным группам трудно было найти себя.

Но как помогло им в этом отношении общество?

Одна из следующих глав даст читателю представление о «Камерах Способностей», так как ученый Кукс, прославившийся необычайной любовью к своему делу, был в числе людей, помогавших широко прививать это необходимое для творчества и созидания свойство.

5. КУКС НЕ РАССТАЕТСЯ С «ГРАММОФОНОМ ВЕКОВ», И ИЗОБРЕТЕНИЕ СТАНОВИТСЯ ИЗВЕСТНЫМ В ГОРОДЕ РАНЬШЕ, ЧЕМ В АКАДЕМИИ

Кукс сросся с аппаратом. Он не мог расстаться с ним, а Тилибом не отставал.

— Смотри, какая умница, какая прелесть,— восторгался Кукс.

В самом деле, радостно, легко, прекрасно было на улицах, как, впрочем, и в домах, в светлую эпоху второй половины двадцатого века.

По широким тротуарам двигалась масса людей.

Эпоха выработала новый тип человека: горожанин этой эпохи был крепок, сухощав, строен, легок. Формы платья отличались простотой. Совершенно не видно было мудреных визиток и фраков, которые носили в начале бурного столетия и которые делали мужчин похожими на птиц, а женщин, одетых в разноцветные тряпки,— на кукол. Любое сердце, любая душа, любые глаза радовались, глядя на новых мужчин и женщин, на свободные формы костюмов, на радостные лица, чистые глаза, белые, счастливые зубы девушек.

Улицы вдруг залило что-то светлое, яркое, многоголосое, свежее, буйное и прекрасное.

Это было дети... Их было несколько тысяч. Полуголые, смуглые, счастливые, с песнями и смехом они шли за город на прогулку и занятия. На обвитых зеленью и цветами фургонах ехали маленькие, слабые или уставшие. Бодрым, буйным и радостным ветром повеяло от быстрого шествия детей. По дороге шествие разрасталось, так как к детям, жившим отдельно в огромных «Дворцах Детей», присоединились и ночевавшие у своих родителей.

Кукс и Тилибом многое множество раз видели утренние шествия детей, но всякий раз испытывали чувство восторга. Так старый лесной житель, давно привыкший к чудному воздуху, все же с наслаждением вдыхает его полной грудью и находит слова для выражения восторга...

— Хорошо! Как хорошо! — вырывалось поочередно то у Тилибома, то у Кукса.

— А все-таки что было раньше на этой улице? — спросил сам себя, поглядывая на «Граммофон веков», Кукс.— Было ли всегда так?

— Давай послушаем.

Кукс вынул из ящика аппарат, поставил и завел.

Прохожие сначала мало обращали внимания на двух стариков и машину. Думали, что демонстрируется чья-то странная речь или пьеса. Они не знали происхождения звуков, вылетавших из странной раковины, похожей на ухо.

Несколько подростков окружили аппарат, но мало понимали из того, что слышали.

«Граммофон веков» опять нанизывал на тихий, заунывный визг валика тысячи и десятки тысяч слов и звуков...

Все это было такое обычное, такое повседневное для старой, ушедшей жизни...

Кого-то били. Кричали. Ловили вора. Арестовывали. Крики и брань сменялись возгласами извозчиков и прохожих. Жалкие песни и мольбы нищих часто прерывали обычные звуки уличной жизни. В третий час работы аппарата старики услышали крики убиваемых, насилуемых. Это был какой-то погром...

Постепенно все-таки аппарат собрал толпу любопытных.

— Какая это пьеса? — спрашивали у Кукса.

Кукс горько усмехнулся:

— Это не пьеса, граждане! Это жизнь! Сама жизнь этой улицы. Ее биография. Через несколько дней Академия наук примет «Граммофон веков», по его образцу будут сделаны копии, и вы узнаете историю каждого камня, каждой глыбы земли. Граждане, камни — это немые свидетели страшной истории человечества. Но они немы только до поры до времени. Вам известно выражение, что камни вопиют. Вот они возопили. Слушайте, сколько горя, сколько отчаяния, сколько человеческих слез и человеческой крови знает каждый камень старого мира, и послушайте, как они говорят, камни, когда наука дает им возможность рассказать все, что знают.

Люди смотрели на Кукса и слабо понимали его речь. Он говорил долго, искренно и горячо, но его все-таки не понимали.

Дикие крики рвались из рупора машины, стоны, горькие унижения нищих, столь обычные в свое время, окрики полицейских, унылый гомон подневольно работающих, измученных, издерганных рабов...

Но люди слушали живые жуткие звуки ушедшей жизни и воспринимали их точно в кошмаре.

Старые понимали, но проходили, а молодые только глядели удивленно, с гримасами боли и отвращения.

6. В «КАМЕРЕ СПОСОБНОСТЕЙ И ПРИЗВАНИЙ»

Тилибом сдался окончательно.

— Ты великий человек, Кукс, — сказал он. — Я покорен твоим изобретением. Но знаешь, история чело-

вечества страшна. В книгах и даже картинах это производит не такое ужасное впечатление, как в живых звуках. Вчера, когда тебя не было дома, я разрешил себе воспользоваться аппаратом и послушал мою квартиру... У меня на лестнице лежит большой, старый, щербатый камень... Будь он проклят, но даю слово, что он был плахой, или же я заболел галлюцинациями. Крики. Понимаешь, сплошь крики и стоны замученных, зарубленных, зарезанных... Затем я гулял по саду с аппаратом. И там то же самое... Всюду плач, крики, пощечины, издевательства, насилия... И только иногда все это сменяется однообразными словами любви. Редкие, однообразные слова любви и избиение — вот главная ось истории людей. Когда об этом читаешь — это одно, но, когда слышишь живые голоса, стоны, крики и мольбы,— это ужасно, непостижимо, страшно. Ты великий человек, Кукс, если ты смог заставить говорить неодушевленные предметы.

Кукс поблагодарил за комплимент и сказал:

— Все это хорошо, я только не знаю, какое применение найдет «Граммофон веков». Видишь, люди не понимают его. В социалистических школах учат больше строительству будущего, чем знакомят с делами прошлого. Очевидно, им некогда особенно ревностно интересоваться старым. Мой аппарат, надо полагать, станет только пособием для историков, а о широком применении придется забыть.

— Да это и понятно, Кукс! Интерес к больному и скверному прошлому вызывает больное и скверное настоящее, а если настоящее радостно и прекрасно...

— Завтра я сдам аппарат в Академию. А сегодня я еще проделаю опыт в «Камере Способностей». У меня там занятия сегодня. Хочешь, поедем со мной.

— Поедем.

«Камера Способностей и Призваний» представляла собой зал, занятый особыми аппаратами и приспособлениями. Сюда приходили трудящиеся, недовольные своим трудом, чувствующие равнодушие к своему делу. Они просили особых специалистов помочь им разобраться в причинах, посоветовать, в крайнем случае, взяться за другое дело и за какое именно. «Камера» была преддверием многих корпусов, объединенных общим названием «Мастерская Опытов».

«Мастерская Опытов» представляла собою изумительное зрелище. Здесь велась разнообразнейшая работа. Результаты бывали порою чудесны: в плохом слесаре обнаруживался талант актера, в актере — призвание к консервированию сельдей, а в педагоге — влечение к пчеловодству.

Работа «Камеры» и «Мастерской Опытов» с каждым годом постепенно уменьшалась, так как работу ее предупреждали усовершенствованные школы, помогавшие ученикам вовремя разобраться в своих способностях и остановиться на определенной профессии.

Куксу выпало на долю беседовать с высоким, хмурым молодым человеком с широко развитой нижней челюстью и глубоко сидящими узкими глазами. Молодой человек был очень силен. О необыкновенной силе его говорили длинные узловатые руки с тяжелыми выступами мышц.

— Садитесь. Чем вы занимаетесь? — спросил Кукс.

— Я — каменщик. Разбиваю в щебень камни.

— Давно занимаетесь этим?

— Четыре года, то есть со времени окончания образования.

— Почему вы тяготитесь своим делом?

— Я грущу во время работы, и это уменьшает производительность моего труда.

— Раньше работа интересовала вас?

— Интересовала.

— Что вы испытывали тогда во время работы?

— Я сначала не мог разбивать крепкие камни и старался научиться этому. Приятно было видеть, как большой камень от двух-трех ударов моего молота разлетается вдребезги. Затем приятное чувство притупилось. Приходилось развлекать себя как-нибудь во время работы. Мне начинало казаться, что у камней есть лица. Если лицо мне нравилось, я откладывал камень, если нет — разбивал его. Однажды большущий камень мне показался похожим на морду отвратительного пса, и я разбил его в бешенстве. Вообще я чувствую, что подобная работа возбуждает во мне скверные инстинкты... Самое приятное в моей работе — это когда мне в камне чудится интересное лицо, и я в нем стараюсь высечь черты, нос, глаза... Но тогда моя работа непроизводительна, и я отстаю от товарищей...

— Вы должны заняться скульптурным искусством.

Это ясно. Занявшись этим, вы будете чувствовать себя на своем месте.

Каменщик восторженно поблагодарил Кукса и отправился в «Мастерскую Опытов» поступать на скульптурное отделение.

— Вот во что превратился суд в социалистическом обществе,— улыбнулся Кукс Тилибому.— А интересно, что скажут эти молодчики, когда узнают как следует про суд прежний? Тут недалеко есть ветхое, старое здание, в котором когда-то был суд. Сейчас в этом здании какой-то музей, и никто не помешает нам выслушать воспоминания его стен, потолков и половиц.

Кукс пригласил с собой нескольких посетителей «Камеры» и отправился с ними в музей.

«Граммофон веков» заработал более удачно, чем когда-либо.

Кукс и Тилибом сидели точно в оцепенении.

Одна яркая, страшная картина суда сменялась другой. Грозные речи прокуроров, показания свидетелей, реплики судей, вопли обвиняемых и осужденных — все это было захватывающе жутко.

Как минута, пролетело несколько часов.

Когда Кукс и Тилибом очнулись, они обменялись растерянными взглядами: никого из молодежи не было. Им, очевидно, было скучно, и они ушли, занятые собой, своей работой, определением своих способностей, своей здоровой и яркой жаждой творчества...

7. ВЕЧЕР

Торжественно садилось огромное красное солнце.

Трудящиеся давно вернулись с фабрик, мастерских и всяких учреждений. Улицы поливались водой. Над крышами приятными волнами струилась механическая музыка домов.

На высоком здании «Вечерней Кино-газеты» дежурные готовились отпечатать на темном небе важнейшие сведения за день. Они ждали захода солнца.

Молодежь разбрелась по садам и паркам. Веселый смех заполнил аллеи. Передвижные летучие театры забавляли и развлекали гуляющих. В некоторых местах к артистам присоединялись прохожие, образовывалась толпа, которая разыгрывала тут же экспромтом состав-

ленную пьесу. Восторги участников и зрителей сливались в общем ликовании.

Когда небо потемнело, на нем появилось множество сведений за день: отчет производства, который интересовал всех, потому что производимое принадлежало всем; усовершенствования, примененные за день в различных областях труда, виды и указания на завтрашний день и новости, полученные из других городов и стран.

Желающие могли в сотнях кинематографов наблюдать картины труда за истекшие сутки, жизнь всего города, учреждений и многое другое.

Кто хотел, шел смотреть жизнь школ и детских колоний, кто — заводов, кто — театров. А были и такие, которых интересовала снятая в течение дня и показанная на экране только жизнь улиц за день.

Играли симфонические оркестры, пели хоры.

Были и «Кварталы Тишины», куда могли уходить желающие полного покоя.

Кукс и Тилибом сидели в саду на крыше огромного дома Кукса. Старики молча читали вечернюю небесную газету и обсуждали, как и все жители города, прочитанное.

— А о моем изобретении пока ни слова, хе, хе...— усмехнулся Кукс.

— На днях прочтем,— утешил друга Тилибом.— Скоро прочтем, и во всех кинематографах замаячит твоя физиономия.

8. СКАНДАЛ В АКАДЕМИИ НАУК

«Граммофон веков» был наконец испытан, и наступило время сдать его в Академию наук.

Не без волнения сделал это Кукс.

В Академии был собран цвет человеческого гения и знаний. По случаю исследования нового изобретения были приглашены представители всех крупных академий наук Европы.

Целую неделю испытывали «Граммофон веков».

Испытание изумительного аппарата вызвало, к сожалению, два несчастья. Один из ученых, творец «Новой этики», присутствовал при том, как аппарат работал в саду, под старым дубом.

Оказалось, что когда-то под этим дубом расстреливали человека, и поистине ужасна была мольба обреченного:

— Стреляйте, только не в лицо!

Эта просьба кем-то неизвестно когда убиваемого человека произвела столь удручающее впечатление, что чуткий создатель «Новой этики» начал биться головой о землю и, как выяснило дальнейшее его поведение, сошел с ума.

Второе несчастье было не менее трагично.

Когда аппарат в другом саду начал с беспощадной яркостью воспроизводить сцену истязания мужика помещиком и сад огласился жуткими воплями истязуемого, присутствовавший среди ученых старый революционер вдруг бросился к аппарату, повалил его и начал топтать ногами.

В общем шуме даже не слышно было, что при этом выкрикивал возмущенный революционер.

Кукс лежал в глубоком обмороке.

Когда он очнулся и несколько успокоился, его пригласили на собрание ученых.

Усталый, разбитый, пошел он в зал, ожидая выражения сочувствия и думая о том, можно ли исправить аппарат.

Но к изумлению своему, Кукс сочувствия ни от кого не получил и никто даже не протестовал против порчи аппарата.

— Ваше изобретение, гражданин,— сказали ему,— велико, но, к сожалению, оно совершенно бесполезно. Пусть будет навеки проклят старый мир! Нам не нужны его стоны, нам не нужны его ужасы. Мы не хотим слушать его жутких голосов. Будь он проклят навеки! Кукс, посмотрите в окно! Сегодня праздник. Смотрите на наших детей, слушайте их голоса — здоровые, счастливые, слушайте, скажите, не кощунство ли слушать одновременно этот ужас, каким вопиет ваша дьявольская машина? Вы гениальны, Кукс, но во имя новой радостной жизни пожертвуйте своим гением. Не мучайте нас. Мы не хотим знать и слушать о старом мире, от которого ушли навсегда.

Кукс хотел возразить, что он не согласен, что он видит даже сейчас многие несовершенства, которые можно было бы устранить именно действием его машины, но он устал, возражал слабо, и его не слушали.

9. ПЕЧАЛЬНАЯ СУДЬБА «ГРАММОФОНА ВЕКОВ»

Кукс взял изувеченный аппарат и побрел домой. Дома ждал его Тилибом.

Кукс рассказал ему о пережитом. Тилибом выслушал и произнес:

— А ведь они правы. Кукс! Знаешь, с тех пор как я ознакомился с работой «Граммофона веков», я потерял покой. Я обалдел. Я грущу. Я часто плачу. Я начал сомневаться в тебе, в твоей дружбе. Я тебе не рассказывал, но я завел аппарат в моей квартире и услышал немало гадостей, которые ты изволил говорить у меня дома в моем отсутствии.

— А скажи, пожалуйста, разве ты не пытался соблазнить мою покойную жену, Маню?

— Да, да. Мы сто́им, конечно, друг друга. Старый мир с его лицемерием, ложью, предательством и гнусностью еще не окончательно вытравился из наших душ, но не надо освежать его в нашей памяти.

Кукс молчал.

— И помимо личной мерзости,— продолжал Тилибом,— в ушах моих постоянно звучат стоны, крики, проклятия и ругань, которыми был переполнен старый мир и о которых вопиет при помощи твоей адской машины каждый камень, каждый клок штукатурки, каждый неодушевленный предмет. О, я счастлив, что «Граммофона веков» уже нет. Я прямо счастлив.

Кукс молчал.

Когда Тилибом ушел, он лег на диван в кабинете и предался размышлениям.

Изувеченный «Граммофон веков» лежал на полу. По инерции в нем двигались какие-то валики и сами собой вылетали нахватанные в разное время слова и фразы.

Старый мир дышал в машине последним дыханием, выругивался и высказывался унылыми, обыденными словами своей жестокости, тоски, банальности и скуки.

— В морду! — глухо вырывалось из машины.

— Молчать!

— А, здравствуйте, сколько зим, сколько лет!..

— Не приставайте! Нет мелочи. Бог даст.

— Ай, ай, тятенька, не бей, больше не буду!

— Сволочь!.. Мерзавец! Меррз...

— Работай, скотина!

— Молчать!
— Застрелю, как собаку!
— Я вас люблю, Линочка... Я вас обожаю...
— Человек, получи на чай!
И так далее, и так далее.
Бессвязные слова и фразы, но одинаково жуткие, на всех языках вылетали из испорченной машины, и Кукс вдруг вскочил и начал добивать машину и топтать ее ногами, как тот революционер в Академии.
Затем остановился, поскреб лысое темя и тихо произнес:
— Да. Пусть сгинет старое! Не надо... Не надо...

Валентин Катаев

СЭР ГЕНРИ и ЧЕРТ

(Сыпной тиф)

Огненные папиросы ползали по перрону ракетами, рассыпая искры и взрываясь. В темноте толклись зеленые созвездия стрелок и в смятении кричали кондукторские канареечные свистки. Железо било в железо. Станции великолепными мельницами пролетали мимо окон на электрических крыльях. А меня мотало на койке, и вслед за ночью наступала опять ночь, и вслед за сном снился опять сон, но сколько было ночей и снов — я не знаю. Только один раз был день. Этот мгновенный день был моей бледной легкой рукой, которую я рассматривал на одеяле, желая найти розовую сыпь. Но одеяло было таким красным, а рука — такой белой, что, натрудив яркостью глаза, я опять переставал видеть день. На голове лежал тяжелый камень, то холодный, то горячий. Потом меня качало в автомобиле, и резкий сыпнотифозный запах дезинфекции смешивался с бензинным дымом. Углы, дождь, железные деревья и люди моего родного города, которого я не узнавал, вертелись и, раскачиваясь, обтекали валкий автомобиль. И в комнате, где не было ничего, кроме огромного белого потолка, страшно лилась в глаза из сверкающего крапа единственная электрическая лампочка. Потом сильный и грубый татарин в халате, с бритой голубой головой, скру-

тив мою слабую шею, драл череп визжащей и лязгающей машинкой, и сквозь душный пар, подымавшийся над ванной, я видел, как падали и налипали на пол мертвые клочья выстриженных волос. И мне было смертельно грустно видеть их; как будто в этих падающих жалких клочьях шерсти по капле уходила моя жизнь. Меня опускали в кипяток и мыли, но воспаленная кожа не чувствовала жара, и ноги продолжали оставаться твердыми, ледяными. Меня куда-то несли и качали. Потом все ушли и оставили меня одного бороться и гибнуть в этой разрушительной и непонятной работе, от которой весь я гудел, как динамо.

Тот изумительный осажденный город, о кабачках и огнях которого я так страстно думал три месяца, мотаясь в стальной башне бронепоезда, был где-то вокруг за стенами совсем близко. Сквозь гуденье крови, сквозь туман и жар я видел волшебные опаловые стекла, за которыми цвели удивительные зори и росли каменные городские сады. Там было пламенно-синее море, и розы, и смуглая девочка с японскими глазами играла на пианино перед черной лаковой доской, на которой росли две желтые хризантемы, два японских солнца, золотясь на раскрытых нотах, на крылах белоснежной цапли, собирающейся улететь из смуглых рук гейши. У входа в фешенебельные кабачки на плакатах кривлялись стилизованные короли и арлекины, и от изящнейших женщин пахло французскими духами. Во мраке кинематографов ослепительно били голубые прожектора и призрачная красота светилась и мелькала из белых экранов. Но все это, желанное, было недостижимо, за волшебными опаловыми стеклами. А все враждебное, невыносимое, ужасное было рядом со мною, совсем близко — во мне. Громадные пустынные степи и черное удушливое небо окружали меня. Вороны, распластав крылья, беззвучно летали косо по ветру. Вороные двуглавые орлы в казачьих фуражках, на сибирских лошадях с пиками дикими разъездами кружили в снегах возле меня. А я был беззащитен, а я лежал с оторванными ногами и должен был гибнуть. Никто не мог мне помочь. Ни смуглая влюбленная девчонка с хризантемами и в берете, смутно стоявшая у меня в головах, ни рука, наливавшая вино в белую кружку. Истекая кровью, я переползал страшные рвы и переплывал бурные реки. В высоких безнадежных глухих степях я отыс-

кивал потайные ходы и все полз, полз и полз. Но станция, затерянная в снегах, все так же махала электрическими крыльями, и все так же недостижимо пели уходящие в город поезда. Казаки гнались за мной по пятам. Они настигали меня, они били меня нагайками и отнимали у меня мешочек с золотыми обрезками, спрятанный на груди. Я валялся под конскими копытами и молил: «Не отнимайте моего богатства. Пожалейте меня. Я умираю». И самое ужасное было то, что бред для меня был такой же истиной, как и правда, и то, что не было боли. Страшная тоска сжимала в своем железном кулаке мое сердце так, что оно почти переставало биться, и тогда молотки начинали стучать в висках, динамо гудело все сильнее и сильнее, дышать было невозможно, но боли все не было, и опаловые стекла горели все так же холодно и волшебно. О, если бы сделалась пронзительная, ужасная, отрадная боль! Она одна могла спасти меня от этих казаков, казаков, отнимавших мое золото, мое единственное богатство. Она одна могла разрядить это гудящее страшное напряжение, от которого вздувались во мне какие-то готовые лопнуть трубы. И в тот час, когда я, раздетый, ограбленный и замерзающий, лежал в снегах, ожидая гибели, шум работы, адское гуденье динамо и грохот осеклись, и отрадная мертвая тишина стала расходиться от уха, подобно кругам от брошенного камня. И в самой середине, в ухе, в источнике этих кругов вкрадчиво запела тонкая высокая боль, красной струной вытянувшись к лампочке в потолке. Долго пела и колебалась эта струна, и чистая высокая боль возвращала меня к жизни. И когда волшебные стекла потускнели и сделались синими, а лампочка на потолке стала наливаться каленой краснотой железа, боль превратилась в молодого английского студента сэра Генри.

Я прекрасно видел его синий пиджак и белые отвороты рубашки, безукоризненный пробор и выдающийся подбородок, над которым равнодушно торчала трубочка, распространявшая тонкий аромат кепстена. Вместе с тем и сэр Генри и я были нераздельным единым живой боли, которая гнездилась у меня в ухе. И самое ухо стало раскрытым окном буфета искусственных минеральных вод, в глубине которого, мелькая, свистели ремни, шипели машины, тонко гудело динамо и горела лампочка. А сэр Генри сидел на подоконнике, свесив ноги

в лиловых чулках, и, презрительно пуская мне в лицо голубые кольца дыма, заглядывая в толстую книгу, зубрил органическую химию. Вероятно, ои готовился к экзамену. Его поведеиие показалось мне оскорбительным.

— Сэр,— сказал я, не вполне владея синтаксисом,— будучи мною самим, вам бы следовало быть более воспитаиным. Я не переношу табачного дыма. Кроме того, прошу заметить, что англичане должны уважать русских.

— Хорошо, коллега, ие волнуйтесь,— ответил сэр Генри в сторону.— Сейчас мы это все исправим. У вас ничего не болит?

— Конечно, болит, сэр. Ведь вы же и есть эта проклятая боль, которая, как крыса, копошится в моем ухе. Надеюсь, вам это должно быть известно лучше, чем мне.

— Ладно, сейчас увидим.

И не успел я ответить, как сэр Генри ловко соскочил с подоконника и, оказавшись в глубине буфета, стал что-то делать среди мельканий, шипеиья и гуда. От его движений шум становился сильнее, машины одна за другой лопались, и боль красной нитью накручивалась на зубчатые колеса, заставляя меня стонать и молить о пощаде. Потом опять заблестела веселая летняя зелень, и чистенькие школьники в пелеринах и беретах с красными помпонами и кармаиами, иабитыми жареиыми каштаиами, высыпали на подстриженную лужайку и столпились у окна, где опять как ни в чем ие бывало сидел сэр Генри с книгой.

— Дети, идите сюда! — кричал я.— Не слушайте сэра Генри. Он ничего ие знает. Он сам мой ученик. Только я научу вас настоящему и прекрасному, только я спою вам песни, слышанные мною от ангелов. Я научу вас стрелять из настоящих пушек и кричать: «Прицел семьдесят пять, трубка семьдесят пять, первое — огонь!»

Но, вероятно, мой голос был неслышен и иеубедителен, потому что школьиики обступали англичаиина все гуще, пока совсем не закрыли от моих глаз и его самого, и окно, и мелькание машин. Тяжелая обида навалилась на мое сердце. Детям были не нужны мои песни и пушки. Они любили органическую химию.

— Сэр Генри, берегитесь,— закричал я, стараясь перекричать шум.— Берегитесь, я сведу с вами счеты. Слышите ли, сэр Генри! — Но шум был сильией голоса. Тогда я закрыл глаза, чтобы не видеть всего этого, и,

изнемогая от смертельной и совершенно незаслуженной обиды, стал ожидать, что случится дальше.

А дальше случилось вот что. От жары и духоты у меня в ухе завелись крысы — целое вонючее крысиное гнездо. Маленькие крысята возились и царапались, а большие крысы тяжело и мягко лежали на дне гнезда. Это было отвратительно. Я изнемогал от жары. Сколько времени возились у меня в ухе крысы, я не знал. Много раз волшебные стекла загорались и меркли. Лампочка на потолке много раз наливалась каленой краснотой, сияла, гасла, и косматая папаха, висящая над моим изголовьем, продолжала цвести такой же черной громадной хризантемой, распространяющей запах козла. А крысы все копошились и копошились, и с каждым часом их становилось все больше и больше.

И вдруг наступил конец мученьям. Послышались знакомые шаги и голос. Несомненно, это был сэр Генри, но, боже, как он постарел! Вероятно, мы не видались с ним лет десять. Теперь он уже не был изящным молодым джентльменом, обучающимся в Оксфорде. Это был поседелый в бурях суровый моряк — капитан разбойничьего брига. Его глиняное лицо, выжженное, как кирпич, тропическим солнцем, смотрело внимательно и приветливо, а черная трубка распространяла тот же знакомый запах кепстена. Все было забыто. Мы опять были друзьями.

— Как вы себя чувствуете, дружище? — спросил он, крепко пожимая мне руку.

— Спасибо, капитан, только меня очень мучают крысы. Они завелись вот здесь, представьте, в самом ухе. Кроме того, у меня казаки отняли золото, все мое богатство.

— Ладно,— сказал сэр Генри, улыбаясь.

Этот добряк с обветренным лицом вынул из-за пояса нож и мгновенно вырезал у меня из уха противное крысиное гнездо, влил в ухо теплой смолы и обвязал голову черным пиратским флагом так туго, что я не мог открыть рта. Боль перестала, и стало хорошо и отрадно.

— А теперь в дорогу,— сказал сэр Генри, и нас окружили пираты с брига.

Шумной толпой мы сбежали по наклонной широкой песчаной дороге к морю. Солнце, только что поднявшееся над горизонтом, било в глаза. Сверкающие ракушки

и гравий, остро пахнущие солью и йодом, хрустели под высокими сапогами с раструбами.

Полосатые тенты кафе, где за мраморными столиками люди в белых панамах ели фруктовое мороженое, надувались парусами. И фотограф, изогнувшись перед треножником, моментально снимал бронзовую группу купальщиков, стоящих по колено в воде, на фоне сверкающей ряби. А там, в полумиле от берега, в пламенной синеве, плавал на якоре великолепный разбойничий бриг «Король морей». Над узорной трехъярусной кормой с квадратными окошками вилась узкая лента вымпела, и белоснежные паруса, полные утреннего бриза, казались сияющими облаками. На утлых шлюпках мы отвалили от берега, и через пять минут «Король морей», рассекая широкой грудью синие свитки волн, увенчанных кудрявой пеной, отплыл к неизвестным берегам.

Пираты пили ром и курили трубки, сидя на бочках с порохом и ящиках с сухарями. Турецкие пистолеты торчали за поясами, и у ног лежали сваленные грудой кремневые мушкеты. Капитан сэр Генри стоял на рубке, вцепившись железными пальцами в поручни, и орлиными глазами смотрел вдаль. Ветер крепчал. Пены на волнах становилось все больше и больше. Облака набегали одно за другим на солнце. Огромное море поднималось темной синевой то справа, то слева, то над кормой, то под носом. И пока ветер свистал в снастях и трепал на средней, самой высокой мачте черный флаг с белой козлиной головой, пираты пели странные, уже когда-то слышанные мною песни, покрывая голосами где-то «органный гул океана».

Наступила ночь. Луна прыгала в черных тучах, волны с грохотом били в корабельные доски. Ванты скрипели, огни святого Эльма голубыми языками мерцали на реях, сэр Генри неподвижно стоял, раскачиваясь вместе с рубкой, на фоне черного неба, а голоса пиратов не смолкали, в тысячный раз повторяя:

Но где-то есть иные области,
Луной мучительной томимы,
Для высшей силы, высшей доблести
Они навек недостижимы.

И дружным криком заканчивали:

Пьянство и черт сделали свое дело!
Пятнадцать человек на ящике мертвеца

Иох-хох-ох, йох-ох-ох —
И бутылка рому.

Через три дня «Король морей» бросил якорь у берегов чудесного острова, имени которого я не знал. По упругому трапу мы сошли на песок.

Я в изумлении остановился. Такой прозрачности и чистоты я еще нигде не видел. Воздух как будто бы отсутствовал. Самые отдаленные предметы не теряли подлинности своих красок сквозь расстояние. Вода вокруг острова была изумительного фиолетового цвета, и дно просвечивало сквозь нее салатно-шелковой подкладкой. Огромные дубовые столбы, увенчанные медными птицами, были вбиты в дно у самого берега. На всем песчаном острове не было ни одного дерева. Посредине пестрел базар. Здесь под легким холстом навесов и под зонтиками были расставлены струганые дубовые столы. На столах кипели ослепительно начищенные самовары и осколками битого мрамора лежал сахар. Огромные золотые хлеба заставляли гнуться доски столов, и яркожелтые лимоны горели в стеклянных банках. Хрустальный ключевой кипяток лился из самоварных кранов в прозрачные, как воздух, стаканы, но пар отсутствовал, и женщины в белых бретонских чепчиках делали бутерброды. Я был страшно голоден, но стоял в нерешительности перед чудесной снедью, не зная, в какой стране я нахожусь и можно ли что-нибудь купить за деньги, привезенные мною из Осажденного города.

Тогда, отделившись от толпы, ко мне подошел некий моложавый старик в деревянных башмаках и, почтительно сняв шляпу, сказал:

— Брат мой, если вы голодны, пейте чай и ешьте. Все, что вы видите, к вашим услугам.

— Благодарю вас,— ответил я,— но я нахожусь в затруднительном положении, потому что не знаю, действительны ли у вас деньги, привезенные из Осажденного города.

— Деньги? — удивился старик.— Я не знаю, о чем вы говорите. Если о тех бумажках и кружочках, которые так бережно носят на груди матросы с вашего брига,— то это не нужно. На нашем острове каждый голодный подходит к столам и ест столько, сколько ему нужно для утоления голода. А этого у нас и без того сколько

угодно,— прибавил старик, презрительно показывая деревянным башмаком на песок.

«Это безумие!» — хотел воскликнуть я, но мой взгляд упал на песок острова, и я побледнел от счастья. Так вот зачем привез меня сюда добрый капитан Генри! Песок был из чистого золота.

Придя в себя от изумления, я взглянул на моложавого старика. Он был тоже бледен и, сдерживая волнение, смотрел на мои высокие запыленные сапоги.

— Брат мой,— начал он в смущении прерывающимся голосом.— Брат мой, простите мою дерзость, но не позволите ли вы взять с ваших сапог немного этой драгоценной земной пыли? У нас на острове ее совершенно нет, а ведь это очень редкая и драгоценная вещь...

— Ради бога! Возьмите сколько угодно,— забормотал я в смущении.

Сейчас же меня окружила толпа обитателей странного острова. Припав к моим ногам, мужчины и женщины с жадными лицами стали осторожно собирать с моих сапог пыль, дрожа и волнуясь, заворачивая ее в тонкую бумагу.

— О, дайте нам вашей пыли,— говорили они певучими голосами, в которых звучала смертельная тоска.— О, дайте нам вашей земной пыли, ведь на нашем проклятом острове нет ни единой пылинки, ни единой пылинки. Ах, как невыносимо скучно и пусто без пыли. Дайте нам хоть щепотку пыли из Осажденного города.

А я забыл голод и не мог отвести глаз от огромного количества золота, рассыпанного вокруг. Через минуту на моих сапогах не было ни одной пылинки. Тогда я сказал:

— А вы, позволите ли вы взять с собою немного песку с вашего Острова?

— О добрый друг,— раздались голоса обитателей Острова.— Берите нашего песку сколько угодно, и да будет с вами мир.

В этот миг прозвучал голос капитана Генри:

— Скорей собирайтесь, друзья, больше оставаться на берегу нельзя ни минуты. Сейчас начнется отлив, и мы рискуем посадить корабль на рифы.

Пираты с брига торопливо втаскивали на корабль мешки, набитые золотом. Паруса распускались. Белая круглая магнитная луна всплывала над морем.

Сэр Генри бросил мне мешок и сказал:

— Поторопись, дружище. Сейчас мы снимаемся. На первый раз этого вам хватит.

Сдирая с пальцев ногти, кусая губы, я стал набивать мешок золотым песком и едва успел, надрываясь под непосильной ношей, шатаясь, взойти по трапу, как якорь подняли.

Страшная буря разыгралась в эту ночь в океане. Мачты валило. Порыв ветра сорвал у меня с головы пиратский флаг, и из уха хлынул зловонный гной, пахнущий крысиным гнездом.

Потом наступило небытие.

Потайной фонарь луны освещал темные живые тучи над Осажденным городом. В темноте средневековых переулков колебалось пламя стенных решетчатых фонарей. Тяжелые низкие ворота были плотно закрыты на засовы. За каждым углом прятались негодяи в широкополых шляпах, скрывая в складках плащей ножи и кастеты. Они подстерегали меня, желая ограбить. А я, перебегая от дома к дому, скрываясь в нишах незнакомых ворот, тащил в мешке золото из гавани на край города, к своему лучшему другу, чтобы он переплавил золотой песок в слитки и надежно припрятал его. Это был верный и преданный друг. Ему одному верил я среди предателей, негодяев и разбойников, кишевших вокруг меня, как бактерии какой-то невероятной болезни, еще более страшной, чем бубонная чума.

Опасным и тяжелым был этот далекий путь в предместье. Лишь незадолго до рассвета достиг я низких окон, плотно закрытых дубовыми ставнями с вырезанными на них сердцами. Над тяжелыми воротами висела подкова. Я постучал условным стуком, и меня впустили.

О, как постарел мой лучший друг! Теперь он был похож на алхимика. Вероятно, со дня нашей последней встречи прошло немало лет. Неужели и я стал таким же суровым и строгим?

Но каждая минута была на счету. «За дело»,— сказал я, в двух словах объяснив другу все. Через озаренный низкой луной двор мы прошли в кузню, и до самого утра в кузне свистели мехи и гудел горн, в котором, багрово светясь, плавился песок с удивительного острова. Так как скоро в Осажденный город должны были вступить враги, то было решено расплавленному золоту придать форму спасательных кругов, выкрасить белой краской и, надписав на них «Король морей», подвесить

к потолку кузни, чтобы неприятельские солдаты не отняли моего золота, моего единственного богатства.

С первыми лучами солнца все было готово. Блестя свежей краской, спасательные круги висели под закопченным потолком кузни, и слова «Король морей» звучали как эпитафия.

Оставаться дольше было нельзя. Итак, мне суждено было расстаться со своим золотом. В последний раз посмотрев на него, я выбежал.

Уже вокруг стреляли пушки, скакали всадники и падали стрелки. Пуля, пропев пчелой, бегло ужалила меня в ухо, и я застонал. «Скорей, скорей в гавань, на борт «Короля морей». Капитан спасет меня от солдат, ворвавшихся в город. Он увезет меня на чудесный остров, где люди не знают пыли. Никто не посмеет тронуть меня, если на средней, самой высокой мачте будет трепетать черный флаг с белой козлиной головой».

Но было поздно. Пропало все — и золото, и капитан Генри, и чудесный остров.

Лампочка под потолком горела просто и понятно, как всякая электрическая лампочка в темную зимнюю ночь. В темноте окон вспыхивали и передвигались фосфорические полосы прожекторов. Стекла сотрясались и звенели от проезжавших на улице грузовиков.

Тишина жужжала в ушах, и тяжелое страшное ожидание чего-то заставляло напрягаться все мои нервы.

Я в смятенье смотрел на полуоткрытую дверь и ждал того, кто должен был войти. О, если бы это был мой добрый старый капитан, сэр Генри! Он избавил бы меня от тяжести и напряжения, он увез бы меня на своем бриге на чудесный Остров Золотого Песка, по пламенной синеве моря.

И вот в коридоре зазвучали шаги. Я с трудом поднял голову с подушки. Дверь распахнулась, и в палату вошел деловой походкой черт. Это был очень приличный, приятный черт в черном сюртуке и белых манжетах. Он улыбался. Ужас охватил меня.

— Сэр Генри! Сэр Генри, сюда, на помощь! — закричал я и выстрелил в черта из кольта, с которым не расставался никогда: ни наяву, ни в бреду. Черт ловко увернулся от пули и обратился доктором.

...В палату ворвалась сиделка...

Вокруг меня и в меня хлынул звон, грохот и смятенье. И чей-то знакомый и незнакомый, страшно дале-

кий и маленький (как за стеной) голос сказал то ужасное, короткое и единственное слово, смысл которого для меня был темен, но совершенно и навсегда непоправим.

ЭКЗЕМПЛЯР

— А вот в том шкафу,— сказал заведующий музеем,— находится единственный во всем СССР, редчайший в своем роде экземпляр обывателя эпохи тысяча девятьсот пятого года.

— Восковая фигура или чучело? — деловито заинтересовался один из экскурсантов.

— Нет, дорогой товарищ,— с гордостью заметил заведующий,— нет. Это не восковая фигура и не чучело, а совершенно настоящий, подлинный, не тронутый молью и временем превосходный экземпляр обывателя эпохи тысяча девятьсот пятого года.

— Как же так? — хором спросили экскурсанты.

— А так. Единственный в мире случай летаргического сна. Чудо в духе Уэллса. Как впал человек в обморочное состояние двадцать лет тому назад, так до сих пор и не выпал из него.

— Не может этого быть!

— Вот вам и не может! Дело было так. Этого обывателя в тысяча девятьсот пятом году по ошибке задержали вместе с какими-то демонстрантами и отправили в участок. «Ты кто такой есть?» — спросил его дежурный околоточный. «Я-с, ваше благородие, чиновник двенадцатого класса, и ничего такого-с».— «Ой, врешь! А почему у тебя в глазах вроде как бы освободительное движение? Молчать! К какой партии принадлежишь?» Да как стукнет кулаком. Тут обыватель и впал в глубочайший обморок, который впоследствии перешел в летаргический сон. В свое время об этом даже в газетах заграничных писали. Лучшие врачи ничего не могли поделать. А один видный профессор так прямо и заявил: «Теперь субъект выйдет из своего летаргического сна не раньше чем лет через двадцать». Вот ведь какая штука, дорогие товарищи!

— И что ж он, действительно хорошо сохранился? Ах, как интересно и поучительно посмотреть!

— А вот вы его сейчас увидите. Такой, понимаете,

забавный экземпляр! Слов нет. Зонтик, галоши, серебряные часы — все честь честью. Замечательный образчик обывателя. Пальчики оближете. Прошу убедиться.

С этими словами заведующий открыл шкаф — и вдруг в ужасе отскочил назад.

Шкаф был пуст.

— Исчез! — воскликнул с тоской заведующий.

— Сперли, наверное,— выразили предположение экскурсанты.— Досадный факт.

— Не может быть, чтобы сперли! Кресты с могил действительно прут. Бывает. А до покойничков еще не доходило.

— Но что же? Что? Не ушел же он сам?

— Позвольте, товарищи! Ведь как раз прошло двадцать лет. Может быть, он проснулся и того...

— И очень даже просто.

— В таком случае,— завопил заведующий,— его надо спешно отыскать! А то он еще, чего доброго, под автобус попадет. Я же за него несу ответственность. Как это швейцар недоглядел? Извините, товарищи! Бегу, бегу!

Очнувшись от летаргического сна, обыватель прежде всего потрогал ноги — не пропали ли галоши, затем пощупал зонтик, высморкался, осторожно вышел из шкафа и беспрепятственно очутился на улице.

— Домой! Как можно скорее домой! — пробормотал он.— Боже, что подумает жена! Что скажет столоначальник! Ночевать в участке — какой стыд! Извозчик, Третья Мещанская!

— Два рублика.

— Да ты что, братец, белены объелся! Четвертак!

— Сам белены объелся! Тоже ездок нашелся!

— Скотина! Он еще грубит! А в участок хочешь?

— Ты меня еще городовым постращай!

— Ах ты, к-каналья! Над властями издеваешься? Устои подрываешь? Погоди, голубчик, вот я сейчас запишу твой номер! Го-ро-до-вой!!

— Ишь ты! — с уважением воскликнул извозчик.— И где это только люди насобачились добывать в воскресенье горькую? Ума не приложу! И, между прочим, не менее двух бутылок, ежели на ногах держится, а кричит: «Городовой!»

Обыватель тщательно записал номер дерзкого извозчика и пошел пешком.

— Товарищ, скажите, как тут пройти на Дмитровку? — спросил у обывателя встречный юноша.

— Что-с? — завизжал обыватель.— За кого вы меня принимаете? Вы, кажется, думаете, что я из освободителей? Не товарищ я!

— Ну, гражданин. Извиняюсь!

— Не гражданин я.

— А кто же вы такой?

— Я — чиновник двенадцатого класса и кавалер ордена святыя Анны третьей степени. А ежели меня по ошибке задержали вместе с революционерами, то это, молодой человек, еще ничего не доказывает...

Юноша пристально всмотрелся в глаза обывателя и опасливо отошел в сторону.

— Вот ведь какая неприятность! — пробормотал обыватель.— Уже на улицах стали называть товарищем! Дойдет еще до столоначальника, чего доброго. Как пить дать выгонят со службы! Надо что-нибудь предпринять такое...

Обыватель поглубже засунул руки в карманы и запел «Боже, царя храни».

— Эй, газетчик! Дай-ка мне, милый, два номерочка «Русского знамени».

— Чего-с?

— «Знамени», говорю, «Русского» дай мне два номерочка. Или даже лучше — три.

— Нету такой газеты.

— Нету? Ну, дай «Новое время».

— Нету такой газеты.

— А что же есть?

— «Рабочая газета», «Правда», «Красная звезда».

— Ах ты, нахальный мальчишка! Устои подрываешь? Нелегальщиной торгуешь? А вот я тебя, негодяя, в участок сведу!

— Не имеете права! Я налог плачу.

— Ла-а-адно! Я тебе покажу налог!

Обыватель тщательно записал приметы и номер крамольного газетчика и, нудно скрипя галошами, пошел дальше.

Над фасадом большого дома обыватель прочел надпись: «Московский Комитет Всесоюзной Коммунистической партии».

— Тэк-с! Приятно. На глазах у всех, так сказать, подрывают устои. Так и запишем. И улочку запишем. И номерок запишем. Все запишем.

Обыватель внес необходимую запись в памятную книжку и пошел дальше.

— Товарищ, разрешите прикурить? — остановил обывателя толстый гражданин в бобровой шубе.

У обывателя екнуло сердце и подкосились ноги.

— Хи-хи... Не извольте сомневаться. Никак нет. Никакого причастия к нелегальным подпольным организациям, революционным кружкам и политическим группировкам не имею-с и не являюсь, так сказать, «товарищем», а ежели ночевал в участке, то, поверьте, ваш... превосхо... дительство... роковое недоразумение... несчастное стечение обстоятельств... Ва... ва... ва...

Гражданин в шубе в ужасе шарахнулся в сторону.

Исколесив всю Москву и уже окончательно отчаявшись в успехе поисков, заведующий музеем поздно вечером наконец, к великой своей радости, нашел исчезнувший экземпляр обывателя.

Экземпляр стоял посередине Театральной площади на коленях и, рыдая, говорил:

— Как честный человек... Роковое недоразумение... Чиновник двенадцатого класса и никакого причастия не имею... А ежели ночевал в участке, то, видит бог, по ошибке... Боже, царя храни!.. А что касается извозчика номер сорок девять тысяч двадцать один и газетчика номер двенадцать (блондин, четырнадцать лет, глаза голубые, особых примет не имеется), то могу подтвердить, что они есть замешанные в движении, особенно газетчик, который продает подпольную нелегальщину... Опять же могу указать адрес Московского Комитета Коммунистической партии... А ежели ночевал в участке, то...

Многие прохожие останавливались и давали ему копейку.

Две недели бился заведующий музеем, растолковывая обывателю сущность событий и перемен, случившихся за последние двадцать лет.

В начале третьей недели обыватель уразумел.

В конце третьей недели обыватель поступил в трест.

А в начале четвертой как-то вскользь, во время обеденного перерыва, сказал сослуживцам:

— Тысяча девятьсот пятый год? Как же, как же! Помню. Даже, можно сказать, лично участвовал в борьбе с самодержавием. Сидел, знаете, даже. За участие в демонстрации... Были дела! Ну да о чем толковать! Мы старые общественники-революционеры. И вообще, вихри враждебные веют над нами...

Говорят, что один раз он не без успеха выступал даже на вечере воспоминаний о 1905 годе.

Но это недостоверно.

Все же остальное — факт.

Николай Асеев

ЗАВТРА

I

Сначала мысль забилась на виске поэта, в голубоватой прожилке ударами крохотных биений. Это была самая миниатюрная турбина, какую можно было себе представить. Палль спал, и жилка пульсировала медленно и спокойно, накопляя и разряжая микроскопическими приливами берег сознания. Сон, равномерный и глубокий вначале, свернулся вдруг сгустком запекшейся крови, с трудом вытолкнутой сердцем. Жилка набухла и посинела. Ее внятная и трогательная вибрация приостановилась. С усилием сократившись, она протолкнула загустевший комок и забилась прерывисто часто. Голубизна весеннего дня, осаждавшего перед тем закрытые зрачки, превратилась в черную пропасть, через которую сонное сознание отказывалось перелететь. А перелететь было необходимо, чтобы не нарушилось кровообращение. Звонки трамваев, дребезжавшие целый день в только что вынутую раму, странно видоизменились в резкие хриплые голоса, угрожавшие прыжку через пропасть. Лоб Палля завлажнел испариной. Волна крови, докатившись до мозговых волокон, ударила в них цветными фо-

иарями прыгающих искр. Палль хрипло передохиул и тяжко перевернулся иа спииу. Щиплящее мерцаиие затекшего плеча окоичательио разбудило его. Сердце гремело, как после сильного внезапиого испуга. Палль приподнялся и сел в постели. Это ощущение падения — перебои во сие — стало чересчур частым. Весь оргаиизм трепетал от какого-то темного подсозиательного удара, будто бы налетев на подводный камень в плавиом течеиии сна. Так, зиачит, коиец действительио близок. Раньше эти перебои ие были так мучительиы. Что же делать? Врач говорил об изиошеиином сердце, которое следовало бы замеиить иовым. Омоложение? Но оио коснется не только сердца. Оно заполнит и мозг. Оно искривит его извилиины и — вот самая поэма, что вчера задумаиа им с таким приливом радости и реальиости бытия покажется ему сущим вздором. Палль наскоро проглотил бром, в темноте нащупав ложку и флакои, и продолжал соображать. Дышать стало легче. Но мысли были совершенио живыми. Они ворошились в мозгу, как раздразненый клубок змей: свивались в кольца, вставая иа хвосты, переплетались друг с другом. Другие были, как созревшие груши. Их нельзя было троиуть за ветку. Оии гулко падали, обрываясь, полные сока и переспевшие. Но собирать их в темноте было иельзя. Палль подиялся, иакииул пиджак и перешел к столу. Электрическая лампочка перегорела; в темноте ои попытался записать их на ощупь, водя пером иаугад.

«Искусство — сейсмограф волевых устремлеиий человечества. Его ощущения себя, как самого большого запаса жизии. В конце концов едииствеиное искусство — существующее реальио — есть искусство измеиеиия, линяиия, смеиы кожи иепрестаиио обиовляемого созиаиия. Ииаче ощущения бытия стали бы тусклы, их формы стерлись бы, сгладились в смертельное безразличие. Разница ощущеиий есть разиица жизиеспособиости. Хотя эти ощущения могут замирать, их смеиа может замедляться, как ход соков в зимием дереве. Тогда мы имеем мертвенную эпоху установки традиций. Эта эпоха — ие иаша. Накоплеиие рвущихся воль дает иашей жизии стремительную порывистость, и слава тому, кто переведёт эту порывистость иа ровиый, ие останавливающийся ход».

Запись подавляемого кода бившейся жилки была, коиечио, груба. Но приблизительиый ее смысл был таков. И Палль думал если ие этими выражениями, то равными

им в своей назревающей боли пухнущей почки. Наконец, разряд сознання взорвался, строки сделалнсь расплавленными и горячими. Они стали в порядок, и поэма началась.

Откройтесь дверн всех закатов,
Всех предстоящнх вечеров —
У мнра больше нет вагадок:
Он прост, спокоен н суров.
Столетье! Стань в затылок, к ряду,
Мы шагом медленно пройдем
Прннять парад разлатых радуг,
Землн поставленных трудом.

Сердце вновь закололо туповатой болью. Рука сразу устала, и дальнейшне, в темноте напнсанные строкн упали на бумагу перепутанными буквами.

Реллегаи вnбалер
Иншаб вцаньте
Реилоле виперел
Седздь тасосян
Умта шихоюв вирес
Бернег лозот
Соловахи анзаре
Жгутся в золах.

Рука двигалась все медленнее, пока не упала, обесснлев, на стол. Жилка на виске пульснровала порывнсто н внятно. Казалось, был слышен шорох проталкнваемых ею капель.

II

Перехват оборванного клочка мыслн получился механнческн, сам собою, н у Днneса-изобретателя вспыхнуло ощущение оплодотворенного понска. Дальнейшее было просто. Брошюры популяризаторов разъяснили и подтвердилн подсознательно воспрннятое уже напряженнем двух мышлемоторов понятие, и ндея передвнгающихся городов воплотилась в смутное, но прочное представление. Этому способствовал ряд разочарований человечества в возможностн изменнть быт городов статическнм путем. Попытки устройства ряда огромных озонаторов, питающнхся силою мощнейшнх водопадов, не привелн к ожндавшимся результатам. Едва предварнтельные установкн были пущены в ход — обнаружнлось, что затрата имн кислорода уже грозит обесцветнть поверхность земли. Они буквально высасывали ее нз листвы. Леса

желтели и блекли. Это неожиданно наступившая — был май в разгаре — осень заставила прекратить работы. Кроме того, выяснилось, что перегрев трансмиссий грозит иссушить поля. Точнее говоря, количество очищаемого озонаторами воздуха далеко не оправдывалось бы убылью его в воздухоемах. Да и кроме того, с очевидной убедительностью выяснилась невозможность изменить быт старых, чудовищно разросшихся пепелищ человечества. Города пригнетали психику, примораживали, механизировали сознание. Казалось, испарения выгребных ям растлевали стремление к их истреблению.

Постройки колоссальных форм гнели́ и примагничивали волю к движению. И, несмотря на чрезвычайную легкость смены места, у людей атрофировалась потребность к перемещению, апатия и безразличие становились страшнейшими эпидемиями земли.

Динес вовремя появился на свет. Вернее, человечество выдвинуло его против надвигающейся опасности. Его усовершенствованные двигатели уже дали возможность южным коммунам подвесить свои санатории на высоту Альп. Им была измерена впервые и превращена в многообразные виды энергии сила вращения земли. С тех пор, как на это грандиозное маховое колесо был надет привод мысли, запасы механической энергии для людей были неистощимы. Не стало больше опасения за истощение источника топлива. Все главнейшие силовые процессы опирались на земной привод. Однако и эта блестящая победа не успокоила стремительной воли Динеса. Он мечтал о полном видоизменении быта людей, о полной деизоляции их психики.

Острый и длинный, как складывающаяся бритва, он вышел на аэроплощадку стоэтажного дома-обелиска. Призматический вертикальный аэромотор поблескивал стеклами граней на солнце. Динес вошел в него, став похожим на ртуть в термометре. Внутренность аэромотора походила на кабинку обыкновенного лифта. Четыре рычага блестели у возвышавшегося перед скамьей пюпитра. Динес нажал вверх и на запад, и мотор, завертевшись юлой, плавно пошел в сторону от площадки. Молниеносное вращение ничем не отражалось внутри ее, так как внутренний круг пола с механической точностью делал такое же число промежуточных оборотов. Аэромотор был пропеллером, похожим на семенные зонтики одуванчика, и двигался по тому же принципу, что и те.

Система горизонтального полета сохранилась лишь как очень устаревшая, среди немногих частных почитателей старины. Динес летел на запад, пятьдесят миль от коммуны «Грань» в район коммуны «Движение». Двойное кольцо радио-динам окружало плато, на котором высились опытные сооружения. Динес примагнитил мотор к верхнему этажу энергорегулятора и вошел в кубическую залу обсерватории. Сильная зрительная труба проектировала сменную картограмму местности. Динес с невольным удовольствием заметил близость окончания его планировок. Дома-призмы медленно вращались на установках, подобные островам ветряных мельниц. Вышедший из рабочего кабинета лаборант сообщил Динесу количество готовых подъемных установок. Динес молча кивнул головой и, переодевшись в рабочий костюм, склонился над вычислениями. Его профиль походил на падающий в море утес, четко выделяясь на изразцовой стене рабочей залы. Шум динам рокотал за стеклами, аршинные синие искры перебегали по углам. Динес заканчивал формулу подъема.

III

В это же время — шесть утра, сентябрь 1961 г. — в квартале Карманьолы коммуны «Движение» — проснулся большеголовый Цоцци — меделян профессора экспериментальной хирургии. Цоцци проснулся от назойливого гудка кино-телефона, сигнализировавшего спешный вызов. Цоцци медленно поплелся к привратнику и — обученный им этому нехитрому ремеслу — начал старательно сдергивать с него одеяло. Недовольное похрапывание привратника скоро прервалось сонным зевком и, шлепая туфлями, тот прошел в приемную. Повернув включатель экрана, привратник увидел на нем склонившуюся к трубке фигуру Динеса. Изобретатель просит профессора принять его вне очереди? Хорошо. Об этом будет доложено профессору. Ответ к 11-ти дня. Экран погас. Привратник записал телефонограмму в предварительную программу дня. Цоцци еще несколько секунд глядел на экран, как бы ожидая продолжения светоразговора, потом уши его опустились, и голова приникла к лапам в сонном покое.

В 11 с четвертью Динес лежал распростертым на операционном столе. Глазоф — профессор, и ассистент скло-

нились над его замороженным телом, смуглевшим под сталью ланцета. Молчание — в котором позванивали металлические часики инструментов — было торжественно. Сверкающее серебрящейся чешуей тончайшей чеканки, сердце с каучуковыми отростками артерий цвело под безвоздушным стеклянным колпаком.

Глазоф двумя пинцетами приподнял его и перенес в развернутую грудную клетку. Скрепив все соединительные каналы, свив и скрутив усики нервов, профессор дал знак ассистенту — и сверху из прожектора, похожего на воронку душа,— брызнул в раскрытую грудь столб металлолучей, скрепляющих и сращивающих органические ткани.

Затем швы и рубцы поверхности — и пациент был передвинут в камеру восстановления кровообращения. Операция, очевидно, удалась. Об этом говорило сосредоточенное, но довольное сопение из-под густых усов профессора экспериментальной хирургии Глазофа и радостный взгляд его ассистента.

Последовавший затем между ними короткий разговор велся на странном диалекте — звучном и выразительном, в котором, однако, не было и тени родства с существовавшими когда-либо человеческими наречиями. Дело в том, что, пройдя стадию механических языков, способ обмена мнений между людьми стал опираться на смысловые разряды корней, оставляя эмоциональную выразительность одеяния звуков в воле каждого отдельного человека.

Звучала их речь так:

— Жармайль. Урмитиль Эр Ша Ща райль.

— Вдруг Тецигр. Фицорб агогр.

— Эрдарайль. Зуйль. Зуммь, мль.

— Вырдж. Жраб.

Приблизительная значимость диалога была такова:

— Это станет теперь не труднее работы дантиста.

— О, да, профессор, но только под вашим руководством можно сделать установку так точно и быстро!

Довольное сопение усилилось.

— Не забывайте, товарищ, что выделку механизма производил сам пациент. Без него нам бы еще не скоро достичь желательного результата.

— Конечно, конечно — но биться в механическом насосе или в живом организме — разница. И ваша рука, профессор, оживила металл.

— Ну, ну, ну! Все старались! Все старались! Хорошо, что вышло хорошо! Идите в ванную.

Хирургическая опустела. Только в ведре кровянел кусок недавно живого, теперь запекшегося сизого мяса — сердце Динеса.

IV

Динес взвился на наблюдательную площадку здания конденсатора. Ниже его на узорных парапетах, затянутые в каучук, механики суетились у огромного блока, протягивавшего рычаги магнитных полей. При полете предполагалось равномерное движение всех кварталов, в порядке их размещения. Проще говоря, город должен был лететь параллельными кильватерными колоннами улиц. Динес вступил на педали радиорупора и отдал приказ соединить магнитные поля.

Воздух задрожал и заколебался, как от сильного зноя. Сереброчерное облако, плывшее высоко в небе, свернулось вдруг спирально и закрутилось в узкой воронке вихревого смерча. Над всеми домами, предназначенными к подъему, взвились узкие красные полосы флагов. Здания замедлили свое вращение на шпилях, и их дюралюминиевые ребра стали отчетливо выделяться меж стеклянных цельных стен. Динес дал второй сигнал. Рычаг движения загрохотал, как пушечная канонада, и первый квартал, подпрыгнув резиновым движением, повис в трехстах метрах над землей. За ним второй, третий... Все шестьдесят четыре района гирляндами расцветили воздух. Солнце, стоявшее на уровне воздуха, просквозило стекло зданий — казалось, огромный калейдоскоп изменил узор своих стекляшек. Последний сигнал начала полета прозвучал певучими сиренами всех шести тысяч зданий. Земля поползла длинным шлейфом, волнуясь и подергиваясь конвульсиями, за первым движущимся городом человечества.

Низкий длинный звук вращающегося полета покрыл влажным гулом все остальные звуки. Облака метало от кольцевого вихря, образованного разбрасывающей линией полета. Шестьдесят тысяч домов неслись косяком журавлей, разламывая воздушный хрусталь поднебесным мальштремом. Динес снял шлем и, войдя в рулевую кабинку, в упор, передавал распоряжения рулевым городских секторов. Восьмой квартал покривил линию — его следовало вывести из строя. В доме 01012а — испор-

тилось магнетто. Нажатие кнопки — и дом рухнул вниз, выпавшим на обоймы патроном.

Динес закусил губу. Но сердце его билось ровно — серебряное сердце с каучуковыми артериями. Нужно было эволюировать на восток. Магнитный ток переведен на левый катет треугольника; его основание сократилось — и город, не путая порядка кварталов, начал забирать всей правой стороной внутрь кривой полета. Эволюция удалась блестяще. Динес улыбнулся удовлетворенно. Город «Самолет I» годится для переустройства системы мира.

V

В ту тысячную терцию, когда рушащееся на отрубливаемую голову петуха лезвие топора прикасается к его шейным позвонкам, обостренное сознание казнимого отдает последний сигнал гремящей тревоге: «бежать». Приказ выполняется молниеносно. Все мускулы напрягаются. И дальнейшие процессы механически точно выполняют приказ уже отделенного от них мозга. Ножные мускулы сокращаются, крылья хлопают,— петух без головы — хотя бы без головы — продолжает бегство от исполнившего свое дело топора. Есть ли смысл в этом бегстве? Топор же безопасен обезглавленному. Он брошен рядом с головой, у которой веки повело сизой судорогой традиционного покоя. И все-таки — в этом бегстве есть последнее мощное усилие — разряд скопившейся динамики сознания с механизмом. Это — как пущенная пуля, полет которой остановить нельзя.

Вдруг светотень померкла, и в наступившей темноте, сумрачно предостерегающей, взвыл рупор тревоги. Кварталы не отвечали. Динес видел, что второй помощник его тщетно старается выключить магнитный руль. Рычаги бездействовали. Каким образом произошла катастрофа? — Динес не уяснил. Одно движение — и из левого бока треугольника, вертящегося по инерции, здания стали сыпаться, как бобы из прорванного мешка. Динес вошел в кабинку аэромотора и рванул рычаги подъема. Мотор подпрыгнул, как собака на цепи, и тотчас же дернулся обратно, не имея силы выйти из воронки вихря, образованной падающим городом. Еще и еще нажатие рычагов и — подача тока прервалась. Руль лопнул, разлетевшись в мельчайшую металлическую пыль. Динес падал отвесно, вслед за провалившимися кварталами, хотя

быстрота его полета вниз значительно ослабилась шестью последовательными порывами вверх. Город врылся в землю остриями шпилей, когда волна обратного воздуха подхватила мотор Динеса и опустила на землю почти так же, как предохранительная сетка гимнаста. Динес откинул шлем и вышел из кабинки. Вокруг него были руины. Покачнувшиеся и на бок павшие здания устилали равнину. Большинство из них представляло груды обломков. Раскрошенное стекло и согнутый исковерканный металл создавали впечатление унылого первобытного хаоса. Кое-где пламя лизало внутренности кварталов. Жизни нигде не было видно. Рулевые секторов, очевидно, погибли все до одного.

Динес положил руку на сердце. Оно билось звонко и ритмично, не усиливши скорости ударов. Динес тронул еще раз ладонями грудь и прошептал:

«С такой машиной мы еще взовьем вверх человечество».

VI

Палль проснулся от смертельного толчка изнутри. Полуобморочный сон, бросивший его ничком на листы рукописи, прервался внезапно резкой огромной болью, прохватившей его сквозняком с головы до ног. Концы его пальцев окоченели. Он с трудом добрался до окна, пытаясь распахнуть его. Из-за стопудовой рамы в глаза ему прыгнуло небо, с мелкой звездной дрожью, будто натертое фосфором. Ноги подогнулись. Он упал навзничь. Губы посырели от кровяной пены. Жилка на бледном виске еще некоторое время пульсировала, затем восковая амальгама проступила под кожей. В комнате стало тихо. Палль был мертв.

ТОЛЬКО ДЕТАЛЬ

(Московская фантазия)

Следите ли вы за изменением московских улиц? За Арбатом, за Мясницкой, Тверской, Сретенкой. За их внешностью, движением, жестами, сигналами. Я не ошибся, когда употребил именно эти выражения. Они, московские улицы, сигнализируются ежедневно, они жестику-

лируют пред нами с горячей убедительностью, но мы не замечаем этого. Их жесты — о проходящем времени, о смене лет и зим, о выступлении новых поколений. Каждая пустячная деталь,— я не говорю уж о новом доме Моссельпрома, о памятнике Тимирязеву, об автобусах, с рычаньем прорезающих Сретенку и Кузнецкий Мост, но вывески, афиши, форма фонариков у ворот домов — разве это не горячий назойливый шепот на ухо прохожим о новом виде жизни?

А толпа? Разве такая была толпа на московских улицах еще десять лет тому назад? Прибавилось народу в Москве до отказа. Напоило до краев людским дождем московскую чашу. Все народ торопливый, бегучий, свежий. Потонули в нем барыни с собачками, бобровые шапки над почтенными сединами первогильдийскими, наваченые плечи лицейских выкормышей. Лохматые жеребковые куртки, шапки с наушниками, летом — кепковое море, открытые груди в загаре — рабфачья быстрая волна.

Соответственно с этим и привычки. В трамваях ли, в театрах, у трестовской ли очереди — все по-иному, все по-новому: «Коопсах», «Апхим», «Эльмаштрест».

А трамваи. Попробуйте вскочить на ходу — сами знаете, какой веселый свисток у бдительного снегиря. Или еще вот: стоите в очереди к № «А». Стоите тихо, спокойно, с выдержкой. И вдруг этакий купчик с рассеянным видом поперек всей очереди заходит, а за ним другой, третий. «Эй, гражданин. В очередь»... Но гражданин глух и слеп; он и не подозревает об очереди — он, так себе, подошел и норовит за пять шагов до остановки взлететь на подножку, дернув с размаху по носу переднего в очереди. Этот — пройда. Этот может и с казенными деньгами удрать. Остерегайтесь такого — ему наплевать на новый быт — он инди-ви-ду-алист...

Но все это мелочи, штришки, морщинки. Ими не выпишешь лица улицы, городского лица омолаживающейся Москвы. Оно — старушечье, рыхлое, дряблое — вдруг сверкает таким задором, так передернется вдруг в ухмылке, так подмигнет лукавой ресницей, что невольно остановишься: почудилось, что ли, что эта старуха стародавняя вдруг пошла двадцатипятилетней походкой, задорно сверкая кипенью зубов. Смотришь — она опять уже плетется Мертвым переулком в выцветшей наколке

с стеклярусным ридикюлем. Что за притча? Ведь в оборотней теперь веры иет. А кто же был это? Чье лицо мне почудилось? Может, той, что через сорок лет будет?

Вся изменчивость эта, все эти штришки и оттеики всетаки ложатся чересчур медлеино. Настораживай ухо, поводи глазом вкось, примечая их, а тут тебе и введет в скулу оглоблей тяжеловоз на перекрестке, «сам виноват, зачем зеваешь». Так и ие заметишь. Уж разве какой-нибудь «Доброхим» сам в ухо лапками скребется. А то все как будто бы то же. Вои вывеску новую вешают, вон дом иа Милютинском, что с 14 года иедостроенным стоит, заканчивают. Хороший дом, восьмиэтажный. Но это все с затяжкой: сначала леса, потом побелка, потом окиа вставят. А если б сразу его взмыть кверху дней в пятнадцать. Да не его одного, а десятками, десятками на место особнячков, насупленных по бульварным кольцам.

Тогда бы сразу обновились улицы. Тогда бы не жестами глухонемых остановили они прохожего. Ясными глазами стекла, сильными мускулами лифтов притяиули бы они к себе: порядок, стройность, размер. Но это все мечтания. Так не бывает. А все-таки. Давайте пустим ленту немножко скорее. Смотрите, как вскипает камеиное тесто. Как мелькают стеклышками калейдоскопа взлетающие и вновь срываемые вывески, как изламываются улицы, перестраиваясь в новые порядки. Как отцветают газоны площадей, чтобы занести памятники и вновь разрушить их. Как убыстряется движеиие и затем спадает его волиа, иыряя под землю, в коридоры метрополитенов, как врастают в землю иадгробные плиты кладбищ, уступая место искусствеииым лесам, фонтанами взлетающими иа этой тучной почве. Как краснеют крематории, накаляясь от жара сжигаемых поколений. Как, накоиец, плывет гражданин Иван Иванович по иебу, спокойный и счастливый...

Что? Плывет по иебу? Ну да, как облако, плывет по небу. Ведь уже изобретен воздухоподъемник — костюм для плавания в воздухе,

Но это тоже мечты. Хотя говорят, что работа фантазии часто приводит к важным открытиям. Ну да мало ли что... Все-таки Иван Иваиович пока не плывет, а плывет облако над Брянским вокзалом. Вот этот вокзал. Он как будто бы пешком пришел из Европы, да и остановился в

Дорогомилове. Он выгнулся широкими арками, он поднял купола — он новый храм — храм движения. Но как уехать с него человеку приземленному, прикрепленному к жилой площади, к медленным вращательным движениям трамвайных колец, к кладбищам с особняками, к площадям и трестовским очередям? Видите ли, лента пошла немножко назад. Иван Иванович быстро смотался с неба, похудел на сорок лет, сделался Ванькой Облаковым, рабфаковцем Литературного института, изучающим метроритмические изменения ямба от Пушкина до наших дней, получающим стипендию в 17 рублей в месяц и жительствующим в общежитии Молодой Гвардии на третьем этаже, в комнате 13. Это из его головы и был взят весь предыдущий отрывок ленты рассказа, это его наблюдения и мелькали между строк.

Шел Ванька Облаков именно в Дорогомилово с Лубянки пешком — на трамвай денег не оказалось — и обдумывал будущую систему городского устройства. И вдруг — вокзал. А ведь на вокзал-то ему и нужно. Недаром же он оттопал весь Арбат, пока все это передумывал. На вокзале что? На вокзале Граня из Педологического дожидает его, Ваньку Облакова. Живет она на Москве Второй. Приезжает в пять на лекции, а Облаков уж тут как тут.

Высоки залы Брянского вокзала. Светлы его лампионы, вделанные в потолок. А грохот, сотрясающий стены запыхавшихся дальних поездов. А неясный говор, ропот, топот вливающейся в двери дорожной сумятицы. Эх. Это тебе не Никола на Курьях Ножках.

Стеклянный вокзал.

Граня — педологичка. От Дорогомилова до Девичьего всего-то ходу двадцать минут. Да здесь, по Плющихе, и движения никакого. Потому и разговор не клеится. А там, на вокзале, под вздохи паровозов, под шипение дуговых фонарей, под наплыв сотен шаркающих ног слова идут, точно под медные марши духового оркестра. Эх, жизнь, опять в сапог натекло. Ну и дрянь же улица Плющиха; одни еноты потертые попадаются. Даже нищих нет. Вот тебе и клиника, а тут свертывать.

— Значит, в 11.

— Может, опоздаю на 15 минут.

— Ты на углу обожди.

— Ладно.

Так — через день. И до чего это Граня подходящая.

Ни тебе скуления, ни тебе злобы. Только губы стиснет, а губы, как дождем вымытые. А ведь тоже не без фантазии. Шел Облаков назад, шел на Кудрино, не задумываясь. Хлеб горячий пахнет рожью, закромом, сытой теплотой. Уминал фунтов до трех. В особняке института жарко от набившихся ребят. Вечер синий от дыма, дыхания. Спор, хохоток, лекция. Фррр... пошел частить: аллитерация, урбанизация, мелодизация. В академики лезут, черти. И ничего о том, как Москву перестроить. Стих не кирпич, рукой не вложишь. Эх, запеть бы о нем, о вокзале Брянском, пришедшем издалека в Дорогомилово. Чудаки. Попробуй о нем ямбом: так и выйдет — «летит кибитка почтовая». Ого. Уже девять с половиной. Долой мелодизацию. Даешь Девичье поле. И Ванька Облаков опять через Смоленский, замерзший в удавьем сне,— Граню встречать. Не плох и мост Дорогомиловский с огоньком своим. Дорого-милово. И дорого и мило идти с ней опять. Вот гул вокзальный, полноголосый. Веселый звонок. Ушел аккурат Гранин пригородный. Ну, не беда — через полчаса второй будет.

— Давай, Граня, сядем, в какой попало. Давай. Давай: нарочно ехать далеко,— далеко, невесть куда.— В Египет, что ли? Давай.

— Ну смотри — вон полоса света в дверях какая желтая. И звонок. Третий. Эй, скорей в поезд. А поезд далекий, с мягкими подушками, с медными ручками. Значит, едем?

— Едем.

Ах, прощай, Москва стародавняя. Лацкнули буфера, отрыгнули стрелки. Пошли. Понаддай, понаддай, понаддай. Ах, та-та. Что это, будто быстро очень? Ничего, так и надо от старья убегать. Вот когда пошли. Рах-тахтах. Закачало. Эй, Иван, не разгоняй под уклон. Эй, Облаков, не затормозишь потом, ведь. Ничево, ладно будет. Сторонись, береза, отходи, сосна.

Уже горят буфера огнем. Уже свалился в топке машинист. А декапод, знай, колеса плавит. Стой, стрелка хрустнула, как веточка под ногой. Загремел весь состав в тупик. Разрывается сцепка. И весь поезд дальний — на воздух да под откос, вы думаете? Как бы не так! Да по воздуху через барьер тупика. Вытянулись вагоны в трубочки, заплавились на ходу двери — летит одна сплошная железная сигара вокруг земли. Вот какой мы развили ход. Вот какой ход мы развили.

— Ванча. Так же не бывает... Это уже фантастика.

— Ну и что. От фантастики и летать начали. А то бы все пешком ходили. Мне уж надоело. Я два раза нынче Москву вымерял. Стоп: вон бригада идет. Пора смываться. Ну, прощай, поездок, еще мы на тебе поездим.

Но и Ванька Облаков — тоже только деталь — морщинка новой городской жизни. Медленно, медленно изменяется она. Города живут дольше, чем слоны. И вырастает Облаков, не заметив, как изменилась Москва. И не полетит он облаком над Брянским вокзалом. Полетит лишь пар паровозный, оторвавшись от свистка белым облачком. А все-таки хорош Брянский вокзал, пришедший откуда-то из-под Мюнхена и ставший в Дорогомилове образцом для площадных ларьков и покосившихся пригородных лачуг. И можно с него ехать на Брянск, на Киев, через все серединные губернии: Калужскую, Орловскую, Курскую. И еще дальше... Вот, например, станция. Название — «2000 год». Вся она играет огнями. И к ней тянет Ваньку Облакова. Он видит ее отсвет с Брянского уже сегодня. А вы, писатели, хотите его к Николе на Посадьях приохотить? Не выйдет. Заранее предупреждаем вас с другом моим Облаковым. Между прочим, чтобы не спутать при встрече фамилии его Лыков, а это он так, для звучности себя Облаковым называет. И стихи ловчее подписывать. Где он теперь? Вон он растет. Стоит на углу и растет у вас на глазах, как фикус. И если вы хотите рассказа о нем во всех деталях и что случилось с ним, и что случилось с Граней, рекомендую вам лет через двадцать выйти на московские улицы (а до тех пор из дома, если можно, не выходить — для большей полноты впечатления) и посмотреть на них непредупрежденным глазом. Думаю, что вы заметите изменившиеся контуры, а пока это только еле видимое изменение, еле заметная деталь нашего бытия, которую я углядел, учуял и поставил под увеличительное стекло рассказа, находясь на Брянском вокзале весной прошлого года, где отправлял посылкой на север мой ненужный покамест пафос будущего и скоропортящийся в бытовой атмосфере революционный романтизм.

Всеволод Иванов

СТРАННЫЙ СЛУЧАЙ В ТЕПЛОМ ПЕРЕУЛКЕ

Четыре молодых ученых возвращались по Москва-реке с лыжной прогулки. Они поравнялись с Хамовниками. Ученые недавно покинули институт и готовились к практической работе, и отчасти поэтому мы лишены возможности передать их обычные споры о нынешней Москве, в которых с резкостью, почти всех пленяющей, выявлялись их характеры и стремления. Мало того, они свалились сегодня несколько раз в снежные сугробы, а самый младший из них даже расквасил себе нос.

Трудно не расквасить своих чувств! Им предстояло выбрать место работы. Они были в достаточной мере честолюбивы, что не мешало им пылко ценить свою страну, они внимали возгласу общественности, который требовал от них не увеличения московских канцелярий, а изучения глубин республики. Они собирались вернуться в Москву с новыми силами, увеличенными знанием, чтобы поделиться всем этим с молодыми студентами. Мысленно они выбирали фасон бороды, кроме всего остального, что приносит ученая сила. Впрочем, сейчас им необходимо было выбрать место своей работы, но так как каждый из них имел редкую специальность и так как множество городов телеграммами и по телефону напоминало им о своих достоинствах, то они сегодня чуть не переломали свои лыжи, которые им служили исправно уже третью зиму. По горло в снегу, размахивая шапками и рукавицами, они спорили о преимуществах и недостатках северных и мандариновых, сибирских и ленкоранских, уральских и белорусских городов. Каждый владел большим списком городов.

Они устали необычно скоро. Василий Бадьин, старший не по возрасту, а по общительности и склонности популяризировать свои знания, предложил идти обратно.

Громадный город, весь в желто-зеленой дымке, вышел из-за поворота. Они шли медленно, тяжело дыша. Если пытаться объяснить их чувства, то они были похожи на то, что четверо друзей как бы хотели разглядеть за этой знакомой им дымкой очертания того города, который не-

обходимо им выбрать. Когда они поравнялись с Теплым переулком, Бадьин сказал:

— Ну, я вижу, вы совсем валитесь.

— Что же ты предлагаешь?

— Я предлагаю зайти к Ване Пеняеву, вечерами он всегда дома. Парень он упорный, последовательный, идет твердо по своей программе. Полезно у него не только отдохнуть, но и поучиться взвешивать свои мысли.

Бадьин уважал свою аккуратность, а еще больше аккуратность других. Время свое он уже успел разложить по часам, хотя и забывал их часто заводить, но объяснял это тем, что еще мало приобрел привычек. Кроме своей геофизики, он вложил в часы будущих своих работ знание и других наук. На сбор коллекций, даже на охоту он отделил время, и хотя трудно было вместить в циферблат своих часов многие предположения, все же он собирался создать «всеобщую физику мира». Природу он любил не только как ученый, но и как художник. Он лихо рисовал пером и мог отхватить такую карикатуру, на преподавателя, под которой стеснялся даже поставить свою подпись. Вечеринкам он предпочитал сутолоку съездов и мандат считал лучшим украшением своего кармана.

На углу Чудова и Теплого переулка стоит деревянный дом, обшитый тесом, коричневый и одноэтажный. В другое время они бы перекинулись несколькими словами о том, что даже этот переулок, забытый в перестройке города, несмотря на обильный снег, все же так испорчен машинами, что лыжи еле идут. За этим разговором они попытались бы скрыть свою усталость. Бадьин был рад удачному повороту, рад был отдохнуть у Вани Пеняева, где всегда можно встретить новых и свежих людей, которые не выбирают городов и склонны слушать популяризацию. Естественно, что Бадьин торопился. Естественно, что он несколько торопливо связал те три слова, как бы вызвавшие чрезвычайно странное происшествие, правильно судить о которых я лишен возможности по причинам, кажущимся мне вполне резонными. Я изложу эти причины в конце нашего повествования, но пока скажу, что четыре молодых ученых обладают редкой добросовестностью, совершенно необходимой в их науке, выгоды от которой еще пока маловероятны.

Бадьин сказал эти три слова, не особенно веря в то, что они заставят приятелей его шагать быстрее. У ворот

домика видна была женщина в широких серых валенках с желтой кошелкой в руках. Маленькая девочка с длинным зеленым шарфом через спину, касающимся почти земли, требовала от матери санки для катания. Мать нерешительно держала кошелку. Ей не хотелось возвращаться.

— Еще два шага,— сказал приятелям Бадьин.

Молодые ученые, повинуясь ему, но в то же время не ускоряя движений, склонили свои корпуса. Они шли ровно в одну линию все четверо: три мужчины и одна девушка. Эти два шага они сделали словно по команде,— раз, два! — откинули корпуса и выпрямились. Затем они опять немножко наклонились вправо, чтобы свернуть и бойко подкатиться к домику, однако не задевая маленькой девочки и женщины, у которой желтая кошелка и чрезвычайно злое лицо.

Но ни девочки, ни женщины, ни домика перед ними не было. Легкий снег и ветер, о которых мы хотели упомянуть раньше, но не подыскали необходимого места, тем не менее по-прежнему крутил возле их ног. Желтовато-зеленый свет сменился совсем иным. Этот фиолетовый свет,— к тому же какой-то маслянистый,— был им совсем незнаком. Впрочем, о свете они подумали, потому что об этом легче всего было думать. Они оглядели друг друга. Нет, они те же самые парни, на тех же самых лыжах, с бамбуковыми палками в руках, в спортивных костюмах из синей байки, добытых в одном и том же распределителе. У младшего, веснущатого и рыжеватого, дымит в углу рта папироса, которую он закурил перед тем, как сделать эти странные два шага. Перед ними и позади их волнистыми террасами в небо, почти фиолетовое, поднимался другой город. Этот город не имел тех углов, которые они привыкли видеть в Москве. И крыши домов, и окна, и колонны, и очертания темно-желтой площади, лежавшей перед ними, все это отчасти напоминало морской прибой, который как бы поднимает волны выше и выше, и свет в окнах, кружевной и мерцающий, походил на белые верхушки волн в большую бурую. С левой стороны, от синих бесконечных колонн, над которыми они, стремящиеся услышать язык этого города, увидали светлую надпись латинскими буквами, сообщавшую, что здесь «Сорок второй завод РРР»,— скользили прозрачные машины, отчасти похожие на московские автомобили.

Надо полагать, что это возвращались с работы или с заседания, но поток казался бесконечным. Он все ширился и ширился. Рядом с вывеской мелькали какие-то цифры, которые как бы отмечали волны этих машин, выливающиеся из колонн. Затем иа несколько секунд здание осветилось розовым светом. Волны машин еще более увеличились, и приятелям, которые хотели броситься к этому заводу, чтобы узнать, в чем же дело, сделалось как-то не по себе.

В каждой машине сидело по несколько человек с очень серьезными лицами. Должно быть, они решали какой-то важный вопрос, много разговаривали по секциям. Резко бросалось в глаза, что автомобили никем не управлялись, вернее, они не видели, кто бы сидел за рулем. Пассажиры сидели как попало, а машины сами поворачивались, останавливались, пересекали площадь, упирались в дома, спускали дверцу, выскакивал пассажир. Каждая машина шла на ровном расстоянии друг от друга. Видимо, какой-то диспетчер сидел где-нибудь над площадью и наблюдал за всем ее движением. Сергей Петрович или какой-нибудь иной пассажир этого странного города заказывал движение своему автомобилю по такому-то маршруту с остановкой здесь-то, и автомобиль вез его и сам возвращался обратно.

Так пошутил веснущатый молодой парень, который в шутке хотел несколько разрядить свое напряжение. Но было непонятно, для чего же эти автомобили прозрачны!

Здесь их заставил содрогнуться раздавшийся с фиолетового неба голос, который прокричал с необычайной мощностью какую-то длинную фразу. Впрочем, длинной она показалась только спервоначала, с испуга. Когда они вслушались во второй раз в этот возглас, то они, во-первых, поняли, что это крик миллиона или свыше голосов, а во-вторых, что фраза была очень короткой. Они разобрали в ней одно слово «Эль-Готх!». Фраза повторилась несколько раз. Пешеходы, пересекавшие площадь, люди в прозрачных машинах, люди, выскочившие из длинного серого поезда, который вдруг влетел на середину площади по длинной и блестящей медной трубе,— все они на мгновение остановились, замахали руками и ответили, причем во фразе опять было слышно это слово «Эль-Готх», а требовали они, чтобы страдальцы Эль-Готха были выпущены.

Бадьин, который совсем было успокоился, что в стра-

не не говорят по-русски, потому что он, хотя и понимал вывески, напечатанные латинскими буквами, но относил это понимание больше к ошибке, чем к истине. Движение снова возобновилось, мелодичный женский голос тотчас же очень короткими фразами объяснил где-то совсем рядом, что жители Маршальских островов, а также островов Тонга и Новой Каледонии требуют вместе со всеми, чтобы узники Эль-Готха были освобождены, так как жизнь их ни в какой степени не остановит движения за Советскую власть.

Этот возглас указал им, что они находятся в стране, где они могут разговаривать, о чем хотят. Но четыре молодых ученых испытывали смущение. Они не только не знали, что это за узники Эль-Готха, но и не знали самого Эль-Готха. Бадьин, отличавшийся в памяти, сказал, впрочем не совсем уверенно, что это местность в Африке, но что в наши времена, кажется, она была чрезвычайно пустынна.

Их смутили эти слова «наши времена» не меньше, чем громовый возглас с фиолетового неба. Они почувствовали, что эти наши времена остались далеко позади, что предстоит много испытаний и горя. Они, несомненно, испытают уколы самолюбия, а может быть, даже насмешки над своими знаниями, тогда как там, в «наши времена», они обладали всеми передовыми знаниями. Впрочем, их несколько успокаивало то, что окружающие не обращали на них ни малейшего внимания. Где-то неподалеку играла музыка, бежали мимо прозрачные машины. Три человека, один из них с длинной белой бородой, встретились и нежно поцеловали друг друга. Странные мысли им лезли в голову! Например, молодые ученые переглянулись. Значит, поцелуи не считаются антигигиеничными?

Они сделали несколько медленных и осторожных шагов по черному тротуару, приближаясь к дому, низкому и чрезвычайно мягких очертаний, за которым открывалась громадная площадь. Влево от дома шел поворот к сорок второму заводу, а в середине площади возвышался памятник. Монгол опирался на прислоненное к стене красное знамя. Правую руку он сжимал в кулак. Снег мешал им рассмотреть эмблемы, окружавшие этого человека,— но как они ни всматривались в его лицо, как ни вспоминали, они не могли найти среди знакомых им лиц этого странного лица с огромным лбом и мощными

надбровными дугами. Памятник окружали горячие фонтаиы воды, освещаемые сиизу. Пар, поднимавшийся от этих фоитаиов, таявший в пару сиег, придавали какие-то страииые волиеиия этой эллипсоподобной площади, за которой разворачивался гигаитский проспект, вдоль которого они видели миожество памятииков. Деревья, похожие иа кипарисы, были покрыты снегом.

Бадьии вдруг прыгиул в сторону, наклоиился. Он держал в руках мышь. Приятели не удивились. Бадьин был сын любителя-птицелова и в детстве отличался необыкновениым искусством ловли животиых. Ои часто во время разговора вскакивал и ловил мышь, причем он ее хватал всегда пальцами за загривок возле ушей. Однажды эта странная его ловля горячо обсуждалась в иституте, потому что учительница французского языка отказалась от преподавательства. Оиа могла подозревать, что в классе водится мышь, но что ее ученик ловил мышей, словио кот,— это невозможио!..

Бадьин держал крошечное животное, сверкавшее остренькими глазками, и говорил поучающе:

— Ничем не отличается от нашей, такая же неповоротливая!

Приятели рассматривали эту мышь, как бы стараясь иаблюдениями своими сблизить и себя и прошлое, которое они оставили, с тем, что сейчас видят. Но хотя мышь и жмурила глаза, и делала судорожиые движения мордочкой, все это никак не приближало прошлого и иикак ие объясияло иастоящего. Тогда Бадьии выиул платок, завернул в него мышь, причем со свойственным ему умением закутал ее мордочку так, что ей иельзя было двигать челюстями, чтобы выгрызться. Он сунул платок в карман. Оии стояли возле овальной рамы, величиною в два человеческих роста. Рама была укреплеиа среди двух мрамориых столбов, и сквозь иее были видиы деревья возле иизкого дома. Кто-то из них попробовал пошутить, что рама осталась, а портрет уперли. Вдруг пустое простраиство виутри рамы засияло слабым оранжевым светом, постепеино закрывая деревья. Они испугаино попятились. Им показалось, что из рамы дует ветер.

Они быстро успокоились. Знакомый голос, недавио рассказывавший или, вернее, иамекиувший о происшествиях в Эль-Готх, говорил им о том, что думают соседи нашей страиы о возгласе с Маршальских островов. Видимо, на Эль-Готх происходили события чрезвычайиой

важности. Приятели устремились к окну. Они надеялись услышать более подробные сведеиня. Пред глазамн иаших друзей всплыла вдруг рельефиая карта Европы.

Бадьии, который всегда считал себя ответственным за поступки, совершаемые ие только нм, ио и его спутпиками, немедленно повернулся спиною к окиу:

— Они что, им безразличио, потому что они в этом мире. Но нам, если мы вериемся, придется отвечать перед Наркомиделом, которому будут жаловаться заинтересованные страны, а ты попробуй докажи, что Европа действительно так размежевалась! Я предлагаю вам смотреть, ио в то же время как бы не видеть.

Они жадно вглядывались в события, которые происходнли перед иими в рельефе Европы. Этн события полностью объясняли громовый возглас об Эль-Готх, раздавшийся с неба. Они поняли, почему стоит памятник монголу на этой площади, зачем прозрачиые машины и даже что такое «Сорок второй завод РРР». Когда экраи потух, и иовая Европа исчезла, и снова раздался голос, который хотел сообщить им подробиости открытия профессора Филиппа Сафроновича Шерстобитова из города Великнй Устюг,— они плохо восприиимали это сообщенне.

По древним улицам города Великий Устюг шел зиаменитый профессор, сопровождаемый своими учениками и плачущей женой. Севериая Двина несла мимо города свон тускло-серебряные волны, в которых отражались сосны. Видимо, зрнтели будущего СССР любили пейзажи, ио нашим друзьям казалось странным, что зрители не остаиавливаются у окна, а, оглядев их вежливо и без назойлнвости, немедленно отходят прочь. В иное время приятели постарались бы узнать причину отхода, но сейчас им было не до того. Профессор Шерстобитов доказал, что человечеству нет никакого смысла обладать тем ростом, каким оно обладало доселе! Раиьше, когда человечество добывало себе пищу охотой или бродило за стадами, физическое состояние человека, и его рост в том числе,— был ему иеобходим, а теперь этот рост только мешает. Профессор предлагал умеиьшить человеческий рост наполовиiну. Профессор виовь повторял, что, как это можио видеть на ием самом, умствеиные способиости человека остаются такнми же, как и прежде, физическая снла та же, ио потребиости в пище, в жилище, а главное, в простраистве сокращаются наполовину. От кроли-

ков профессор перешел к человеку и первый опыт проделал на самом себе. Его последователи поддержали его. Жена долго сопротивлялась, но наконец согласилась; что же касается детей, то их решение возможно только после их совершеннолетия. По улицам Великого Устюга вдоль берега Двииы шли люди иормального роста, а впереди иих, вполовину ниже своих малолетних детей, шагал профессор Шерстобитов, окруженный «добровольцами — малорослыми». Жены рядом с ним ие было. Должно быть, она плакала дома, чрезвычайно удрученная страиным поступком почтенного профессора, а он шел, чрезвычайио довольный собой, часто выиимал носовой платок и часто сморкался ие столько от надобности, сколько от смущения. Толпа смотрела на них со спокойиым любопытством. Несколько школьников, удивших рыбу, перекинулись словами между собой, указывавших, что поступок «малорослых» широко известеи в стране, но что это ие более как курьез.

Четверо друзей устали чрезвычайио. Положив перед собой лыжи, они стояли неподвижно, опершись иа бамбуковые палки. Давно потухло окно, сквозь которое опять были видны деревья, давно им пора было отходить, а они все стояли, и только Бадьин смог сделать иесколько шагов от «рамы событий» к витрине дома, в которую почти упиралась рама.

— «Дом Чудаков»,— медлеиио прочел Бадьии латинскую иадпись на двери.— Очень нам иужен этот самый ваш Дом Чудаков! И тоже место нашли, куда его поставить.

— Наверно, построение вызвано какими-нибудь воспоминаниями.

— Предлагаю, раз такой случай выпал,— продолжал Бадьин,— пойти в университет и познакомиться с современными течениями геофизики.

— А не лучше ли пойти нам в гостиницу, снять номер и выспаться, а то прямо никаких сил нету стоять дальше.

Они согласились, что в гостиницу лучше всего... Одиако они ие двигались с места. Тяжело зевая, они смотрели в овальиые витрины «Дома Чудаков», которые имели такое прозрачное стекло, что, только дотронувшись, вы верили в его существование. Едва они лишь попали в радиус действия витрины, который был указан розовой чертой на тротуаре, они услышали голос, сообщавший о продолжеиии ежемесячного аукциона.

— Предмет,— говорил голос иеведомым слушателям и зрителям,— предмет, лежавший иа зелеиой бархатиой подушке, есть коробка спичек образца 1934 г., из которой по редчайшей случайиости ие использоваиа ии одна спичка.

Приятели действительио увидали пухлую подушку и обыкиовеииую спичечиую коробку с серой этикеткой, иа которой в лучах иесся чериый аэроплаи, а сверху было иапечатаио полукругом: «Госуд. спичечиая ф-ка, Лениииград», а под аэроплаиом: «Цеиа 3 коп., имеии Демьяна Бедиого».

— Аукциои чудаков продолжается! Слово за вами, товарищ Зыкии из города Серебряиска!

Товарищ Зыкии сказал, что он подумает пять миuут, прежде, чем предложит свой обмеииый фоид. Тогда аукциоиист бесстрастиым и холодиым голосом продолжал, что будет обсуждаться рукопись ромаиа Леоиида Леоиова «Вор». Чудак из штата Квислеид из города Лоигрич «Австралия» предлагал шесть кииг на выбор периода 1900—1950 гг. из своей библиотеки, посвящеииых вопросам древиего права. Наши друзья услышали вздох облегчеиия этого любителя древиего права, когда из Сибири, из Красиоярска, чудак хриплым голосом предложил мамоитовый клык с иикрустациями из поляриой березы. Видимо, любитель древиего права в чем-то сомиевался. Красиоярец приобрел рукопись. Аукциои продолжался. Товарища Зыкииа перебили, предложив за спичечиую коробку спальиый вагои из времеи, приблизительио относящихся ко времени изготовления зиамеиитой спичечной коробки. За спальиым вагоиом последовала коллекция денег иа совершеиио астрономическую сумму, из чего иаши друзья поняли, что деньги замеиены каким-то иным средством обмеиа. Время от времеии аукциоиист для разнообразия переходил от спичечиой коробки к другим предметам... Наши друзья увидали бутылку, множеством печатей и удостовереиий доказывавшую, что в нее заключеи последний дым из последней заводской плаиеты земли. И точио, в прозрачиой бутылке колыхалась какая-то бурая гадость.

Наши друзья, если сказать правду, к чудакам отиосились совсем отрицательио, или, вериее сказать, мало о иих думали. Но иадо полагать, что и в этом городе чу-

даки находились тоже не в особенно большом почете, потому что розовая черта «слушателей» почти вплотную подходила к витрине, в то время как другие дома имели черту гораздо бóльшую, а «Сорок второй завод РРР» имел около самой своей территории окружность не менее полкилометра. Молодым людям надоело смотреть на старинные ботинки, на револьверы и средневековые шлемы, на шнурки, которыми зашнуровывали и они когда-то свои ботинки. Они чувствовали себя бодрее, и младший из них вдруг сказал:

— А денег-то для гостиницы мы не захватили.

Денег у них с собой действительно не было. Они растерянно переглянулись, а веснущатый парень, очень довольный своей выдумкой, продолжал:

— Так как одежда на нас допотопная, так я предлагаю, уж раз такой случай подвернулся, зайти в Дом Чудаков и получить вместо нашей одежды необходимый современный эквивалент.

Девушка сказала:

— Чересчур много на нас старины. А после потребуют теперешнее удостоверение личности? Я слышала, что есть такие жулики, которые здорово подделывают старинные вещи.

Спор этот рассердил Бадьина. Он был способен к напряженному и упорному труду, он всегда наполнен огромным и неостывающим интересом к новому, но вот вдруг самое потрясающее новое повернулось к ним сейчас своей самой неинтересной стороной — чудаческой. Они прежде всего общественники и ученые! Чудаками им никогда не быть.

— И не стыдно вам даже помыслить о том, что можно зайти в этот глупый дом? Я утверждаю, что вы это просто от растерянности.

Они поняли и оценили его сердитый голос. Веснущатый, перебивая девушку, сказал, что, несомненно, его предложение возникло из утомления и жары, хотя вокруг идет метель. Они посмотрели в небо. Фиолетовый цвет его изменился на самый обыкновенный небесный, когда сверху в сумерки сыплется снег. Но они на самом деле испытывали жару. Они обливались потом, тогда как вежливо их обходящие жители города слегка ежились от холода и терли руками щеки. Их удивило пла-

вающее вокруг них слегка желтое сияние. Кроме того, на них посматривали теперь многие люди из прозрачных автомобилей, а женщина, ведущая трех детей, тихо ответила:

— Вы видите перед собой, дети, артистов, представляющих Москву 1934 г., видите, они остановились возле аукционного окна, удивляясь тому, что продают вещи, которые для них в Москве были самыми обыкновенными. Их снимут, а затем вы увидите их приключения...

— А который из них, мама...

Василий Бадьин простил бы еще Дом Чудаков, но чтобы его принимали за артиста, который изображает наивного провинциала, попавшего в столицу, этого он вынести не мог. Он возмущенно схватил лыжи, ударил их о тротуар и воскликнул в пространство:

— Эй, товарищи! Немедленно прекратите эту дурацкую съемку!

Видимо, операторы здесь не в пример прежним московским чрезвычайно уважали своих пациентов. Желтый свет мгновенно потух. Бадьин успокоился и почувствовал себя более сильным. Уверенным движением руки, подмеченным у жителей этого города, он подозвал пустую прозрачную машину. Машина остановилась возле них. Отпала дверца. Бадьин спокойно и солидно сказал:

— Устать мы, конечно, устали, идти мы тут не умеем, еще, пожалуй, при первом же шаге и раздавят нас, а так как мы, несомненно, представляем для них известную ценность и сможем дополнить живыми высказываниями некоторые неясности нашей истории, то берите ваши деревяшки, сядем и поедем в Горсовет объясняться насчет нашего дальнейшего и разумного использования. Ну, еще два шага.

Они схватили лыжи и сделали два шага вперед.

Перед ними стоял тот же обшитый коричневыми досками угловой домик на углу Теплого и Чудова переулка. Женщина в толстых валенках и с кошелкой в руках вышла из калитки, чтобы передать санки дочери. Девочка стояла со счастливым лицом, уронив на землю варежку. Дул тот же холодный и резкий ветер, сопровождаемый

снегом, и сумерки совсем сгустились. Василий Бадьин держал в руках сломанные лыжи. Женщина сказала им, что приятеля нет дома, и очень рассердилась на их удивленные лица.

Позже я много пререкался с моими друзьями. Они никак не хотели искать причины того, откуда возникло это странное видение будущего города, рассказы о котором всех их четырех были одинаковы. Я говорил им:

— Что же хорошего в том, если вы считаете это зрелище необъяснимым? Если б вы нашли причину, то это было бы уже открытием секрета долголетней жизни?

Бадьин и его друзья не хотели быть чудаками. Вот, по-моему, главная причина, которая заставляла их молчать о виденном, потому что разговор со мной произошел случайно. Конечно, смешно, что из будущего они принесли только мышь, завязанную в платок. Мышь эта ничем не отличалась от тех мышей, которых мы часто видим в зубах нашей кошки. Бадьин спокойно говорил мне:

— Вместо того чтобы упрекать нас в бездействии, вы укажите, как нам найти причину. Что же вы полагаете, мы должны бежать разыскивать, действительно ли родился или рождается Шерстобитов, будущий изобретатель «малорослых», или вместо нашего обычного труда мы должны рыскать по Теплому переулку, чтобы найти ту случайность, которая заставила нас шагнуть в прошлое?

К сожалению, мои литературные интересы мало занимали их. А что касается того, как изменится карта Европы, они отшучивались строгостью Наркоминдела, который просит граждан СССР не вмешиваться в дела других стран. Они, улыбаясь, слушали, как я кричал им:

— Ну, поймите же вы, что я не могу создать отличнейшее повествование. Например, вы, Бадьин, отбросили совершенно напрасно великолепную беллетристическую канву. Например, проследить истоки биографий Шерстобитова или других героев будущего, которых вы видели! Вам не хочется или у вас нет времени наблюдать за этими людьми или за их родителями? Великолепно. Назовите мне их фамилии! Я познакомлю с этими младенцами писателей. Молодой писатель сможет наблю-

дать за молодостью великого ученого, и под старость воспоминания будут для него и отличным куском хлеба, и приятным знаком внимания окружающих. Мало того, мы с вами старые приятели, и вы огорчитесь, когда мои читатели будут негодовать на меня за то, что я прервал рассказ на самом интересном месте. Именем великой нашей литературы я умоляю вас открыть мне хоть немного из тайн Теплого переулка.

Бадьин ответил и от самого себя, и за своих друзей:

— Я полагаю, что наблюдения за любым человеком нашей страны будут писателю не менее полезны, чем если бы мы указали город, где родился, и фамилию будущих великих людей. Писатели, так же как и мы, ученые, должны искать, а не получать готовое. И с этой точки зрения мы довольны, что не видали геофизического факультета будущего. Искать надо в творчестве, а не в чудачестве, товарищ Иванов. Кроме того, кто знает, может быть, многие из вас еще переменят свои фамилии.

Я предложил им тогда выбрать для своей работы те города, в которых должны родиться виденные ими великие ученые и общественные деятели будущего. Они ухмыльнулись. Как я ни доказывал, но они выбрали совсем иные города, которые, по их словам, «более подходят к задачам нашей жизни». Тогда я спросил:

— Ну, если уж вы так странно заканчиваете вашу историю, то я прошу вас самих объяснить моим читателям причины, по которым вы не открыли, или, вернее, не захотели открыть тайну Теплого переулка. Я надеюсь, что, когда вы вернетесь в Москву почтенными профессорами, вы в лекции вспомните моих читателей. Ведь виденное вами вы не будете сваливать на сон?

Бадьин ответил:

— Какой же это сон? Снов мы не запоминаем, нам некогда. Что же касается ваших читателей, то, если они запомнят ваш рассказ, они в свое время проверят его. Если он окажется правдой, они найдут ему причины, если это ложь, они отнесут его за счет вашего чудачества. А если они забудут рассказ, то какая ему цена? Касаясь же лекций, утверждаю, что ни одной ноты чудачества туда не будет привнесено.

Константин Паустовский

ДОБЛЕСТЬ

Маленький мальчик рисовал цветными карандашами. Он был очень озабочен и о чем-то напряженно думал. Потом он поднял голову, посмотрел на меня, и из глаз его неожиданно полились слезы. Они ползли по щекам, капали на его измазанные карандашами пальцы, и от слез мальчику было трудно дышать.

— Па,— шепотом спросил он,— почему люди не придумали лекарства, чтобы не умирать?

Тогда мне пришлось рассказать ему эту историю.

Летчик Шебалин заблудился в туманах.

Морские метеорологические станции вывесили объявления о том, что на Европу надвигаются мощные массы тропического воздуха.

Стояла зима. Снега не было, но треск сухих листьев напоминал жителям морского города хрупкий треск льда. Этот звук был свойственен только зиме.

Знатоки морских туманов и дымной мглы — англичанин Тейлор и немец Георги — дали точное определение этого тумана: «Теплый тропический воздух, если его зимой приносит в Европу, превращается сначала в голубоватую мглу, затягивающую материки на сотни миль, а затем мгла переходит в моросящие дожди. Туман этот очень устойчив».

Летчик Шебалин знал это. Внизу были пропасти и рваные вершины Карадага, покрытые лишаями и ржавчиной тысячелетий. Туман закрывал вершину. Он ударялся с размаху в гранитную стену горы и взмывал к небу могучей белой рекой. Вокруг этого туманного столба — единственного ориентира — Шебалин упорно водил по широким кругам стремительную машину.

Равнодушно и глухо гудело море. Красное солнце — солнце ранней зимы — висело во мгле и отливало сумрачной бронзой на мокрых крыльях машины.

В кабине самолета лежал в жару маленький мальчик. Мать сидела около него, и каждый раз, когда Шебалин оборачивался, он видел глубокие, почти мужские, морщины около ее губ. Мальчик умирал.

Шебалин летал за мальчиком в степь и должен был его доставить в больницу в приморский город. Три ча-

са назад, когда мальчика вносили в кабину, сухое небо было безоблачно и на чертополохе блестела паутина,— казалось, ничто не предвещало тумана.

Шебалин знал, что, даже если удастся через два-три часа сесть на землю,— все равно будет поздно — мальчика уже не спасти. Просветов в тумане не было.

Машина с торжественным ревом рвала в клочья сырой и душный дым. Мальчик метался и бредил.

Внезапно Шебалин увидел внизу тень громадной и стремительной птицы. Самолет! Шебалин резко взял вверх.

— Конденсация! — крикнул ему в лицо борт-механик.— Вылетели все-таки!

Шебалин кивнул. Встречная машина промахнула серебряным крылом. Шебалин узнал машину Ставриди.

Ставриди шел в тумане и рассеивал за собой широкими дорогами наэлектризованную пыль. Пыль притягивала частицы тумана, пыль превращала туман в крупный дождь. Его первые капли уже били наискось в стекла кабины.

Туман оседал глубокими пропастями, уже блестели под слюдяным солнцем мокрые ребра Карадага, и Шебалин увидел внизу землю, омытую дождем. Она переливалась и слепила глаза.

Шебалин уверенно пошел на посадку.

С аэродрома мальчика увезли в больницу. Шебалин медленно вылез из машины. Его не удивило, что аэродром был полон летчиков, не удивил вылет Ставриди. Он знал, что рассеивание тумана было сложным и дорогим делом, но не удивился и этому,— жизнь мальчика была дороже.

«Кто же этот мальчик?» — подумал Шебалин. Он даже не спросил об этом, когда получил приказ лететь.

Вечером экстренные выпуски газет сообщили, что летчик Шебалин доставил в город мальчика семи лет, получившего сотрясение мозга. Врачи признали состояние мальчика почти безнадежным, но допускали, что благоприятный исход возможен лишь при условии абсолютной тишины и покоя.

Через час после выхода газет на улицах было расклеено постановление городского Совета, предлагавшее всем гражданам города соблюдать тишину. Наряды милиционеров прекратили движение около больницы.

Но эти меры были излишни. Без всякого приказа го-

род затаил дыхание. И тем явственнее звучали голоса моря, ветра и сухой листвы.

Автомобили шли, крадучись, по окраинам. Шоферы, привыкшие газовать и рявкать сиренами, безмолвно сидели в темноте своих кабин, как заговорщики.

Ярость шоферов обрушилась на потертое такси, прозванное «кипятильником». Машина эта внезапно и оглушительно стреляла. Вдогонку ей шоферы грозили кулаками и кричали свистящим шепотом: «Чтоб ты пропал, чертов кипятильник!»

Газетчики перестали кричать. Громкоговорители были выключены. Пионеры образовали отряды по поддержанию тишины, но у них почти не было работы.

Нарушений тишины не было, если не считать незначительного случая с портовым фонарщиком. Это был старый и веселый человек.

Он шел и горланил песню, потому что приморский город привык петь и смеяться. Песни он выдумывал сам.

Фонарь горит, и звезд не надо,
И звезд не надо на небесах,
И все мы рады, да — очень рады,
Что нам не надо бродить впотьмах!

Пионеры остановили старика. Тихий разговор длился недолго. После него пьяный фонарщик сел на мостовую, стащил, кряхтя, ботинки и пошел на цыпочках к своему одинокому дому на окраине. Он грозил в переулки пальцем и шипел на прохожих. У себя дома он выпустил кошку из чулана, чтобы она не мяукала, вытащил из кармана старинные часы — толстую луковицу, послушал их громкий стук, положил часы на стол, прикрыл сверху подушкой и погрозил часам кулаком.

Второй случай произошел в порту и потом долго обсуждался по всему побережью.

Надо сказать, что от стародавних времен на морях еще сохранились заслуженные грузовые пароходы. Скрипя и тяжело переваливаясь на волнах, они проплывали около нарядных теплоходов и недружелюбно косились на них. Теплоходы шипели пеной и винтами и закатывались по ночам в морских горизонтах, как закатываются ослепительные планеты.

Один из таких пароходов — «Труженик моря» — подходил с грузом кровельного железа к городу, где лежал в больнице мальчик.

В десяти милях от берега пароход получил от начальника порта радиограмму. Начальник порта предупреждал, что ввиду чрезвычайных обстоятельств выгрузка железа в порту запрещается на неопределенное время.

В двух милях от порта пароход получил вторую радиограмму. Она приказывала при подходе к порту ни в коем случае не давать гудка,— визгливый гудок «Труженика моря» был хорошо известен.

Команда «Труженика моря», склонная к зубоскальству в такой же мере, как и все моряки, изощрялась в догадках. Но, несмотря на смешливое настроение, людей не оставляла тревога,— неуловимая связь между двумя приказами говорила о каких-то значительных событиях, происшедших в приморском городе.

При входе в порт к «Труженику моря» подошел моторный катер. Начальник порта поднялся на палубу и прошел в каюту капитана.

Когда начальник порта выходил из каюты, матросы услышали отрывок загадочной фразы:

— ...больница у нас на самом берегу моря...

Капитан «Труженика моря» поднялся на мостик и коротко приказал выходить на рейд и становиться на якорь. Никаких разговоров! Разгрузки не будет!

Команда роптала. Тогда капитан созвал ее на баке и прочел вслух сообщение газет о мальчике.

— Сами понимаете,— сказал капитан,— что в городе не должно быть шума. С нашим грузом нечего сейчас и соваться.

Но ожидание на «Труженике моря» не было похоже на обычное, полное скуки стояние на рейде. Никто не знал мальчика, но о нем упоминалось с глубокой нежностью.

Ожидание это было полно рассказов и размышлений, наивных и печальных. Газету с берега вырывали друг у друга из рук. Несмотря на скрытую тревогу за судьбу незнакомого мальчика, ту тревогу, что двадцать лет назад показалась бы матросам не только смешной, но попросту непонятной, каждый скрывал в себе и чувство гордости.

Была ли это гордость собой или начальником порта,— моряки не могли разгадать. Но при встрече с начальником порта они срывали кепки и долго смотрели вслед на его синий лоснящийся китель.

Город затаил дыхание. Город молчал. Молчание это

давало жителям ощущение одиночества и свежести. Так после крепкого сна в комнате с настежь открытыми окнами утро входит во все поры тела глубоким безмолвием и солнцем. Мысль, очищенная от соков усталости и никотина, приобретает стремительный полет, и горизонты отодвигаются и тают, открывая новые берега, мысы, земли, давая новую пищу для волнений и поэм.

Город молчал, и тем явственнее слышались голоса моря, ветра и сухой листвы. Особенно громко шелестели розовые листья платанов. Но ничего не могло сравниться с канонадой прибоя.

На третий день болезни мальчика город пережил новое испытание. На мачте в порту взвился штормовой сигнал. С моря шел шторм, гремящий, как сотни скорых поездов, широкий шторм, который всегда срывается при безоблачном небе. И, как предвестник шторма, небо уже синело с нестерпимой ледяной яркостью.

Было выпущено второе экстренное обращение городского Совета к населению. В нем говорилось, что приняты меры, чтобы устранить шум, возникающий помимо воли человека, шум стихии. Под наблюдением изобретателя Эрнста в больнице заканчивается монтаж установки, наглухо выключающей внешние шумы.

Шторм ожидается к полночи, и к тому же времени должна быть включена установка, названная «экраном тишины».

В больнице быстро и бесшумно работали монтеры. Времени оставалось мало. Ветер уже проносил над городом полосы высоких и прозрачных облаков. Шторм приближался. Первые порывы ветра продували городские площади и сносили к оградам кучи жесткой осенней листвы.

К ночи у мальчика ждали кризиса, и к ночи обрушился шторм. Он шел на берега сокрушительным ударом,— в пене, хриплых раскатах и визге обессиленных чаек. Земля вздрогнула, леса в горах качнулись и глухо заговорили, и дым из труб пароходов с протяжным свистом помчался вдоль вымерших улиц.

За несколько минут до первого удара шторма Эрнст включил «экран тишины». Эрнсту было разрешено войти в палату, где лежал мальчик, чтобы проверить действие установки.

Оглохший от неистовства бури, Эрнст медленно поднимался по лестнице. Тишина была настолько совершен-

на, что Эрнст ясно слышал шуршание воздуха в своих легких. Эрнст вошел в палату, в безмолвие, залитое матовым пламенем ламп. О шторме можно было только догадаться по дрожи полов, сотрясаемых близким прибоем.

Но Эрнст не замечал этого. Он смотрел на мальчика. Мальчик лежал, приоткрыв рот, и улыбался во сне. Эрнст услышал его ровное и легкое дыхание. Он забыл об «экране тишины», о шторме, он не замечал врача и молодой женщины в белом халате. Она сидела у постели мальчика, и Эрнст только потом вспомнил, как его — да и то на одно мгновение — поразили слезы на ее глазах, слезы, медленно падавшие на ее колени.

Женщина подняла голову, и Эрнст понял, что это мать. Она встала и подошла к Эрнсту.

— Он будет жив,— сказала она и вдруг улыбнулась, глядя куда-то очень далеко, за спину Эрнста. Эрнст оглянулся. Позади никого не было.

— Вы великий человек,— сказала она.— Как я вам благодарна!

— Нет,— ответил, смешавшись, Эрнст.— Мы живем в великое время, и я так же велик, как и всякий трудящийся нашей страны. Не больше. Вы счастливы?

— Да!

— Вот видите,— сказал Эрнст,— создавать счастье — это высокий труд. Его осуществляет вся страна. Благодарить меня не за что.

Через полчаса город узнал о выздоровлении мальчика.

Радио, борясь со штормом, бросало эту весть в ночь, в океаны, во все углы страны.

Приказ о тишине был снят.

В кипение изнемогавшей бури врезались приветственные гудки пароходов, крики автомобильных сирен, хлопанье флагов, поднятых над домами, звон роялей и новая немудрая песенка фонарщика:

Осветил я бульвары,— пусть поет вся страна.
Что ж, что выпил я, старый, молодого вина!

В городе был устроен праздник. Шторм, как всегда, сменился неизмеримым штилем. Он уходил куда-то за край морей, плескался у пляжей на сотни миль, переливал у камней прозрачную воду и качал в ней красные листья кленов и теплое низкое солнце.

Если вы бывали ранней зимой у моря, вы должны помнить эти дни с легким дыханием, похожие на утренний сон, вы должны помнить этот голубоватый воздух, очищенный штормом, когда далекие ржавые мысы стоят грядой над морями и моря осторожно подносят к их подножиям солнечную рябь и тонкий туман.

Матросы с «Труженика моря» впервые услышали, как над спокойной водой поплыла симфония Бетховена. Казалось, звуки поднимают пароход высокой и плавной волной, и потому вполне понятен был поступок боцмана,— он побежал на бак проверить, не сорвало ли пароход с якорей. И нечего над этим смеяться, как смеялся масленщик.

Вечером в порт вошел английский пароход «Песнь Оссиана». Экипаж его, удивленный видом праздничного города,— город казался огненным каскадом, льющимся с гор в бесшумное море,— вежливо запросил начальника порта, что происходит. Начальник порта ответил ясно и коротко.

В это время летчик Шебалин вышел из своего дома. Далеко в горах выпал снег, и высокая луна магически блистала над серебряными снежными полями.

В саду около дома Шебалин встретил женщину. Это была мать мальчика. Она шла к летчику, чтобы поблагодарить за спасение сына.

В свете фонарей и в сумраке ночи лицо ее поразило Шебалина бледностью и радостной красотой. Она обняла летчика за шею, поцеловала, и Шебалин ощутил острую свежесть, как будто иней испарялся у него на губах.

Они спустились в город, держась за руки, как дети, и увидели мигающий свет электрических огней на мачте английского парохода. Шебалин остановился. Он узнал азбуку Морзе и громко прочел сигнал англичанина:

«Командам советских кораблей. Поздравляем и тысячу раз завидуем морякам, имеющим такую прекрасную родину».

Маленький мальчик перестал рисовать цветными карандашами. Слезы высохли на его лице, и только ресницы были еще мокрые. Он засмеялся и спросил:

— А чей это был мальчик? Общий?

— Да, конечно, общий! — ответил я, застигнутый врасплох этим вопросом.

Илья Ильф, Евгений Петров

СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ

Глава I
«ВЕСНУЛИН» БАБСКОГО

Нет ни одного гадкого слова, которое не было бы дано человеку в качестве фамнлни. Счастлнв человек, получивший по наследству фамилию Баранов. Не обремеиены никакнмн тяготами н граждане с фамнлиями Барановнч и Барановский. Намного хуже чувствует себя Баранский. Уже в этой фамилии слышнтся какая-то иасмешка. В школе Баранскому жнвется труднее, чем высокому и сильиому Баранову, футболисту Барановскому и чистенькому коллекцнонеру марок Барановичу. И совсем скверно жнвется на свете гр. гр. Барану, Баранчику и Барашеку.

Власть фамилии над человеком иногда безграннчна. Граждаинн Бараи если и спасется от скарлатины в детстве, то все равно проворуется и зрелые свои годы проведет в нсправительно-трудовых домах. С фамнлией Баранчик не сделаешь карьеры. Общензвестен тов. Баранчнк, пытавшийся побороть проклятие, наложеиное на него фамнлией, и с этой целью подавшийся было в марксисты. Баранчнк стал балластом, выметенным впоследствни железной метлой. Братья Барашек н не думают отдаваться государственной деятельностн. Они сразу посвящают себя молочиой торговле и бесславно тонут в волиах иэпа.

Герою иашего повествованння досталась благонадежная, ручейковая фамилия — Филюрин. Он никогда не попадал в неудобные, смешные положения, в которых барахтаются Бараиы, Бараички и Барашеки. Солнце исправно освещало жизиенный путь Егора Карловнча Филюрнна.

Пятнадцатого июля оно светнло несколько сильнее обычного, потому что в этот день во всех учрежденнях города Пищеслава выдавалн полумесячное жалованье. Булыжиые мостовые бросалн зеркальный отсвет, перебегавший под карнизамн немудреных пнщеславских домов. Госпапнросник в полотняном передннке стоял на Тимирязевской площадн в столбах солнечного света и жму-

рился на свой стеклянный ларек. На боку папиросиика висел горчичиого цвета фаиерный ящичек с двумя надписями. Первая, прозаическая — была кратка: «Ящик для жалоб». Вторая была в стихах:

> Остановитесь, потребители!
> Жалобу иа этого папиросника опустить не хотите ли?

В Пищеславе чрезвычайно заботились о благополучии граждан.

Егор Карлович Филюрин торопливо подошел к зашевелившемуся папироснику, купил двадцать пять штук папирос «Дефект», выиул из кармана зараиее заготовленную жалобу и опустил ее в горчичный ящик. Проделывал это Филюрин ежедневно, так как был человеком с общественной жилкой. Иногда ои жаловался на жесткий вкус папирос «Дефект», иногда протестовал против мягкой упаковки или же обрушивался на антисанитарный передник продавца. Если придраться было не к чему, Филюрин опускал в ящик узенькую ленточку бумаги со словами: «Сегодня никаких недочетов не выявлено. Е. Филюрин».

Пыхнув папироской, Филюрин отошел от равнодушного продавца и, пересекая вымощениую квадратными плитами площадь, очутился в освежающей тени конной статуи Тимирязева.

Великий агроном и профессор ботаники скакал на чугунном коне, простерши впереди правую руку с зажатым в ней корнеплодом. Четырехугольная с кистью шапочка доктора Оксфордского университета косо и лихо сидела на почетиой голове ученого. Многопудовая мантия падала с плеч крупными складками. Конь, мощно стянутый поводьями, дирижировал занесенными в самое небо копытами.

Великий ученый, рыцарь мирного труда, сжимал круглые бока своего коня ногами, обутыми в гвардейские кавалерийские сапоги со шпорами, звездочки которых напоминали штампованную для супа морковь.

Удивительный моиумент украшал город с прошлого года. Воздвигая его, пищеславцы подражали Москве. В стремлении добиться превосходства иад столицей, поставившей у Никитских ворот пеший памятник Тимирязеву, город Пищеслав заказал скульптору Шац конную статую. Весь город, а вместе с ним и скульптор Шац, ду-

мали, что Тимирязев — герой гражданских фронтов в должности комбрига.

Шац на время забросил обязанности управдома, которые обычно исправлял, ввиду затишья в художественной жизни города, и в четыре месяца отлил памятник. В первоначальном своем виде Тимирязев держал в руке кривую турецкую саблю. Только во время приема памятника комиссией выяснилось, что Тимирязев был человек партикулярный. Саблю заменили большой чугунной свеклой с длинным хвостиком, но грозная улыбка воина осталась. Заменить ее более штатским или ученым выражением оказалось технически невыполнимым. Так великий агроном и скакал по бывшей Соборной площади, разрывая шпорами бока своего коня.

Филюрин вынул бархатную тряпицу, смахнул пыль с ботинок и присел на каменный цоколь отдохнуть. Он просидел недвижимо минут десять, мысленно распределяя жалованье. Из тридцати пяти рублей, полученных сейчас Егором Карловичем за полмесяца в отделе благоустройства Пищ-Ка-Ха, рублей шесть оторвала секта похитителей членских взносов. Кроме того, предстояло неприятное объяснение с квартирохозяйкой, мадам Безлюдной.

Стук колотушки, донесшийся из-за угла, прервал печальные вычисления. Филюрин поднял чистое лицо и прислушался. Стук разросся, к нему присоединились еще трещоточные звуки и словно бы грохот падающей мебели.

На площадь въехал изобретатель Бабский верхом на деревянном велосипеде. Над толстым еловым рулем трепетала пыльная борода, похожая на детские штанишки. Заметив Филюрина, изобретатель сделал крутой вираж, намереваясь остановиться, но инерция тяжелого аппарата была так велика, что Бабскому пришлось с раскоряченными ногами описать два кольца вокруг статуи, пока велосипед не остановился.

— Скорее! — крикнул Бабский.

— Что скорее? — спросил Филюрин, недоумевающе моргнув светлыми ресницами.

Но было уже поздно. Остановившийся велосипед накренился и рухнул на плиты, потащив за собою седока. Бабский вытащил ногу из-под шпагатной передачи и раздраженно обратился к Филюрину:

— Просил же я вас подержать мой бицикл! Я — про-

шу убедиться — еще не выучился им как следует управлять! Нужно еще усовершенствовать тормоз и свободное колесо.

Вдвоем они подняли велосипед, оказавшийся очень тяжелым, и прислонили его к одному из четырех фикусов, стоявших по углам цоколя.

Бабский обеими руками раздвинул свою бороду и захохотал. Ударяя ладонью по велосипеду, он убеждал Филюрина:

— Дешевка! Материалу идет на восемь рублей! Прошу убедиться — одно дерево! Сейчас еду за патентом. Бицикл Бабского! Каково?

— Из этого нужно сделать соответствующие оргвыводы! — восхищенно сказал Филюрин.

— Какие выводы?

— Выпить.

— Это всегда можно. Дайте только патент получить.

— Изобретатель должен угощать,— сказал Филюрин с убеждением.

На фоне идущего к закату солнца фигура Бабского рисовалась грязно-оранжевой глыбой. Это был рослый старик с жирными плечами и бородой, полной пороху и мусора. Утверждали, что из его бороды однажды выскочила мышка.

В каждом городе есть свой сумасшедший, которого жалеют и любят. Им даже немножко гордятся. Городской сумасшедший быстро проходит по бульвару, громко и косноязычно выкрикивая слова. Он с размаху открывает дверь кондитерской, но не успевает еще дойти до прилавка, как навстречу ему улыбающийся хозяин выносит на тарелочке миндальное пирожное. Сумасшедший хватает пирожное и, крича, убегает. Его преследуют дети. Но взрослые относятся к городскому сумасшедшему с почтением. Они привыкли к нему. Он стал для них достопримечательностью, наравне с городским театром и деревянной торцовой мостовой на главной улице.

Есть в каждом городе и свой изобретатель. Его тоже жалеют, но не любят, а побаиваются. Мало ли что может вдруг сочинить городской изобретатель!

Бабский был одновременно городским сумасшедшим и городским изобретателем. Целыми днями он бродил по пищеславским учреждениям, предлагая изобретения и усовершенствования всякого рода. А ночью он работал в своей маленькой комнате, пыльное окно которой смот-

рело на Косвенную улицу. То слышалось оттуда гудение паяльной лампы, то взвывала автомобильная сирена.

Бабский не брезговал ничем. Окончив опыты над автомобильной сиреной, он изобретал вакцину, которая при впрыскивании в голенища делала сапоги огнеупорными! Провалившись на вакцине, Бабский в течение суток ломал голову над тем, как бы приурочить раскаты грома к двухлетнему юбилею работы местного госцирка. Провалившись на громовых концертах, неутомимый изобретатель произвел на свет «перпетуум мобиле», сделанное из двухрублевых ходиков и мятого самовара, емкостью в полтора ведра. Но и «перпетуум мобиле» не вышло. Тогда Бабский сварил опытный кусок мыла против веснушек. Он уже вышел на улицу, чтобы отнести мыло на пробу в аптечный подотдел, как его осенила мысль о постройке деревянного велосипеда. Изобретатель работал три дня, и из его рук вышел «бицикл Бабского». Все это время мыло лежало в левом кармане брюк, нагревалось и, никому не видимое, меняло свой яичный цвет на голубой.

— Скажите, Бабский,— спросил Филюрин, помогая изобретателю взобраться на кадку с фикусом,— изобретать — это трудно?

Бабский тяжело перелез с кадки на камышовое седло велосипеда и, кряхтя, ответил:

— Простейшее дело.

Раздался гром. Деревянная машина, вздрагивая, покатилась по площади.

— Что это дает в месяц? — крикнул Филюрин вдогонку.

— Рублей шестьдеся-а-а-ат! — донеслось сквозь грохот.

Бицикл Бабского исчез в ослепляющей печи заката.

Филюрин хотел было продолжить путь к дому и сделал уже несколько шагов, когда под его ногами загремела металлическая коробочка. Филюрин поднял ее и повертел в руках. Коробочка была от зубного порошка, но внутри ее оказался кусок нежно-голубого мыла.

«Не иначе как Бабский выронил,— подумал Филюрин.— Интересно, сколько такое мыло может стоить?»

В неслужебное время мысль Филюрина работала довольно вяло. Всегда почему-то на ум ему взбредали одни и те же вопросы: сколько тот или иной предмет стоит, на сколько дешевле он продается за границей и как много зарабатывает собеседник. Только с барышнями

он несколько оживлялся и вел беседы на волнующие темы — любовь и ревность. Но и с барышнями разговор ладился только до наступления сумерек, когда совместное сидение сводилось к лирическому молчанию.

Голубое мыло навело Филюрина на мысль о бане. Вечером предстояла дружеская вечеринка с танцами и оргвыводами, т. е. пивом и водкой.

Филюрин покинул площадь и двинулся в Дворянские бани. По дороге он зашел домой, захватил полотенце и люфовую рукавицу.

В Пищеславе средняя цена отдающейся внаем комнаты была восемь-девять рублей. Мадам Безлюдной Филюрин платил только четыре, так как мадам училась пению и ее фиоритуры сильно понижали стоимость комнаты. И сейчас мадам Безлюдная, оскалив золотые зубы, ревела в таком забвении, что Филюрину удалось проскочить через коридор, избежав объяснений по поводу квартплаты.

Филюрин давно не платил за квартиру. Он собирал деньги на костюм.

Он выбежал на улицу, радуясь тому, что уберег от золотозубой хозяйки четыре рубля, что сейчас он сможет опустить в банный ящик для жалоб какое-либо дельное заявление и, сбросив с себя двухнедельную грязь, отправиться на вечеринку, где его ждет беспримерное веселье в обществе сослуживцев из отдела благоустройства.

Последний широкий луч солнца лег на бритый затылок Филюрина.

Десятки тысяч людей с бритыми затылками и с такими же, как у Филюрина, чистенькими лицами и серенькими глазами влачат обыденную жизнь, исправно ходят в баню, исправно платят членские взносы в профсоюз и не посещают общих собраний, добросовестно веселятся в обществе сослуживцев и ставят себе за правило не платить за квартиру; но не их избрала судьба, не им позволила история выдвинуться для дел больших и чудесных.

Дивный и закономерный раскинулся над страною служебный небосклон. Мириады мерцающих отделов звездным кушаком протянулись от края до края, и еще бóльшие мириады подотделов, сияющие электрической пылью, легли, как Млечный Путь. Финансовые туманности молочно светят и приманчиво мигают, привлекая к себе уповающие взоры. Хвостатыми кометами проносят-

ся по небу комиссии. И тревожными августовскими ночами падают звезды — очевидно сокращенные по штату. Иные из них, падающие метеоры, не успев сгореть и обратиться в пар, достигают суетной земли и шлепаются прямо на скамью подсудимых. Есть и блуждающие в командировках звезды. Притягиваемые то одной, то другой звездной организацией, они носятся по небосклону, пока не погибают в хвосте какой-нибудь кометы с контрольными функциями.

Велико звездное небо отечественного аппарата и обширен выбор светил. Но для великих преобразований в городе Пищеславе судьба выбрала самую маленькую и неяркую звездочку, свет которой еще не дошел до земли. Выбрала она Егора Карловича Филюрина — мандолиниста и неплательщика в жизни, а по службе скромного регистратора Пищ-Ка-Ха.

Войдя в баню, Филюрин еще не знал, что выйдет оттуда великим. Поэтому, выбрав угловой диванчик, Егор Карлович стал медленно раздеваться. Он распустил матерчатый поясок своей полутолстовки, снял вечный визиточный галстук с металлической машинкой, сорочку с пикейной рубчатой грудью и брюки, бренчавшие, как сбруя (Филюрин носил в карманах множество мелких железных кружочков, которые опускал в автоматы вместо гривенников).

Раздевшись догола, Филюрин долго поглаживал плечи и бока, остывая и с пренебрежением поглядывая на других голых. Знакомых в бане не было. Перекинув через плечо полотенце, Филюрин взял голубое мыло Бабского и вошел в мыльную.

В это время Бабский, подав заявление о патенте и торопливо объяснив собравшейся у входа в ГСНХ толпе преимущества елового бицикла перед металлическим, с шумом выкатил на проспект имени Лошади Пржевальского.

В этот сумеречный час между двумя рядами пепельных от пыли лип уже гуляли пищеславцы. Привыкшие к причудам городского изобретателя граждане провожали бицикл равнодушными взглядами.

Поворачивая на площадь, Бабский наехал на человека в белой косоворотке. Потерпевший покачнулся.

— А! Это вы, товарищ Лялин! — примирительно сказал Бабский.— Я как раз хотел сегодня заехать к вам в аптечный подотдел.

— Опять изобрели что-нибудь? — проворчал товарищ Лялин, массируя ушибленное бедро.

— Изобрел, изобрел! Мыло от веснушек. «Веснулин» Бабского! Сейчас покажу. Весь город ахнет, прошу убедиться. Подержите бицикл.

Освободив руки, изобретатель стал рыться в карманах, ища «веснулин». Но ни в одном из всех четырнадцати карманов пиджачной тройки он не нашел металлической коробочки с мылом.

— Так вы мне завтра в подотдел занесите,— нетерпеливо сказал Лялин,— там и подработаем вопрос.

— Позвольте, позвольте, куда же оно могло деться,— суетился Бабский,— позвольте, где же я был? Наверно, в губсовнархозе оставил. Подождите здесь! Я сейчас приеду!

И Бабский, оттолкнувшись ногой от заведующего аптечным подотделом, покатил обратно по проспекту им. Лошади Пржевальского.

Пока Бабский ломился в закрытые двери ГСНХ, а потом, опечаленный потерей «веснулина», колесил по всему городу, наполняя его погремушечным стуком, Филюрин мылился.

Он окатился горячей водой из шайки, которой пришлось дожидаться довольно долго, зажмурил глаза и густо намылился. «Веснулин» Бабского издавал беспокойный скипидарный запах.

«Медицинское мыло,— с удовольствием подумал Филюрин, не раскрывая глаз и клекоча от наслаждения,— наверно, не меньше сорока копеек стоит».

Филюрин чувствовал, как тело его становится легким. От этого было приятно, и в голове происходил маленький сумбур. Мыслилось что-то такое очень хорошее, что-то вроде кругосветного путешествия за полтинник. И казалось Филюрину, что он исчезает и растворяется в банном тепле.

И, странное дело, милицейскому надзирателю Адамову, мывшемуся неподалеку и только что намылившему голову семейным мылом, показалось, что голова знакомого ему по участковым делам Филюрина исчезла и моется одно только туловище.

Адамов стал быстро промывать залепленные пеной глаза, а когда промыл, в углу, где только что стоял Филюрин, никого не было. Только вились смутные локончи-

ки пара да раскатывалась по наклонному полу тяжелая шайка.

Милиционер Адамов был так удивлен происшедшим, что ему захотелось вытащить свисток и созвать на помощь дворников. Но свисток вместе со всей форменной упряжью остался в предбаннике. К тому же к освободившейся шайке уже подползали голые. Адамов, недолго думая, первым схватил шайку и предался дальнейшим банным удовольствиям. О Филюрине он сейчас же забыл.

Между тем Филюрин с закрытыми еще глазами подошел к крану и, зачерпнув в ладони холодной воды, умыл лицо. То, что он увидел, или, вернее, то, чего он уже не увидел (а не увидел он многого: ни своих рук, ни ног, ни живота, ни плеч), ошеломило его. В страхе он побежал под душ. Он чувствовал, как под теплым дождиком слетело с него мыло, но тело продолжало отсутствовать.

Необыкновенный испуг вытолкнул Филюрина в предбанник. Филюрин подскочил к зеркалу. Себя он не увидел. Его не было. Он не отражался в зеркале, а между тем он стоял против зеркала и даже притронулся к нему рукой.

Но подумать о своем отчаянном положении Филюрин не успел. В зеркальном поле отразились две подозрительные фигуры. Они вошли в предбанник из передней и, увидев, что здесь никого нет, захватили ближайшую к ним стопку одежды и проворно выбежали.

— Стой! — закричал Филюрин, услышав знакомый звон своих брюк.

Голос его был прежний, филюринский.

В гневе он погнался за похитителями. Воры неслись к темным переулкам Нового города. За ними во весь дух бежал невидимый регистратор.

Произошло темное и удивительное событие. Двадцатишестилетний молодой человек, исправный служащий, отличавшийся завидным здоровьем, одновременно потерял все, что у него было: полутолстовку, визиточный галстук и тело. Осталось только то, в чем Филюрин до сих пор совершенно не нуждался. Осталась душа.

А город, еще ничего не подозревавший, жил обычной жизнью. В ночной тиши раздавались резкие звуки увертюры к опере «Кармен», исполняемой в клубе водников великорусским оркестром на семнадцати домрах.

Глава II

«ВОЛЕНС-НЕВОЛЕНС»

До самого расвета невидимый регистратор блуждал по переулкам, настолько отдаленным от центра, что их даже к 1928 году не успели переименовать. Воров он не настиг, да и погоня за гардеробом была уже бесцельной. Пробежав километров шесть, Филюрин сообразил, что призраку одежда не нужна. Однако впереди было худшее — в девять часов предстояло прибыть на службу.

Следствием этого явилось решение немедленно отправиться к Бабскому и требовать возвращения тела еще до начала занятий в отделе благоустройства.

Через двадцать минут изобретатель Бабский проснулся от холода. Окно было раскрыто, и утренний ветер согнял в угол комнаты деревянные стружки, завившиеся колечками.

— Товарищ Бабский! — услышал изобретатель.— Товарищ Бабский!

Бабский выпрыгнул из постели и подбежал к окну. Улица была пуста и чиста. Холодная, оловянная роса поблескивала на деревьях.

— Хулиганы! — крикнул изобретатель, захлопывая окно.— Удивительное хулиганство!

— Товарищ Бабский,— услышал он за собой,— дело в том, что я был в бане...

Бабский сел на избрызганный подоконник и изумленно оглядел комнату. В комнате никого не было.

— Кто был в бане? — тихо спросил он.

— Я,— ответил стул.

Тогда Бабский поднялся, на пуантах подкрался к стулу и, насторожив слух, с крайним любопытством спросил:

— Вы были в бане?

Но стул не ответил. За спиной изобретателя послышался застенчивый кашель и тот же голос с мольбой произнес:

— Я с этой стороны, товарищ Бабский. Дело в том, что меня не видно.

— Кого не видно? — раздраженно спросил Бабский.

— Меня, Филюрина.

— Позвольте, почему же вас не видно?

— Дело в том, что я был в бане, а теперь мне нужно к девяти часам прийти на службу, а меня не видно.

По мере того как Филюрин вяло и нерешительно выбалтывал подробности своего исчезновения, лицо изобретателя все светлело и оживлялось.

— Так вы говорите, намылились? — спросил изобретатель, дергая себя за бороду.— С научной стороны это весьма интересно!

— Вы же поймите,— убеждал Филюрин,— из-за вашего мыла я теперь не могу пойти на службу.

— А я тут при чем? Вы взяли мой «веснулин» без спроса, но черт с вами. Мне не жалко. Но ведь мыло действовало правильно? Веснушки исчезли?

— Веснушки исчезли,— искательно сказал невидимый,— но ведь и я тоже исчез, товарищ Бабский. Войдите также и в мое положение.

В комнате раздалось жалкое стенание.

— Черт его знает,— задумчиво произнес изобретатель,— я изобрел только мыло от веснушек...

— Скажите, может быть, вы можете сделать так, чтобы я опять сделался видимым?

— Так-с,— заметил Бабский,— надо подумать. Вы где сейчас, молодой человек? Если на стуле, то я сяду на кровать, а то вас раздавить недолго.

— Я стою.

— Ага. Ну, стойте. А я подумаю.

В течение получаса в комнате слышались только громкие междометия, которые пропускал сквозь бороду изобретатель.

— Уже без четверти семь,— канючил невидимый.— Не говоря о том, что я всю ночь не спал, я из-за вашего мыла еще опоздаю на службу.

Бабский встал, вытряхнул свою бороду обеими руками, как вытряхивают носильное платье, и решительно сказал:

— Не морочьте мне голову! Я с вами еще буду судиться за то, что вы стащили мое мыло. Я не могу в полчаса сделать такое серьезное изобретение, как возвращение человеческого тела. Я, может быть, и за пять лет не успею этого сделать.

Как видно, Филюрин пришел в сильнейшее волнение, потому что упал стул и с верстака посыпались чурки — запасные части к бициклу.

— Пошел вон! — завопил Бабский.— Хулиган! Ну, вон отсюда!

Окно само собою распахнулось, и уже с улицы донесся нудный голос невидимого:

— Я на вас в суд подам!

— Я тебе подам! Украл мыло и еще пристает!

— Вы не имеете права,— хорохорилась пустынная улица,— ответите, как за убийство!

— Ворюга! — дразнил городской сумасшедший, свешиваясь из окна.— Так тебе и надо!

Окно с треском захлопнулось. Бабский минут десять ходил по комнате успокаиваясь. Потом, придя к заключению, что «веснулин» приобрел свои удивительные свойства под влиянием брожения в железной коробочке, изобретатель зажег примус и немедленно же стал варить второй кусок «веснулина», восстанавливая по памяти его основные ингредиенты.

Потосковав у окна, прозрачный регистратор двинулся по Косвенной улице.

Город уже проснулся. Проехала клетка с наловленными за утро бродячими псами. Почуяв запах невидимого, население клетки залаяло и завизжало.

Час совслужащих приближался, а Егор Карлович все еще не знал, что предпринять. На Тимирязевской площади уже стоял знакомый госпапиросник. Так же, как и вчера, блистал его стеклянный ларек, и жалобный ящик попрежнему манил к себе усталого путника. Но все это было не для Филюрина.

Внезапно и скоропалительно переменилась вся жизнь регистратора, даже не переменилась, а, вернее, прекратилась. От него ушли: еда, питье, табак, любовь, движение по службе, возможность восхитить кого-нибудь своим нарядом или телом. Оставалось только одно — возможность мыслить. Но этим делом Филюрин никогда не занимался.

В страхе и удивлении очутился Филюрин перед большим, прибитым к двум столбам железным плакатом. На плакате был изображен бегущий человек в такой же точно полутолстовке, какая еще вчера была на Егоре Карловиче. Он устремлялся вперед, держа в протянутой руке белый червонец. Под картиной была ликующая надпись:

КТО — КУДА, А Я В СБЕРКАССУ!

«А я куда? — горько подумал невидимый.— Куда я?» Полный отчаяния, Егор Карлович бросился домой.

Он подошел к окну своей квартиры и заглянул внутрь. Мадам Безлюдная сидела за пианино, тяжело роняя пухлые руки на клавиши. Из открытого рта безостановочно лился благовест. Златозубая мадам упражнялась в звуке «и».

— А я куда? — прошептал Филюрин.— Не идти же на службу в таком виде?

А между тем уже все шло и ехало на службу. Проехал в автомобиле заведующий отделом благоустройства Каин Александрович Доброгласов с сыновьями: Афанасием Каиновичем, работающим в отделе лиственных насаждений, и Павлом Каиновичем — из отдела сборов.

— Пойду,— решил Филюрин наконец,— ведь я же ни в чем не виноват! Я им все объясню. Пусть на комиссию пошлют. Пожалуйста!

Отдел благоустройства Пищ-Ка-Ха занимал пять комнат в двухэтажном особняке на Тысячной улице. В каждой комнате был большой камин, отделанный в мрамор. Так как каминов не топили, то в них содержались дела в папках, перевязанных шпагатом, и в раздувшихся скоросшивателях.

К тому времени, когда Каин Александрович прибыл в вверенный ему отдел, все сотрудники были уже в сборе, и только стол регистрации земельных участков пустовал. Каин Александрович критическим взором окинул стол регистрации, потом взглянул на шестигранные стенные часы, сверил их со своими мозеровскими, затем сказал:

— Что, Филюрин болен?

Евсей Львович Иоаннопольский, делавший записи в главной книге и находившийся в эту минуту ближе всех к начальнику, заметил, что о болезни Филюрина как будто никаких сведений не имеется.

— Не знаю,— сказал Каин Александрович без всякого выражения,— за ним эти штуки не первый раз. Кажется, воленс-неволенс, а я его уволенс.

Последние слова Доброгласов произнес с особенным вкусом.

Выражение это он услышал в 1923 году, когда Пищеслав посетило лицо, облеченное полномочиями по части садового благоустройства. И самое-то это выражение «воленс-неволенс, а я вас уволенс» было сказано ему, Каину Александровичу, за обнаруженные упущения. После этого Доброгласов уверился, что лицо, посетившее го-

род, есть лицо весьма важное и, возможно, даже историческое.

Когда гроза пронеслась, Каин Александрович решил увековечить момент пребывания гостя. Трамвайный вагон № 2, в котором посетитель проехался по городу, был снят с линии и помещен в музей благоустройства с мемориальной дощечкой: «В этом вагоне сентября 28 дня 1923 года тов. Обмишурин отбыл на вокзал». После этого исторического эксцесса в городе Пищеславе циркулировали только два трамвайных вагона, потому что всего их было три. Пищеславцы с ужасом думали о том, что Обмишурин еще раз может приехать с ревизией и тогда трамвайное движение прекратится навсегда.

Каин Александрович давно уже сидел в своем кабинете и макал перо в сторублевую бронзовую чернильницу «Лицом к деревне» (бревенчатая избушка с раскрывающейся дверцей и надписью, сделанной славянской вязью: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»), а Иоаннопольский никак не мог избавиться от гнетущего чувства.

Положение Иоаннопольского в отделе было шатким. Его могли выкинуть в любую минуту, хотя он служил верой и правдой уже восьмой год. Происходило это вследствие маниакальной идеи, засевшей в голове Каина Александровича. Два года тому назад в Пищеславе прошумел показательный процесс проворовавшегося управделами ПУМа Иванопольского. С тех пор Доброгласов остановился на мысли, что Иванопольский и Иоаннопольский — одно и то же лицо. При очередном сокращении штатов Каин Александрович неизменно требовал увольнения Иоаннопольского, подкрепляя свое требование криками:

— Зачем нам управделами ПУМа?

Как ни уверяли Доброгласова, что Иоаннопольский, Евсей Львович, ничего общего с Иванопольским, Петром Каллистратовичем, не имеет, что, в то время как Петр Каллистратович сидел на скамье подсудимых, Евсей Львович аккуратно являлся на службу в девять часов утра и что Иванопольский наконец приговорен к десяти годам и работает в канцелярии допра,— это действовало только временно.

При следующем сокращении Каин Александрович подымался и с упреком спрашивал:

— Зачем нам Иванопольский? Зачем у нас служит

управделами ПУМа? Его надо сократить в первую голову.

Доброгласову снова доказывали, какая пропасть отделяет заслуженного бухгалтера Иоаннопольского от известного всему городу жулика Иванопольского, но Каин Александрович смотрел на объяснявшего белыми эмалированными глазами и говорил:

— Вы кончили, товарищ? Ну, а теперь вы мне скажите, зачем нам, я спрашиваю, управделами ПУМа? Зачем? Воленс-неволенс, а я его уволенс.

По всем этим причинам Евсей Львович не любил никаких волнений в отделе.

Впрочем, никто в отделе не любил волнений: ни Лидия Федоровна, немолодая девушка со считанными волосами кудрявой прически, ни самый молодой из служащих отдела — Костя, ни товарищ Пташников, пищеславский знахарь, числящийся в ведомости личного состава инструктором-обследователем.

Подобные Пташникову служащие водятся в каждом городе и даже в каждом учреждении. Это обычно недоучившиеся медики или родственники врачей, а то и просто любители поговорить на медицинские темы.

К ним-то и обращаются за советом служащие, глубоко убежденные в том, что врачи страхкассы лечат неправильно, не учитывая новейших достижений научной мысли. Общение же с частными врачами невозможно, так как частные врачи, по мнению служащих, спекулянты, и связываться с ними не стоит. Полным доверием пользуются только профессора, но посещать их мешает бедность.

И все обращаются к собственному медику. Советы он дает охотно, денег за это не берет и, сияя отраженным светом родственного или знакомого ему медицинского светила, отличается универсальностью в познаниях.

Пташников, сидевший за своим тонконогим столиком рядом со столом Филюрина, был прекрасным, знающим и совершенно бескорыстным учрежденским знахарем-колдуном. Особое уважение он внушал себе тем, что был двоюродным племянником известного в Ленинграде терапевта.

Как только Каин Александрович затих в своем кабинете, к Пташникову подошел еще не успокоившийся Евсей Львович.

— Ну, что? — спросил Пташников, останавливая бег своего пера и обратив к Иоаннопольскому круглое лицо.— Как адреналин?

— Впускал, как вы говорили. С носом у меня теперь все благополучно, но знаете что, Пташников...

Выслушав Иоаннопольского и рассмотрев мешки под его глазами, Пташников сказал:

— Лучше всего, конечно, обратиться к профессору. К Невструеву, например.

— А все-таки? — настаивал Евсей Львович.

— Не знаю. Мне кажется, что у вас отравление уриной.

На щеках Евсея Львовича проступил клубничный румянец.

— Неужели уриной?

— Видите ли, лучше всего вам все-таки обратиться к Невструеву. Может быть, это нервное.

— Тут станешь нервным,— заметил Иоаннопольский, поглядывая на дверь.— Что же вы все-таки думаете?

— Я думаю, что это все-таки отравление. Посоветуйтесь с Невструевым или, знаете что, сделайте сначала анализ. Может быть, у вас белочек.

Совершенно подавленный Евсей Львович отошел к своей конторке и, взобравшись на винтовой полированный табурет, стал разносить статьи по счетам главной книги.

— Что же с Филюриным? — спросили из угла.— Нужно кому-нибудь сесть на регистрацию. Там человека три уже ждет.

И действительно, у барьера, против стола Филюрина, стояло несколько человек, недовольно посматривавших по сторонам.

— Алкалоиды,— сказал Пташников, усмехаясь,— просто выпил лишнее.

— Ничего подобного! — отозвался Костя.— Мы его вчера весь вечер ждали. Компания подобралась. Но он не пришел. Всю вечеринку нам сорвал. Мы хотели под мандолину танцевать.

Если бы Костя знал, во что превратился тот, кто еще до вчерашнего дня так ловко бряцал овальным медиатором, прижимая к животу круглый полосатый зад мандолины! Как далек был теперь от Филюрина вальс «Осенний сон», который он с великим трудом разучил по цифровой системе.

— Кстати, Пташников,— сказал Костя с тревогой,— я слепну.

— Да ну вас! — ответил инструктор-обследователь.— Вечно вы выдумываете какие-то болезни!

— Да, ей-богу, я слепну. Уже три дня, как у меня в глазах плавают разноцветные мушки.

— Ладно. Дайте пульс,— на всякий случай сказал Пташников.— Что ж, пульс нормальный, хорошего наполнения. Ничего вы не слепнете. Пойдите лучше к Доброгласову и спросите, кого посадить на место Филюрина, а то люди ждут.

В это самое время невидимый регистратор, прозрачная сущность которого дрожала от страха, подымался по чугунной лестнице Пищ-Ка-Ха.

«Что скажет Каин Александрович?» — тоскливо думал невидимый.

Глава III

«КТО — КУДА, А Я — В СБЕРКАССУ!»

Приход невидимого на службу вызвал в отделе благоустройства необыкновенный переполох. Первое время ничего нельзя было разобрать. В общем шуме выделялся полнозвучный голос Каина Александровича и дрожащий тенорок Филюрина.

— Этого не может быть! — кричал Доброгласов.

— Ей-богу! — защищался Филюрин.— Спросите Бабского!

Служащие бегали из комнаты в комнату с раскрасневшимися лицами и на все расспросы посетителей отвечали:

— Ну, чего вы лезете? Разве вы не видите, что делается? Приходите завтра.

Все приостановилось. Справок не давали, касса не работала, и в задней комнате потухал брошенный курьерами кипятильник «Титан». Было не до чаю.

— Это бюрократизм! — кричали ничего не понимавшие клиенты отдела благоустройства.

Впрочем, никто ничего не понимал.

У кабинета Доброгласова плотной кучей столпились служащие. В арьергарде топтался боязливый Иоаннопольский, беспрерывно шепча:

— Что? Что он сказал? Это Филюрин сказал? А Ка-

ин? Что Каин ответил? С ума можно сойти. Что? Абсолютно не видно? Стул перевернул? А что Каин ему? Подумать только! Этого нигде в мире нету!

— Ну, нету! В Америке, наверно, есть и не такие!

— Как вам не стыдно это говорить. При чем тут Америка!

— Не мешайте! — шептал Евсей Львович.— Тише! Что он сказал? А Каин? Вы знаете, Каин не прав. Нельзя же так кричать на невинного человека. Впрочем, при его вспыльчивом характере...

В это время Каин Александрович наседал на растерявшегося невидимого.

— В конце концов это не дело администрации, а дело месткома.

Робкий голос Филюрина стлался по самому полу. Может быть, он стоял на коленях.

— Я только об одном прошу — чтобы мое дело разобрали!

— Можно разбирать только дело живого человека. А вы где?

— Я здесь.

— Это бездоказательно! Я вас не вижу. Следовательно, к работе я вас допустить не могу. Обратитесь в страхкассу.

— Но ведь я же здоровый человек.

— Тем более. Воленс-неволенс, а я вас уволенс.

Сотрудники переглянулись.

— Самодур,— прошептал Иоаннопольский.— Без согласования с месткомом!

— Да, да, Филюрин,— продолжал Каин Александрович,— хватит с меня управделами ПУМа. Еще и невидимого держать. Берите бюллетень и идите. Идите, идите! Вы же видите, что я занят!

— Меня убили! — закричал невидимый.— У меня украли тело!

— Раз вас убили, страхкасса обязана выдать вам на погребение!

— Какое может быть погребение живого человека!

— Это парадокс, товарищ,— ответил Каин Александрович.— В отделе благоустройства не место заниматься парадоксами, а место заниматься текущей работой. Как решит РКК, так и будет. Вы ушли?

Ответа не было. Испугавшись слова «парадокс»,

Филюрин покинул кабинет и очутился среди сотрудников.

Сотрудники сначала рассыпались в стороны, крича изо всей силы: «Где вы, где вы?»

— Здесь, у арифмометра. Вот я поднял пресс-папье, а Каин говорит, что я не существую. Я в состоянии работать.

После пугливых расспросов и столь же пугливых ответов невидимого, служащие уяснили, что Филюрин в еде не нуждается, холода не испытывает, хотя и исчез, будучи голым, что тело свое ощущает, но, как видно, его все-таки нет, и чем он только что поднял пресс-папье, он и сам не знает.

— Прямо анекдот! — повторял невидимый.

Но событие было настолько поразительным, что общей темы для разговора не нашлось. Стало скучновато.

— Ну, что новенького в отделе? — спросил Прозрачный, хотя за последний год единственной новостью было его собственное исчезновение.

— Ничего,— ответил Иоаннопольский,— говорят, новая тарифная сетка будет.

— Три года говорят,— послышался из-за арифмометра безнадежный ответ невидимого.

— Да.

— Вы знаете, меня еще и обокрали! Ей-богу! Все чисто украли.

— А вы заявили в милицию?

— Да зачем заявлять? Ведь мне-то уже не нужно! — с горечью произнес голос регистратора.

— Это вы напрасно, Егор Карлович. Если все так будут относиться, то такой бандитизм разовьется!

Филюрин осмотрелся. Все было прежнее, давно известное, еще вчера надоедавшее, а сегодня бесконечно милое и невозвратимое — счеты с костяшками пальмового дерева, черный дыропробиватель, линейки с острыми латунными ребрами и толстая, чудесная книга регистраций.

— Как же все это произошло? — спросил Евсей Львович.— Расскажите подробно.

Филюрин повторил все, что он рассказывал уже Доброгласову. И так как сотрудники все это слышали, стоя у дверей кабинета, рассказ показался им не таким уже удивительным.

— Бывает, бывает,— сказал инкассатор,— на свете,

пусть люди как ни говорят, но есть много непонятного. Моя бабушка перед смертью три гроба видела.

— Это бабьи разговоры! — сказал невидимый.

— Нет, нет,— закричал инкассатор.— Это не пустяк.

Наперерыв стали рассказывать всякие таинственные истории: о гробах, призраках и путешествующих мертвецах.

— Выходит, что и я призрак,— усмехнулся Филюрин.

Но его не услышали.

Инкассатор рассказывал историю загадочного появления покойного дяди одного своего приятеля.

— ...Они открывают окно, а за окном никого нет. Между тем все ясно слышали, что кто-то постучал. Сам я этого не видел, но приятель видел собственными глазами.

Между тем Лидия Федоровна, давно уже с опасением поглядывавшая на двери кабинета Доброгласова, подобралась к арифмометру.

— Вы еще здесь, Егор Карлович? — спросила она.

— Здесь.

— Простите, пожалуйста, мне к арифмометру нужно. Пардон!

Оттеснив невидимого, Лидия Федоровна деловито завертела ручку. Арифмометр заскрежетал. Евсей Львович сел за главную книгу. Потянулись за свои столы и все остальные. О невидимом начинали забывать.

— Скажите,— обратился Филюрин к инкассатору,— вы купили эту сорочку? Хорошая сорочка. Сколько вы за нее дали?

Ответа невидимый не получил, так как инкассатор умчался по своим делам.

— Егор Карлович? — спросил Пташников.— Я вам, кстати, хотел посоветовать обратиться к Невструеву. Вполне знающий терапевт.

— Зачем же обращаться? — тупо спросил Филюрин.

— Может быть, это у вас на нервной почве? Вам, наверно, нужна электризация. Токи Дарсонваля. Замечательная вещь. Или, знаете что, попробуйте водолечение. Температуру вы мерили?

— Где там мерить! — сказал Филюрин грустно.— Пойду я в местком.

В маленькой комнате месткома, главным украшением которой являлся щит с прикрепленными к нему частя-

ми винтовки и надписью: «Умей стрелять метко», сидели любопытные из всех отделов Пищ-Ка-Ха.

— Меня не имеют права уволить! — раздался голос Филюрина.— Я трудоспособности не потерял!..

Присутствующие загомонили. Самолюбие невидимого временно было удовлетворено. Здесь его история принималась к сердцу чрезвычайно близко. Здесь он еще мог удивлять. Он приподымал чернильницу, показывая, где он находится, объяснял детали нового своего быта и уже с некоторым опытом рассказал, что тело свое он ощущает, но, как видно, тела все-таки нет, и чем он, Филюрин, поднял только что чернильницу, он и сам не знает.

— Кроме того, меня обокрали,— закончил невидимый свой удивительный рассказ.— Ей-богу! Все начисто уперли.

— Так вы подайте в кассу взаимопомощи,— сказал председатель месткома,— в таких случаях она может выдать даже безвозвратную ссуду. Пишите заявление.

Но тут председатель осекся и потрогал руками прическу.

— Впрочем, вам деньги не нужны. Не к чему. Есть-пить вам не надо, да и платья не на что надеть. Так в чем же ваш конфликт с администрацией? Согласно правил внутреннего распорядка уволить вас не могу. Есть пункт «г», но он к вам не подходит — обнаружившаяся непригодность к работе.

— Работать я могу! — воскликнул невидимый.

— Но зачем же вам работать! Раз пить-есть вам не надо, мы дадим лучше на ваше место многосемейного безработного...

— Как!! — завопил невидимый.— С какой стати меня на биржу посылать! Я вылечусь. Я к профессору Невструеву пойду. Он знающий терапевт. Я стану видимым. Извините, товарищи! Меня нельзя уволить! Где же это такой закон, чтоб невидимых увольнять? Пункт «г» не подходит. А других пунктов подходящих нет.

— Что ж, это верно,— сказал председатель.— Этот вопрос надо заострить.

— А куда он деньги станет класть? — спросил из толпы завистливый Павел Каинович, пришедший полюбоваться на диковинного подчиненного своего папаши.

— Хоть псу под хвост! — грубо ответил невидимый.— Принципиально! Это месткома не касается. Могу класть в банк. Кто — куда, а я — в сберкассу. Мое дело!

— Формально будем защищать,— сказал председатель.— Попроси-ка, Костя, сюда товарища Доброгласова на заседание РКК. Будем флюринское дело разбирать.

— Нет, это прямо безобразие какое-то,— заметнл Фнлюрин,— взять и уволнть сотрудника ни за что. Будто невидимый уже и не человек. Возмутительно!

Собравшиеся молчали. Они начинали завидовать невидимому. Как же! Ему не нужно производить никаких расходов. А жалование идет полностью, как всякому.

— Сколько же такой невндимый может прожнть? — спросил курьер Юсюпов, давно уже производившнй в уме какне-то вычнслення.

— Нензвестно,— злобно ответил загадочный регистратор.

— Может, такой невидимый н не умнрает вовсе? — продолжал Юсюпов.

— И наверно даже я буду жить вечно.

Глаза председателя месткома сразу потеряли свой будничный блеск.

— Ты тут потише насчет вечностн. Одурел от невндимости. Ты смотрн, как бы тебя за такне слова из союза не выкинули.

— А возможно, что и будет жить вечно! — завздыхал Юсюпов.

— Тебе, курьер, завидно! — огрызнулся Филюрин.

— Мне не завидно, а только лет за двести, товарищ Филюрин, можешь большой капитал составить. Вроде как Циндель станешь.

Тут в голове председателя месткома, незаметно для присутствующих, родилась блестящая идея. И он сказал, обративши взор повыше чернильницы:

— Слушай, Филюрнн, а тебе и на самом деле деньги не нужны. Ты свою зарплату жертвуй в Осоавиахим. А?

Послышалось страшное сопенне. По комнате пронесся небольшой ураган.

— Что вы все на меня навалились? Сколько все сотрудники платят, столько н я буду платить.

— Скряга ты, Филюрнн,— произнес председатель,— невидимый должен проявить большую активность. Ну, черт с тобой, защищать тебя рабочая часть РКК все-таки будет.

В эту минуту, спугнув лодырнничающих сотруднков, в комнату вошел Каин Александровнч.

— Товарищи посторонние! — провозгласил председатель.— Прошу очистить помещение. Сейчас будет открытое заседание РКК.

Комната мигом обезлюдела.

Против председателя и Юсюпова, представлявших рабочую часть РКК, уселся управделами. Каин Александрович сел у стены, подложив под спину портфель, чтобы не измарать пиджак. Над головой его жирно блестели винтовочные части.

— А это уже есть? — спросил Каин Александрович, сделав рукой неопределенное движение.

— Он тут. Ну, товарищи, как же быть с Филюриным? Юсюпов, веди протокол.

Каин Александрович убоялся конфликта и согласился признать Филюрина живым и дееспособным, выговорив себе двухнедельный испытательный срок, после которого вопрос о невидимом снова должен был стать предметом официального обсуждения.

В конце заседания, происходившего довольно мирно, Каин Александрович вдруг воспламенился:

— Хорошо! Пусть невидимый остается, хотя ни в одном учреждении нет невидимых служащих. Я согласен. Но зачем нам, товарищи, управделами ПУМа, Иванопольский? Не понимаю?

— Каин Александрович, но ведь вопрос об Иоаннопольском прорабатывался не раз, и мы уже сами выявили, что наш Иоаннопольский совсем не тот.

— Нет,— сказал Доброгласов,— я буду просить начальника Пищ-Ка-Ха бросить меня на другую работу. Я не могу отвечать за благоустройство города, когда в отделе работают какие-то невидимые и управделами ПУМа. Я не могу работать с привидениями. Это мистика. Я требую жертв.

— Что же вы хотите? — спросил председатель месткома.

— Я требую жертв,— повторил Каин Александрович.— Я не могу делать из благоустройства бедлам. Воленс-неволенс...

И уже кроткий Евсей Львович, связанный по рукам и ногам, был возложен на жертвенник, уже была занесена над ним вооруженная автоматической ручкой десница Доброгласова, когда подняла свой голос рабочая часть. Она не хотела жертв.

Однако на этот раз разозленный Каин Александрович

показал алмазную твердость. Пришлось создать конфликт, и дело о мнимом управделами ПУМа пошло в примирительную камеру.

— Так вы, Филюрин, допускаетесь к исполнению обязанностей. Можете идти работать.

Вслед за этим, впервые в истории учреждений города Пищеслава, со стола скромного регистратора Филюрина ручка сама собой поднялась на воздух, наклонилась под должным углом и вписала в развернутую книгу регистрации земельных участков самую обыденную деловую запись.

Посетители отдела благоустройства, давно забывшие детскую сказку о шапке-невидимке, не читавшие Уэльса и не знавшие еще об удивительном случае с «веснулином» Бабского, первое время обмирали и даже опускали негодующие заявления в огромный жалобный ящик Пищ-Ка-Ха, но потом, занятые своими делами, привыкли и находили, что невидимый Филюрин работает гораздо быстрее Филюрина видимого и что душа регистратора гораздо вежливее, чем была его земная оболочка.

Пищеславцы успокоились, называли Филюрина «товарищ прозрачный» и даже слегка над ним подтрунивали.

А сам прозрачный тосковал безмерно. Сперва ему нравилось то удивление, которое он вызывал в окружающих. Он любил рассказывать с мельчайшими подробностями о том, как он пошел в баню, как мылся там необыкновенным голубым мылом, как исчез и как гнался за ворами. Но все это продолжалось лишь два дня. Не находилось больше охотников слушать рассказы о том, как буквально, в точном смысле этого слова, смылся регистратор.

Это обстоятельство повлияло также на судьбу единственного свидетеля исчезновения Филюрина. Милиционер Адамов тоже не находил больше слушателей, от скуки запил и был отправлен в антиалкогольный диспансер, где его лечили гипнозом и холодной водой.

О Бабском ничего не было слышно. Он сидел, запершись, у себя, на Косвенной улице, и примус его, как потом рассказывали, не потухал ни днем, ни ночью.

Прозрачный тосковал. Все удовольствия были ему уже недоступны. Только и было ему удовольствия, что одиноко поиграть на мандолине, прижимая ее зад к своему несуществующему животу.

Тогда-то и произошло замечательное событие, перевернувшее Пищеслав вверх дном и вознесшее Егора Карловича Филюрина на головокружительную высоту.

Глава IV
ИСТОРИЯ ГОРОДА ПИЩЕСЛАВА

Сказать правду, Пищеслав был городом ужасным. Больше того. Свежий человек, попав в него, подумал бы, что это город фантастический. Никак свежий человек не смог бы себе представить, что все увиденное им происходит наяву, а не во сне, странном и утомительном.

Еще недавно Пищеслав носил короткое, незначащее название — Кукуев. Переименование города было вызвано экстраординарным изобретением Бабского. Неутомимый мыслитель изобрел машинку для изготовления пельменей.

Продукция машинки была неслыханная — три миллиона пельменей в час, причем конструкция ее была такова, что она могла работать только в полную силу.

Машинку изобретатель назвал «скоропищ» Бабского.

В порыве восторга Бабскому оказали честь, переименовав Кукуев в Пищеслав. Раскрылись обаятельные, отливающие молочным цветом червонцев перспективы. Предвиделся расцвет пельменной промышленности в городе, бывшем доселе только административным центром.

В первый же день два «скоропища», работая в три смены, изготовили сто сорок четыре миллиона пельменей. На другой — работа прекратилась, потому что запасы муки и мяса истощились. Штабеля пельменей лежали на улицах Пищеслава, но, к удивлению акционерного общества «Пельменсбыт», образовавшегося для эксплуатации изобретения Бабского, спрос на пельмени, при всей их дешевизне, не превысил пяти тысяч штук.

Перевозить пельмени в другие города на продажу было невозможно из-за жаркого летнего времени.

Пельмени стали разлагаться. Запах гниющего фарша душил город.

Начался переполох. Обнаружился существенный недостаток изобретения Бабского. «Скоропищ» нельзя было приручить и приспособить к скромным потребно-

стям населения. Оказалось, что меньше трех миллионов пельменей в час машинка выпускать не может.

Добровольные дружины в ударном порядке вывозили скисший продукт за город, на свалку.

Когда обратились за разъяснением к Бабскому, он, конструировавший уже станок для массового изготовления лучин, ворчливо ответил:

— Не морочьте мне голову! Если «скоропищ» усовершенствовать, то усилить продукцию до пяти миллионов в час возможно. А меньше трех миллионов, прошу убедиться, нельзя.

Тогда Бабского посадили на полгода в тюрьму, но уже через неделю городской изобретатель стал произносить неопределенные угрозы, говорил про какой-то антитюремный эликсир, и его выпустили.

Возвратить городу прежнее имя было совестно.

Так он и остался Пищеславом.

С какой бы стороны ни подъезжал к Пищеславу путник, взору его представлялось огромное здание, привлекательно и заманчиво высившееся над всем городом. Это был объединенный центральный клуб — здание, по величине своей немногим только меньшее, чем московский Большой оперный театр.

Клуб помещался в лучшей части города — между шоколадным особняком РКИ и бело-розовым ампирным зданием уголовного розыска.

Клуб был построен очень прочно, добротно и отличался невиданной еще в Пищеславе красотой всех своих четырех фасадов. Но не было в нем ни концертов, ни лекций, ни театральных представлений, ни шахматных игр, ни кружковой работы. Огромное здание, бросавшее тень на добрую половину Пищеслава, совершенно не посещалось гражданами.

Изредка только из колоссального здания клуба выходил человек в толстовочке — комендант — и, жмурясь от солнца, плелся в клуб уголовного розыска поиграть в шашки и на полчасика приобщиться к культурной жизни.

Что же случилось? Почему ни одна душа не посещала клуба? Почему никто не играл там в политфанты и профлото, почему не было увлекательнейших вечеров вопросов и ответов? Почему всего этого не было, хотя здание нравилось всем без исключения пищеславцам?

При постройке здания строителями была допущена ошибка. Мы должны открыть всю правду.

В здании была только одна маленькая, совсем темная комната, площадью в семь квадратных метров. Вся остальная неизмеримая площадь была занята большими и малыми колоннами всех ордеров — дорического, ионического и коринфского.

Колоннады аспидного цвета пересекали здание вдоль и поперек, окружали его со всех сторон каким-то удивительным частоколом. Внутри здания тоже были только колонны. И в этом колоннадном лесу чахнул от безлюдья комендант в толстовочке. Пищеславцы, боясь заблудиться в колоннах и не находя комнат, в которых можно было бы послушать лекцию, предпочитали любоваться диковинным клубом извне.

В клубе не было даже уборной. Комендант, кляня архитекторов и стукаясь лбом о колонны, за каждой малостью бежал во двор РКИ. Впрочем, не все были такими щепетильными, как комендант. Колоннады, портики и перистили быстро загрязнились, и запах, схожий с запахом сыра-бакштейн, изливался сквозь колонны на площадь.

Никто не решался первым сознаться в том, что в новом клубе слишком много архитектурных украшений и совсем нет полезной площади. Клубом продолжали гордиться. И каждые похороны (пищеславцы их очень любили и праздновали с особенным умением и пышностью) неизменно останавливались у гранитной паперти объединенного клуба, где отслуживалась гражданская панихида.

Промышленности в городе не было никакой, да и не могло быть, потому что пищеславские недра не таили в себе ни руд, ни минералов. По географическому положению Пищеслав, стоявший на несудоходной реке Тихоструйке и отдаленный на сорок пять верст от вокзала, никакой промышленности иметь и не мог.

Тем не менее пищеславцы отправили в центр ходоков с просьбой разрешить им пустить в ход потухший пятьдесят лет тому назад завод, который во время крымской кампании производил для нужд армии трубы и барабаны. Центр в средствах отказал.

Тогда пищеславцы, выкроив из чахлого бюджета полтораста тысяч рублей, взялись за дело сами. Через два года напряженной работы завод был восстановлен, и его толстая башенная труба с зубцами зачадила.

Кооперативные прилавки не смогли вместить всей

заводской продукции. Пришлось предоставить кредиты на постройку двух универсальных магазинов, предназначенных исключительно для продажи труб и барабанов.

Неизвестно почему, но трубы и барабаны пользовались у потребителей большим успехом.

Комплекты труб и барабанов появились в каждой семье. Выспавшиеся после обеда граждане с увлечением били в барабаны.

Но вскоре эта музыка приелась. Пошли новые культурные веяния. В местной газете «Пищеславский Пахарь» поднялась дискуссия по поводу того, можно ли внедрить в служилую массу классическую музыку с помощью граммофона.

Для популяризации этой идеи в городском театре состоялся конкурс на лучшего граммофониста. Первым призом был объявлен почти новый патефон с восемью пластинками фирмы «Пишущий Амур». Вторым призом явилась живая, яйценосная курица Минорка, а в третий приз давался сборник статей по ирригации Кара-Кумской пустыни.

Конкурс мог похвастаться успехом. Множество людей притащилось в театр с разноцветными рупорами, пластинками и шкатулками. Конкурс, открывшийся большим докладом, продолжался три дня. Три дня со сцены городского театра, где состязались граммофоны, несся щенячий визг и хохот. Как-то так случилось, что почти все пластинки были напеты музыкальными клоунами Бим-Бом. Это очень веселило публику, но комиссия, не признав за этими произведениями общественного значения, присудила:

первый приз — сыну безлошадного крестьянина, Окоемову, за мастерское исполнение музыкальной картины «Мельница в лесу» с подражанием кукушке и мельничным стукам, под управлением капельмейстера Модлинского пехотного полка Черняка;

второй приз — сыну бедного фельдшера Гордиеву, прекрасно исполнившему марш Буланже на тубофоне в сопровождении оркестра акц. о-ва «Граммофон»;

третий приз — сыну мелкого служащего. Иоаннопольскому, за пластинку «Дитя, не тянися весною за розой, розу и летом сорвешь», напетую любимцем публики, популярным исполнителем оригинальных романсов Сабининым под собственный аккомпанемент на рояле.

Трудно поверить в существование такого города, как

Пищеслав, но он все-таки существовал, и отмахнуться от этого было невозможно.

Вокруг города цвели травы, возделывались поля, ветер гулял в рощах, а в самом городе даже растительность была дикая.

В городе часто случались скандальные происшествия.

В слободской больнице служащему трампарка Господову при операции брюшной полости по ошибке зашили в живот больничный будильник, заведенный двухмесячным заводом на пять часов утра. Скандал начался с увольнения сиделки, обвиненной в краже будильника. Затем поступило заявление больного Господова о том, что в животе его слышится противный звон.

Сиделку реабилитировали, но извлечь будильник из живота Господова побоялись. Новая операция угрожала бы его жизни. Через неделю Господов выписался из больницы и вскоре подал в суд. А жаловался обиженный Господов на то, что будильник звонит не вовремя.

— Пусть себе сидит в животе. Я ничего не имею. Но пусть не звонит в пять часов утра, когда мне на работу идти только в восемь. Мне ж спать невозможно.

Инцидент закончился мирно. Судопроизводство еще и не начиналось, когда истец взял свое заявление обратно. Завод будильника иссяк, и Господов в простоте душевной полагал, что дальнейшие претензии будут неосновательны.

Происшествию с Господовым «Пищеславский Пахарь» не мог уделить много места, потому что четыре его скромные полосы заняты были полемическими письмами в редакцию двух враждовавших между собою литературных групп — крестьянской группы «Чересседельник» и городской — ПАКС (Пищеславская ассоциация культурных строителей).

«Многоуважаемый товарищ редактор! — писал «Чересседельник»,— не откажите в любезности поместить на страницах вашей газеты нижеследующее:

«Литературная группа «Чересседельник», закончив организационный период, с 1 июля приступает к творческой работе. Этой работе мешают демагогические выступления беспочвенных политиканов, давно исключенных из «Чересседельника» за склочничество и ныне выступающих под флагом литгруппы ПАКС»...

Далее шли печальные сообщения о склочниках из ПАКСа. Подписи под письмом занимали два столбца.

Рядом неизменно бывало заверстано длиннейшее письмо ПАКСа, подписи под которым были так многочисленны, что конец их терялся где-то в отделе объявлений.

«Многоуважаемый товарищ редактор! — писала ПАКС.— Не откажите в любезности поместить на страницах вашей газеты нижеследующее:

«Литературная группа ПАКС, закончив организационный период, с двенадцати часов завтрашнего дня приступает к творческой работе. Этой работе мешают демагогические выступления оголтелой кучки зарвавшихся политиканов, давно выжженных из ПАКСа каленым железом, а ныне приютившихся под крылышком мелкобуржуазной литгруппы «Чересседельник»...»

Письма с каждым днем становились все длиннее и нудней, а плодов творческой работы все не было видно.

Так текла жизнь города, вплоть до того знаменательного вечера, когда невидимый регистратор в тоске забрел в центральный объединенный клуб.

Углубившись в проход между колоннами, Прозрачный с большим трудом нашел единственную клубную комнату, где жил сам комендант. Несмотря на маленькую свою площадь, комната была высока, как шахта. Потолок ее скрывался во мраке, рассеять который была бессильна маленькая керосиновая лампа, висевшая на крючке у столика.

Отвести душу было не с кем. Комендант ушел ночевать к знакомым, а может быть, и просто сбежал, затосковав по обществу. В комнате, кроме стола, стояли козлы с нечистым матрацем и большой фанерный щит на подпорках, с надписью: «Календарь клубных занятий». В углу лежала груда газетных комплектов в огромных рыжих переплетах.

На дворе стоял июль, а в объединенном клубе было холодно, как в винном погребе.

Прозрачный протяжно выбранился. Если бы он умел говорить умные слова, то побежал бы на площадь, созвал бы побольше народу и поведал бы ему, как тяжело жить бестелесному человеку, который не может придумать ничего такого, что оправдало бы его необычное существование. Но говорить красиво и удивительно он не умел.

Прозрачный рассеянно направился в угол, вытащил оттуда газетную книжищу и нехотя углубился в чтение. Не читал он с тех пор, как кончил городское училище. Это было очень давно.

Ощущения читающего человека были ему чужды. Поэтому чтение произвело на Прозрачного такое же впечатление, какое испытывает курильщик, затянувшийся папиросой после трехдневного перерыва. Прозрачному попалась московская газета.

«Первый Госцирк! — прочел Филюрин вслух.— Последние пять дней. Укрощение двенадцати диких львов на арене под управлением Зайлер Жансо».

Прозрачный стал думать о львах. Потом от объявлений он перешел к более трудным вещам — к котировке фондового отдела при московской товарной бирже. Но это было слишком мудрено, не под силу. Филюрин бросил котировку и перекочевал в отдел суда. Ему попалось на глаза простое алиментное дело, которое для настоящего любителя суда не представляет ни малейшего интереса. Невидимый однако же прочел его с необыкновенным волнением.

— Ну и люди теперь пошли! — воскликнул Прозрачный, впервые постигая возможность критики отношений между мужчиной и женщиной.

Он прочел еще несколько судебных отчетов и с удивлением убедился в том, что в стране существует по крайней мере пятнадцать отпетых негодяев.

— Ни стыда, ни совести у людей нет,— шептал Прозрачный, переворачивая большие листы.

С каждым новым номером газеты количество негодяев увеличивалось. Через два часа Прозрачный решил выйти на площадь, чтобы собраться с возникшими при чтении мыслями.

— Действительно,— бормотал он, проплывая между колоннами,— безобразия творятся.

Самые дерзкие параллели возникали в мыслях Прозрачного. Вспоминая последнее прочитанное дело о бюрократизме фруктработников, он пришел к страшному выводу, который не осмелился бы сделать даже вчера. «Каин Александрович,— думал он,— тоже, как видно, бюрократ и бездушный формалист».

Думая таким образом, он мчался вперед. Колонны мелькали. Им не было конца. Они вырастали чем дальше, тем гуще. Выхода не было. Прозрачный заблудился в колонном бору, воздвигнутом усилиями пищеславских строителей.

Это происшествие придало мыслям Филюрина новый жар.

— Тоже построили! — закричал он в негодовании.— Входа-выхода нет. Под суд таких!

И громкое эхо, похожее на крик целой роты, здоровающейся с командиром, вырвалось из-под портиков и колоннад:

— Под суд!

Проплутав еще некоторое время, Прозрачный очень обрадовался, попав обратно в комнату коменданта, и снова принялся за чтение.

Лампочка посылала бледно-желтый слабый свет на гранитную облицовку стен. Газетные листы сами собою переворачивались. Комплекты с шумом летели в угол и снова выскакивали оттуда.

В пустой комнате раздавались отрывочные восклицания:

— Нет! Это никак невозможно! Уволить женщину на восьмом месяце беременности! А Каин в прошлом году такую самую штуку проделал! Ну и дела!

Глава V

ЮБИЛЕЙНАЯ РЕЧЬ

В эту ночь Евсей Львович Иоаннопольский спал и видел во сне семь управделами тучных и семь управделами тощих.

Сон оказался в руку.

Когда Евсей явился утром на службу, ему сообщили, что семь дней местком боролся за него удачно, а последующие семь дней — неудачно и что примкамера, подавленная красноречием Доброгласова, решила дело в пользу администрации.

— Но ведь я же все-таки в ПУМе не служил! — закричал Евсей Львович, скорбно оглядев сотоварищей по отделу.— Все же знают! Я на этого самодура буду жаловаться в суд!

Свободомыслие бухгалтера не встретило поддержки.

Евсей Львович понял, что дело гораздо серьезнее, чем он предполагал, вынул из конторки собственную чайную ложечку и спросил:

— Кто же сядет на главную книгу?

— Назначили Авеля Александровича,— ответил Пташников,— он уже утвержден.

— Конечно,— сказал Иоаннопольский.

Он чувствовал, что ему нечего терять, кроме собственных цепей.

— Протекционизм! Брата назначил! Сыновья давно служат! А я? Я, конечно, остался с пиковым носом.

Иоаннопольский печальным аллюром двинулся к Пташникову. Учрежденский знахарь сделал вид, что поглощен работой.

— Я сделал анализ,— сказал Иоаннопольский.

Пташников, к удивлению бухгалтера, ничего не ответил.

— Я уже сделал анализ,— глухо повторил Евсей Львович.

— У вас достаточное количество красных кровяных шариков,— с неудовольствием произнес знахарь,— и, знаете, неудобно как-то в служебное время...

— Может быть, мне действительно посоветоваться с профессором Невструевым? — лепетал Евсей, пытаясь вдохнуть жизнь в трусливую душу Пташникова.

Но в это время из кабинета раздался голос Каина Александровича, и знахарь испуганно зашикал на Иоаннопольского.

— Вы хотите, чтобы меня тоже выкинули? — сказал он, глядя на бухгалтера молящими глазами.

Тут Евсей Львович понял, что он уже чужой. Он в раздумье постоял посредине комнаты и подошел к столу Филюрина.

Ручка и книга регистрации земельных участков в пестром переплете недвижимо лежали на столе. Кто знает, где в это время был Филюрин? Может быть, он отдыхал, равнодушно озирая лепной потолок; может быть, гулял по коридору или стоял за спиной Евсея Львовича, иронически усмехаясь.

— Вы слышали, Филюрин? Меня Каин все-таки уволил.

Ответа не последовало.

— Вы здесь, Егор Карлович?

Но молчание не прерывалось, и книга по-прежнему оставалась закрытой.

Иоаннопольский повернулся и спросил, ни к кому не обращаясь:

— Что, Филюрин еще не приходил?

— Не приходил,— ответила Лидия Федоровна.— Смотрю, ручка не подымается.

— Может быть, он заболел? — живо отозвался Пташников.

— А разве невидимые болеют?

— Все может быть. Теперь такая дизентерия пошла.

— Но ведь он же ничего не ест!

— Тогда, может быть, на нервной почве? — ядовито сказал Евсей Львович.

— Какие там нервы! У человека тела нет, а вы толкуете про нервы.

Разгорелся спор, блестяще разрешенный Пташниковым. В пространном резюме, в котором не раз упоминался ленинградский дядя-терапевт и последние открытия в области лечения простоквашей,— учрежденский знахарь пришел к несомненному выводу, что невидимый болеть все-таки не может.

Поэтому решили послать за Филюриным курьера Юсюпова. Евсей Львович взялся сопровождать курьера.

С полуденного неба лился белый горячий свет. В витринах оптического магазина акционерного общества со смешанным капиталом Тригер и Брак, на ступенчатой подставке, покрытой красным сатином, стояли ряды отрубленных восковых голов. На носу каждой головы сидели очки и пенсне разных размеров и форм. Все выставленные барометры показывали бурю.

Мальчики лакомились сахарным мороженым, поедая его костяными ложечками из синих граненых рюмок.

На базарной площади вопили поросята в мешках и гуси в корзинках, зашитые рогожей по самые шеи. Летала солома.

Большие мухи в зеленых бальных нарядах с пропеллерным гудением падали в корзины с черной гниющей черешней, сталкивались в воздухе и совершали небольшие марьяжные путешествия.

Всю дорогу Евсей Львович клеймил Юсюпова за то, что РКК оказалась не на высоте. Юсюпов со всем соглашался и советовал обратиться прямо в суд.

Разговаривая таким образом и руководствуясь звуками «о», доносившимися из окна первого этажа, они быстро нашли квартиру мадам Безлюдной.

Златозубая хозяйка пожала плечами и ввела гостей в комнату Филюрина. Там все трое долго и громко звали Прозрачного. Ответа не было.

— Куда же он, однако, девался, мадам? — спросил Евсей Львович удивленно.

— Понятия не имею,— ответила мадам, выставив золотой пояс зубов.— Как вчера утром ушел на службу, так и не приходил. Беда с таким квартирантом. Вы знаете, я до сих пор не привыкла. Кроме того, он не платит мне за квартиру.

— А вы, извините, мадам, кажется, в положении? — неожиданно молвил Иоаннопольский.— Где служит ваш муж?

Мадам Безлюдная ничего не ответила. Она была разведена уже три года назад, а в выборе отца предполагаемого ребенка все еще колебалась.

— В таком случае до свиданья,— сказал Евсей Львович, вежливо наклонив плешивую голову.

Бросив Юсюпова на полдороге, Иоаннопольский помчался в отдел благоустройства, возбуждаясь на ходу все больше и больше и под напором интересных мыслей делая крутые виражи на углах пышущих жаром пищеславских магистралей. Сама лошадь Пржевальского, по проспекту которой проносился Евсей, была бы удивлена такой резвостью.

— Уже! — завизжал Иоаннопольский, влетая в каминную комнату.

Он был так возбужден, поднял в отделе такой ветер, что листы месячного календаря «Циклоп» взвились, открыв свой последний декабрьский лист, испещренный красными праздничными цифрами.

— Что, уже? — зашептали сотрудники.

— Уже! — повторил Иоаннопольский, обтирая цветным платком нежную персиковую лысину.

— Да говорите же, Евсей Львович,— взмолились сотрудники,— что уже?

Евсей внезапно замолчал, сел на подоконник, предварительно сняв с него железный, похожий на крыло пролетки, футляр «ремингтона», и медленно стал выпускать горячий воздух, захваченный в легкие во время финиша по проспекту имени Лошади Пржевальского. При этой операции опавший было «Циклоп» снова зашелестел на стене, и на голове Лидии Федоровны поднялись все ее считанные волосы. Отдышавшись, Иоаннопольский полез в задний карман за папиросами и сказал:

— Уже исчез.

— Филюрин исчез?

— Да, товарищи, Филюрин исчез. Со вчерашнего дня он не приходил домой.

— Теперь,— сказал Пташников,— Каин Александрович его выкинет.

— Вы в этом уверены? — презрительно спросил Евсей.

— Уверен. А вы что думаете?

— Кому в этом месте интересно знать, что думает Евсей Иоаннопольский?

— Ну что за шутки такие! — закричал Костя.— Говорите, товарищ Иоаннопольский, просят же вас.

— Так вы думаете, что Каин Александрович уволит Филюрина?

— Да. Ведь вы же, Иоаннопольский, сами знаете, что это за человек.

— А что вы запоете, если Филюрин уволит вашего Каина Александровича?

За столами водворилась мертвящая тишина. Не в силах удержаться на внезапно ослабевших ногах, Пташников опустился на стул.

— Да, граждане, и это может произойти очень скоро.

— Откуда вы взяли? Это фантазия!

— А невидимый человек, это не фантазия? — возопил Евсей.— А когда невидимый человек исчезает, то это, по-вашему, что, фантазия или не фантазия?

— В чем же дело? — загомонили служащие.

— Дело в том, что где, по-вашему, сейчас Филюрин?

— Откуда же нам это знать?

— Я этого тоже не знаю. Но, товарищи, кто может поручиться, что он не между нами и не слушает всего, что мы сейчас говорим?

Протяжный стон пронесся по отделу благоустройства. Иоаннопольский засмеялся.

Лицо Пташникова покрылось фиолетовыми звездами и полосами.

— А я еще,— сказал он, вздрагивая,— сегодня утром довольно громко ругал Каина. Наверное, Филюрин слышал и все ему расскажет.

— Да вы с ума сошли,— зашикал Евсей Львович,— что вы такое говорите? А если он сейчас сидит на этом футляре и слышит, как вы называете его доносчиком?

Тут с лица Пташникова слетели все краски. У Кости от удивления грудь выгнулась колесом и в продолжение всего разговора уже не разгибалась.

— Боже меня упаси,— сказал знахарь трагически,—

я никогда не говорил, что он доносчик. Это вы сами сказали.

— Я не мог этого сказать,— возразил Иоаннопольский. И, обратившись почему-то лицом к совершенно пустому месту, прочувствованно произнес: — Я, который всегда считал Егора Карловича прекрасным товарищем и очень умным человеком с блестящей будущностью, я этого сказать не мог. Даже наоборот. Я всегда говорил, говорю и буду говорить, что Егор Карлович симпатичнейшая личность.

— Кто же в этом сомневался! — сказала Лидия Федоровна.— Я редко встречала такого милого человека.

— Милого? Что милого! — подлизывался Евсей.— Если вы хотите знать, такого человека, как товарищ Филюрин, во всем свете нет.

Говоря так, Иоаннопольский наслаждался несчастным видом знахаря. Но знахарь оказался не таким дураком, как это могло показаться по внешнему его виду. Он подошел к столу Филюрина и, ласкательно глядя на книгу регистрации земельных участков, произнес большую, почти что юбилейную речь. Тут было все: и «стояние на посту», и «высоко держа», и «счастие совместной работы», и «блестящая инициатива, так способствовавшая». Казалось, что Пташников вытащит сейчас из-под пиджака хромовый портфель с серебряной визитной карточкой, с загнутым углом и каллиграфической гравировкой: «Старшему товарищу и бессменному руководителю в день трехлетнего юбилея».

Когда речь окончилась и служащие почувствовали, что Прозрачный уже достаточно задобрен, они снова подступили к Евсею Львовичу. Случилось как-то так, что Евсей Львович оказался чем-то вроде поверенного Филюрина. Ему задавали вопросы, и он отвечал на них с большим весом.

По мнению Евсея Львовича, Прозрачный, пользуясь неограниченными своими возможностями, уже занялся высокополезной общественной деятельностью и, конечно, будет ее продолжать. Будучи особенно хорошо знакомым со структурой совучреждений, невидимый, несомненно, будет бороться с извращениями аппарата.

— Уж я его характер хорошо знаю,— говорил Евсей Львович,— можете поверить мне на слово.

Поговорив в таком роде в отделе, Иоаннопольский лучезарно улыбнулся и отправился в местком. По дороге он

останавливался, чтобы поговорить со знакомыми из других отделов Пищ-Ка-Ха. Тема была прежняя — исчезновение Прозрачного.

— Я просто так думаю,— говорил Евсей Львович, пожимая руки и раскланиваясь на все стороны,— что Прозрачный сделал это нарочно, чтобы узнать, кто чем дышит. Вы же понимаете, что если он захочет, то от него не может быть никаких тайн. Ей-богу, не хотел бы я быть сейчас на месте Доброгласова. Да и самому Доберману-Биберману может нагореть. Помните историю с подрядом на домовые фонари? А сколько есть дел, о которых мы ничего не знаем! Уж Прозрачному все известно. Будьте уверены! Ну, я пошел!

На знакомых слова Евсея производили совершенно разное впечатление. Одни удивленно ахали, от души веселясь и ожидая в самое ближайшее время больших сюрпризов. Другие грустнели и сразу становились неразговорчивыми.

— Вы слышали новость? — кричал Иоаннопольский, входя в местком.— Прозрачный наконец взялся за ум! Когда его спрашивают — не откликается!

— Ну, что из того? — спросил председатель месткома вяло.

Иоаннопольский, возмущенный индифферентностью профработника, даже подскочил на месте.

— Все два этажа с ума сходят, а он спрашивает меня, что из того! Из этого то, что для Прозрачного теперь секретов нет. Ну, вы, положим, рассказываете своей жене с глазу на глаз, что у вас небольшой недочет союзных денег. Вы думаете, что вы одни, что все, что вы говорите,— это тайна, а Прозрачный в это время спокойненько слушает все, что вы говорите, и вы об этом даже представления не имеете. На другой день за вами приходят от прокурора с криком: «А подать сюда Гоголя-Моголя!»

Председатель, который действительно растратил тридцать рублей МОПРовских денег, ошалело посмотрел на Иоаннопольского. Растрату председатель собирался восполнить членскими взносами, собранными с друзей радио. Недочет же в средствах друзей порядка в эфире должны были покрыть средства Общества друзей советской чайной. А прореху в кассе почитателей кипятку предусмотрительный председатель предполагал залатать с помощью еще одного общества, над организацией ко-

торого ныне трудился. Это было общество «Руки прочь от пивной».

Заявление Евсея Львовича одним ударом перешибало стройную систему отношений между добровольными обществами, с такой любовью воздвигнутую председателем.

Продолжая дико глядеть на Иоаннопольского, председатель сказал нудным голосом:

— Этот вопрос нужно заострить.

Впрочем, по лицу Евсея он отлично видел, что вопрос и без того заострен до последней степени.

На Пищеслав надвигалась туча, сыплющая гром и молнию.

Глава VI
КАИН УВОЛИЛ АВЕЛЯ

С легкой руки Евсея Львовича Пищеслав переполнился слухами о новой деятельности Прозрачного.

И уже на следующее утро Каин Александрович вызвал в кабинет брата своего Авеля Александровича и долго топал на него ногами.

— Что с тобой, Каша? — удивленно спросил Авель Александрович, полулежа в кресле.

— Прошу мне не тыкать при исполнении служебных обязанностей! — завизжал Каин Александрович.

— Я тебя не понимаю. Этот тон...

— Встать! Воленс-неволенс, а я вас уволенс. Можете идти, товарищ Доброгласов. Без выходного пособия.

— Ты что, пьян? — грубо спросил Авель.

Тогда Доброгласов-старший, полагая вполне возможным присутствие в кабинете Прозрачного, счел необходимым высказать Доброгласову-младшему свои мысли о протекционизме.

— Я всегда проводил,— говорил он вздрагивающим голосом — беспощадную борьбу с кумовством. Я опротестовываю однобокое решение примкамеры относительно всеми уважаемого управделами ПУМа товарища Иоаннопольского. Последний восстанавливается в должности, а вас, как принятого по протекции, я беспощадно снимаю с работы. Мы сидим здесь, товарищи, не для благоустройства родственников, а для благоустройства города. Вам здесь не место. Идите.

Авель Александрович, растерянно тряся головой, вы-

шел из кабинета, сдал главную книгу подоспевшему Евсею Львовичу и покинул отдел благоустройства, не получив даже за проработанные два часа.

Иоаннопольский проводил поверженного в прах Авеля ласковым взглядом и удовлетворенно заметил:

— Прозрачный начинает действовать. Начало хорошее. Что-то еще будет!

При этих словах Пташников чуть не упал со стула. Глаза Лидии Федоровны заблистали от слез, а Костя выбежал из комнаты, выронив из кармана бутерброд, завернутый в пергаментную бумагу.

Между тем Каин Александрович в бурном приступе служебной деятельности работал над искоренением кумовства в отделе.

Сперва он написал в стенную газету «Рупор Благоустройства» заметку такого содержания:

НЕ ВСЕ ГЛАДКО

«С кумовством в нашем учреждении не все обстоит благополучно. Эта гнилая язва протекционизма не может быть больше терпима. Пора уже взять под прицел семейство Доброгласовых, свивших себе под сенью Пищ-Ка-Ха уютное гнездышко, без ведома самого тов. К. А. Доброгласова, который, как только узнал о поступлении в отдел благоустройства А. А. Доброгласова, немедленно такового снял с работы без выдачи двухнедельной компенсации, памятуя об экономии государственных средств. Пора также ликвидировать имеющихся в Пищ-Ка-Ха двух сыночков тов. Доброгласова, втершихся на службу, безусловно, без ведома уважаемого нами всеми за беспорочную и длительную службу Каина Александровича».

В этой заметке, в которой смертельно перепуганный Доброгласов ополчался на собственных своих сыновей, на плоть от плоти и кровь от крови, он недрогнувшей рукой поставил подпись: «Рабкор Ищи меня».

Прокравшись к стенгазете, которая висела в темном, посещаемом только котами углу коридора, Каин Александрович приклеил заметку синдетиконом к запыленному картону.

Потом Доброгласов вернулся к себе и составил две бумаженции. В одной он доводил до сведения начальника Пищ-Ка-Ха о необходимости немедленного и строжайщего расследования по заметке «Не все гладко» рабкора

«Ищи меня», помещенной в стенгазете «Рупор Благоустройства».

Отослав бумажку по назначению, Каин Александрович написал приказ о немедленном выявлении и увольнении из отдела благоустройства каких бы то ни было родственников. Приказ он собственноручно наклеил на дверях своего кабинета.

Через несколько минут оба Каиновича, подталкиваемые курьерами, уже спускались по учрежденской лестнице.

Евсей Иоаннопольский, наблюдавший из окна исход Каиновичей из Пищ-Ка-Ха, хотел поделиться своей радостью с Пташниковым, но, к великому его удивлению, знахарь стоял на коленях посреди комнаты.

— Что с вами? — закричал Евсей.

— Я родственник,— ответил Пташников.

— Чей?

— Ее.

И Пташников указал на Лидию Федоровну.

— Кем же она вам приходится?

— Женою.

— Но ведь Лидия Федоровна девица. Помнится, так и в анкете написано.

— Скрывали,— зарыдала Лидия Федоровна.— Жили на разных квартирах.

— Сколько же времени вы женаты?

— Двадцать лет. Пятый год скрываем.

— И дети есть?

— Есть. Мальчик один, вы его знаете.

— Какой мальчик?

— Костя. Вот он сидит. Первенец наш. Теперь здесь служит.

— В таком случае,— сказал Евсей Львович,— вас всех надо изжить. Мне вас, конечно, жалко. Вместе работали все-таки. Ну что скажет Прозрачный, если я стану из дружеских чувств потакать своим знакомым? Сами понимаете.

Нелегальное семейство, с такими усилиями скрывавшее свои нормальные человеческие отношения, семейство, жившее тремя домами и устраивавшее супружеские встречи в гостинице, семейство, оказавшееся на краю бездны,— молчало в неизмеримой печали. Пташниковы понимали величину и тяжесть своей вины. Они не просили и не ждали снисхождения.

— Знаете что,— сказал Евсей Львович,— такой важный вопрос без Прозрачиого я решить не могу. Сидите пока. Если вы уйдете, некому будет работать. А потом,— как решит Прозрачный, так и будет.

Зиахарь, жена его Лидия и сын их Костя не стали терять время попусту и с новым усердием принялись за работу.

Дверь кабинета растворилась, и на пороге ее появился Каии Александрович, лишь недавно приклеивший заметку в стеигазету. Обеими руками он держал броизовую чернильницу «Лицом к деревне». По лицу начальника зайчиком бегала болезненная улыбка.

Ои подошел к Косте, со вздохом поставил сторублевую ношу, а взамен ее взял пятикопеечную чернильницу-невыливайку.

Евсей засуетился.

— Ах, какая чериильница! — восторгался он.— Но зачем она Косте? Слушайте, Доброгласов, поставьте ее ко мне. Я ведь все-таки веду главную книгу.

— Пожалуйста, Евсей Львович, мне все равно. Мешает она, зиаете ли. Да-а!

Каии Александрович прошелся по комнате и, беспокойно вылупив белые глаза, неожиданно заметил:

— А не кажется ли вам, товарищи, что охрана труда у нас хромает? С вентиляцией все благополучно? Ну, работайте, работайте, не буду вам мешать. Да, кстати... Егор Карлович еще ие приходил? Нет его? Отлично. Посадите, Евсей Львович, кого-нибудь на регистрацию, посетители ждать ие должны. Ведь ие посетители для учреждения, а учреждеиие для посетителя.

Но посетителей в этот день не было, потому что пищеславские граждане занимались заметанием следов. Многие каялись в своих грехах публично.

Призрак, олицетворяющий предельную добродетель, носился по городу, вызывая самые удивительные события.

Чувство критики, дремавшее в сердцах граждан, проснулось.

На общем собрании членов союза Нарпит работа месткома была признана неудовлетворительной. На секретаря месткома, не знавшего такого случая за всю свою долголетнюю профсоюзную практику, это подействовало ужасающим образом.

Ои, заготовивший уже хвалебную резолюцию, оиемел

на целых полчаса. А когда обрел дар речи, поднялся и заявил, что он, секретарь, в профработе ничего не смыслит, что деньги, ассигнованные на культработу, проиграл на лотерее в пользу беспризорных и что гендоговора никогда в своей жизни не прорабатывал, хотя таковой и должен обязательно прорабатываться на местах.

Свою сильную образную речь секретарь кончил пламенным призывом никогда больше в местком его не выбирать.

Экскурсия, посетившая музей благоустройства, вытащила оттуда трамвайный вагон № 2, снабженный мемориальной доской в честь тов. Обмишурина, и поставила его на рельсы. Трамвайный парк, получив музейное подкрепление, успешно справлялся с перевозками пассажиров.

У дверей прокуратуры и уголовного розыска вились длинные очереди кающихся. Зато очереди у кооперативных магазинов убывали в полном соответствии с очередями у дверей закона.

Две госпивные с зазорными названиями «Киевский Шик» и «Веселый Канарей» прекратили подачу пива и сосисок. Вместо этого подавались сидр с моченым горохом и пудинг из капусты.

«Пищеславский Пахарь» поместил сенсационное письмо секретаря литгруппы ПАКС тов. Пекаря:

«Многоуважаемый тов. редактор! Не откажите в любезности поместить на страницах нашей газеты нижеследующее: хотя организационный период литгруппы ПАКС давно закончился, но мы, несмотря на то, что зарвавшиеся политиканы из «Чересседельника» нам уже не мешают, к творческой работе до сих пор не приступили и, вероятно, никогда не приступим.

Дело в том, что все мы слишком любим организационные периоды, чтобы менять их на трудные, кропотливые, требующие больших знаний и даже некоторых способностей занятия творчеством.

Что же касается единственного произведения, имеющегося в распоряжении нашей группы, якобы написанного мною романа «Асфальт», то ставлю вас в известность, что он полностью переписан мною с романа Гладкова «Цемент», почитать который дала мне московская знакомая, зубной техник, гражданка Меерович-Панченко.

Бейте меня, а также топчите меня ногами.

Секретарь литгруппы ПАКС Вавила Пекарь».

Исповедь «Чересседельника» была помещена чуть пониже.

Мелкие жулики каялись прямо на улицах сотнями. Вид у них был такой жалкий, что прохожие принимали их за нищих.

Скульптор Шац, чувствуя страшную вину перед обществом за изготовление гвардейского памятника Тимирязеву, прибежал в допр и, самовольно захватив первую свободную камеру, поселился в ней. От администрации он не требовал ничего, кроме черствого хлеба и сырой воды. Время свое он коротал, биясь головой о стены тюрьмы. Но это было ему запрещено, так как удары расшатывали тюремные стены.

Даже такой маленький человек, как госпапиросник с бывшей Соборной площади, и тот побоялся разоблачений Прозрачного и опустил на самого себя жалобу в горчичный ящик. Папиросник признавался в том, что из каждой спичечной коробки он вынимал по несколько спичек, из коих в течение некоторого времени составлялся спичечный фонд. Зажиленные таким образом спички папиросник открыто продавал, а вырученные от их продажи деньги обращал в свою личную пользу. Этим за пять лет работы он причинил Пищеславу убыток в сумме 2 рубля $16^1/_2$ копеек.

На третий день после исчезновения Прозрачного у мадам Безлюдной родился сын. Но, несмотря на общую отныне для Пищеслава чистосердечность, мадам не могла объявить, кто отец ребенка, так как и сама этого не знала.

Евсей Львович чувствовал себя полезным винтиком в новой городской машине и начал отвечать на поклоны Каина Александровича весьма небрежно. Доброгласов так испугался, что перестал ездить домой в автомобиле и стал скромно ходить пешком.

— Тем лучше,— сказал Иоаннопольский,— оставим автомобиль для Прозрачного. Он, вероятно, скоро освободится и захочет служить. Шуточное дело! Столько работы у человека! Вы видели, какую партию жуликов провели вчера с завода труб и барабанов? Это целая панама!

— А завод как же остался?

— Завод закрыли, законсервировали на вечные времена. Нужно же быть сумасшедшим, чтобы работать на

таких допотопных станках. Каждая труба стоила чертову уйму денег. О барабанах я уже не говорю!

Пока Прозрачного не было, Евсей Львович пользовался автомобилем сам.

В течение одной недели город совершенно преобразился. Так падающий снопами ливень преображает городской пейзаж. Грязные горячие крыши, по которым на брюхах проползают коты, становятся прохладными и показывают настоящие свои цвета: зеленый, красный или светло-голубой. Деревья, омытые теплой водой, трясут листьями, сбрасывают наземь толстые дождевые капли. Вдоль тротуарных обочин несутся волнистые ручьи.

Все блестит и красуется. Город начинает новую жизнь. Из подворотен выходят спрятавшиеся от дождя прохожие, задирают головы в небо и, удовлетворенные его непорочной голубизной, с освеженными легкими разбегаются по своим делам.

В Пищеславе никто больше не смел воровать, сквернословить и пьянствовать. Последний из смертных — мелкая сошка Филюрин — стал совестью города.

Иной подымал руку, чтобы ударить жену, но, пораженный мыслью о Прозрачном, тянулся рукою за нежным предметом.

«Ну его к черту! — думал он.— Может быть, стоит тут рядом и все видит. Опозорит ведь на всю жизнь. Всем расскажет».

На улицах и в общественных местах пищеславцы вели себя чинно, толкаясь, говорили «пардон» и даже, разъезжаясь со службы в трамвае, улыбались друг другу необыкновенно ласкательно.

Исчезли частники. Исчезли удивительнейшие фирмы: «Лапидус и Ганичкин», торговый дом «Карп и сын», подозрительные товарищества «Продкож», «Кожпром» и «Торгкож». Исчезли столовые без подачи крепких напитков под приятными глазу вывесками: «Верден», «Дарданеллы» и «Ливорно». Всех их вытеснили серебристые кооперативные вывески с гербом «Пищетреста» — французская булка, покоящаяся на большом зубчатом колесе.

Сам глава оптической фирмы «Тригер и Брак», известный проныра и тертый десятью прокурорами калач, гражданин Брак пришел в полнейшее отчаяние, чего с ним еще ни разу не случалось с 1920 года. Дела его шли

плохо, а магазин собирались описать и продать с аукциона за долги. Единственным человеком, не заметившим происшедшей с Пищеславом метаморфозы, оставался Бабский. Он не покидал своей комнаты со дня визита к нему Филюрина. Длинное оранжевое пламя примуса взвивалось иногда к потолку, освещая заваленную мусором комнату. Городской изобретатель работал.

К концу преобразившей город недели мальчишка-пионер, проходивший мимо Центрального объединенного клуба, громогласно заявил, что клуб, как ему уже давно кажется, ни к черту не годится и что строили его пребольшие дураки. Вокруг мальчика собралась огромная толпа. Все в один голос заявили, что клуб действительно нехорош. Разгоряченная толпа направилась в отдел благоустройства и потребовала немедленной перестройки клуба.

В Пищ-Ка-Ха вняли голосу общественности и обещали приступить к выкорчевыванию лишних колонн. Внутренние большие и малые колонны предполагалось совершенно уничтожить и на освободившемся месте устроить обширные залы и комнаты для всех видов культработы.

В день открытия работ к зданию с четырех сторон подошли отряды строителей и углубились в колонный мрак. Толпы любопытных окружали клуб, с удовольствием прислушиваясь к строительным стукам.

Иоаннопольский и Доброгласов, с трудом прорезав толпу, подкатили на автомобиле к клубной паперти. Каин Александрович решил лично руководить работами по переделке здания. Евсея он взял с собой, потому что бухгалтер последнее время считал себя неразрывной частью автомобиля и не отрывался от него ни на минуту.

Уже из клуба начали выкатываться аккуратно распиленные на части колонны, как вдруг задним рядам напиравшей на клуб толпы показалось, что на ступеньке здания кто-то взмахнул шапкой. В передних рядах послышались восклицания.

— Что случилось? Что случилось? — пронеслось над толпой.

Еще не все знали, в чем дело, а уже площадь содрогалась от мощных криков.

В дремучем лесу центральных объединенных колонн объявился Прозрачный.

Глава VII

«А Я ЗДЕСЬ!»

Плохо пришлось бы Прозрачному, если бы его невидимое тело требовало пищи. Но есть ему не надо было, и семь дней, проведенных в лабиринте Центрального объединенного клуба, пошли ему даже на пользу. Он научился скучать и читать, что человеку без тела совершенно необходимо.

Мучило его только то, что Доброгласов воспользуется прогулом и уволит его со службы.

В последний день своего пребывания под гостеприимной сенью клубных колонн Прозрачный томился, скучая по свету, по человечьим лицам и голосам. Он сделал последнюю попытку выбраться из лабиринта. Всюду встречали его вздвоенные ряды колонн, поставленных так часто, что дневной свет не проникал дальше третьего их наружного ряда.

Поэтому, заслышав первые удары лома по камню, Прозрачный стал призывать на помощь. Он бросился навстречу звукам, и скоро между колоннами забрезжил серенький свет.

— Ау! — кричал Прозрачный, словно собирал грибы в лесу.

Не получив ответа, невидимый закричал караул, и на этот крик, знакомый всем пищеславцам с детства, стеклись каменщики и десятники.

А уж через две минуты десятник рысью выбежал на воздух и первый сообщил толпе о том, что Прозрачный наконец нашелся, что он жив и здоров и что сейчас прибудет сам.

Перепрыгивая через поверженные колонны, Филюрин бросился за десятником. Он вынырнул на свет и увидел Евсея Львовича. За ним виднелось перепуганное лицо Каина Александровича. Дальше был океан шевелящихся голов, а еще дальше прямо по толпе скакал Тимирязев, и его чугунная полированная свекла сверкала на солнце.

— Покажите, где вы! — крикнул Иоаннопольский.— Граждане! Прозрачный среди нас. Покажите нам, где вы, Егор Карлович!

Прозрачный снял с головы десятника фуражку с молоточками и помахал ею в воздухе. Вид фуражки, кото-

рая сама по себе прыгала на расстоянии двух метров от земли, привел толпу в исступление.

Филюрин, не поняв, что приветственные крики относятся к нему, растерялся и возложил фуражку на голову ее владельца. Это вызвало еще больший энтузиазм.

Прозрачный заметил, что перед ним стоит сам Каин Александрович, отвешивая вежливые поклоны.

— Товарищ Доброгласов,— сказал регистратор,— верьте слову, я тут ни при чем...

— Как же ни при чем,— залебезил Каин Александрович, ориентируясь на голос Филюрина,— когда совершенно наоборот.

— Эти возмутительные колонны заставили меня...

— Нет, нет, колонн уже не будет. На этот счет не беспокойтесь.

— Значит, вы признаете, что у меня были уважительные причины для неявки на службу?

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь! Работа не пострадала. На вашем месте уже сидит другой.

— Как другой? — закричал Прозрачный.— Я буду жаловаться! Я до суда дойду!

Но тут Евсей Львович, быстро смекнувший, что Прозрачный ничего не знает о своем могуществе, оттолкнул Доброгласова локтем и крикнул в толпу:

— Пламенный привет товарищу Прозрачному от имени работников конторского учета!

— Даешь Прозрачного! — закричала толпа.

Филюрин не понимал ровным счетом ничего.

«Ну и дубина же этот Прозрачный,— подумал Иоаннопольский,— сделали бы меня невидимым, я им бы такое показал!»

И, обращаясь к Доброгласову, крикнул:

— Каин! Скажите, чтобы подавали машину! Товарищ Прозрачный устал от выявления недочетов и заедет ко мне отдохнуть.

— Может быть, товарищ Прозрачный заехал бы ко мне отдохнуть? Жена будет так рада! — пролепетал Доброгласов.

— Не говорите глупостей. Вы же одной ногой стоите на бирже труда! — зашипел Евсей Львович.— Хотели человека уволить за невидимость, а теперь обедать, обедать! Позовите поскорее машину!

— Разве я хотел его уволить? — смутился Каин Александрович.— Не помню, ей-богу.

— Ну хорошо, посмотрим еще, кто будет заведовать отделом благоустройства.

Доброгласов слегка застонал и с усердием курьерановичка бросился выполнять поручение.

Но сесть в машину Иоаннопольский ему не разрешил.

— Вы и пешком дойдете,— сказал бесцеремонный Евсей,— вам близко. А у меня с товарищем Прозрачным предвидится секретный разговор. Вы здесь, Егор Карлович?

— Здесь,— раздался голос с кожаной стеганой подушки.

— Возьмите мою шляпу и помахайте толпе,— посоветовал бухгалтер,— она это любит.

Когда автомобиль под крики толпы выбрался с площади, Каин Александрович, задумчиво вертя в руках портфель, побрел домой.

— Снимают! — сказал он жене, сбросив пиджак и оттягивая вперед подтяжки табачного цвета.

— Я так и знала,— заявила жена,— после увольнения родных детей и брата я от тебя ничего путного уже и не жду.

— Ты просто дура! — устало сказал Доброгласов.

Он лег на красный плюшевый диван и уставился на цветную фотографию полуголой дамы, закинувшей руки на затылок. В углу фотографии было написано «Истома». И дамочка и подпись к ней были знакомы Доброгласову со дня женитьбы. Он созерцал фотографию, потому что так ему легче было обдумывать все обстоятельства несчастливо повернувшейся карьеры.

Жена, однако, не отставала.

— Каин! Почему ты уволил детей и Авеля? Ты этим буквально его убил!

— А ты хотела бы, чтобы Авель меня убил? Не выгони я Авеля, этот дурак Прозрачный попер бы меня самого.

— Но тебя ведь все равно снимают.

Тут Доброгласов отвел глаза от фотографии и, видно придя к какому-то решению, сказал:

— Ну, это еще бабушка надвое сказала!

— А ты получил отчисления от «Тригер и Брак» за поставку фонарей?

— Аннета, ты пошлячка! Ну, как я мог взимать отчисления, когда Прозрачный всюду совал свой нос?

— Чем же ты будешь кормить своих детей?

— Волноваться не нужно. Что-нибудь выдумаем. Знаешь, Аннета, пока Прозрачный сидит у этого негодяя управделами ПУМа, я схожу к Бракам и попробую получить у них отчисления за фонари.

Евсей Иоаннопольский окружил Прозрачного отеческими заботами. Сделать это было нетрудно, потому что ни в каких земных благах невидимый не нуждался.

После длительной беседы с бухгалтером Филюрин узнал обо всем, что произошло в городе за время его отсутствия.

— Они, Егор Карлович, теперь вас, как огня, боятся! — убеждал Евсей.— Какое счастье для города, что в нем живет и работает такой светлый ум. Мне даже страшно, что рядом со мною сидит такая личность.

— Из этого нужно сделать соответствующие оргвыводы,— сказал Филюрин по привычке, но, вспомнив, что тела у него нет по-прежнему, печально затих.

Однако Евсей Львович понял слова Прозрачного посвоему.

— Конечно, нужно сделать соответствующие оргвыводы. Это блестящая идея. Нужно уволить Каина.

— Кто же его уволит?

— Ну, какой вы, простите меня, добродушный и замечательный человек. Вы его уволите, вы!

— Регистратор не может уволить своего начальника.

— Простой регистратор не может, а вот прозрачный регистратор может. Вы все эти мелкие дела передайте мне. Я все устрою. Зачем вам пачкаться в чепухе? У вас теперь есть более важные дела.

— В самом деле, безобразия творятся! — сказал Прозрачный, припоминая прочитанные в клубном заточении отчеты.

На другой день Иоаннопольский без доклада вошел в кабинет Доброгласова и сухо сказал:

— Прозрачный говорит, что вам следовало бы написать заявление об увольнении. В случае отказа Прозрачному придется рассказать кое-кому о том, как вы сдавали подряд на домовые фонари.

Каин Александрович настрочил заявление, даже не пикнув.

Падение Доброгласова подняло акции Прозрачного еще выше. Слава его, прилежно раздуваемая Иоаннопольским, выросла до пределов возможного, и даже состоявшееся вскоре назначение Евсея Львовича на пост

заведующего отделом благоустройства не смогло ее увеличить.

Высокопоставленный регистратор службу бросил и коротал свои бесконечные досуги в игре на мандолине, посещении цирка и прогулках по городу. Скучал он по-прежнему, и развлекала его только шутка, которой научил его Евсей Львович, имевший на то особые виды. Шутка заключалась в том, что Филюрин регулярно заходил во все учреждения Пищеслава, пробирался в кабинеты ответственных работников и неожиданно вскрикивал:

— А я здесь! А я здесь!

Это всегда давало сильный эффект и поддерживало за Прозрачным репутацию неусыпного контролера над всем происходящим в городе. Самого же Филюрина чрезвычайно потешали испуганные лица и нервные судороги, охватывавшие занятых деловой работой людей.

Гуляя, как Гарун-аль-Рашид, по городу, Прозрачный слышал много разговоров о себе. Его хвалили. Говорили, что с его помощью грозные некогда учреждения стали более доступными для посетителей, что работники прилавка на вопрос о крупе уже не отвечают — «вот еще, чего захотели», а нежно улыбаясь, отвешивают ее с пятиграммовым походом. Толковали о великой пользе, принесенной Прозрачным, и радовались тому, что Центральный объединенный клуб, обнесенный уже стенами, скоро станет отвечать культурным запросам пищеславцев.

И в те дни, когда Филюрин слышал о себе такие речи, «Осенний сон», исполняемый им на мандолине, звучал еще упоительней, чем обычно.

И скромный серенький регистратор начинал гордиться все больше и больше. Чувство это, разжигаемое Евсеем, принимало значительные размеры.

Иоаннопольский, державшийся на посту заведующего отделом благоустройства только благодаря Прозрачному и сердечно ему за это признательный, прилагал все усилия к тому, чтобы сделать Филюрину приятное.

Для начала Евсей раздобыл для Прозрачного большую комнату в доме № 16 по проспекту имени Лошади Пржевальского.

В этой комнате жил старик пенсионер Гадинг, кончины которого с нетерпением ждали все жильцы дома. На получение комнаты рассчитывали и соответственно это-

му строили планы на будущее: дворник, все жильцы от мала до велика и их иногородние родственники, а также управдом, его друзья и друзья его друзей.

Подстегиваемый нетерпеливыми жильцами, старик Гадинг тихо скончался. Не успел еще гроб проплыть на кладбище, как комната оказалась запечатанной восемнадцатью сургучными печатями. На них были оттиски медных пятаков, монограмм и просто пальцев. Это были следы жильцов. Кроме того, висели еще официальные фунтовые печати ПУНИ.

Ужасный поединок между жильцами и управдомом, друзьями управдома и родственниками жильцов, и всех их порознь с ПУНИ прервался неожиданным въездом в комнату, служившую предметом стольких вожделений, Филюрина. С этого времени у Прозрачного появились первые враги.

Эта услуга Евсея Львовича явилась первой.

За нею последовало угодничество более пышное и обширное. Старался уже не только Евсей Львович. Нашлось множество бескорыстных почитателей филюринского гения.

С большой помпой был отпразднован двухлетний юбилей служения Филюрина в отделе благоустройства. Торжественное заседание состоялось в помещении городского театра, и если бы не клопы, которые немилосердно кусали собравшихся, то все прошло бы совсем как в большом городе.

Клопы были бичом городского театра. Спектакли приходилось давать при полном освещении зрительного зала, потому что в темноте мерзкие твари могли бы съесть зрителя вместе с контрамаркой.

Зато банкет после заседания был великолепен.

Юбиляру поднесли прекрасную мандолину с инкрустацией из перламутра и черного дерева и сборник нот русских песен, записанных по цифровой системе. Приветственные речи были горячи, и ораторы щедро рассыпали сравнения. Прозрачного сравнивали с могучим дубом, с ценным сосудом, содержащим в себе кипучую энергию, и с паровозом, который бодро шагает к намеченной цели.

Под конец вечера юбиляр внял неотступным просьбам своих друзей и сыграл на новой мандолине все тот же вальс Джойса «Осенний сон». Никогда еще из-под медиатора не лились такие вдохновенные звуки.

«Пищеславский Пахарь» поместил на своих терпеливых столбцах длиннейшее письмо, в котором Прозрачный, помянув должное число раз многоуважаемого редактора и редактируемую им газету, благодарил всех, почтивших его в день двухлетнего юбилея. Письмо было составлено Иоаннопольским. Поэтому наибольшая часть благодарностей пала на его долю.

Иоаннопольского несло. Он вытребовал из допра поселившегося там скульптора Шаца.

— Шац,— сказал ему правая рука Прозрачного,— нужен новый памятник.

— Кому?

— Прозрачному!

— Нет,— ответил Шац,— я не могу больше делать памятников. Мне Тимирязев является по ночам, здоровается со мной за руку и говорит: «Шац, Шац, что вы со мной сделали?»

— Шац, Шац, памятник нужен,— продолжал Евсей,— и вы его сделаете.

— Это действительно так необходимо?

— Этого требует благоустройство города.

— Хорошо. Если благоустройство требует, я согласен. Но, предупреждаю вас, его не будет видно.

— Почему?

— Разве может быть видим памятник невидимому? Иоаннопольский призадумался, поскребывая многодумную лысину.

— А все-таки вы представьте смету,— заключил он.

— Против сметы я не возражаю,— заметил скульптор,— ее видно. Однако должен вас предупредить, что памятник встанет вам не дешево. Вам бронзу или гипс?

— Бронзу! Обязательно бронзу!

— Хорошо. Все будет сделано.

В тот же вечер, когда произошел беспримерный разговор о постановке памятника невидимому человеку, из пищеславского допра по разгрузке вышел Петр Каллистратович Иванопольский — подлинный управделами ПУМа, известный авантюрист и мошенник.

Глава VIII
ХИЩНИК ВЫХОДИТ НА СВОБОДУ

Оставим на время невидимого, купающегося в лучах своей славы. Оставим граждан города Пищеслава, воз-

дающих робкую хвалу Прозрачному. Оставим и Евсея Львовича, сидящего в кабинете Доброгласова и вычерчивающего красными чернилами многословные резолюции на деловых бумагах.

Обратимся к пружинам более тайным — к лицам, пребывающим теперь в ничтожестве, к людям, ропщущим и недовольным порядком вещей, возникшим в Пищеславе.

Выйдя за ворота допра, Петр Каллистратович Иванопольский очутился на Сенной площади и зажмурился от режущего солнечного света.

Так жмурится тигр, впервые выскочивший на песочную цирковую арену. Его слепит розовый прожекторный свет, раздражает шум и запах толпы. Пятясь назад, он шевелит жандармскими усищами и морщит морду. Ему очень хочется человечины, но он растерян и еще неясно понимает происходящее. Но дайте ему время. Он скоро свыкнется с новым положением, забегает по арене, обмахивая поджарый живот наэлектризованным своим хвостом, и перейдет к нападению — начнет угрожающе рычать и постарается зацепить лапой укротителя в традиционном костюме Буфалло Билля.

Пробежав под стенами домов до памятника Тимирязеву, Петр Иванопольский в удивлении остановился. Центральный объединенный клуб был окружен лесами. Из раскрытых ворот постройки цепью выезжали телеги, груженные толстыми колоннами.

Мимо Иванопольского прошел хороший его знакомый по давнишнему делу о дружеских векселях кредитного товарищества «Самопомощь».

— Алло! — крикнул Иванопольский.

Знакомый внимательно посмотрел в сторону Петра Каллистратовича, на секунду остановился, но, не ответив на поклон, важно проследовал дальше.

— Хамло! — сказал Петр Каллистратович довольно громко.

Затем он отправился в Пищетрест, чтобы повидаться с приятелем, с которым был связан узами взаимной протекции.

Приятель встретил Иванопольского без радости. Иванопольскому показалось даже, что его испугались. Тем не менее он немедленно приступил к делу.

— Ты, конечно, понимаешь, что мне до зарезу нужны деньги. Нужна служба.

— Вижу,— холодно сказал приятель.

— На первых порах я многого не требую. Рублей триста оклад и живое дело.

— Вы что, собственно, товарищ, хотите поступить к нам на службу?

— Ну, конечно же.

— Тогда подайте заявление в общем порядке. Впрочем, должен вас предупредить, что свободных вакансий у нас нет, а если бы и открылись, то все равно без биржи труда мы принять не можем.

Иванопольский сделал гримасу:

— Что ты, Аркадий! Это же бюрократизм. В общем порядке, биржа труда...

— Не мешайте мне работать, гражданин,— терпеливо сказал Аркадий.

Иванопольский в гневе повернулся, но, еще прежде чем он ушел, в кабинете раздался возглас:

— А я здесь!

Петр Каллистратович увидел, как перекосилась физиономия Аркадия. Потом по лицу Иванопольского пронесся ветерок, сама собой раскрылась дверь, и в общей канцелярии послышалось то же восклицание:

— А я здесь! А я здесь!

Служащие вскакивали с мест и бледнели. Со столов сыпались пресс-папье.

Ничего решительно не поняв, Иванопольский плюнул, вышел на улицу и долго еще стоял перед фасадом Пищетреста, изумленно пяля глаза на его голубую вывеску с круглыми золотыми буквами.

«Что случилось? — думал бывший управделами.— Что за кислота такая в городе?»

Он толкнулся было в магазин фирмы «Лапидус и Ганичкин», но тут его ждала неожиданность. Железные шторы магазина были опущены. Первая стеклянная дверь была закрыта на ключ, а на второй двери Иванопольский увидел большую сургучную печать.

Петра Каллистратовича взяла оторопь.

И он стал бегать по городу, желая восстановить прежние связи и разыскать кончик нити того счастливого клубка, в сердцевине которого ему всегда удавалось найти прекрасную службу, возможность афер, командировочные, тантьемы, процентные вознаграждения,— словом, все то, что он для краткости называл живым делом.

Но все его попытки кончались провалом. Одни его не

узнавали, другие были непонятно и возмутительно официальны, а третьих и вовсе не было — они сидели там, откуда Петр Каллистратович только сегодня вышел.

— Придется в другой город переезжать,— бормотал Иванопольский,— ну и дела!

А какие такие дела происходят в городе, он себе еще не уяснил.

— Побегу к Бракам! Если Браки пропали, тогда дело гиблое.

Делами общества со смешанным капиталом «Тригер и Брак» ворочал один Николай Самойлович Брак, потому что Тригер запутался в валюте и давно был выслан в область, которая до приезда Тригера славилась только тем, что в ней находился полюс холода.

Дом Браков был приятнейшим в Пищеславе. Его усердно посещали молодые люди с подстриженными побоксерски волосами, в аккуратных костюмах, продернутых шелковой ниткой, в шерстяных жилетах, туфлях мастичного цвета и мягких шляпах.

Именно здесь впервые в Пищеславе был станцован чарльстон и сыграна первая партия в пинг-понг. Семья Браков умела жить и веселиться по-заграничному. В передней с молодых людей горничная снимала пальто и брала на чай. После танцев проголодавшимся давали морс с печеньем, а браковские дочки развлекали их разговорами на зарубежные темы. Говорили преимущественно о разнице в ценах на вещи между Берлином и Пищеславом, клеймили монополию внешней торговли, из-за которой ходишь «голая, босая», и о новой заграничной моде — пудриться не пудрой, а тальком. Этому молодое поколение Браков придавало особо важное значение.

Заграничная жизнь в доме Николая Самойловича достигла своего апогея в тот вечер, когда глава семейства принес домой вязочку бананов.

Появление бананов в Пищеславе совпало с приездом в город выставки обезьян. Для поддержания жизни лучшего экспоната выставки — гориллы «Молли» — выставочная администрация выписывала бананы из-за границы. Горилла могла похвастаться тем, что, кроме нее, ни одна живая душа в Пищеславе не ест редкостных плодов.

Но семейство Брак в стремлении своем к настоящей жизни не знало никакого удержу. Николай Самойлович, баловавший дочерей, не мог отказать им ни в чем.

Выставочный сторож не устоял перед посулами Брака.

На чайном столе Браков закрасовались бананы. Они были, правда, вырваны из пасти гориллы, но зато укрепили за семейством репутацию европейцев душою и телом.

Со времени исчезновения Филюрина дом Браков затих. Молодые люди перестали ходить, чарльстон прекратился, а здоровье гориллы заметно улучшилось — она получала теперь свою порцию бананов полностью.

Дела Брака пошатнулись. Оптический магазин был опечатан за неплатеж налогов. Знакомый фининспектор сознался в том, что был дружен с женою некоего налогоплательщика, за что его и сняли с работы. Государственные учреждения не давали больше выгодных подрядов.

Николай Семенович ходил по квартире смутный и раздражительный.

— Если так будет продолжаться еще неделю,— кричал он,— я пропал!

В такую минуту пришел к нему Доброгласов.

— Ну, как насчет «пыщи»? — зло спросил его Брак.

«Пыщей» Николай Самойлович называл все, имеющее отношение к деньгам, карьере, поставкам и тому подобным приятным вещам. «Как насчет пыщи» значило: «Как вы зарабатываете? Нет ли какого-нибудь дельца? Что слышно в губсовиархозе? С кем вы теперь живете? Получена ли в губсоюзе мануфактура? Почем сегодня на черной бирже турецкие лиры?» Многое, почти все, обозначалось словом «пыща».

Каин Александрович отлично знал универсальность этого слова и грустно ответил:

— Плохо.

— Душат? — спросил Брак.

— Уже задушили,— ответил Каин Александрович.— С работы сняли. Того и гляди под суд попаду.

— За что?

— По вашему делу. Подряд на фонари.

— Значит, выходит, что и я могу попасть с вами?

— Вполне естественно.

— Позвольте, Каин Александрович, но ведь с моей стороны это была не взятка, а добровольные отчисления, благодарность за услуги, которые вы мне оказывали в сверхурочное время.

— Нет, Николай Самойлович, будем говорить откровенно. Прозрачный сидит сейчас у бухгалтеришки Евсея, которого я, дурак, своими руками взял на службу, и играет на мандолине. Как только игра прекратится, нам сообщат. Так что, если подлец Евсей захочет подослать Филюрина сюда, мы будем вовремя предупреждены. Итак, поспешим. Вы — лиходатель, а я — взяткобратель, а никакая не благодарность. Для нас обоих существует одна статья. Поэтому нам надо спасать друг друга.

— Кто бы мог подумать, что из-за такого дурака, как Филюрин, вся жизнь перевернется. Вы знаете, Каин Александрович, еще неделя — и я уже не человек.

— Подождите, Николай Самойлович, не убивайтесь.

— Нет! Нет! Я уже чувствую! Брак погибнет, как погиб Тригер. И, сказать правду, Тригеру лучше там, чем Браку здесь. Магазин пустят с молотка, квартиру заберут, в учреждениях сидят какие-то тигры. И в довершение всего — могут посадить.

— Вы думаете, мне лучше? — с чувством сказал Каин Александрович.— Волеис-неволеис, а я должен кормить детей и брата Авеля, которых я сам уволил. Денег нет, и я не знаю, откуда они могут взяться.

— Нужно действовать. Нужно что-нибудь придумать. Неужели Прозрачного никак нельзя сковырнуть?

— Попробуйте сковырните! Вы знаете про его шутки в учреждениях?

— «А я здесь»?

— Ну, да. Так вот, попробуйте сковырните вы его, когда никто не знает, где он и что!

— Вот если бы он не был прозрачный...— задумчиво молвил Николай Самойлович.

— Чего еще захотели! Да я бы его тогда моментально выгнал со службы, да так, что местком и пискнуть не посмел бы!

— Тогда есть только одно средство! Сделать его снова видимым!

— Открыл Северную и Южную Америку! — с иронией произнес Доброгласов.— Не вы ли это забросите свои коммерческие дела и займетесь изобретенческими вопросами?

— Нет, не я.

— А кто?

— Тот, кто сделал его невидимым.

— Бабский!!

— Догадались наконец.
— Но ведь он совершенно сумасшедший.
— А самое существование Прозрачного — это не сумасшествие? А мы с вами не сумасшедшие, если живем в таком городе и до сих пор не издохли?!

Глаза Каина Александровича расширились. Надежда залила их зеркальным светом.

— Да! — закричал он.— Мы должны выявить Прозрачного, и мы его выявим!

Николай Самойлович поспешно переодевался. Он стянул свое брюхо замшевым поясом с автоматической застежкой. Заливаясь краской, застегнул ворот рубашки «лионез» и пошарил в карманах, бормоча:

— Да! Нужны деньги. О, эти деньги!..
— Их жалеть нечего,— сказал Доброгласов,— с лихвой окупим.
— Ну, с богом! Вы знаете, Каин Александрович, никогда в жизни я еще так не волновался.

И союзники поспешно двинулись на Косвенную улицу, прибавляя шагу по мере приближения к затхлому жилью изобретателя.

В начале Косвенной их поразили необычные крики. Навстречу им по мостовой двигалась странная процессия. Впереди всех, пританцовывая и взмахивая локтями, бежал совершенно голый, волосатый, грязно-голубой мужчина.

Нужно думать, что нагретые солнцем булыжники обжигали ему пятки, потому что голый беспрерывно подскакивал вершка на три от мостовой.

— Я невидимый! — кричал голый низким колеблющимся голосом.

Толпа отвечала смехом и улюлюканьем.

— Я невидимый! Я невидимый! — надсаживался человек.— Я перестал существовать!
— Кто это такой? — спросил Каин Александрович у мальчишки.— Что тут случилось?

Но никто не отвечал. Зрителям не хотелось терять на пустые разговоры ни одной минуты.

Голубой человек с грязными подтеками на спине делал уморительные прыжки. Толпа негодовала:

— Срам какой!
— Давно такого хулиганства не было!
— В милицию его!
— Я невидимый! — вопил голый.— Я стал прозрач-

ным. Я, прошу убедиться, изобрел новую пасту «Невидим Бабского»!

— Бабский! — ахнул Доброгласов.— Мы пропали, Николай Самойлович. Видели, что делается? Окончательно спятил!

К месту происшествия уже катил в пролетке постовой милиционер.

— Держите его, граждане! — крикнул он.— Окажите содействие милиции.

— Вон! — орал Бабский.— Никто не может меня схватить. Меня не видно! Разве вы не видите, что меня не видно?! Ха-ха! «Невидим Бабского» сделал свое дело! Каково?

— Очень хорошо,— уговаривал милиционер, просовывая руки под голубые подмышки изобретателя,— не волнуйтесь, гражданин!

Толпа с гиканьем подсаживала Бабского в пролетку.

— Гениальные изобретения всегда просты! — кричал Бабский, валясь на спину извозчика.— «Невидим Бабского» — шедевр простоты — два грамма селитры, порошок аспирина и четверть фунта аквамариновой краски. Развести в дистиллированной воде!

Извозчик слушал, равнодушно отвернув лицо в сторону. Ему было все равно, кого возить — голых, пьяных, голубых или сумасшедших. Он жалел только, что не вовремя заснул и не успел ускакать от милиционера.

Бабский буйствовал. С помощью дворников и активистов из толпы Бабского удалось уложить поперек пролетки. Дворники уселись на спину изобретателя. Милиционер вскочил на подножку, и отяжелевший экипаж медленно поехал по Косвенной улице, и до самого поворота в Многолавочный переулок видны были толстые аквамариновые икры городского сумасшедшего.

Целый месяц Бабский искал утерянный секрет «веснулина» и кончил тем, что окончательно рехнулся, выкрасился и в полной уверенности, что стал прозрачным, выбежал на люди.

— Что ж теперь делать? — растерянно спросил Брак.

Каин Александрович топнул ногой, выбив каблуком из мостовой искру.

— Конечно! — сказал он.— Воленс-неволенс, а нужно искать других способов.

Опечаленные друзья, обмениваясь короткими фразами, повернули домой.

— Зайдем ко мне,— предложил Николай Самойлович,— посидим, пообедаете. Может, что-нибудь и придумаем. Вы знаете, Доброгласов, нам нужен человек со свежими мозгами. Не знаю, как ваши, но мои уже превратились в битки.

— Да, Каин Александрович, нам нужен свежий, энергичный, без предрассудков и вполне свой человек. И этот человек...

Николай Самойлович растворил дверь кабинета и отступил:

— Вот!

В кабинете, развалясь на диване и покуривая хозяйскую папиросу, полулежал Петр Каллистратович Иванопольский.

Глава IX
ЮРИДИЧЕСКИЙ ПАНЦИРЬ

Подлинный бывший управделами ПУМа Петр Каллистратович Иванопольский за время сидения в допре действительно сохранил свежесть мыслей, накопил много энергии и окончательно распростился со всеми предрассудками.

Знакомство его с Каином Александровичем носило сердечнейший характер. Доброгласов, тряся руку Иванопольского, блаженно улыбался и долго повторял:

— Как же, как же, отлично знаю! Управделами ПУМа! Очень, очень приятно! Но вы знаете, какой у вас есть ужасный однофамилец! Змея!

Когда Иванопольский узнал все пищеславские новости, ему стала понятна холодность друзей и плачевная участь, постигшая торговый дом «Лапидус и Ганичкин».

— Загорелся сыр божий,— сказал он.

Щеки его, покрытые до сих пор тюремной бледностью, порозовели.

— Как ваше мнение, Петр Каллистратович? — спросил Доброгласов, искательно глядя на собеседника.

Насторожился и Брак.

— Мое такое мнение,— объявил гость,— что Прозрачному нужно пришить дело.

Мысль, высказанная Иванопольским, была так зна-

чительна, что Доброгласов и хозяин дома несколько времени помолчали.

— Скажите,— вымолвил наконец Каин Александрович,— правильно ли я вас понял? Пришить дело?

— Это немыслимо! — вскричал Брак.

Рот его наполовину открылся, и оттуда глянули давно не чищенные от горя и тоски зубы. Но гость стоял на своем.

— Пришить дело. Безусловно.

— Позвольте, как же можно пришить дело невидимому человеку?

— Вам что, собственно говоря, нужно? Опорочить его?

— Да. Во что бы то ни стало убрать Прозрачного.

— Вот и убирайте. Я вам дал идею.

— Не шутите, Иванопольский! — закричал вдруг Брак.— Какое может быть дело?! Филюрии физически не существует.

— Вы правы, Николай Самойлович. Ои физически ие существует, ио зато он существует юридически. Вы рассказывали, что Прозрачный имеет сбережения в сберкассе? Прекрасно. Это подтверждает мое мнение. У иего есть комната? Даже новая комната, которую ои получил уже в невидимом состоянии? Тем лучше. Все это доказывает, что Прозрачный — лицо юридическое. А я могу пришить любому юридическому лицу любое юридическое дело.

— Хорошо,— заволновался Доброгласов,— допустим, хотя я сильно сомневаюсь в том, что Прозрачный попадет под суд, но ведь это одиа фикция. Он может просто не прийти на заседание суда!

— Если он сделает эту глупость, он погиб! — спокойио сказал Иванопольский.— Весь город будет знать, что Прозрачный испугался суда и, следовательио, вииовен.

— А если явится?

— Ну, это уж зависит от того, какое дело мы против него поведем.

Собеседники еще раз попытались пробить юридический панцирь, облекающий физическое тело Петра Каллистратовича.

— Ладио. Его присуждают. Кто будет сидеть в тюрьме?

— Прозрачный, конечно!

— Так он вам и пойдет туда! А вдруг вместо тюрьмы

он побежит, например, в цирк? Кто ему может помешать?

— Пусть идет куда угодно. Юридически он будет сидеть в тюрьме. И наконец зачем нам уголовное дело? Опозорить человека можно и гражданским делом. Наша задача — посадить его на скамью подсудимых и добиться обвинительного приговора. После этого карьера Прозрачного окончится. Поверьте слову!

Доброгласов и Брак были наконец побеждены. Они рассыпались в благодарностях.

— Я человек скромный,— сказал Иванопольский,— но одной юридической благодарности мне мало. Я хотел бы получить также физическую.

После долгого торга, который определил размеры вознаграждения Петра Каллистратовича и степень участия его в будущих благах, а также после получения им задаточной суммы на необходимые издержки, Иванопольский поднялся и сказал:

— Покамест я еще не могу сказать вам, какое именно обвинение мы предъявим Прозрачному, так как не знаком с его интимной жизнью. Тут уж мне придется бегать, а вам ждать и верить. У нас ведь, если говорить официально, товарищество на вере?

Узнав у компаньонов, где живет Прозрачный, и еще раз подтвердив, что дело можно пришить всякому,— была бы охота,— повеселевший Иванопольский ушел.

Несколько дней Петр Каллистратович колесил по городу, выискивая за Филюриным грехи, но прошлое регистратора было так же прозрачно, как и настоящее. За ним не было ничего: ни прогулов по службе, ни хулиганских выходок, ни какой-либо преступной страсти.

Некоторое утешение Иванопольский получил только в доме № 16 по проспекту имени Лошади Пржевальского. Все обитатели дома, возмущенные тем, что ПУНИ отдало комнату Прозрачному, были настроены против своего нового соседа. Но из их рассказов Иванопольский не почерпнул необходимых ему данных. Невидимый жилец был тих и кроток и даже на мандолине играл по правилам — только до одиннадцати часов вечера. Иванопольский понял, однако, что жильцы дома № 16 готовы лжесвидетельствовать против Прозрачного в любом деле, но, так как самого дела еще не было, свидетели были пока не нужны и оставлены про запас.

На четвертый день обследования и собирания материалов Петр Каллистратович направился на старую

Академик В. А. Обручев



Валентин Катаев



Алексей Толстой

Илья Ильф и Евгений Петров



Андрей Платонов



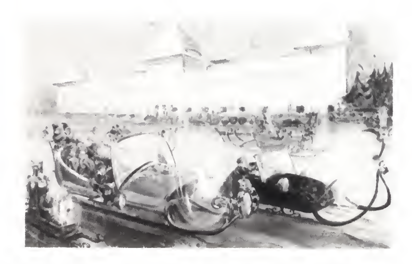
Иван Ефремов на морской службе



Михаил Булгаков



Лазарь Лагин



Из серии, изданной в 1913 г., «Москва будущего». «Красивая ясная зима 2259-го года. Древний «Яр» по-прежнему служит местом шнрокого веселья москвичей... Санкт-Петербургское шоссе превращено в кристальио-ледяное зеркало, по которому молииеиосио скользят аэросани. Тут же на маленькнх аэросалазках шмыгают традицноиные сбнтенщнкн и продавцы горячих аэросаек. И в 23-м веке Москва вериа своим обычаям»



Из серии, изданной в 1913 г., «Москва будущего». «Знма такая же, как н при иас, 200 лет иазад. Центральиый Вокзал Воздушиых и Земных путей сообщения. Десятки тысяч прнезжающих и уезжающнх. Желающие могут двигаться с быстротой телеграмм»



Из серии, изданной в 1913 г., «Москва будущего». «Оживленные шумные берега Москвы. Транспортные и торговые крейсера, многоэтажные пассажирские пароходы. Весь флот мира — исключительно торговый. Военный упразднен после всеобщего мирного договора в Гааге. Видны разнохарактерные костюмы всех народов земного шара, ибо Москва сделалась мировым торговым портом»



Из серии, изданной в 1913 г., «Москва будущего». «Красная площадь. Шум электропоездов (см. перекидной мост), рожки велосипедистов, сирены автомобилей, звоны трамваев, крики публики. Минин и Пожарский. Тени дирижаблей. Робкие пешеходы спасаются на Лобном месте. Так будет лет через 200»



Москва, здание Моссельпрома



Радиостанция им. Моссовета. Инж. Шухов

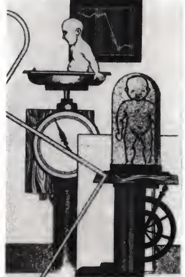
Школа-семилетка на шоссе Энтузиастов



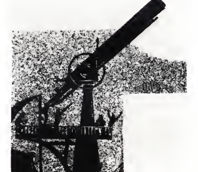
Дом туриста (проект проф. Голосова и арх. Булгакова)

Проект Дворца Советов. Авторы проекта проф. В. Г. Гельфрейх, арх. Б. М. Иофан и акад. В. А. Щуко. Предполагаемая высота — 415 м









Рисунки Н. П. Акимова к первой советской утопии «Грядущий мир» Я. Окунева (1923)



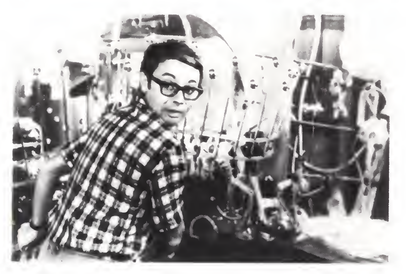
И. Ильинский и Н. Баталов в кинофильме Я. Протазанова «Аэлита» (1923)

Кадры из к/ф «Аэлита». В главной роли — Юлия Солнцева

Кадр из к/ф А. Гинцбурга «Гиперболоид инженера Гарина» (1966). В главной роли Евг. Евстигнеев



Кадр из телефильма «Крах инженера Гарина». Реж. Л. Квинихидзе (1973). Арт. О. Борисов



Кадры из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (1973). Реж. Л. Гайдай. Арт. Ю. Яковлев и А Демьяненко



Кадр из к/ф А. Мкртчяна «Земля Санникова» (1966). Арт. Г. Виции, В. Дворжецкий и О. Даль

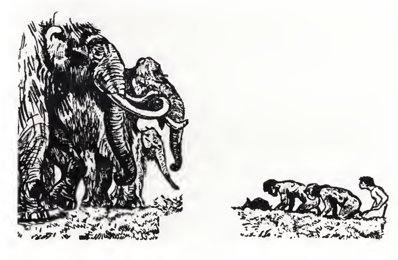


Иллюстрация худ. Г. Никольского к роману В. А. Обручева «Земля Санникова»



Иллюстрация худ. Ю. Ганфа к повести Л. Лагина «Эликсир дьявола» (1936)



Иллюстрации Ю. Ганфа к повести «Эликсир дьявола»



Художник К. Ротов. Обложка к первому изданию «Старика Хоттабыча» (1940)



Иллюстрация к роману В. Гончарова «Психомашина» (1924) («Атомоаппарат селенитов»). Из книги Н. Рындина «Космические корабли» (1928)



Иллюстрация к роману В. Никольского «Через 1000 лет» (1927). («Атомный транспорт будущего»). Из книги Н. Рындина «Космические корабли»



Иллюстрации к повести А. Горина «Экспресс-молния» («Передача материальных тел по радио»). Из книги Н. Рындина «Космические корабли»



Иллюстрация худ. В. Таубера к повести И. Ефремова «Тень минувшего» (1943)



Иллюстрация худ. В. Таубера к повести И. Ефремова «Катти Сарк» (1943)

Кадр из кинофильма В. Журавлева «Космический рейс» (1937)



Гравюры на дереве к повести Г. Шторма «Ход слона». Худ. А. Кравченко (1930)

квартиру Филюрина, надеясь хоть там напасть на какой-нибудь след.

Когда он подходил к дому мадам Безлюдной, у фасада стояло несколько зевак. Мастера прилаживали к стене дома мраморную доску с золотой готической надписью:

«Здесь жил Прозрачный в бытность его Егором Карловичем Филюриным».

Петр Каллистратович с ненавистью посмотрел на памятную доску и, поругиваясь, постучался в дверь мадам, из-за которой неслось пение Безлюдной и крики младенца.

Ничего не знавший о комплоте, организующемся против невидимого, Евсей Львович Иоаннопольский безмятежно правил отделом благоустройства. Сотрудники любили его, хотя Пташников, понимавший, какая пропасть ныне отделяет его от Евсея, уже не смел давать ему медицинских советов.

Иоаннопольский, робкий по природе, всю свою жизнь искал крепкое капитальное место, с которого его не могли бы в любой день снять и где он мог бы по-настоящему отдохнуть. Сейчас ему казалось, что такое место он нашел. Поэтому он старательно его укреплял, делая все возможное для того, чтобы поддержать престиж своего покровителя. Устроив Прозрачному юбилей и польстив ему памятной доской на доме мадам Безлюдной, Евсей Львович спешил с разработкой проекта памятника другу и благодетелю.

Мысль эта казалась ему блестящей, и он гнал вовсю, опасаясь, что идея будет перехвачена завистниками и недругами.

Скульптор-управдом вместе с заведующим отделом благоустройства Пищ-Ка-Ха по многу часов подряд толковали о памятнике Невидимому и в конце концов убедились в том, что фигуру Прозрачного не удастся отлить ни из бронзы, ни из гипса, потому что не получится подлинной невидимости.

— Может быть, Евсей Львович, остановимся все же на бронзовом,— осторожно спросил скульптор, войдя в кабинет Иоаннопольского с большой папкой эскизов.

— Нет, нельзя,— ответил Евсей,— получится какая-то видимость, а это уже не то.

— Тогда, может быть, поставим товарищу Прозрачному колонну! — воскликнул Шац.

— Вроде Вандомской?

— Конечно! Дайте мне заказ, и я вам сделаю прекраснейшую колонну с барельефами и другими скульптурными украшениями.

— Это мысль. Кстати, у нас на дворе есть много свободных колонн от Центрального клуба.

— Тогда поставим несколько! Одну большую колонну, символизирующую невидимость, посредине, а по бокам — портики, для прогулки граждан.

— И сквер!

— И скамейки для тех, кто захочет посидеть и полюбоваться на памятник!

Новая идея очень увлекла Иоаннопольского. Он старательно укреплял свое положение.

Но не успел проект пройти все положенные инстанции, как произошло нечто совершенно непредвиденное.

Придя однажды на службу, Иоаннопольский заметил, что Пташников смотрит на него кроличьим взглядом.

— Что с вами? — пошутил Евсей Львович.— У вас очень нехороший вид. Может быть, у вас на нервной почве.

Пташников замялся.

— Или отравление урной? — приставал начальник.

Пташников несмело улыбался. Но, как видно, дело было не на нервной почве. Через несколько минут учрежденский знахарь вошел в кабинет Иоаннопольского.

— Вы слышали новость, Евсей Львович? — спросил он, с опасением поглядывая на дверь.— Говорят, будто бы у товарища Прозрачного родилась дочь.

— Что за глупости!

— Честное слово, говорят.

— От кого?

— От бывшей его квартирной хозяйки.

— Какие глупости! — вскричал Иоаннопольский.

Но тут же вспомнил свой разговор с мадам Безлюдной в утро исчезновения Филюрина.

— Чепуха! — проговорил он менее уверенным тоном.

— Нет, нет! Говорят, совершенно точно!

— Ну, что ж из того! Ну, родился ребенок, но ведь это же его интимное дело!

— Да, но рассказывают подробности. Говорят, что

он ее на седьмом месяце бросил и теперь даже знать не хочет!

Иоаннопольский сердито встал из-за стола и крикнул:

— Пташников! Вас надо изжить! Воленс-ноленс, а я вас уволенс за распространение порочащих слухов.

— При чем тут я? — оправдывался знахарь.— Я хотел вас предупредить. Вы знаете, что весь город со вчерашнего вечера только об этом и говорит. Я удивляюсь, как товарищ Прозрачный этого не знает.

— Молчите, Пташников! У вас слишком длинный язык!

Но Пташникова уже нельзя было остановить. Прижимая руки к груди и наклоняясь над чернильницей «Лицом к деревне», которая перекочевала в кабинет заведующего, он сообщал новости одна другой ужасней.

— Квартирохозяйка подала в суд!

— Чего же она хочет?

— Алиментов. Много алиментов. Удивляюсь вам, Евсей Львович, весь город знает. Люди возмущены.

— Как? Кто смеет возмущаться?

— Многие! Некоторые, правда, не верят, чтобы Прозрачный мог бросить несчастную больную женщину с ребенком на руках!

— Это ложь! — завопил Евсей.— Они этого не докажут!

— А между прочим, говорят, что бедная женщина голодает, в то время как Прозрачный купается в роскоши.

Тут только Иоаннопольский понял, какая бездна развернулась под его ногами. Покровитель находился в величайшей опасности. И место заведующего отделом благоустройства, которое Евсей Львович так старательно укреплял и дренажировал, вырывалось из-под его геморроидального зада.

Иоаннопольский знал силу сплетни.

«Хорошо,— думал он,— бегая вдоль стены кабинета.— Суд — это еще полбеды, хотя и это уже плохо. Прозрачный не должен был бы судиться. Как они это докажут? Нужно бороться, иначе все погибло. Нужно пустить контрслух о том, что все это враки, что Прозрачный ни в чем не виновен...»

— А я здесь! — раздался голос Прозрачного.

— Егор Карлович? — спросил Иоаннопольский.— Ну, так говорите тише.

— Что новенького в отделе? — сказал Прозрачный.— Хороший у вас галстук, Евсей Львович, сколько дали?

Но Евсею Львовичу было не до галстука. Он сразу вывалил Прозрачному все, что знал со слов Пташникова.

— Разве это про меня говорят? — удивился невидимый.— Я действительно слышал в городе разговоры про какого-то ребенка. Но я думал, что это про кого-нибудь другого.

Евсей Львович со злостью посмотрел в сторону шкафа, откуда шел беззаботный голос Филюрина, и в отчаянии подумал:

«Ему все равно, засудят его или не засудят, а ведь я место потеряю, мне пить-есть надо. Я ж не прозрачный».

— Еще можно все поправить,— сказал Евсей Львович,— вы жили с ней, с вашей квартирохозяйкой?

— С кем? С мадам Безлюдной? Даже не думал! Все с ума посходили, что ли?

— В таком случае я ничего не понимаю! — воскликнул Евсей Львович.— Вы, серьезно, с ней не жили?

— Да ей-богу же, не жил! Даю вам честное слово!

— Откуда? Откуда тогда этот слух? Как же эта дура осмелилась вас позорить? Вы знаете, что на вас подали в суд? Вам нужно защищаться! При вашем положении вы должны пресекать подобные выступления в корне.

И Евсей Львович, сообразивший теперь, что дело совсем не в мадам Безлюдной и не в ее претензиях, что тут действуют какие-то темные и неведомые ему силы, принялся втолковывать Прозрачному элементарные методы борьбы с алиментным злом.

Еще большую энергию вдохнул в него телефонный звонок. Дружеский голос с недоумением сообщил, что Прозрачному вчинен гражданский иск на содержание ребенка, прижитого им от гражданки Безлюдной.

— Повестку послали на квартиру товарищу Прозрачному. Суд состоится, вероятно, дня через три. Так как общественность проявляет к процессу большой интерес, судебное заседание будет устроено на Тимирязевской площади, под открытым небом! — закончил доброжелатель.

После этого в трубке послышался рвущий уши треск и хлопанье крыльев.

— Едемте ко мне! — торопил Евсей.— Нужно обсудить! Принять меры!

Когда Иоаннопольский сбежал по лестнице, то увидел, что у дверей Пищ-Ка-Ха стояла мадам Безлюдная в легком белом платье с вышивкой. На руках у нее лежал большой белый кокон, из которого слышался слабый писк.

Услышав голос Прозрачного, легкомысленно спросившего Евсея Львовича «который час», мадам живо выступила вперед и сразу же взяла всесокрушающее до диез.

— Вот он! — вопила она.— Смотрите все на отца! Его не видно, но он здесь! Он только что разговаривал!

— Бегите! — шепнул Евсей.

Но было уже поздно. Вдова оскалила все свое золото и, протянув ребенка вперед, завизжала:

— На, подлец! Возьми своего ребенка!!!

Прозрачный инстинктивно подхватил дитя. И взорам собравшейся толпы предстала удивительная картина: ребенок, завернутый в пикейное одеяльце, повис в воздухе, а мадам, предусмотрительно отбежавшая шагов на десять, ломала пальцы, без перерыву крича:

— Смотрите все на отца-негодяя! Смотрите! Вот он! А еще Прозрачный!

Евсей Львович был вне себя:

— Да что вы стоите как дурак! Бросайте ребенка и бегите! Это же подстроенный скандал!

И необозримая толпа, запрудившая к тому времени улицу и переулки, увидела, как ребенок плавно спустился на тротуар и лег на пороге Пищ-Ка-Ха.

— Он убежал! — надрывалась мадам Безлюдная.— Последний босяк этого не сделал бы.

Евсей Львович ринулся вперед и стал проталкиваться сквозь толпу.

Он увидел, как вдоль улицы, под стенкой, трусил Каин Александрович, удаляясь от места происшествия. Рядом с ним, отдуваясь и обтирая лоб платком, тяжело бежал толстяк в коверкотовом костюме. В бежавшем Евсей без труда узнал Николая Самойловича Брак.

А у порога Пищ-Ка-Ха, указывая то на плачущую

мать, то на лежащего у ее ног ребенка, стоял Петр Каллистратович Иванопольский.

Возбужденная событием, толпа не расходилась до поздней ночи.

Глава X
«ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ НЕ ИМЕЮ»

Иванопольский, Доброгласов и Брак предались ликованию.

— Ну, как насчет пыщи? — хохотал Николай Самойлович.

— Живое дело! — отвечал Иванопольский.— Говорю вам это как юридическое лицо юридическому лицу!

А бледный от внутреннего торжества Каин Александрович слонялся из угла в угол, мечтая о том часе, когда он снова войдет в кабинет заведующего отделом благоустройства, чтобы писать там резолюции, получать отчисления и пугать служащих своим озабоченным видом. Он ясно воображал себе, как сорвет с дверей кабинета с перепугу написанный им приказ об увольнении родичей и повесит на это место белую эмалированную табличку: «Приема нет».

В последние три ночи перед разбором дела Прозрачного Доброгласову снился один и тот же воинственный сон. Он отчетливо видел ахейских воинов, подступивших к огромным воротам Трои и с удивлением останавливающихся перед белой эмалированной табличкой с надписью: «Приама нет!»

И он слышал во сне, как печально кричали ахейцы, отступая от ворот Трои:

— Приама нет! Приема нет!

— Приема нет! — кричал Каин Александрович, просыпаясь от звуков собственного голоса.

Все предвещало победу и обильную «пыщу», которая, конечно, должна была вскоре последовать. Даже самое звучание слова «пыща» таило в себе обещание некоей пышности и грядущего благоденствия.

В то время как в стане врагов Прозрачного кипело оживление и в доме № 16 по проспекту имени Лошади Пржевальского шла вербовка свидетелей по алиментному делу, Евсей Львович прилагал все усилия к тому, чтобы укрепить пошатнувшуюся популярность своего невидимого покровителя.

Иоаннопольский привел в действие весь аппарат отдела благоустройства. Сотрудники отдела, иапуганные возможностью возвращения Каина Александровича, старались вовсю. Они с жаром доказывали друзьям и знакомым, что Прозрачный действительно является существом кристальным и что возведенный на него поклеп — просто глупая болтовня пьяной бабы.

Следствием этого был новый поворот в общественном мнении. Большинство склонялось к тому, что обвинять Прозрачного до суда — преждевременно.

Евсей Львович маялся. Планы, один грандиознее другого, возникали в его лысой голове. То он решал вести борьбу иа суде со всем возможным напряжением, заучивал свои показания (он собирался выступать в качестве свидетеля с громовой речью), то исход дела казался ему безнадежным и мысли его обращались к американским родственникам — Гарри Львовичу, Синклеру Львовичу и Хираму Львовичу Джонопольским — родным и богатым братьям Евсея Львовича.

«Не лучше ли бросить,— думал он,— всю эту волынку и продать Филюрина в Америку? Там призраки, навериое, высоко ценятся. Хорошо было бы списаться с братьями!»

Но эта чушь сидела в голове недолго, и Иоаннопольский снова принимался за будничные хлопоты по сколачиванию свидетельского института и репетированию с Прозрачным его последнего слова.

На рассвете того дня, в который назначено было судебное заседание, Евсей проснулся от голоса Филюрина.

— Евсей! — говорил Прозрачный плачущим голосом.— Мне тошно жить на свете! Разве это жизнь? Я не знаю, что такое аппетит. Я не спал уже два месяца. А теперь еще алименты плати. Вот жизнь!

Иоаннопольский вскочил и быстро стал одеваться.

Солнце, высунувшееся из-за горизонта, посылало темно-розовые лучи прямо под ноги людям, работавшим на площади.

Перед памятником Тимирязеву устанавливали скамьи, к фонарным столбам приладили радиоусилители, и на судейском столе, покрытом сукном, уже стоял графин с водой и никелированный колокольчик.

— Я не хочу платить алименты! — тосковал Филюрин.— Невидимый не должен платить алименты. Мало

того что я потерял тело! Лучше и не мылся бы никогда в своей жизни!

— Так вы смотрите,— увещевал Иоаннопольский,— говорите громко и медленно. Слышите?

— Да, слышу, слышу,— уныло отвечал Прозрачный,— вот противная баба Безлюдная! Хорошо, что я ей за квартиру, когда съезжал, не заплатил.

Ровно в десять часов усилители разнесли по всей площади крик:

— Суд идет! Прошу встать!

Но так как пищеславцы, хлынувшие на площадь в несметном числе, и без того стояли на ногах, то обычного шевеления при появлении судей не произошло.

Уняв гомонившие толпы продолжительными, во сто раз усиленными радиозвонками, нарсудья исподлобья взглянул на непривычную по величине аудиторию и возвестил:

— Слушается дело по иску гражданки Безлюдной к гражданину Филюрину. Гражданка Безлюдная!

Мадам приблизилась к столу и, прежде чем ее успели спросить, заголосила, оглядываясь на толпу и выставляя вперед младенца. Судья успокоил ее мягким замечанием и вызвал Филюрина.

— А я здесь! — прокричал Прозрачный.

Судья попросил относиться к суду серьезней, а мадам заплакала навзрыд. В толпе поднялся шум — заседание начиналось общим сочувствием истице.

Особенно горячих сторонников потерпевшей пришлось призвать к порядку. Только после этого притихли стоявшие в первых рядах Каиновичи и Иванопольский. Доброгласов и Брак таились где-то вглуби. Евсей Львович в соломенной шляпе «канатье» и белом пикейном жилете (именно так он был одет в день свадьбы своей сестры много лет тому назад) стоял с бурым от волнения лицом поблизости к судьям. За ним виднелись лица Пташникова, его тайной жены, тайного сына, курьера Юсюпова и инкассатора. Евсей Львович поминутно оборачивался и делал своей свите какие-то знаки.

Вдова с плачем давала объяснения.

Она ничего не требовала, ничего не просила. Она хотела только, чтобы все узнали, как низко бросил ее этот человек, который когда-то с ней сходился, был видимым, а тогда, когда его фактическая жена была на седьмом месяце беременности, почему-то сделался невидимым.

— Не кажется ли это суду подозрительным!— с гражданским пафосом спросил из первого ряда Петр Каллистратович Иванопольский.

«Это жулик,— хотелось крикнуть Евсею,— не верьте ему».

Но судья и сам знал, что ему нужно было делать.

— Уведите этого гражданина! — сказал судья курьеру.

Иванопольский, выведенный за пределы площади, обошел вокруг перестроенного Центрального клуба и вернулся назад.

— И я прошу,— закончила вдова,— чтобы суд заклеймил обманщика и...

— И воочию показал,— не мог удержаться Иванопольский,— что пролетарский суд, советский суд, учтя статью гражданского процессуального кодекса, покарал...

Конец вдовьей речи Иванопольский произносил уже под надзором курьера, вторично выводившего его с площади.

— Не кажется ли суду подозрительным,— сказал Евсей Львович дрожащим голосом, снимая «канатье»,— что посторонние элементы давят на сознание граждан судей?

— А вы кто такой? Правозаступник? Тогда почему вы вмешиваетесь?

Евсей Львович в страхе отступил. И дело продолжалось.

— Филюрин, Егор Карлович,— сказал судья,— дайте ваши объяснения.

Стало так тихо, что слышно было, как на Тихоструйке кричат дети, занятые ловлей раков.

— Что же говорить, товарищ судья! — грустно молвил Прозрачный.— Действительно, я у мадам Безлюдной снимал комнату. (Смех Каиновичей.) Но ничего с ней у меня не было. (Голос Брака: «Ну-у-у!») Верьте не верьте, товарищ судья, тут моей вины нет. Эта дамочка со всеми крутила! (Радостное восклицание Евсея Львовича.) Теперь, товарищ судья, разрешите задать гражданке вопрос?

— Можете.

— Скажите, мадам Безлюдная, почему вы так поздно заявили в суд, если выходит, что я вас два месяца тому назад бросил?

— Не подумала как-то,— ответила вдова, ища глазами поддержки в Иванопольском.

— Больше вопросов не имею! — закричал Евсей Львович, не дожидаясь, пока эту фразу произнесет подученный им Прозрачный.

— Выведите этого гражданина,— сказал судья.

И судоговорение продолжалось.

Когда Евсей Львович бегом вернулся на площадь, шел вызов свидетелей. Со стороны мадам Безлюдной вышло около пятидесяти человек во главе с Петром Каллистратовичем. Со стороны же Прозрачного выступил один только Евсей Львович. Сколько ни делал он знаков своей свите, никто не вышел. Сунувшийся было на соединение с Иоаннопольским Пташников в последний момент одумался и нырнул в толпу.

Свидетелей увели в Центральный клуб и вызывали оттуда поодиночке.

Навербованные Иванопольским свидетели оказались всесторонне осведомленными.

Да, они часто видели бывшего Филюрина вместе с истицей, и часто им удавалось заметить существовавшую между этими гражданами интимную близость, т. е. поцелуи, продолжительные пожатия рук, нежность взглядов и многое другое, неоспоримо доказывающее, что Прозрачный является отцом ребенка и что он совершил неблаговидный поступок, бросив ни в чем не повинное дитя и переселившись к тому же в совершенно чужой дом.

Так показывали все жильцы, дворники и управдом дома № 16 по проспекту Лошади Пржевальского.

Свидетельские показания произвели на толпу ошеломляющее впечатление. Чистота Прозрачного была испачкана и вываляна в пыли.

Ввели Иванопольского.

— Вы что, пришли как свидетель? — спросил судья.

— Я пришел к вам как юридическое лицо к юридическому лицу,— с жаром сказал Петр Каллистратович.

— Выведите его,— страдальчески сказал судья,— и не пускайте больше. Кстати, вы судились уже?

— Четыре раза,— ответил Иванопольский, которого на этот раз уводил милиционер.

Это было единственное выступление, бросившее некоторую тень на показания свидетелей истицы. Расположение толпы было все же на стороне бедной женщины,

тем более что Евсею Львовичу так и не удалось произнести громовой речи.

Евсей долго вытирал лысину, прижимал «канатье» к свадебному пикейному жилету, но никак не мог вспомнить ни одного слова из затверженной наизусть речи. Неожиданно для самого себя Иоаннопольский сказал судье:

— Больше вопросов не имею.

— Вы и не можете их иметь! — сказал измочаленный судья.— Идите! Подсудимый, вам предоставляется последнее слово.

— Мало того что я невидимый,— послышался рыдающий голос,— она мне еще хочет чужого байстрюка подбросить.

— Прошу выбирать выражения! — сказал судья.

— Хорошо, товарищ судья, только напрасно на меня люди говорят. Я человек искалеченный. Тут Бабского с его мылом судить надо, а не меня.

— Держитесь ближе к делу.

Голос Прозрачного шел от цоколя памятника.

— Товарищ судья...

Но не успел еще Прозрачный высказать свою мысль, которая, возможно, была бы ближе к делу, чем все предыдущие, как случилось нечто такое, что исторгнуло из груди всех пищеславцев, собравшихся на площади, протяжный вопль.

На цоколе памятника показалось розоватое облачко, которое на глазах у всех уплотнилось и приобрело очертания человека.

Судья вскочил. Графин с водой опрокинулся и окатил присевшего на корточки Евсея Львовича с ног до головы. Колокольчик брякнулся о каменные плиты, издав глухой звон.

Но все было покрыто громовым шумом толпы, увидевшей Егора Карловича Филюрина в его натуральном виде, с порядочной русой бородой и всклокоченными волосами.

«Веснулин» городского сумасшедшего Бабского неожиданно и вмиг прекратил свое действие.

Голый с криком соскочил наземь, сорвал со стола сукно и закутался им, как тогой.

— Согласен! — закричал он, обнимая судью голой рукой.— На все согласен! Хоть ребенок и не мой, пусть берут алименты! Я видимый! Я видимый!

Но истицы уже не было. Она в страхе убежала.

Егор Карлович Филюрин получил тело, а вместе с ним возможность есть, пить, спать, двигаться по службе, не посещать общих собраний и делать еще тысячу, доступных только непрозрачным людям, чертовски приятных вещей.

ЭПИЛОГ

На другой день после суда Евсея Львовича вызвал начальник Пищ-Ка-Ха.

— Скажите,— спросил он,— как вы попали на должность заведующего отделом?

— Вы сами меня назначили,— ответил Евсей Львович шепотом.

После вчерашнего он потерял голос.

— Не помню, не помню,— сказал начальник.— А где вы раньше служили?

— Там же. Бухгалтером.

— Ага! Теперь я вспоминаю. Так вы и оставайтесь бухгалтером.

Не чуя от счастья ног, Евсей Львович возвратился в отдел, развернул главную книгу и сквозь радостные слезы посмотрел на ее розовые и голубые линии.

В отделе все было по-старому. За своей деревянной решеточкой сидел Филюрин, аккуратно вписывая в книгу регистраций земельных участков трезвые будничные записи. Семейство Пташниковых вертело арифмометр, щелкало костяшками счетов и копировало под прессом деловые письма. Инкассатор бегал по своим инкассаторским делам.

И не было только Каина Александровича. На его месте сидел другой.

За время прозрачности Филюрина город отвык от мошенников и не хотел снова к ним привыкать. По этой же причине угас приятнейший в Пищеславе дом Браков, не возвратился к живому делу энергичнейший управделами ПУМа Иванопольский, а мадам Безлюдная так и не посмела возобновить свои неосновательные притязания.

Евсей Львович сполз с винтового табурета и подошел к Пташникову.

— Ну, что? — спросил он.

— Я думаю, что это на нервной почве,— ответил Пташников по привычке.

— А знаете,— закричал вдруг Филюрин, который в продолжение уже пяти минут рассматривал свое лицо в карманном зеркальце.— А ведь веснушки-то действительно исчезли!

Михаил Булгаков

РОКОВЫЕ ЯЙЦА

Глава I
КУРРИКУЛЮМ ВИТЭ ПРОФЕССОРА ПЕРСИКОВА

16 апреля 1928 года, вечером, профессор зоологии IV государственного университета и директор зооинститута в Москве, Персиков, вошел в свой кабинет, помещающийся в зооинституте, что на улице Герцена. Профессор зажег верхний матовый шар и огляделся.

Начало ужасающей катастрофы нужно считать заложенным именно в этот злосчастный вечер, равно как первопричиною этой катастрофы следует считать именно профессора Владимира Ипатьевича Персикова.

Ему было ровно 58 лет. Голова замечательная, толкачом, лысая, с пучками желтоватых волос, торчащими по бокам. Лицо гладко выбритое, нижняя губа выпячена вперед. От этого персиковское лицо вечно носило на себе несколько капризный отпечаток. На красном носу старомодные, маленькие очки в серебряной оправе, глазки блестящие, небольшие, росту высокого, сутуловат. Говорил скрипучим, тонким, квакающим голосом и среди других странностей имел такую: когда говорил что-либо веско и уверенно, указательный палец правой руки превращал в крючок и щурил глазки. А так как он говорил всегда уверенно, ибо эрудиция в его области у него была совершенно феноменальная, то крючок очень часто появлялся перед глазами собеседников профессора Персикова. А вне своей области, т. е. зоологии, эмбриологии, анатомии, ботаники и географии, профессор Персиков почти ничего не говорил.

Газет профессор Персиков не читал, в театр не ходил, а жена профессора сбежала от него с тенором опе-

ры Зимина в 1913 году, оставив ему записку такого содержания:

«Невыносимую дрожь отвращения возбуждают во мне твои лягушки. Я всю жизнь буду несчастна из-за них».

Профессор больше не женился и детей не имел. Был очень вспыльчив, но отходчив, любил чай с морошкой, жил на Пречистенке, в квартире из 5 комнат, одну из которых занимала сухонькая старушка, экономка Марья Степановна, ходившая за профессором, как нянька.

В 1919 году у профессора отняли из 5 комнат 3. Тогда он заявил Марье Степановне:

— Если они не прекратят эти безобразия, Марья Степановна, я уеду за границу.

Нет сомнения, что, если бы профессор осуществил этот план, ему очень легко удалось бы устроиться при кафедре зоологии в любом университете мира, ибо ученый он был совершенно первоклассный, а в той области, которая так или иначе касается земноводных или голых гадов, и равных себе не имел за исключением профессоров Ульяма Веккля в Кембридже и Джиакомо Бартоломео Беккари в Риме. Читал профессор на 4 языках, кроме русского, а по-французски и немецки говорил, как по-русски. Намерения своего относительно заграницы Персиков не выполнил, и 20-й год вышел еще хуже 19-го. Произошли события, и притом одно за другим. Большую Никитскую переименовали в улицу Герцена. Затем часы, врезанные в стену дома на углу Герцена и Моховой, остановились на 11 с $1/4$ и, наконец, в террариях зоологического института, не вынеся всех пертурбаций знаменитого года, издохли первоначально 8 великолепных экземпляров квакшей, затем 15 обыкновенных жаб и, наконец, исключительнейший экземпляр жабы Суринамской.

Непосредственно, вслед за жабами, опустошившими тот первый отряд голых гадов, который по справедливости назван классом гадов бесхвостых, переселился в лучший мир бессменный сторож института старик Влас, не входящий в класс голых гадов. Причина смерти его, впрочем, была та же, что и у бедных гадов, и ее Персиков определил сразу:

— Бескормица!

Ученый был совершенно прав: Власа нужно было кормить мукой, а жаб мучными червями, но поскольку

пропала первая, постольку исчезли и вторые. Персиков оставшиеся 20 экземпляров квакш попробовал перевести на питание тараканами, но и тараканы куда-то провалились, показав свое злостное отношение к военному коммунизму. Таким образом, и последние экземпляры пришлось выкинуть в выгребные ямы на дворе института.

Действие смертей, и в особенности Суринамской жабы, на Персикова не поддается описанию. В смертях он целиком почему-то обвинил тогдашнего наркома просвещения.

Стоя в шапке и калошах в коридоре выстывающего института, Персиков говорил своему ассистенту Иванову, изящнейшему джентльмену с острой белокурой бородкой:

— Ведь за это же его, Петр Степанович, убить мало! Что же они делают? Ведь они ж погубят институт! А? Бесподобный самец, исключительный экземпляр. Пипа американа, длиной в 13 сантиметров...

Дальше пошло хуже. По смерти Власа окна в институте промерзли насквозь, так что цветистый лед сидел на внутренней поверхности стекол. Издохли кролики, лисицы, волки, рыбы и все до единого ужи. Персиков стал молчать целыми днями, потом заболел воспалением легких, но не умер. Когда оправился, приходил 2 раза в неделю в институт и в круглом зале, где было всегда, почему-то не изменяясь, 5 градусов мороза, независимо от того, сколько на улице, читал в калошах, в шапке с наушниками и в кашне, выдыхая белый пар, 8 слушателям цикл лекций на тему «Пресмыкающиеся жаркого пояса». Все остальное время Персиков лежал у себя на Пречистенке на диване, в комнате, до потолка набитой книгами, под пледом, кашлял и смотрел в пасть огненной печурки, которую золочеными стульями топила Марья Степановна, вспоминал Суринамскую жабу.

Но все на свете кончается. Кончился 20-й и 21-й год, а в 22-м началось какое-то обратное движение. Во-первых: на место покойного Власа появился Панкрат, еще молодой, но подающий большие надежды зоологический сторож, институт стали топить понемногу. А летом Персиков, при помощи Панкрата, на Клязьме поймал 14 штук вульгарных жаб. В террариях вновь закипела жизнь... В 23-м году Персиков уже читал 8 раз в неделю — 3 в институте и 5 в университете, в 24-м году 13 раз

в неделю и, кроме того, на рабфаках, а в 25-м, весной, прославился тем, что на экзаменах срезал 76 человек студентов и всех на голых гадах:

— Как, вы не знаете, чем отличаются голые гады от пресмыкающихся? — спрашивал Персиков.— Это просто смешно, молодой человек. Тазовых почек нет у голых гадов. Они отсутствуют. Тэк-то-с. Стыдитесь. Вы, вероятно, марксист?

— Марксист,— угасая, отвечал зарезанный.

— Так вот, пожалуйста, осенью,— вежливо говорил Персиков и бодро кричал Панкрату: — Давай следующего!

Подобно тому, как амфибии оживают после долгой засухи, при первом обильном дожде, ожил профессор Персиков в 1926 году, когда соединенная американо-русская компания выстроила, начав с угла Газетного переулка и Тверской, в центре Москвы 15 пятнадцатиэтажных домов, а на окраине 300 рабочих коттеджей, каждый на 8 квартир, раз и навсегда прикончив тот страшный и смешной жилищный кризис, который так терзал москвичей в годы 1919—1925.

Вообще это было замечательное лето в жизни Персикова, и порою он с тихим и довольным хихиканьем потирал руки, вспоминая, как он жался с Марьей Степановной в 2 комнатах. Теперь профессор все 5 получил обратно, расширился, расположил $2^1/_2$ тысячи книг, чучела, диаграммы, препараты, зажег на столе зеленую лампу в кабинете.

Институт тоже узнать было нельзя: его покрыли кремовою краской, провели по специальному водопроводу воду в комнату гадов, сменили все стекла на зеркальные, прислали 5 новых микроскопов, стеклянные препарационные столы, шары по 2000 ламп с отраженным светом, рефлекторы, шкапы в музей.

Персиков ожил, и весь мир неожиданно узнал об этом, лишь только в декабре 1926 года вышла в свет брошюра:

«Еще к вопросу о размножении бляшконосных, или хитонов» 126 стр. «Известия IV Университета».

А в 1927, осенью, капитальный труд в 350 страниц, переведенный на 6 языков, в том числе японский:

«Эмбриология пип, чесночниц и лягушек». Цена 3 руб. Госиздат.

А летом 1928 года произошло то невероятное, ужасное...

Глава II

ЦВЕТНОЙ ЗАВИТОК

Итак, профессор зажег шар и огляделся. Зажег рефлектор на длинном экспериментальном столе, надел белый халат, позвенел какими-то инструментами на столе...

Многие из 30 тысяч механических экипажей, бегавших в 28-м году по Москве, проскакивали по улице Герцена, шурша по гладким торцам, и через каждую минуту с гулом и скрежетом скатывался с Герцена к Моховой трамвай 16, 22, 48 или 53-го маршрута. Отблески разноцветных огней забрасывал в зеркальные окна кабинета, и далеко и высоко был виден рядом с темной и грузной шапкой храма Христа туманный, бледный месячный серп.

Но ни он, ни гул весенней Москвы нисколько не занимали профессора Персикова. Он сидел на винтящемся трехногом табурете и побуревшими от табаку пальцами вертел кремальеру великолепного Цейсовского микроскопа, в который был заложен обыкновенный неокрашенный препарат свежих амеб. В тот момент, когда Персиков менял увеличение с 5 на 10 тысяч, дверь приоткрылась, показалась остренькая бородка, кожаный нагрудник и ассистент позвал:

— Владимир Ипатьич, я установил брыжжейку, не хотите ли взглянуть?

Персиков живо сполз с табурета, бросив кремальеру на полдороге и, медленно вертя в руках папиросу, прошел в кабинет ассистента. Там, на стеклянном столе, полузадушенная и обмершая от страха и боли лягушка была распята на пробковом штативе, а ее прозрачные слюдяные внутренности вытянуты из окровавленного живота в микроскоп.

— Очень хорошо,— сказал Персиков и припал глазом к окуляру микроскопа.

Очевидно, что-то очень интересное можно было рассмотреть в брыжжейке лягушки, где как на ладони видные, по рекам сосудов бойко бежали живые кровяные шарики. Персиков забыл о своих амебах и в течение полутора часа по очереди с Ивановым припадал к стеклу микроскопа. При этом оба ученые перебрасывались оживленными, но непонятными простым смертным словами.

Наконец Персиков отвалился от микроскопа, заявив:
— Сворачивается кровь, ничего не поделаешь.
Лягушка тяжко шевельнула головой, и в ее потухающих глазах были явственны слова: «Сволочи вы, вот что...»
Разминая затекшие ноги, Персиков поднялся, вернулся в свой кабинет, зевнул, потер пальцами вечно воспаленные веки и, присев на табурет, заглянул в микроскоп, пальцы он наложил на кремальеру и уже собирался двинуть винт, но не двинул. Правым глазом видел Персиков мутноватый белый диск и в нем смутных бледных амеб, а посредине диска сидел цветной завиток, похожий на женский локон. Этот завиток и сам Персиков, и сотни его учеников видели очень много раз, и никто не интересовался им, да и незачем было. Цветной пучочек света лишь мешал наблюдению и показывал, что препарат не в фокусе. Поэтому его безжалостно стирали одним поворотом винта, освещая поле ровным белым светом. Длинные пальцы зоолога уже вплотную легли на нарезку винта и вдруг дрогнули и слезли. Причиной этого был правый глаз Персикова, он вдруг насторожился, изумился, налился даже тревогой. Не бездарная посредственность на горе республике сидела у микроскопа. Нет, сидел профессор Персиков! Вся жизнь, его помыслы сосредоточились в правом глазу. Минут пять в каменном молчании высшее существо наблюдало низшее, мучая и напрягая глаз над стоящим вне фокуса препаратом. Кругом все молчало. Панкрат заснул уже в своей комнате в вестибюле, и один только раз в отдалении музыкально и нежно прозвенели стекла в шкапах — это Иванов, уходя, запер свой кабинет. За ним простонала входная дверь. Потом уже послышался голос профессора. У кого он спросил — неизвестно.
— Что такое? Ничего не понимаю...
Запоздалый грузовик прошел по улице Герцена, колыхнув старые стены института. Плоская стеклянная чашечка с пинцетами звякнула на столе. Профессор побледнел и занес руку над микроскопом, так, словно мать над дитятей, которому угрожает опасность. Теперь не могло быть и речи о том, чтобы Персиков двинул винт, о нет, он боялся уже, чтобы какая-нибудь посторонняя сила не вытолкнула из поля зрения того, что он увидал.
Было полное белое утро с золотой полосой, перерезавшей кремовое крыльцо института, когда профессор

покинул микроскоп и подошел на онемевших ногах к окну. Он дрожащими пальцами нажал кнопку, и черные глухие шторы закрыли утро, и в кабинете ожила мудрая ученая ночь. Желтый и вдохновенный Персиков растопырил ноги и заговорил, уставившись в паркет слезящимися глазами.

— Но как же это так? Ведь это же чудовищно!.. Это чудовищно, господа,— повторил он, обращаясь к жабам в террарии, но жабы спали и ничего ему не ответили.

Он помолчал, потом подошел к выключателю, поднял шторы, потушил все огни и заглянул в микроскоп. Лицо его стало напряженным, он сдвинул кустоватые желтые брови.

— Угу, угу,— пробурчал он,— пропал. Понимаю. По-нимаю,— протянул он, сумасшедше и вдохновенно глядя на погасший шар над головой,— это просто.

И он вновь опустил шипящие шторы и вновь зажег шар. Заглянул в микроскоп, радостно и как бы хищно осклабился.

— Я его поймаю,— торжественно и важно сказал он, поднимая палец кверху,— поймаю. Может быть, и от солнца.

Опять шторы взвились. Солнце теперь было налицо. Вот оно залило стены института и косяком легло на торцах Герцена. Профессор смотрел в окно, соображая, где будет солнце днем. Он то отходил, то приближался, легонько пританцовывая, и наконец животом лег на подоконник.

Приступил к важной и таинственной работе. Стеклянным колпаком накрыл микроскоп. На синеватом пламени горелки расплавил кусок сургуча и края колокола припечатал к столу, а на сургучных пятнах оттиснул свой большой палец. Газ потушил, вышел и дверь кабинета запер на английский замок.

Полусвет был в коридорах института. Профессор добрался до комнаты Панкрата и долго и безуспешно стучал в нее. Наконец, за дверью послышалось урчанье как бы цепного пса, харканье и мычанье, и Панкрат в полосатых подштанниках, с завязками на щиколотках предстал в светлом пятне. Глаза его дико уставились на ученого, он еще легонько подвывал со сна.

— Панкрат,— сказал профессор, глядя на него поверх очков,— извини, что я тебя разбудил. Вот что, друг,

в мой кабинет завтра утром не ходить. Я там работу оставил, которую сдвигать нельзя. Понял?

— У-у-у, по-по-понял,— ответил Панкрат, ничего не поняв. Он пошатывался и рычал.

— Нет, слушай, ты проснись, Панкрат,— молвил зоолог и легонько потыкал Панкрата в ребра, отчего у того на лице получился испуг и некоторая тень осмысленности в глазах.— Кабинет я запер,— продолжал Персиков,— так убирать его не нужно до моего прихода. Понял?

— Слушаю-с,— прохрипел Панкрат.

— Ну вот и прекрасно, ложись спать.

Панкрат повернулся, исчез в двери и тотчас обрушился на постель, а профессор стал одеваться в вестибюле. Он надел серое летнее пальто и мягкую шляпу, затем, вспомнив про картину в микроскопе, уставился на свои калоши и несколько секунд глядел на них, словно видел их впервые. Затем левую надел и на левую хотел надеть правую, но та не полезла.

— Какая чудовищная случайность, что он меня отозвал,— сказал ученый,— иначе я его так бы и не заметил. Но что это сулит?.. Ведь это сулит черт знает что такое!..

Профессор усмехнулся, прищурился на калоши и левую снял, а правую надел.— Боже мой! Ведь даже нельзя представить себе всех последствий...— Профессор с презрением ткнул левую калошу, которая раздражала его, не желая налезать на правую, и пошел к выходу в одной калоше. Тут же он потерял носовой платок и вышел, хлопнув тяжелою дверью. На крыльце он долго искал в карманах спички, хлопая себя по бокам, нашел и тронулся по улице с незажженной папиросой во рту.

Ни одного человека ученый не встретил до самого храма. Там профессор, задрав голову, приковался к золотому шлему. Солнце сладостно лизало его с одной стороны.

— Как же раньше я не видал его, какая случайность?.. Тьфу, дура,— профессор наклонился и задумался, глядя на разно обутые ноги,— гм... как же быть? К Панкрату вернуться? Нет, его не разбудишь. Бросить ее, подлую, жалко. Придется в руках нести.— Он снял калошу и брезгливо понес ее.

На старенькой автомобиле у Пречистенки выехали трое. Двое пьяненьких, и на коленях у них ярко раскра-

шенная женщина в шелковых шароварах по моде 28-го года.

— Эх, папаша! — крикнула она низким, сиповатым голосом,— что ж ты другую-то калошку пропил!

— Видно, в Альказаре набрался старичок,— завыл левый пьяненький, правый высунулся из автомобиля и прокричал:

— Отец, что, ночная на Волхонке открыта? Мы туда!

Профессор строго посмотрел на них поверх очков, выронил изо рта папиросу и тотчас забыл об их существовании. На Пречистенском бульваре рождалась солнечная прорезь, а шлем Христа начал пылать. Вышло солнце.

Глава III
ПЕРСИКОВ ПОЙМАЛ

Дело было вот в чем. Когда профессор приблизил свой гениальный глаз к окуляру, он впервые в жизни обратил внимание на то, что в разноцветном завитке особенно ярко и жирно выделился один луч. Луч этот был ярко-красного цвета и из завитка выпадал, как маленькое острие, ну, скажем, с иголку, что ли.

Просто уж такое несчастье, что на несколько секунд луч этот приковал наметанный глаз виртуоза.

В нем, в луче, профессор разглядел то, что было в тысячу раз значительнее и важнее самого луча, непрочного дитяти, случайно родившегося при движении зеркала и объектива микроскопа. Благодаря тому что ассистент отозвал профессора, амебы пролежали полтора часа под действием этого луча, и получилось вот что: в то время как в диске вне луча зернистые амебы валялись вяло и беспомощно, в том месте, где пролегал красный заостренный меч, происходили странные явления. В красной полосочке кипела жизнь. Серенькие амебы, выпуская ложноножки, тянулись изо всех сил в красную полосу и в ней (словно волшебным образом) оживали. Какая-то сила вдохнула в них дух жизни. Они лезли стаей и боролись друг с другом за место в луче. В нем шло бешеное, другого слова не подобрать, размножение. Ломая и опрокидывая все законы, известные Персикову, как свои пять пальцев, они почковались на его глазах с молниеносной быстротой. Они разваливались на части в луче, и каждая из частей в течение 2 секунд ста-

новилась новым и свежим организмом. Эти организмы в несколько мгновений достигали роста и зрелости лишь затем, чтобы в свою очередь тотчас же дать новое поколение. В красной полосе, а потом и во всем диске стало тесно и началась неизбежная борьба. Вновь рожденные яростно набрасывались друг на друга и рвали в клочья и глотали. Среди рожденных лежали трупы погибших в борьбе за существование. Побеждали лучшие и сильные. И эти лучшие были ужасны. Во-первых, они объемом приблизительно в два раза превышали обыкновенных амеб, а во-вторых, отличались какою-то особенной злобой и резвостью. Движения их были стремительны, их ложноножки гораздо длиннее нормальных, и работали они ими, без преувеличения, как спруты щупальцами.

Во второй вечер профессор, осунувшийся и побледневший, без пищи, взвинчивая себя лишь толстыми самокрутками, изучал новое поколение амеб, а в третий день он перешел к первоисточнику, т. е. к красному лучу.

Газ тихонько шипел в горелке, опять по улице шаркало движение, и профессор, отравленный сотой папиросой, полузакрыв глаза, откинулся на спинку винтового кресла.

— Да,— теперь все ясно. Их оживил луч. Это новый, неисследованный никем, никем не обнаруженный луч. Первое, что придется выяснить, это — получается ли он только от электричества или также и от солнца,— бормотал Персиков самому себе.

И в течение еще одной ночи это выяснилось. В три микроскопа Персиков поймал три луча, от солнца ничего не поймал и выразился так:

— Надо полагать, что в спектре солнца его нет... гм... ну, одним словом, надо полагать, что добыть его можно только от электрического света.— Он любовно поглядел на матовый шар вверху, вдохновенно подумал и пригласил к себе в кабинет Иванова. Он все ему рассказал и показал амеб.

Приват-доцент Иванов был поражен, совершенно раздавлен: как же такая простая вещь, как эта тоненькая стрела, не была замечена раньше, черт возьми! Да кем угодно, и хотя бы им, Ивановым, и действительно, это чудовищно! Вы только посмотрите...

— Вы посмотрите, Владимир Ипатьич! — говорил

Иванов, в ужасе прилипая глазом к окуляру,— что делается?! Они растут на моих глазах... Гляньте, гляньте...

— Я их наблюдаю уже третий день,— вдохновенно ответил Персиков.

Затем произошел между двумя учеными разговор, смысл которого сводился к следующему: приват-доцент Иванов берется соорудить при помощи линз и зеркал камеру, в которой можно будет получить этот луч в увеличенном виде и вне микроскопа. Иванов надеется, даже совершенно уверен, что это чрезвычайно просто. Луч он получит, Владимир Ипатьич может в этом не сомневаться. Тут произошла маленькая заминка.

— Я, Петр Степанович, когда опубликую работу, напишу, что камеры сооружены вами,— вставил Персиков, чувствуя, что заминочку надо разрешить.

— О, это не важно... Впрочем, конечно...

И заминочка тотчас разрешилась. С этого времени луч поглотил и Иванова. В то время, как Персиков, худея и истощаясь, просиживал дни и половину ночей за микроскопом, Иванов возился в сверкающем от ламп физическом кабинете, комбинируя линзы и зеркала. Помогал ему механик.

Из Германии после запроса через Комиссариат просвещения Персикову прислали три посылки, содержащие в себе зеркала, двояковыпуклые, двояковогнутые и даже какие-то выпукло-вогнутые шлифованные стекла. Кончилось все это тем, что Иванов соорудил камеру и в нее действительно уловил красный луч. И надо отдать справедливость, уловил мастерски: луч вышел жирный, сантиметра 4 в поперечнике, острый и сильный.

1-го июня камеру установили в кабинете Персикова, и он жадно начал опыты с икрой лягушек, освещенной лучом. Опыты эти дали потрясающие результаты. В течение 2-х суток из икринок вылупились тысячи головастиков. Но этого мало, в течение одних суток головастики выросли необычайно в лягушек и до того злых и прожорливых, что половина их тут же была перелопана другой половиной. Зато оставшиеся в живых начали вне всяких сроков метать икру и в 2 дня уже без всякого луча вывели новое поколение и при этом совершенно бесчисленное. В кабинете ученого началось черт знает что: головастики расползались из кабинета по всему институту, в террариях и просто на полу, во всех закоулках, завывали зычные хоры, как на болоте. Панкрат, и

так боявшийся Персикова, как огня, теперь испытывал по отношению к нему одно чувство: мертвенный ужас. Через неделю и сам ученый почувствовал, что он шалеет. Институт наполнился запахом эфира и цианистого кали, которым чуть-чуть не отравился Панкрат, не вовремя снявший маску. Разросшееся болотное поколение, наконец, удалось перебить ядами, кабинеты проветрить.

Иванову Персиков сказал так:

— Вы знаете, Петр Степанович, действие луча на дейтероплазму и вообще на яйцеклетку изумительно.

Иванов, холодный и сдержанный джентльмен, перебил профессора необычным тоном:

— Владимир Ипатьич, что же вы толкуете о мелких деталях, об дейтероплазме. Будем говорить прямо: вы открыли что-то неслыханное,— видимо, с большой потугой, но все же выдавил из себя слова: — Профессор Персиков, вы открыли луч жизни!

Слабая краска показалась на бледных, небритых скулах Персикова.

— Ну-ну-ну,— пробормотал он.

— Вы,— продолжал Иванов,— вы приобретете такое имя... У меня кружится голова. Вы понимаете,— продолжал он страстно,— Владимир Ипатьич, герои Уэльса по сравнению с вами просто вздор... А я-то думал, что это сказки... Вы помните его «Пищу богов»?

— А, это роман,— ответил Персиков.

— Ну да, господи, известный же!..

— Я забыл его,— ответил Персиков,— помню, читал, но забыл.

— Как же вы не помните, да вы гляньте,— Иванов за ножку поднял со стеклянного стола невероятных размеров мертвую лягушку с распухшим брюхом. На морде ее даже после смерти было злобное выражение,— ведь это же чудовищно!

Глава IV
ПОПАДЬЯ ДРОЗДОВА

Бог знает почему, Иванов ли тут был виноват, или потому, что сенсационные известия передаются сами собой по воздуху, но только в гигантской кипящей Москве вдруг заговорили о луче и о профессоре Персикове.

Правда, как-то вскользь и очень туманно. Известие о чудодейственном открытии прыгало, как подстреленная птица в светящейся столице, то исчезая, то вновь взвиваясь до половины июля, когда на 20-й странице газеты «Известия» под заголовком «Новости науки и техники» не появилась короткая заметка, трактующая о луче. Сказано было глухо, что известный профессор IV Университета изобрел луч, невероятно повышающий жизнедеятельность низших организмов, и что луч этот нуждается в проверке. Фамилия, конечно, была переврана и напечатано: «Певсиков».

Иванов принес газету и показал Персикову заметку.

— «Певсиков»,— проворчал Персиков, возясь с камерой в кабинете,— откуда эти свистуны все знают?

Увы, перевранная фамилия не спасла профессора от событий, и они начались на другой же день, сразу нарушив всю жизнь Персикова.

Панкрат, предварительно постучавшись, явился в кабинет и вручил Персикову великолепнейшую атласную визитную карточку.

— Он тамотко,— робко прибавил Панкрат.

На карточке было напечатано изящным шрифтом:

Альфред Аркадьевич
Бронский
Сотрудник московских журналов — «Красный Огонек», «Красный Перец», «Красный Журнал», «Красный Прожектор» и газеты «Красная Вечерняя Москва».

— Гони его к чертовой матери,— монотонно сказал Персиков и смахнул карточку под стол.

Панкрат повернулся, вышел и через пять минут вернулся со страдальческим лицом и со вторым экземпляром той же карточки.

— Ты что же, смеешься? — проскрипел Персиков и стал страшен.

— Из гепею, они говорять,— бледнея ответил Панкрат.

Персиков ухватился одной рукой за карточку, чуть не перервал ее пополам, а другой швырнул пинцет на стол. На карточке было приписано кудрявым почерком: «Очень прошу и извиняюсь, принять меня, многоуважаемый профессор, на три минуты по общественному делу печати и сотрудник сатирического журнала «Красный Ворон», издания ГПУ».

— Позови-ка его сюда,— сказал Персиков и задохнулся.

Из-за спины Панкрата тотчас вынырнул молодой человек с гладковыбритым маслянистым лицом. Поражали вечно поднятые, словно у китайца, брови и под ними ни секунды не глядящие в глаза собеседнику агатовые глазки. Одет был молодой человек совершенно безукоризненно и модно. В узкий и длинный до колен пиджак, широчайшие штаны колоколом и неестественной ширины лакированные ботинки с носами, похожими на копыта. В руках молодой человек держал трость, шляпу с острым верхом и блокнот.

— Что вам надо? — спросил Персиков таким голосом, что Панкрат мгновенно ушел за дверь,— ведь вам же сказали, что я занят?

Вместо ответа молодой человек поклонился профессору два раза на левый бок и на правый, а затем его глазки колесом прошлись по всему кабинету, и тотчас молодой человек поставил в блокноте знак.

— Я занят,— сказал профессор, с отвращением глядя в глазки гостя, но никакого эффекта не добился, так как глазки были неуловимы.

— Прошу тысячу раз извинения, глубокоуважаемый профессор,— заговорил молодой человек тонким голосом,— что я врываюсь к вам и отнимаю ваше драгоценное время, но известие о вашем мировом открытии, прогремевшее по всему миру, заставляет наш журнал просить у вас каких-либо объяснений.

— Какие такие объяснения по всему миру? — заныл Персиков визгливо и пожелтев,— я не обязан вам давать объяснения и ничего такого... Я занят... страшно занят.

... — Над чем же вы работаете? — сладко спросил молодой человек и поставил второй знак в блокноте.

— Да я... вы, что? Хотите напечатать что-то?

— Да,— ответил молодой человек и вдруг застрочил в блокноте.

— Во-первых, я не намерен ничего опубликовывать, пока я кончу работы... тем более в этих ваших газетах... Во-вторых, откуда вы все это знаете?..— И Персиков вдруг почувствовал, что теряется.

— Верно ли известие, что вы изобрели луч новой жизни?

— Какой такой новой жизни? — остервенился про-

фессор.— Что вы мелете чепуху! Луч, над которым я работаю, еще далеко не исследован, и вообще ничего еще не известно! Возможно, что он повышает жизнедеятельность протоплазмы...

— Во сколько раз? — торопливо спросил молодой человек.

Персиков окончательно потерялся... «Ну тип. Ведь это черт знает что такое!»

— Что за обывательские вопросы?.. Предположим, я скажу, ну, в тысячу раз!..

В глазках молодого человека мелькнула хищная радость.

— Получаются гигантские организмы?

— Да ничего подобного! Ну, правда, организмы, полученные мною, больше обыкновенных... Ну, имеют некоторые новые свойства... Но ведь тут же главное не величина, а невероятная скорость размножения,— сказал на свое горе Персиков и тут же ужаснулся. Молодой человек исписал целую страницу, перелистнул ее и застрочил дальше.

— Вы же не пишите! — уже сдаваясь и чувствуя, что он в руках молодого человека, в отчаянии просипел Персиков,— что вы такое пишете?

— Правда ли, что в течение двух суток из икры можно получить 2 миллиона головастиков?

— Из какого количества икры? — вновь взбеленяясь, закричал Персиков,— вы видели когда-нибудь икринку... ну, скажем,— квакши?

— Из полфунта? — не смущаясь, спросил молодой человек.

Персиков побагровел.

— Кто же так меряет? Тьфу! Что вы такое говорите? Ну, конечно, если взять полфунта лягушечьей икры... тогда пожалуй... черт, ну около этого количества, а может быть, и гораздо больше!

Бриллианты загорелись в глазах молодого человека, и он в один взмах исчеркал еще одну страницу.

— Правда ли, что это вызовет мировой переворот в животноводстве?

— Что за газетный вопрос,— завыл Персиков,— и вообще я не даю вам разрешения писать чепуху. Я вижу по вашему лицу, что вы пишете какую-то мерзость!

— Вашу фотографическую карточку, профессор, убе-

дительнейше прошу,— молвил молодой человек и захлопнул блокнот.

— Что? Мою карточку? Это в ваши журнальчики? Вместе с этой чертовщиной, которую вы там пишете. Нет, нет, нет... И я занят... попрошу вас!..

— Хотя бы старую. И мы вам ее вернем моментально.

— Панкрат! — закричал профессор в бешенстве.

— Честь имею кланяться,— сказал молодой человек и пропал.

Вместо Панкрата послышалось за дверью странное мерное скрипенье машины, кованое постукиванье в пол, и в кабинете появился необычайной толщины человек, одетый в блузу и штаны, сшитые из одеяльного драпа. Левая его, механическая нога щелкала и громыхала, а в руках он держал портфель. Его бритое круглое лицо, налитое желтоватым студнем, являло приветливую улыбку. Он по-военному поклонился профессору и выпрямился, отчего его нога пружинно щелкнула. Персиков онемел.

— Господин профессор,— начал незнакомец приятным сиповатым голосом,— простите простого смертного, нарушившего ваше уединение.

— Вы репортер? — спросил Персиков.— Панкрат!!

— Никак нет, господин профессор,— ответил толстяк,— позвольте представиться — капитан дальнего плавания и сотрудник газеты «Вестник промышленности» при Совете Народных Комиссаров.

— Панкрат!! — истерически закричал Персиков, и тотчас в углу выкинул красный сигнал и мягко прозвенел телефон.— Панкрат! — повторил профессор,— я слушаю...

— Ферцайен зи битте, херр профессор,— захрипел телефон по-немецки,— дас их штёре. Их бин митарбейтер дес Берлинер Тагеблатс...

— Панкрат! — закричал в трубку профессор,— бин моменталь зер бешефтигт унд кан зи десхальб етцт нихт емпфанген!.. Панкрат!!

А на парадном ходе института в это время начались звонки.

* * *

— Кошмарное убийство на Бронной улице!! — завывали неестественные сиплые голоса, вертясь в гуще ог-

ней между колесами и вспышками фонарей на нагретой июньской мостовой,— кошмарное появление болезни кур у вдовы попадьи Дроздовой с ее портретом!.. Кошмарное открытие луча жизни профессора Персикова!!

Персиков мотнулся так, что чуть не попал под автомобиль на Моховой, и яростно ухватился за газету.

— 3 копейки, гражданин! — закричал мальчишка и, вжимаясь в толпу на тротуаре, вновь завыл: «Красная Вечерняя Газета», открытие икс-луча!!

Ошеломленный Персиков развернул газету и прижался к фонарному столбу. На второй странице в левом углу в смазанной рамке глянул на него лысый, с безумными и незрячими глазами, с повисшей нижнею челюстью человек, плод художественного творчества Альфреда Бронского, «В. И. Персиков, открывший загадочный красный луч»,— гласила подпись под рисунком. Ниже, под заголовком «Мировая загадка», начиналась статья словами:

«Садитесь,— приветливо сказал нам маститый ученый Персиков...»

Под статьей красовалась подпись «Альфред Бронский (Алонзо)».

Зеленоватый свет взлетел над крышей университета, на небе выскочили огненные слова «Говорящая Газета», и тотчас толпа запрудила Моховую.

«Садитесь!!! — завыл вдруг в рупоре на крыше неприятнейший тонкий голос, совершенно похожий на голос увеличенного в тысячу раз Альфреда Бронского,— приветливо сказал нам маститый ученый Персиков! Я давно хотел познакомить московский пролетариат с результатами моего открытия...»

Тихое механическое скрипение послышалось за спиною Персикова, и кто-то потянул его за рукав. Обернувшись, он увидел желтое круглое лицо владельца механической ноги. Глаза у того были увлажнены и губы вздрагивали.

— Меня, господин профессор, вы не пожелали познакомить с результатами вашего изумительного открытия,— сказал он печально и глубоко вздохнул.— Пропали мои полтора червячка.

Он тоскливо глядел на крышу университета, где в черной пасти бесновался невидимый Альфред. Персикову почему-то стало жаль толстяка.

— Я,— пробормотал он, с ненавистью ловя слова с неба,— никакого «садитесь» ему не говорил! Это просто наглец необыкновенного свойства! Вы меня простите, пожалуйста,— но, право же, когда работаешь и врываются... Я не про вас, конечно, говорю...

— Может быть, вы мне, господин профессор, хотя описание вашей камеры дадите? — заискивающе и скорбно говорил механический человек,— ведь вам теперь все равно...

— Из полфунта икры в течение 3-х дней вылупляется такое количество головастиков, что их нет никакой возможности сосчитать,— ревел невидимка в рупоре.

— Ту-ту,— глухо кричали автомобили на Моховой.

— Го-го-го... Ишь ты, го-го-го,— шуршала толпа, задирая головы.

— Каков мерзавец? А? — дрожа от негодования, зашипел Персиков механическому человеку,— как вам это нравится? Да, я жаловаться на него буду!

— Возмутительно! — согласился толстяк.

Ослепительнейший фиолетовый луч ударил в глаза профессору, и все кругом вспыхнуло: фонарный столб, кусок торцовой мостовой, желтая стена, любопытные лица.

— Это вас, господин профессор,— восхищенно шепнул толстяк и повис на рукаве профессора, как гиря. В воздухе что-то застрекотало.

— А ну их всех к черту! — тоскливо вскричал Персиков, выдираясь с гирей из толпы.— Эй, таксомотор. На Пречистенку!

Облупленная старенькая машина, конструкции 24-го года, заклокотала у тротуара, и профессор полез в ландо, стараясь отцепиться от толстяка.

— Вы мне мешаете,— шипел он и закрывался кулаками от фиолетового света.

— Читали?! Чего оруть?.. Профессора Персикова с детишками зарезали на Малой Бронной!..— кричали кругом в толпе.

— Никаких у меня детишек нету, сукины дети,— заорал Персиков и вдруг попал в фокус черного аппарата, застрелившего его в профиль с открытым ртом и яростными глазами.

— Крх... ту... крх... ту,— закричал таксомотор и врезался в гущу.

Толстяк уже сидел в ландо и грел бок профессору.

Глава V

КУРИНАЯ ИСТОРИЯ

В уездном заштатном городке, бывшем Троицке, а ныне Стекловске, Костромской губернии, Стекловского уезда, на крылечко домика на бывшей Соборной, а ныне Персональной улице, вышла повязанная платочком женщина в сером платье с ситцевыми букетами и зарыдала. Женщина эта, вдова бывшего соборного протоиерея бывшего собора Дроздова, рыдала так громко, что вскоростн из домика через улицу в окошко высунулась бабья голова в пуховом платке и воскликнула:

— Что ты, Степановна, али еще?

— Семнадцатая! — разлившись в рыданиях, ответила бывшая Дроздова.

— Ахии-х-ти-х,— заскулила и закачала головой баба в платке,— ведь это что ж такое? — Прогневался господь, истинное слово! Да неужто ж сдохла?

— Да ты глянь, глянь, Матрена,— бормотала попадья, всхлипывая громко и тяжко,— ты глянь, что с ей!

Хлопнула серенькая покосившаяся калитка, бабьи босые ноги прошлепали по пыльным горбам улицы, и мокрая от слез попадья повела Матрену на свой птичий двор.

Надо сказать, что вдова отца протоиерея Савватия Дроздова, скончавшегося в 26-м году от антирелигиозных огорчений, не опустила рук, а основала замечательнейшее куроводство. Лишь только вдовьины дела пошли в гору, вдову обложили таким налогом, что куроводство чуть-чуть не прекратилось, кабы не добрые люди. Они надоумили вдову подать местным властям заявление о том, что она, вдова, основывает трудовую куроводную артель. В состав артели вошла сама Дроздова, верная прислуга ее Матрешка и вдовьина глухая племянница. Налог со вдовы сняли, и куроводство ее процвело настолько, что к 28-му году у вдовы, на пыльном дворике, окаймленном куриными домишками, ходило до 250 кур, в числе которых были даже кохинхинки. Вдовьины яйца каждое воскресенье появлялись на Стекловском рынке, вдовьими яйцами торговали в Тамбове, а бывало, что они показывались и в стеклянных витринах магазина бывшего «Сыр и масло Чичкина в Москве».

И вот, семнадцатая по счету с утра брамапутра, лю-

бимая хохлатка, ходила по двору; и ее рвало. «Эр... рр... урл... урл го-го-го», выделывала хохлатка и закатывала грустные глаза на солнце так, как будто видела его в последний раз. Перед носом курицы на корточках плясал член артели Матрешка с чашкой воды.

— Хохлаточка, миленькая... цып-цып-цып... испей водицы,— умоляла Матрешка и гонялась за клювом хохлатки с чашкой, но хохлатка пить не желала. Она широко раскрывала клюв, задирала голову кверху. Затем ее начало рвать кровью.

— Господисусе! — вскричала гостья, хлопнув себя по бедрам.— Это что ж такое делается? Одна резаная кровь. Никогда не видала, с места не сойти, чтобы курица, как человек, маялась животом.

Это и были последние напутственные слова бедной хохлатке. Она вдруг кувырнулась на бок, беспомощно потыкала клювом в пыль и завела глаза. Потом повернулась на спину, обе ноги задрала кверху и осталась неподвижной. Басом заплакала Матрешка, расплескав чашку, и сама попадья — председатель артели, а гостья наклонилась к ее уху и зашептала:

— Степановна, землю буду есть, что кур твоих испортили. Где ж это видано! Ведь таких и курьих болезней нет! Это твоих кур кто-то заколдовал.

— Враги жизни моей! — воскликнула попадья к небу,— что ж они со свету меня сжить хочут?

Словам ее ответил громкий петушиный крик, и затем из курятника выдрался как-то боком, точно беспокойный пьяница из пивного заведения, обдерганный поджарый петух. Он зверски выкатил на них глаз, потоптался на месте, крылья распростер, как орел, но никуда не улетел, а начал бег по двору, по кругу, как лошадь на корде. На третьем круге он остановился и его стошнило, потом он стал харкать и хрипеть, наплевал вокруг себя кровавых пятен, перевернулся, и лапы его уставились к солнцу, как мачты. Женский вой огласил двор. И в куриных домиках ему ответило беспокойное клохтанье, хлопанье и возня.

— Ну, не порча? — победоносно спросила гостья,— зови отца Сергия, пущай служит.

В шесть часов вечера, когда солнце сидело низко огненною рожею между рожами молодых подсолнухов, на дворе куроводства отец Сергий, настоятель соборного храма, закончив молебен, вылезал из епитрахили. Любо-

пытные головы торчали над древненьким забором и в щелях его. Скорбная попадья, приложившаяся к кресту, густо смочила канареечный рваный рубль слезами и вручила его отцу Сергию, на что тот, вздыхая, заметил что-то насчет того, что вот, мол, господь прогневался на нас. Вид при этом у отца Сергия был такой, что он прекрасно знает, почему именно прогневался господь, но только не скажет.

Засим толпа с улицы разошлась, а так как куры ложатся рано, то никто и не знал, что у соседа попадьи Дроздовой в курятнике издохло сразу трое кур и петух. Их рвало так же, как и дроздовских кур, но только смерти произошли в запертом курятнике и тихо. Петух свалился с нашеста вниз головой и в такой позиции кончился. Что касается кур вдовы, то они прикончились тотчас после молебна, и к вечеру в курятниках было мертво и тихо, лежала грудами закоченевшая птица.

Наутро город встал как громом пораженный, потому что история приняла размеры странные и чудовищные. На Персональной улице к полудню осталось в живых только три курицы, в крайнем домике, где снимал квартиру уездный фининспектор, но и те издохли к часу дня. А к вечеру городок Стекловск гудел и кипел, как улей, и по нему катилось грозное слово «мор». Фамилия Дроздовой попала в местную газету «Красный Боец» в статье под заголовком: «Неужели куриная чума?», а оттуда пронеслась в Москву.

* * *

Жизнь профессора Персикова приняла окраску странную, беспокойную и волнующую. Одним словом, работать в такой обстановке было просто невозможно. На другой день после того, как он развязался с Альфредом Бронским, ему пришлось выключить у себя в кабинете в институте телефон, снявши трубку, а вечером, проезжая в трамвае по Охотному ряду, профессор увидел самого себя на крыше огромного дома с черной надписью «Рабочая Газета». Он, профессор, дробясь, и зеленея, и мигая, лез в ландо такси, а за ним, цепляясь за рукав, лез механический шар в одеяле. Профессор на крыше, на белом экране, закрывался кулаками от фиолетового луча. Засим выскочила огненная надпись: «Профессор Персиков, едучи в авто, дает объяснение нашему знаменитому репортеру капитану Степанову». И точно: мимо

храма Христа, по Волхонке, проскочил зыбкий автомобиль, и в нем барахтался профессор, и физиономия у него была, как у затравленного волка.

— Это какие-то черти, а не люди,— сквозь зубы пробормотал зоолог и проехал.

Того же числа вечером, вернувшись к себе на Пречистенку, зоолог получил от экономки, Марьи Степановны, 17 записок с номерами телефонов, кои звонили к нему во время его отсутствия, и словесное заявление Марьи Степановны, что она замучилась. Профессор хотел разодрать записки, но остановился, потому что против одного из номеров увидал приписку: «Народный комиссар здравоохранения».

— Что такое? — искренно недоумевал ученый чудак,— что с ними такое сделалось?

В $10^1/_4$ того же вечера раздался звонок, и профессор вынужден был беседовать с некиим ослепительным по убранству гражданином. Принял его профессор, благодаря визитной карточке, на которой было изображено (без имени и фамилии): «Полномочный шеф торговых отделов иностранных представительств при Республике советов».

— Черт бы его взял,— прорычал Персиков, бросил на зеленое сукно лупу и какие-то диаграммы и сказал Марье Степановне:

— Позовите его сюда, в кабинет, этого самого уполномоченного.

— Чем могу служить? — спросил Персиков таким тоном, что шефа несколько передернуло. Персиков пересадил очки с переносицы на лоб, затем обратно и разглядел визитера. Тот весь светился лаком и драгоценными камнями и в правом глазу у него сидел монокль. «Какая гнусная рожа»,— почему-то подумал Персиков.

Начал гость издалека, именно попросил разрешения закурить сигару, вследствие чего Персиков с большою неохотой пригласил его сесть. Далее гость произнес длинные извинения по поводу того, что он пришел поздно: «но... господина профессора невозможно днем никак пойма... хи-хи... пардон... застать»... (гость, смеясь, всхлипывал, как гиена).

— Да, я занят! — Так коротко ответил Персиков, что судорога вторично прошла по гостю.

Тем не менее он позволил себе беспокоить знаменитого ученого: — время — деньги, как говорится... сигара не мешает профессору?

— Мур-мур-мур,— ответил Персиков. Он позволил...

— Профессор,— ведь открыл луч жизни?

— Помилуйте, какой такой жизни?! Это выдумки газетчиков! — оживился Персиков.

— Ах нет, хи-хи-хэ... он прекрасно понимает ту скромность, которая составляет истинное украшение всех настоящих ученых... о чем же говорить... Сегодня есть телеграммы... В мировых городах, как-то: Варшаве и Риге, уже все известно насчет луча. Имя проф. Персикова повторяет весь мир... Весь мир следит за работой проф. Персикова, затаив дыхание... Но всем прекрасно известно, как тяжко положение ученых в Советской России. Антр ну суа ди... Здесь никого нет посторонних?.. Увы, здесь не умеют ценить ученые труды, так вот он хотел бы переговорить с профессором... Одно иностранное государство предлагает профессору Персикову совершенно бескорыстно помощь в его лабораторных работах. Зачем здесь метать бисер, как говорится в священном писании. Государству известно, как тяжко профессору пришлось в 19-м и 20-м году во время этой хи-хи... революции. Ну, конечно, строгая тайна... профессор ознакомит государство с результатами работы, а оно за это финансирует профессора. Ведь он построил камеру, вот интересно было бы ознакомиться с чертежами этой камеры...

И тут гость вынул из внутреннего кармана пиджака белоснежную пачку бумажек...

Какой-нибудь пустяк, 5.000 рублей, например, задатку, профессор может получить сию же минуту... и расписки не надо... профессор даже обидит полномочного торгового шефа, если заговорит о расписке.

— Вон!!! — вдруг гаркнул Персиков так страшно, что пианино в гостиной издало звук на тонких клавишах.

Гость исчез так, что дрожащий от ярости Персиков через минуту и сам уже сомневался, был ли он или это галлюцинация.

— Его калоши?! — выл через минуту Персиков в передней.

— Они забыли,— отвечала дрожащая Марья Степановна.

— Выкинуть их вон!

— Куда же я их выкину? Они придут за ними.

— Сдать их в домовый комитет. Под расписку. Чтоб

не было духу этих калош! В комитет! Пусть примут шпионские калоши!..

Марья Степановна, крестясь, забрала великолепные кожаные калоши и унесла их на черный ход. Там постояла за дверью, а потом калоши спрятала в кладовку.

— Сдали? — бушевал Персиков.

— Сдала.

— Расписку мне.

— Да, Владимир Ипатьич. Да неграмотный же председатель!..

— Сию. Секунду. Чтоб. Была. Расписка. Пусть за него какой-нибудь грамотный сукин сын распишется!

Марья Степановна только покрутила головой, ушла и вернулась через 1/4 часа с запиской:

«Получено в фонд от проф. Персикова 1 (одна) па/ кало. Колесов».

— А это что?

— Жетон-с.

Персиков жетон истоптал ногами, а расписку спрятал под пресс. Затем какая-то мысль омрачила его крутой лоб. Он бросился к телефону, вытрезвонил Панкрата в институте и спросил у него: «все ли благополучно?» Панкрат нарычал что-то такое в трубку, из чего можно было понять, что, по его мнению, все благополучно. Но Персиков успокоился только на одну минуту. Хмурясь, он уцепился за телефон и наговорил в трубку такое:

— Дайте мне эту, как ее, Лубянку. Мерси... Кому тут из вас надо сказать... у меня тут какие-то подозрительные субъекты в калошах ходят, да... Профессор IV Университета Персиков...

Трубка вдруг резко оборвала разговор. Персиков отошел, ворча сквозь зубы какие-то бранные слова.

— Чай будете пить, Владимир Ипатьич? — робко осведомилась Марья Степановна, заглянув в кабинет.

— Не буду я пить никакого чаю... мур-мур-мур, и черт их всех возьми... как взбесились все равно.

Ровно через десять минут профессор принимал у себя в кабинете новых гостей. Один из них приятный, круглый и очень вежливый, был в скромном защитном военном френче и рейтузах. На носу у него сидело, как хрустальная бабочка, пенсне. Вообще он напоминал ангела в лакированных сапогах. Второй, низенький, страшно мрачный, был в штатском, но штатское на нем сидело

так, словно оно его стесняло. Третий гость повел себя особенно, он не вошел в кабинет профессора, а остался в полутемной передней. При этом освещенный и пронизанный струями табачного дыма кабинет был ему насквозь виден. На лице этого третьего, который тоже был в штатском, красовалось дымчатое пенсне.

Двое в кабинете совершенно замучили Персикова, рассматривая визитную карточку, расспрашивая о пяти тысячах и заставляя описывать наружность гостя.

— Да черт его знает,— бубнил Персиков,— ну противная физиономия. Дегенерат.

— А глаз у него не стеклянный? — спросил маленький хрипло.

— А черт его знает. Нет, впрочем, не стеклянный, бегают глаза.

— Рубинштейн? — вопросительно и тихо отнесся ангел к штатскому маленькому. Но тот хмуро и отрицательно покачал головой.

— Рубинштейн не даст без расписки, ни в коем случае,— забурчал он,— это не рубинштейнова работа. Тут кто-то покрупнее.

История о калошах вызвала взрыв живейшего интереса со стороны гостей. Ангел молвил в телефон домовой конторы только несколько слов: «Государственное политическое управление сию минуту вызывает секретаря домкома Колесова в квартиру профессора Персикова с калошами»,— и Колесов тотчас, бледный, появился в кабинете, держа калоши в руках.

— Васенька! — негромко окликнул ангел того, который сидел в передней. Тот вяло поднялся и, словно развинченный, плелся в кабинет. Дымчатые стекла совершенно поглотили его глаза.

— Ну? — спросил он лаконически и сонно.

— Калоши.

Дымчатые глаза скользнули по калошам, и при этом Персикову почудилось, что из-под стекол вбок, на одно мгновенье, сверкнули не сонные, а, наоборот, изумительно колючие глаза. Но они моментально угасли.

— Ну, Васенька?

Тот, кого называли Васенькой, ответил вялым голосом:

— Ну, что тут ну. Пеленжковского калоши.

Немедленно фонд лишился подарка профессора Персикова. Калоши исчезли в газетной бумаге. Крайне об-

радовавшийся ангел во френче встал и начал жать руку профессору, и даже произнес маленький спич, содержание которого сводилось к следующему: это делает честь профессору... Профессор может быть спокоен... больше его никто не потревожит, ни в институте, ни дома... меры будут приняты, камеры его в совершеннейшей безопасности...

— А нельзя ли, чтобы вы репортеров расстреляли? — спросил Персиков, глядя поверх очков.

Этот вопрос развеселил чрезвычайно гостей. Не только хмурый маленький, но даже дымчатый улыбнулся в передней. Ангел, искрясь и сияя, объяснил, что это невозможно.

— А что это за каналья у меня была?

Тут все перестали улыбаться, и ангел ответил уклончиво, что это так, какой-нибудь мелкий аферист, не стоит обращать внимания... тем не менее он убедительно просит гражданина профессора держать в полной тайне происшествие сегодняшнего вечера, и гости ушли.

Персиков вернулся в кабинет, к диаграммам, но заниматься ему не пришлось. Телефон выбросил огненный кружочек, и женский голос предложил профессору, если он желает жениться на вдове интересной и пылкой, квартиру в семь комнат. Персиков завыл в трубку:

— Я вам советую лечиться у профессора Россолимо...— и получил второй звонок.

Тут Персиков немного обмяк, потому что лицо, достаточно известное, звонило из Кремля, долго и сочувственно расспрашивало Персикова о его работе и изъявило желание навестить лабораторию. Отойдя от телефона, Персиков вытер лоб и трубку снял. Тогда в верхней квартире загремели страшные трубы и полетели вопли Валкирий,— радиоприемник у директора суконного треста принял вагнеровский концерт в Большом театре. Персиков под вой и грохот, сыплющийся с потолка, заявил Марье Степановне, что он будет судиться с директором, что он сломает ему этот приемник, что он уедет из Москвы к чертовой матери, потому что, очевидно, задались целью его выжить вон. Он разбил лупу и лег спать в кабинете на диване и заснул под нежные переборы клавишей знаменитого пианиста, прилетевшие из Большого театра.

Сюрпризы продолжались и на следующий день. Приехав в трамвае к институту, Персиков застал на крыль-

це неизвестного ему гражданина в модном зеленом котелке. Тот внимательно оглядел Персикова, но не отнесся к нему ни с какими вопросами, и потому Персиков его стерпел. Но в передней института кроме растерянного Панкрата навстречу Персикову поднялся второй котелок и вежливо его приветствовал:

— Здравствуйте, гражданин профессор.

— Что вам надо? — страшно спросил Персиков, сдирая при помощи Панкрата с себя пальто. Но котелок быстро утихомирил Персикова, нежнейшим голосом нашептав, что профессор напрасно беспокоится. Он, котелок, именно затем здесь и находится, чтобы избавить профессора от всяких назойливых посетителей... что профессор может быть спокоен не только за двери кабинета, но даже и за окна. Засим неизвестный отвернул на мгновение борт пиджака и показал профессору какой-то значок.

— Гм... однако, у вас здорово поставлено дело,— промычал Персиков и прибавил наивно: — А что вы здесь будете есть?

На это котелок усмехнулся и объяснил, что его будут сменять.

Три дня после этого прошли великолепно. Навещали профессора два раза из Кремля, да один раз были студенты, которых Персиков экзаменовал. Студенты порезались все до единого, и по их лицам было видно, что теперь уже Персиков возбуждает в них просто суеверный ужас.

— Поступайте в кондуктора! Вы не можете заниматься зоологией,— неслось из кабинета.

— Строг? — спрашивал котелок у Панкрата.

— У,— не приведи бог,— отвечал Панкрат,— ежели какой-нибудь и выдержит, выходит, голубчик, из кабинета и шатается. Семь потов с него сойдет. И сейчас в пивную.

За всеми этими делишками профессор не заметил трех суток, но на четвертые его вновь вернули к действительной жизни, и причиной этого был тонкий и визгливый голос с улицы.

— Владимир Ипатьич! — прокричал голос в открытое окно кабинета с улицы Герцена. Голосу повезло: Персиков слишком переутомился за последние дни. В этот момент он как раз отдыхал, вяло и расслабленно смотрел глазами в красных кольцах и курил в кресле.

Он больше не мог. И поэтому даже с некоторым любопытством он выглянул в окно и увидел на тротуаре Альфреда Бронского. Профессор сразу узнал титулованного обладателя карточки по остроконечной шляпе и блокноту. Бронский нежно и почтительно поклонился окну.

— Ах, это вы? — спросил профессор. У него не хватило сил рассердиться, и даже любопытно показалось, что такое будет дальше? Прикрытый окном, он чувствовал себя в безопасности от Альфреда. Бессменный котелок на улице немедленно повернул ухо к Бронскому. Умильнейшая улыбка расцвела у того на лице.

— Пару минуточек, дорогой профессор,— заговорил Бронский, напрягая голос с тротуара,— я только один вопросик, и чисто зоологический. Позволите предложить?

— Предложите,— лаконически и иронически ответил Персиков и подумал: «все-таки в этом мерзавце есть что-то американское».

— Что вы скажете за кур, дорогой профессор? — крикнул Бронский, сложив руки щитком.

Персиков изумился. Сел на подоконник, потом слез, нажал кнопку и закричал, тыча пальцем в окно:

— Панкрат, впусти этого с тротуара.

Когда Бронский появился в кабинете, Персиков настолько простер свою ласковость, что рявкнул ему: — садитесь!

И Бронский, восхищенно улыбаясь, сел на винтящийся табурет.

— Объясните мне, пожалуйста,— заговорил Персиков,— вы пишете там, в этих ваших газетах?

— Точно так,— почтительно ответил Альфред.

— И вот мне непонятно, как вы можете писать, если вы не умеете даже говорить по-русски. Что это за «пара минуточек» и «за кур»? Вы, вероятно, хотели спросить «насчет кур»?

Бронский жидко и почтительно рассмеялся:

— Валентин Петрович исправляет.

— Кто это такой Валентин Петрович?

— Заведующий литературной частью.

— Ну, ладно. Я, впрочем, не филолог. В сторону вашего Петровича. Что именно вам желательно знать насчет кур?

— Вообще все, что вы скажете, профессор.

Тут Бронский вооружился карандашом. Победные искры взметнулись в глазах Персикова.

— Вы напрасно обратились ко мне, я не специалист по пернатым. Вам лучше всего было бы обратиться к Емельяну Ивановичу Португалову, в 1-м Университете. Я лично знаю весьма мало...

Бронский восхищенно улыбнулся, давая понять, что он понял шутку дорогого профессора. «Шутка — мало!» — черкнул он в блокноте.

— Впрочем, если вам интересно, извольте. Куры, или гребенчатые... род птиц из отряда куриных. Из семейства фазановых... — заговорил Персиков громким голосом и глядя не на Бронского, а куда-то вдаль, где перед ним подразумевались тысяча человек...— фазианидэ. Представляют собою птиц с мясисто-кожным гребнем и двумя лопастями под нижней челюстью... гм... хотя, впрочем, бывает и одна в середине подбородка... Ну, что ж еще. Крылья короткие и округленные... Хвост средней длины, несколько ступенчатый и даже, я бы сказал, крышеобразный, средние перья серпообразно изогнуты... Панкрат... принеси из модельного кабинета модель № 705, разрезной петух... впрочем, вам это не нужно?.. Панкрат, не приноси модели... Повторяю вам, я не специалист, идите к Португалову. Ну-с, мне лично известно 6 видов дико живущих кур... гм... Португалов знает больше... в Индии и на Малайском архипелаге, например, Банкивский петух, или Казинту, он водится в предгорьях Гималаев, по всей Индии, в Ассаме, в Бирме... Вилохвостый петух, или Галлус Вариус на Ломбоке, Сумбаве и Флорес. И на острове Яве имеется замечательный петух Галлюс Энеус, на юго-востоке Индии могу вам рекомендовать очень красивого Зоннератова петуха... Я вам потом покажу рисунок. Что же касается Цейлона, то на нем мы встречаем петуха Стенли, больше он нигде не водится.

Бронский сидел, вытаращив глаза, и строчил.

— Еще что-нибудь вам сообщить?

— Я бы хотел что-нибудь узнать насчет куриных болезней,— тихонечко шепнул Альфред.

— Гм, не специалист я... вы Португалова спросите... А впрочем... Ну, ленточные глисты, сосальщики, чесоточный клещ, железница, птичий клещ, куриная вошь, или пухоед, блохи, куриная холера, крупозно-дифтерийное воспаление слизистых оболочек... Пневмономикоз, туберкулез, куриные парши... мало ли что может быть... (искры прыгали в глазах Персикова)... отравление, напри-

мер, бешеницей, опухоли, английская болезнь, желтуха, ревматизм, грибок Ахорион Шенляйни... очень интересная болезнь. При заболевании на гребне образуются маленькие пятна, похожие на плесень...

Бронский вытер пот со лба цветным носовым платком.

— А какая же, по вашему мнению, профессор, причина теперешней катастрофы?

— Какой катастрофы?

— Как, разве вы не читали, профессор? — удивился Бронский и вытащил из портфеля измятый лист газеты «Известия».

— Я не читаю газет,— ответил Персиков и насупился.

— Но почему же, профессор? — нежно спросил Альфред.

— Потому что они чепуху какую-то пишут,— не задумываясь, ответил Персиков.

— Но как же, профессор? — мягко шепнул Бронский и развернул лист.

— Что такое? — спросил Персиков и даже поднялся с места. Теперь искры запрыгали в глазах у Бронского. Он подчеркнул острым, лакированным пальцем невероятнейшей величины заголовок через всю страницу газеты: «Куриный мор в республике».

— Как? — спросил Персиков, сдвигая на лоб очки...

Глава VI
МОСКВА В ИЮНЕ 1928 ГОДА

Она светилась, огни танцевали, гасли и вспыхивали. На Театральной площади вертелись белые фонари автобусов, зеленые огни трамваев; над бывшим «Мюр и Мерилизом», над десятым надстроенным на него этажом, прыгала электрическая разноцветная женщина, выбрасывая по буквам разноцветные слова: «рабочий кредит». В сквере против Большого театра, где бил ночью разноцветный фонтан, толклась и гудела толпа. А над Большим театром гигантский рупор завывал.

— Антикуриные прививки в Лефортовском ветеринарном институте дали блестящие результаты. Количество... куриных смертей за сегодняшнее число уменьшилось вдвое...

Затем рупор менял тембр, что-то рычало в нем, над театром вспыхивала и угасала зеленая струя, и рупор жаловался басом:

— Образована чрезвычайная комиссия по борьбе с куриною чумой в составе наркомздрава, наркомзема, заведующего животноводством товарища Птахи-Поросюка, профессоров Персикова и Португалова... и товарища Рабиновича!.. Новые попытки интервенции!..— хохотал и плакал, как шакал, рупор,— в связи с куриною чумой!

Театральный проезд, Неглинный и Лубянка пылали белыми и фиолетовыми полосами, брызгали лучами, выли сигналами, клубились пылью. Толпы народа теснились у стен у больших листов объявлений, освещенных резкими красными рефлекторами:

«Под угрозою тягчайшей ответственности воспрещается населению употреблять в пищу куриное мясо и яйца. Частные торговцы при попытках продажи их на рынках подвергаются уголовной ответственности с конфискацией всего имущества. Все граждане, владеющие яйцами, должны в срочном порядке сдать их в районные отделения милиции».

На крыше «Рабочей Газеты» на экране грудой до самого неба лежали куры, и зеленоватые пожарные, дробясь и искрясь, из шлангов поливали их керосином. Затем красные волны ходили по экрану, неживой дым распухал и мотался клочьями, полз струей, выскакивала огненная надпись: «Сожжение куриных трупов на Ходынке».

Слепыми дырами глядели среди бешено пылающих витрин магазинов, торгующих до 3 часов ночи, с двумя перерывами на обед и ужин, заколоченные окна под вывесками: «Яичная торговля. За качество гарантия». Очень часто, тревожно завывая, обгоняя тяжелые автобусы, мимо милиционеров проносились шипящие машины с надписью: «Мосздравотдел. Скорая помощь».

— Обожрался еще кто-то гнилыми яйцами,— шуршали в толпе.

В Петровских линиях зелеными и оранжевыми фонарями сиял знаменитый на весь мир ресторан «Ампир», и в нем на столиках, у переносных телефонов, лежали картонные вывески, залитые пятнами ликеров: «По распоряжению — омлета нет. Получены свежие устрицы».

В Эрмитаже, где бусинками жалобно горели китайские фонарики в неживой задушенной зелени, на убива-

ющей глаза своим пронзительным светом эстраде куплетисты Шрамс и Карманчиков пели куплеты, сочиненные поэтами Ардо и Аргуевым:

Ах, мама, что я буду делать
Без яиц??

и грохотали ногами в чечетке.

Театр имени покойного Всеволода Мейерхольда, погибшего, как известно, в 1927 году, при постановке Пушкинского «Бориса Годунова», когда обрушились трапеции с голыми боярами, выбросил движущуюся разных цветов электрическую вывеску, возвещавшую пьесу писателя Эрендорга «Курий дох» в постановке ученика Мейерхольда, заслуженного режиссера республики Кухтермана. Рядом, в «Аквариуме», переливаясь рекламными огнями и блестя полуобнаженным женским телом, в зелени эстрады, под гром аплодисментов, шло обозрение писателя Ленивцева «Курицыны дети». А по Тверской, с фонариками по бокам морд, шли вереницею цирковые ослики, несли на себе сияющие плакаты. В театре Корша возобновляется «Шантеклэр» Ростана.

Мальчишки-газетчики рычали и выли между колес моторов:

— Кошмарная находка в подземельи! Польша готовится к кошмарной войне!! Кошмарные опыты профессора Персикова!!

В цирке бывшего Никитина, на приятно пахнущей навозом коричневой жирной арене мертвенно-бледный клоун Бом говорил распухшему в клетчатой водянке Биму:

— Я знаю, отчего ты такой печальный!

— Отциво? — пискливо спрашивал Бим.

— Ты зарыл яйца в землю, а милиция 15-го участка их нашла.

— Га-га-га-га,— смеялся цирк так, что в жилах стыла радостно и тоскливо кровь и под стареньким куполом веяли трапеции и паутина.

— А-ап! — пронзительно кричали клоуны, и кормленая белая лошадь выносила на себе чудной красоты женщину, на стройных ногах, в малиновом трико.

Не глядя ни на кого, никого не замечая, не отвечая на подталкивания и тихие и нежные зазывания проституток, пробирался по Моховой, вдохновенный и одино-

кий, увенчанный неожиданною славой Персиков к огненным часам у манежа. Здесь, не глядя кругом, поглощенный своими мыслями, он столкнулся со странным, старомодным человеком, пребольно ткнувшись пальцами прямо в деревянную кобуру револьвера, висящего у человека на поясе.

— Ах, черт! — пискнул Персиков,— извините.

— Извиняюсь,— ответил встречный неприятным голосом, и кое-как они расцепились в людской каше. И профессор, направляясь на Пречистенку, тотчас забыл о столкновении.

Глава VII

РОКК

Неизвестно, точно ли хороши были лефортовские ветеринарные прививки, умелы ли заградительные самарские отряды, удачны ли крутые меры, принятые по отношению к скупщикам яиц в Калуге и Воронеже, успешно ли работала чрезвычайная московская комиссия, но хорошо известно, что через две недели после последнего свидания Персикова с Альфредом в смысле кур в Союзе республик было совершенно чисто. Кое-где в двориках уездных городков валялись куриные сиротливые перья, вызывая слезы на глазах, да в больницах поправлялись последние из живых, доканчивая кровавый понос со рвотой. Людских смертей, к счастью, на всю республику было не более тысячи. Больших беспорядков тоже не последовало. Объявился было, правда, в Волоколамске пророк, возвестивший, что падеж кур вызван не кем иным, как комиссарами, но особенного успеха не имел. На Волоколамском базаре побили нескольких милиционеров, отнимавших кур у баб, да выбили стекла в местном почтово-телеграфном отделении. По счастью, расторопные волоколамские власти приняли меры, в результате которых, во-первых, пророк прекратил свою деятельность, а во-вторых, стекла на телеграфе вставили.

Дойдя на Севере до Архангельска и Сюмкина Выселка, мор остановился сам собой по той причине, что идти ему дальше было некуда,— в Белом море куры, как известно, не водятся. Остановился он и во Владивостоке, ибо далее был океан. На далеком Юге — пропал и затих где-то в выжженных пространствах Ордубата, Джульфы и Карабулака, а на Западе удивительным об-

разом задержался как раз на польской и румынской границах. Климат, что ли, там был иной, или сыграли роль заградительные кордонные меры, принятые соседними правительствами, но факт тот, что мор дальше не пошел. Заграничная пресса шумно, жадно обсуждала неслыханный в истории падеж, а правительство советских республик, не поднимая никакого шума, работало не покладая рук. Чрезвычайная комиссия по борьбе с куриной чумой переименовалась в чрезвычайную комиссию по поднятию и возрождению куроводства в республике, пополнившись новой чрезвычайной тройкой, в составе шестнадцати товарищей. Был основан «Доброкур», почетными товарищами председателя в который вошли Персиков и Португалов. В газетах под их портретами появились заголовки: «Массовая закупка яиц за границей» и «Господин Юз хочет сорвать яичную кампанию». Прогремел на всю Москву ядовитый фельетон журналиста Колечкина, заканчивающийся словами: «Не зарьтесь, господин Юз, на наши яйца,— у вас есть свои!»

Профессор Персиков совершенно измучился и заработался в последние три недели. Куриные события выбили его из колеи и навалили на него двойную тяжесть. Целыми вечерами ему приходилось работать в заседании куриных комиссий и время от времени выносить длинные беседы то с Альфредом Бронским, то с механическим толстяком. Пришлось вместе с профессором Португаловым и приват-доцентом Ивановым и Борнгартом анатомировать и микроскопировать кур в поисках бациллы чумы, и даже в течение трех вечеров на скорую руку написать брошюру: «Об изменениях печени у кур при чуме».

Работал Персиков без особого жара в куриной области, да оно и понятно,— вся его голова была полна другим — основным и важным — тем, от чего его оторвала его куриная катастрофа, т. е. от красного луча. Расстраивая свое и без того надломленное здоровье, урывая часы у сна и еды, порою не возвращаясь на Пречистенку, а засыпая на клеенчатом диване в кабинете института, Персиков ночи напролет возился у камеры и микроскопа.

К концу июля гонка несколько стихла. Дела переименованной комиссии вошли в нормальное русло, и Персиков вернулся к нарушенной работе. Микроскопы были заряжены новыми препаратами, в камере под лучом зре-

ла со сказочной быстротою рыбья и лягушечья икра. Из Кенигсберга на аэроплане привезли специально заказанные стекла, и в последних числах июля, под наблюдением Иванова, механики соорудили две новых больших камеры, в которых луч достигал у основания ширины папиросной коробки, а в раструбе — целого метра. Персиков радостно потер руки и начал готовиться к каким-то таинственным и сложным опытам. Прежде всего, он по телефону сговорился с народным комиссаром просвещения, и трубка наквакала ему самое любезное и всяческое содействие, а затем Персиков по телефону же вызвал товарища Птаху-Поросюка, заведующего отделом животноводства при верховной комиссии. Встретил Персиков со стороны Птахи самое теплое внимание. Дело шло о большом заказе за границей для профессора Персикова. Птаха сказал в телефон, что он тотчас телеграфирует в Берлин и Нью-Йорк. После этого из Кремля осведомились, как у Персикова идут дела, и важный и ласковый голос спросил, не нужен ли Персикову автомобиль?

— Нет, благодарю вас. Я предпочитаю ездить в трамвае,— ответил Персиков.

— Но почему же? — спросил таинственный голос и снисходительно усмехнулся.

С Персиковым все вообще разговаривали или с почтением и ужасом, или же ласково усмехаясь, как маленькому, хоть и крупному ребенку.

— Он быстрее ходит,— ответил Персиков, после чего звучный басок в телефон ответил:

— Ну, как хотите.

Прошла еще неделя, причем Персиков, все более отдаляясь от затихающих куриных вопросов, всецело погрузился в изучение луча. Голова его от бессонных ночей и переутомления стала светла, как бы прозрачна и легка. Красные кольца не сходили теперь с его глаз, и почти всякую ночь Персиков ночевал в институте. Один раз он покинул зоологическое прибежище, чтобы в громадном зале Цекубу на Пречистенке сделать доклад о своем луче и о действии его на яйцеклетку. Это был гигантский триумф зоолога-чудака. В Колонном зале от всплеска рук что-то сыпалось и рушилось с потолков и шипящие дуговые трубки заливали светом черные смокинги цекубистов и белые платья женщин. На эстраде, рядом с кафедрой, сидела на стеклянном столе, тяжко

дыша и серея, на блюде, влажная лягушка, величиною с кошку. На эстраду бросали записки. В числе их было семь любовных, и их Персиков разорвал. Его силой вытаскивал на эстраду председатель Цекубу, чтобы кланяться. Персиков кланялся раздраженно, руки у него были потные, мокрые и черный галстук сидел не под подбородком, а за левым ухом. Перед ним в дыхании и тумане были сотни желтых лиц и мужских белых грудей, и вдруг желтая кобура пистолета мелькнула и пропала где-то за белой колонной. Персиков ее смутно заметил и забыл. Но, уезжая после доклада, спускаясь по малиновому ковру лестницы, он вдруг почувствовал себя нехорошо. На миг заслонило черным яркую люстру в вестибюле и Персикову стало смутно, тошновато... Ему почудилась гарь, показалось, что кровь течет у него липко и жарко по шее... И дрожащею рукой схватился профессор за перила.

— Вам нехорошо, Владимир Ипатьич? — набросились со всех сторон встревоженные голоса.

— Нет, нет,— ответил Персиков, оправляясь,— просто я переутомился... да... Позвольте мне стакан воды.

* * *

Был очень солнечный августовский день. Он мешал профессору, поэтому шторы были опущены. Один гибкий на ножке рефлектор бросал пучок острого света на стеклянный стол, заваленный инструментами и стеклами. Отвалив спинку винтящегося кресла, Персиков в изнеможении курил и сквозь полосы дыма смотрел мертвыми от усталости, но довольными глазами в приоткрытую дверь камеры, где, чуть-чуть подогревая и без того душный и нечистый воздух в кабинете, тихо лежал красный сноп луча.

В дверь постучали.

— Ну? — спросил Персиков.

Дверь мягко скрипнула, и вошел Панкрат. Он сложил руки по швам и, бледнея от страха перед божеством, сказал так:

— Там до вас, господин профессор, Рокк пришел.

Подобие улыбки показалось на щеках ученого. Он сузил глазки и молвил:

— Это интересно. Только я занят.

— Они говорять, что с казенной бумагой с Кремля.

— Рок с бумагой? Редкое сочетание,— вымолвил Персиков и добавил: — Ну-ка, дай-ка его сюда!

— Слушаю-с,— ответил Панкрат и, как уж, исчез за дверью.

Через минуту она скрипнула опять и появился на пороге человек. Персиков скрипнул на винте и уставился в пришедшего поверх очков через плечо. Персиков был слишком далек от жизни — он ею не интересовался, но тут даже Персикову бросилась в глаза основная и главная черта вошедшего человека. Он был странно старомоден. В 1919 году этот человек был бы совершенно уместен на улицах столицы, он был бы терпим в 1924 году, в начале его, но в 1928 году он был странен. В то время как наиболее даже отсталая часть пролетариата — пекаря — ходили в пиджаках, когда в Москве редкостью был френч — старомодный костюм, оставленный окончательно в конце 1924 года, на вошедшем была кожаная двубортная куртка, зеленые штаны, на ногах обмотки и штиблеты, а на боку огромный старой конструкции пистолет «маузер» в желтой битой кобуре. Лицо вошедшего произвело на Персикова то же впечатление, что и на всех — крайне неприятное впечатление. Маленькие глазки смотрели на весь мир изумленно и в то же время уверенно, что-то развязное было в коротких ногах с плоскими ступнями. Лицо иссиня-бритое. Персиков сразу нахмурился. Он безжалостно похрипел винтом и, глядя на вошедшего уже не поверх очков, а сквозь них, молвил:

— Вы с бумагой? Где же она?

Вошедший, видимо, был ошеломлен тем, что он увидал. Вообще он был мало способен смущаться, но тут смутился. Судя по глазкам, его поразил прежде всего шкап в 12 полок, уходящий в потолок и битком набитый книгами. Затем, конечно, камеры, в которых, как в аду, мерцал малиновый, разбухший в стеклах луч. И сам Персиков в полутьме у острой иглы луча, выпадавшего из рефлектора, был достаточно странен и величественен в винтовом кресле. Пришелец вперил в него взгляд, в котором явственно прыгали искры почтения сквозь самоуверенность, никакой бумаги не подал, а сказал:

— Я Александр Семенович Рокк!

— Ну-с? Так что?

— Я назначен заведующим показательным совхозом «Красный Луч»,— пояснил пришлый.

— Ну-с?

— И вот к вам, товарищ, с секретным отношением.

— Интересно было бы узнать. Покороче, если можно.

Пришелец расстегнул борт куртки и высунул приказ, напечатанный на великолепной плотной бумаге. Его он протянул Персикову. А затем без приглашения сел на винтящийся табурет.

— Не толкните стол,— с ненавистью сказал Персиков.

Пришелец испуганно оглянулся на стол, на дальнем краю которого в сыром темном отверстии мерцали безжизненно, как изумруды, чьи-то глаза. Холодом веяло от них.

Лишь только Персиков прочитал бумагу, он поднялся с табурета и бросился к телефону. Через несколько секунд он уже говорил торопливо и в крайней степени раздражения:

— Простите... Я не могу понять... Как же так? Я... без моего согласья, совета... Да, ведь, он черт знает что наделает!!

Тут незнакомец повернулся крайне обиженно на табурете.

— Извиняюсь,— начал он,— я завед...

Но Персиков махнул на него крючочком и продолжал:

— Извините, я не могу понять... Я, наконец, категорически протестую. Я не даю своей санкции на опыты с яйцами... Пока я сам не попробую их...

Что-то квакало и постукивало в трубке, и даже издали было понятно, что голос в трубке, снисходительный, говорит с малым ребенком. Кончилось тем, что багровый Персиков с громом повесил трубку и мимо нее в степу сказал:

— Я умываю руки.

Он вернулся к столу, взял с него бумагу, прочитал ее раз сверху вниз поверх очков, затем снизу вверх сквозь очки, и вдруг взвыл:

— Панкрат!

Панкрат появился в дверях, как будто поднялся по трапу в опере. Персиков глянул на него и рявкнул:

— Выйди вон, Панкрат!

И Панкрат, не выразив на своем лице ни малейшего изумления, исчез.

Затем Персиков повернулся к пришельцу и заговорил:

— Извольте-с... Повинуюсь. Не мое дело. Да мне и не интересно.

Пришельца профессор не столько обидел, сколько изумил.

— Извиняюсь,— начал он,— вы же, товарищ?..

— Что вы все «товарищ да товарищ»,— хмуро пробубнил Персиков и смолк.

«Однако»,— написалось на лице у Рокка.

— Изви...

— Так вот-с, пожалуйста,— перебил Персиков.— Вот дуговой шар. От него вы получаете путем передвижения окуляра,— Персиков щелкнул крышкой камеры, похожей на фотографический аппарат,— пучок, который вы можете собрать путем передвижения объективов, вот, номер один... и зеркало номер два,— Персиков погасил луч, опять зажег его на полу асбестовой камеры,— а на полу в луче можете разложить все, что вам нравится, и делать опыты. Чрезвычайно просто, не правда ли?

Персиков хотел выразить иронию и презрение, но пришелец их не заметил, внимательно блестящими глазками всматриваясь в камеру.

— Только предупреждаю,— продолжал Персиков,— руки не следует совать в луч, потому что, по моим наблюдениям, он вызывает разрастание эпителия... А злокачественны они или нет, я, к сожалению, еще не мог установить.

Тут пришелец проворно спрятал свои руки за спину, уронив кожаный картуз, и поглядел на руки профессора, они были насквозь прожжены йодом, а правая у кисти забинтована.

— А как же вы, профессор?

— Можете купить резиновые перчатки у Швабе на Кузнецком,— раздраженно ответил профессор.— Я не обязан об этом заботиться.

Тут Персиков посмотрел на пришельца словно в лупу:

— Откуда вы взялись? Вообще... почему вы?..

Рокк, наконец, обиделся сильно.

— Извини...

— Ведь нужно же знать, в чем дело!.. Почему вы уцепились за этот луч?..

— Потому, что это величайшей важности дело.

— Ага, величайшей? Тогда... Панкрат!

И когда Панкрат появился:

— Погоди, я подумаю.

И Панкрат покорно исчез.

— Я,— говорил Персиков,— не могу понять вот чего: почему нужна такая спешность и секрет?

— Вы, профессор, меня уже сбили с панталыку,— ответил Рокк,— вы же знаете, что куры все издохли до единой.

— Ну так что из этого? — завопил Персиков,— что же, вы хотите их воскресить моментально, что ли? И почему при помощи еще не изученного луча?

— Товарищ профессор,— ответил Рокк,— вы меня, честное слово, сбиваете. Я вам говорю, что нам необходимо возобновить у себя куроводство, потому что за границей пишут про нас всякие гадости. Да.

— И пусть себе пишут...

— Ну, знаете,— загадочно ответил Рокк и покрутил головой.

— Кому, желал бы я знать, пришла в голову мысль растить кур из яиц...

— Мне,— ответил Рокк...

— Угу... Тэк-с... А почему, позвольте узнать? Откуда вы узнали о свойствах луча?

— Я, профессор, был на вашем докладе.

— Я с яйцами еще ничего не делал!.. Только собираюсь!

— Ей-богу, выйдет,— убедительно вдруг и задушевно сказал Рокк,— ваш луч такой знаменитый, что хоть слонов можно вырастить, не только цыплят.

— Знаете что,— молвил Персиков,— вы не зоолог? нет? жаль... из вас вышел бы очень смелый экспериментатор. Да... только вы рискуете... получить неудачу... и только у меня отнимаете время...

— Мы вам вернем камеры. Что значит?

— Когда?

— Да вот, я выведу первую партию.

— Как вы это уверенно говорите! Хорошо-с. Панкрат!

— У меня есть с собой люди,— сказал Рокк,— и охрана...

К вечеру кабинет Персикова осиротел... Опустели столы. Люди Рокка увезли три больших камеры, оставив профессору только первую, его маленькую, с которой он начинал опыты.

Надвигались июльские сумерки, серость овладела институтом, потекла по коридорам. В кабинете слушались

монотонные шаги — это Персиков, не зажигая огня, мерил большую комнату от окна к дверям... Странное дело: в этот вечер необъяснимо тоскливое настроение овладело людьми, населяющими институт, и животными. Жабы почему-то подняли особенно тоскливый концерт и стрекотали зловеще и предостерегающе. Панкрату пришлось ловить в коридорах ужа, который ушел из своей камеры, и, когда он его поймал, вид у ужа был такой, словно тот собрался куда глаза глядят, лишь бы только уйти.

В глубоких сумерках прозвучал звонок из кабинета Персикова. Панкрат появился на пороге. И увидал странную картину. Ученый стоял одиноко посреди кабинета и глядел на столы. Панкрат кашлянул и замер.

— Вот, Панкрат,— сказал Персиков и указал на опустевший стол.

Панкрат ужаснулся. Ему показалось, что глаза у профессора в сумерках заплаканы. Это было так необыкновенно, так страшно.

— Так точно,— плаксиво ответил Панкрат и подумал: «Лучше б ты уж наорал на меня!»

— Вот,— повторил Персиков, и губы и у него дрогнули точно так же, как у ребенка, у которого отняли ни с того ни с сего любимую игрушку.

— Ты знаешь, дорогой Панкрат,— продолжал Персиков, отворачиваясь к окну,— жена-то моя, которая уехала пятнадцать лет назад, в оперетку она поступила, а теперь умерла, оказывается... Вот история, Панкрат милый... Мне письмо прислали...

Жабы кричали жалобно, и сумерки одевали профессора, вот она... ночь... Москва... где-то какие-то белые шары за окнами загорались... Панкрат, растерявшись, тосковал, держал от страху руки по швам...

— Иди, Панкрат,— тяжело вымолвил профессор и махнул рукой,— ложись спать, миленький, голубчик, Панкрат.

И наступила ночь. Панкрат выбежал из кабинета почему-то на цыпочках, прибежал в свою каморку, разрыл тряпье в углу, вытащил из-под него початую бутылку русской горькой и разом выхлюпнул около чайного стакана. Закусил хлебом с солью, и глаза его несколько повеселели.

Поздним вечером, уже ближе к полуночи, Панкрат, сидя босиком на скамье в скупо освещенном вестибюле,

говорил бессонному дежурному котелку, почесывая грудь под ситцевой рубахой.

— Лучше б убил, ей бо...

— Неужто плакал? — с любопытством спрашивал котелок.

— Ей... бо... — уверял Панкрат.

— Великий ученый, — согласился котелок, — известно, лягушка жены не заменит.

— Никак, — согласился Панкрат.

Потом он подумал и добавил:

— Я свою бабу подумываю выписать сюды... чего ей в самом деле в деревне сидеть. Только она гадов этих не выносит нипочем...

— Что говорить, пакость ужаснейшая, — согласился котелок.

Из кабинета ученого не слышно было ни звука. Да и света в нем не было. Не было полоски под дверью.

Глава VIII
ИСТОРИЯ В СОВХОЗЕ

Положительно нет прекраснее времени, нежели зрелый август в Смоленской хотя бы губернии. Лето 1928 года было, как известно, отличнейшее, с дождями весной вовремя, с полным жарким солнцем, с отличным урожаем... Яблоки в бывшем имении Шереметевых зрели... леса зеленели, желтизной квадратов лежали поля... Человек-то лучше становится на лоне природы. И не так уже неприятен показался бы Александр Семенович, как в городе. И куртки противной на нем не было. Лицо его медно загорело, ситцевая расстегнутая рубашка показывала грудь, поросшую густейшим черным волосом, на ногах были парусиновые штаны. И глаза его успокоились и подобрели.

Александр Семенович оживленно сбежал с крыльца с колоннадой, на коей была прибита вывеска под звездой:

«Совхоз «Красный Луч», —

и прямо к автомобилю-полугрузовичку, привезшему три черных камеры под охраной.

Весь день Александр Семенович хлопотал со своими помощниками, устанавливая камеры в бывшем зимнем саду-оранжерее Шереметевых... К вечеру все было го-

тово. Под стеклянным потолком загорелся белый, матовый шар, на кирпичах устанавливали камеры, и механик, приехавший с камерами, пощелкав и повертев блестящие винты, зажег на асбестовом полу в черных ящиках красный таинственный луч.

Александр Семенович хлопотал, сам влезал на лестницу, проверяя провода.

На следующий день вернулся со станции тот же полугрузовичок и выплюнул три ящика великолепной гладкой фанеры, кругом оклеенной ярлыками и белыми по черному фону надписями:

— Vorsicht: Eier!!

— Осторожно: яйца!!

— Что же так мало прислали? — удивлялся Александр Семенович, однако тотчас захлопотался и стал распаковывать яйца. Распаковывание происходило все в той же оранжерее, и принимали в нем участие: сам Александр Семенович, его необыкновенной толщины жена, Маня, кривой бывший садовник бывших Шереметевых, а ныне служащий в совхозе на универсальной должности сторожа, охранитель, обреченный на житье в совхозе, и уборщица Дуня. Это не Москва, и все здесь носило более простой, семейный и дружественный характер. Александр Семенович распоряжался, любовно посматривая на ящики, выглядевшие таким солидным компактным подарком, под нежным закатным светом верхних стекол оранжереи. Охранитель, винтовка которого мирно дремала у дверей, клещами взламывал скрепы и металлические обшивки. Стоял треск... Сыпалась пыль. Александр Семенович, шлепая сандалиями, суетился возле ящиков.

— Вы потише, пожалуйста,— говорил он охранителю.— Осторожнее. Что ж вы не видите — яйца?..

— Ничего,— хрипел уездный воин, буравя,— сейчас...

Тр-р-р...— и сыпалась пыль.

Яйца оказались упакованными превосходно: под деревянной крышкой был слой парафиновой бумаги, затем промокательной, затем следовал плотный слой стружек, затем опилки, и в них замелькали белые головки яиц.

— Заграничной упаковочки,— любовно говорил Александр Семенович, роясь в опилках,— это вам не то, что у нас. Маня, осторожнее, ты их побьешь.

— Ты, Александр Семенович, сдурел,— отвечала же-

на,— какое золото, подумаешь. Что я, никогда яиц не видала? Ой!.. какие большие!

— Заграница,— говорил Александр Семенович,— выкладывая яйца на деревянный стол,— разве это наши мужицкие яйца... Все, вероятно, брамапутры, черт их возьми! немецкие...

— Известное дело,— подтверждал охранитель, любуясь яйцами.

— Только не понимаю, чего они грязные,— говорил задумчиво Александр Семенович... Маня, ты присматривай, пускай дальше выгружают, а я иду на телефон.

И Александр Семенович отправился на телефон в контору совхоза через двор.

Вечером в кабинете зоологического института затрещал телефон. Профессор Персиков взъерошил волосы и подошел к аппарату.

— Ну? — спросил он.

— С вами сейчас будет говорить провинция,— тихо, с шипением отозвалась трубка женским голосом.

— Ну. Слушаю,— брезгливо спросил Персиков в черный рот телефона... В том что-то щелкало, а затем дальний мужской голос сказал в ухо встревоженно:

— Мыть ли яйца, профессор?

— Что такое? Что? Что вы спрашиваете? — раздражился Персиков,— откуда говорят?

— Из Никольского, Смоленской губернии,— ответила трубка.

— Ничего не понимаю. Никакого Никольского не знаю. Кто это?

— Рокк,— сурово сказала трубка.

— Какой Рокк? Ах, да... это вы... так вы что спрашиваете?

— Мыть ли их?.. прислали из-за границы мне партию курьих яиц...

— Ну?

— А они в грязюке в какой-то...

— Что-то вы путаете... Как они могут быть в «грязюке», как вы выражаетесь? Ну, конечно, может быть немного... помет присох... или что-нибудь еще...

— Так не мыть?

— Конечно, не нужно... Вы что, хотите уже заряжать яйцами камеры?

— Заряжаю. Да,— ответила трубка.

— Гм,— хмыкнул Персиков.

— Пока,— цокнула трубка и стихла.
— «Пока»,— с ненавистью повторил Персиков приват-доценту Иванову,— как вам нравится этот тип, Петр Степанович?
Иванов рассмеялся:
— Это он? Воображаю, что он там напечет из этих яиц.
— Д... д... д...— заговорил Персиков злобно,— вы вообразите, Петр Степанович... ну, прекрасно... очень возможно, что на дейтероплазму куриного яйца луч окажет такое же действие, как и на плазму голых. Очень возможно, что куры у него вылупятся. Но ведь ни вы, ни я не можем сказать, какие это куры будут... может быть, они ни к черту не годные куры. Может быть, они подохнут через два дня. Может быть, их есть нельзя! А разве я поручусь, что они будут стоять на ногах. Может быть, у них кости ломкие,— Персиков вошел в азарт и махал ладонью и загибал пальцы.
— Совершенно верно,— согласился Иванов.
— Вы можете поручиться, Петр Степанович, что они дадут поколение? Может быть, этот тип выведет стерильных кур. Догонит их до величины собаки, а потомства от них жди потом до второго пришествия.
— Нельзя поручиться,— согласился Иванов.
— И какая развязность,— расстраивал сам себя Персиков,— бойкость какая-то! И ведь заметьте, что этого прохвоста мне же поручено инструктировать.— Персиков указал на бумагу, доставленную Рокком (она валялась на экспериментальном столе)... а как я его буду, этого невежду, инструктировать, когда я сам по этому вопросу ничего сказать не могу.
— А отказаться нельзя было? — спросил Иванов.
Персиков побагровел, взял бумагу и показал ее Иванову. Тот прочел ее и иронически усмехнулся.
— М-да...— сказал он многозначительно.
— И ведь, заметьте... Я своего заказа жду два месяца, и о нем ни слуху ни духу. А этому моментально и яйца прислали, и вообще всяческое содействие...
— Ни черта у него не выйдет, Владимир Ипатьич. И просто кончится тем, что вернут нам камеры.
— Да если бы скорее, а то ведь они же мои опыты задерживают.
— Да вот это скверно. У меня все готово.
— Вы скафандры получили?

— Да, сегодня.

Персиков несколько успокоился и оживился.

— Угу... я думаю, мы так сделаем. Двери операционной можно будет наглухо закрыть, а окно мы откроем...

— Конечно,— согласился Иванов.

— Три шлема?

— Три. Да.

— Ну вот-с... Вы, стало быть, я и кого-нибудь из студентов можно назвать. Дадим ему третий шлем.

— Гринмута можно.

— Это который у вас сейчас над саламандрами работает?.. гм... он ничего... хотя, позвольте, весной он не мог сказать, как устроен плавательный пузырь у голозубых,— злопамятно добавил Персиков.

— Нет, он ничего... Он хороший студент,— заступился Иванов.

— Придется уж не поспать одну ночь,— продолжал Персиков,— только вот что, Петр Степанович, вы проверьте газ, а то черт их знает, эти доброхимы ихние. Пришлют какую-нибудь гадость.

— Нет, нет,— и Иванов замахал руками,— вчера я уже пробовал. Нужно отдать им справедливость, Владимир Ипатьич, превосходный газ.

— Вы на ком пробовали?

— На обыкновенных жабах. Пустишь струйку — мгновенно умирают. Да, Владимир Ипатьич, мы еще так сделаем. Вы напишите отношение в Гепеу, чтобы вам прислали электрический революер.

— Да я не умею с ним обращаться...

— Я на себя беру,— ответил Иванов,— мы на Клязьме из него стреляли, шутки ради... так один гепеур рядом со мной жил. Замечательная штука. И просто чрезвычайно... Бьет бесшумно, шагов на сто и наповал. Мы в ворон стреляли... По-моему, даже и газа не нужно.

— Гм...— это остроумная идея... Очень,— Персиков пошел в угол, взял трубку и квакнул...

— Дайте-ка мне эту, как ее... Лубянку...

* * *

Дни стояли жаркие до чрезвычайности. Над полями видно было ясно, как переливался прозрачный, жирный зной. А ночи чудные, обманчивые, зеленые. Луна светила

и такую красоту навела на бывшее именье Шереметевых, что ее невозможно выразить. Дворец-совхоз, словно сахарный, светился, в парке тени дрожали, а пруды стали двухцветными пополам — косяком лунный столб, а половина бездонная тьма. В пятнах луны можно было свободно читать «Известия», за исключением шахматного отдела, набранного мелкой нонпарелью. Но в такие ночи никто «Известия», понятное дело, не читал... Дуня, уборщица, оказалась в роще за совхозом, и там же оказался, вследствие совпадения, рыжеусый шофер потрепанного совхозского полугрузовичка. Что они там делали — неизвестно. Приютились они в непрочной тени вяза, прямо на разостланном кожаном пальто шофера. В кухне горела лампочка, там ужинали два огородника, а мадам Рокк в белом капоте сидела на колонной веранде и мечтала, глядя на красавицу луну.

В 10 часов вечера, когда замолкли звуки в деревне Концовке, расположенной за совхозом, идиллический пейзаж огласился прелестными, нежными звуками флейты. Выразить немыслимо, до чего они были уместны над рощами и бывшими колоннами Шереметевского дворца. Хрупкая Лиза из «Пиковой Дамы» смешала в дуэте свой голос с голосом страстной Полины и унеслась в лунную высь, как видение старого и все-таки бесконечно милого, до слез очаровывающего режима.

Угасают... Угасают...—

свистала, переливая и вздыхая, флейта.

Замерли рощи, и Дуня, гибельная, как лесная русалка, слушала, приложив щеку к жесткой, рыжей и мужественной щеке шофера.

— А хорошо дудит, сукин сын,— сказал шофер, обнимая Дуню за талию мужественной рукой.

Играл на флейте сам заведующий совхозом Александр Семенович Рокк, и играл, нужно отдать ему справедливость, превосходно. Дело в том, что некогда флейта была специальностью Александра Семеновича. Вплоть до 1917 года он служил в известном концертном ансамбле маэстро Петухова, ежевечерно оглашающем стройными звуками фойе уютного кинематографа «Волшебные Грезы» в городе Екатеринославе. Но великий 1917 год, переломивший карьеру многих людей, и Александра Семеновича повел по новым путям. Он покинул «Волшебные Грезы» и пыльный звездный сатин в фойе и бросил-

ся в открытое море войны и революции, сменив флейту на губительный маузер. Его долго швыряло по волнам, неоднократно выплескивая то в Крыму, то в Москве, то в Туркестане, то даже во Владивостоке. Нужна была именно революция, чтобы вполне выявить Александра Семеновича. Выяснилось, что этот человек положительно велик, и, конечно, не в фойе «Грез» ему сидеть. Не вдаваясь в долгие подробности, скажем, что последний 1927 и начало 28-го года застали Александра Семеновича в Туркестане, где он, во-первых, редактировал огромную газету, а засим, как местный член высшей хозяйственной комиссии, прославился своими изумительными работами по орошению туркестанского края. В 1928 году Рокк прибыл в Москву и получил вполне заслуженный отдых. Высшая комиссия той организации, билет которой с честью носил в кармане провинциально-старомодный человек, оценила его и назначила ему должность спокойную и почетную. Увы! Увы! На горе республике кипучий мозг Александра Семеновича не потух, в Москве Рокк столкнулся с изобретением Персикова, и в номерах на Тверской «Красный Париж» родилась у Александра Семеновича идея, как при помощи луча Персикова возродить в течение месяца кур в республике. Рокка выслушали в комиссии животноводства, согласились с ним, и Рокк пришел с плотной бумагой к чудаку зоологу.

Концерт над стеклянными водами и рощами и парком уже шел к концу, как вдруг произошло нечто, которое прервало его раньше времени. Именно, в Концовке собаки, которым по времени уже следовало бы спать, подняли вдруг невыносимый лай, который постепенно перешел в общий мучительнейший вой. Вой, разрастаясь, полетел по полям, и вою вдруг ответил трескучий, в миллион голосов, концерт лягушек на прудах. Все это было так жутко, что показалось даже на мгновенье, будто померкла таинственная колдовская ночь.

Александр Семенович оставил флейту и вышел на веранду.

— Маня, ты слышишь? Вот проклятые собаки... Чего они, как ты думаешь, разбесились?

— Откуда я знаю? — ответила Маня, глядя на луну.

— Знаешь, Манечка, пойдем посмотрим на яички,— предложил Александр Семенович.

— Ей-богу, Александр Семенович, ты совсем помешался со своими яйцами и курами. Отдохни ты немножко!

— Нет, Манечка, пойдем.

В оранжерее горел яркий шар. Пришла и Дуня с горящим лицом и блистающими глазами. Александр Семенович нежно открыл контрольные стекла, и все стали заглядывать внутрь камер. На белом асбестовом полу лежали правильными рядами испещренные пятнами ярко-красные яйца, в камерах было беззвучно... а шар вверху в 15.000 свечей тихо шипел...

— Эх, выведу я цыпляток! — с энтузиазмом говорил Александр Семенович, заглядывая то сбоку в контрольные прорезы, то сверху, через широкие вентиляционные отверстия,— вот увидите... Что? Не выведу?

— А вы знаете, Александр Семенович,— сказала Дуня, улыбаясь,— мужики в Концовке говорили, что вы антихрист. Говорят, что ваши яйца дьявольские. Грех машиной выводить. Убить вас хотели.

Александр Семенович вздрогнул и повернулся к жене. Лицо его пожелтело.

— Ну, что вы скажете? Вот народ! Ну, что вы сделаете с таким народом? А? Манечка, надо будет им собрание сделать... Завтра вызову из уезда работников. Я им сам скажу речь. Надо будет вообще тут поработать... А то это медвежий какой-то угол...

— Темнота,— молвил охранитель, расположившийся на своей шинели у двери оранжереи.

Следующий день ознаменовался страннейшими и необъяснимыми происшествиями. Утром, при первом же блеске солнца, рощи, которые приветствовали обычно светило неумолчным и мощным стрекотанием птиц, встретили его полным безмолвием. Это было замечено решительно всеми. Словно перед грозой. Но никакой грозы и в помине не было. Разговоры в совхозе приняли странный и двусмысленный для Александра Семеновича оттенок и в особенности потому, что со слов дяди, по прозвищу Козий Зоб, известного смутьяна и мудреца из Концовки, стало известно, что, якобы, все птицы собрались в косяки и на рассвете убрались куда-то из Шереметева вон, на север, что было просто глупо. Александр Семенович очень расстроился и целый день потратил на то, чтобы созвониться с городом Грачевкой. Оттуда обещали Александру Семеновичу прислать дня

через два ораторов на две темы — международное положение и вопрос о Доброкуре.

Вечер тоже был не без сюрпризов. Если утром умолкли рощи, показав вполне ясно, как подозрительно неприятна тишина среди деревьев, если в полдень убрались куда-то воробьи с совхозовского двора, то к вечеру умолк пруд в Шереметевке. Это было поистине изумительно, ибо всем в окрестностях на сорок верст было превосходно известно знаменитое стрекотание шереметевских лягушек. А теперь они словно вымерли. С пруда не доносилось ни одного голоса, и беззвучно стояла осока. Нужно признаться, что Александр Семенович окончательно расстроился. Об этих происшествиях начали толковать, и толковать самым неприятным образом, т. е. за спиной Александра Семеновича.

— Действительно это странно,— сказал за обедом Александр Семенович жене,— я не могу понять, зачем этим птицам понадобилось улетать?

— Откуда я знаю? — ответила Маня.— Может быть, от твоего луча?

— Ну ты, Маня, обыкновеннейшая дура,— ответил Александр Семенович, бросив ложку,— ты — как мужики. При чем здесь луч?

— А я не знаю. Оставь меня в покое.

Вечером произошел третий сюрприз — опять взвыли собаки в Концовке, и ведь как! Над лунными полями стоял непрерывный стон, злобные, тоскливые стенания.

Вознаградил себя несколько Александр Семенович еще сюрпризом, но уже приятным, а именно в оранжерее. В камерах начал слышаться беспрерывный стук в красных яйцах. Токи... токи... токи... токи... стучало то в одном, то в другом, то в третьем яйце.

Стук в яйцах был триумфальным стуком для Александра Семеновича. Тотчас были забыты странные происшествия в роще и на пруде. Сошлись все в оранжерее: и Маня, и Дуня, и сторож, и охранитель, оставивший винтовку у двери.

— Ну, что? Что вы скажете? — победоносно спрашивал Александр Семенович.— Все с любопытством наклоняли уши к дверцам первой камеры.— Это они клювами стучат, цыплятки,— продолжал сияя Александр Семенович.— Не выведу цыпляток, скажете? Нет, дорогие мои.— И от избытка чувств он похлопал охранителя по плечу.— Выведу таких, что вы ахнете. Теперь мне в оба

смотреть,— строго добавил он.— Чуть только начнут вылупливаться, сейчас же мне дать знать.

— Хорошо,— хором ответили сторож, Дуня и охранитель.

Таки... таки... таки...— закипало то в одном, то в другом яйце первой камеры. Действительно, картина на глазах нарождающейся новой жизни в тонкой, отсвечивающей кожуре была настолько интересна, что все общество еще долго просидело на опрокинутых пустых ящиках, глядя, как в загадочном мерцающем свете созревали малиновые яйца. Разошлись спать довольно поздно, когда над совхозом и окрестностями разлилась зеленоватая ночь. Была она загадочна и даже, можно сказать, страшна, вероятно потому, что нарушал ее полное молчание то и дело начинающийся беспричинный тоскливейший и ноющий вой собак в Концовке. Чего бесились проклятые псы — совершенно неизвестно.

Наутро Александра Семеновича ожидала неприятность. Охранитель был крайне сконфужен, руки прикладывал к сердцу, клялся и божился, что не спал, но ничего не заметил.

— Непонятное дело,— уверял охранитель,— я тут непричинен, товарищ Рокк.

— Спасибо вам, и от души благодарен,— распекал его Александр Семенович,— что вы, товарищ, думаете? Вас зачем приставили? Смотреть. Так вы мне и скажите, куда они делись? Ведь вылупились они? Значит, удрали. Значит, вы дверь оставили открытой да и ушли себе сами. Чтоб были мне цыплята!

— Некуда мне ходить. Что я, своего дела не знаю,— обиделся наконец воин,— что вы меня попрекаете даром, товарищ Рокк!

— Куды ж они подевались?

— Да я почем знаю,— взбесился наконец воин,— что я их, укараулю разве? Я зачем приставлен. Смотреть, чтобы камеры никто не упер, я и исполняю свою должность. Вот вам камеры. А ловить ваших цыплят я не обязан по закону. Кто его знает, какие у вас цыплята вылупятся, может, их на велосипеде не догонишь!

Александр Семенович несколько осекся, побурчал еще что-то и впал в состояние изумления. Дело-то на самом деле было странное. В первой камере, которую зарядили раньше всех, два яйца, помещающиеся у самого основания луча, оказались взломанными. И одно из них

даже откатилось в сторону. Скорлупа валялась на асбестовом полу, в луче.

— Черт их знает,— бормотал Александр Семенович,— окна заперты, не через крышу же они улетели!

Он задрал голову и посмотрел туда, где в стеклянном переплете крыши было несколько широких дыр.

— Что вы, Александр Семенович,— крайне удивилась Дуня,— станут вам цыплята летать. Они тут где-нибудь... цып... цып... цып...— начала она кричать и заглядывать в углы оранжереи, где стояли пыльные цветочные вазоны, какие-то доски и хлам. Но никакие цыплята нигде не отзывались.

Весь состав служащих часа два бегал по двору совхоза, разыскивая проворных цыплят, и нигде ничего не нашел. День прошел крайне возбужденно. Караул камер был увеличен еще сторожем и тому был дан строжайший приказ каждые четверть часа заглядывать в окна камер и, чуть что, звать Александра Семеновича. Охранитель сидел насупившись у дверей, держа винтовку между колен. Александр Семенович совершенно захлопотался и только во втором часу дня пообедал. После обеда он поспал часок в прохладной тени на бывшей оттоманке Шереметева, напился совхозовского сухарного кваса, сходил в оранжерею и убедился, что теперь там все в полном порядке. Старик сторож лежал животом на рогоже и, мигая, смотрел в контрольное стекло первой камеры. Охранитель бодрствовал, не уходя от дверей.

Но были и новости: яйца в третьей камере, заряженные позже всех, начали как-то причмокивать и цокать, как будто внутри их кто-то всхлипывал.

— Ух, зреют,— сказал Александр Семенович,— вот это зреют, теперь вижу. Видал? — отнесся он к сторожу.

— Да, дело замечательное,— ответил тот, качая головой и совершенно двусмысленным тоном.

Александр Семенович посидел немного у камер, но при нем никто не вылупился, он поднялся с корточек, размялся и заявил, что из усадьбы никуда не уходит, а только пройдет на пруд выкупаться и чтобы его, в случае чего, немедленно вызвали. Он сбегал во дворец в спальню, где стояли две узких пружинных кровати со скомканным бельем и на полу была навалена груда зеленых яблоков и горы проса, приготовленного для будущих выводков, вооружился мохнатым полотенцем, а, подумав, захватил с собой и флейту, с тем, чтобы на досу-

ге поиграть над водною гладью. Он бодро выбежал из дворца, пересек двор совхоза и по ивовой аллейке направился к пруду. Бодро шел Рокк, помахивая полотенцем и держа флейту под мышкой. Небо изливало зной сквозь ивы, и тело ныло и просилось в воду. На правой руке у Рокка началась заросль лопухов, в которую он, проходя, плюнул. И тотчас в глубине разлапистой путаницы послышалось шуршанье, как будто кто-то поволок бревно. Почувствовав мимолетное неприятное сосание в сердце, Александр Семенович повернул голову к заросли и посмотрел с удивлением. Пруд уже два дня не отзывался никакими звуками. Шуршание смолкло, поверх лопухов мелькнула привлекательно гладь пруда и серая крыша купаленки. Несколько стрекоз метнулись перед Александром Семеновичем. Он уже хотел повернуть к деревянным мосткам, как вдруг шорох в зелени повторился и к нему присоединилось короткое сипенье, как будто высочилось масло и пар из паровоза. Александр Семенович насторожился и стал всматриваться в глухую стену сорной заросли.

— Александр Семенович,— прозвучал в этот момент голос жены Рокка, и белая ее кофточка мелькнула, скрылась, но опять — мелькнула в малиннике.— Подожди, я тоже пойду купаться.

Жена спешила к пруду, но Александр Семенович ничего ей не ответил, весь приковавшись к лопухам. Сероватое и оливковое бревно начало подниматься из их чащи, вырастая на глазах. Какие-то мокрые желтоватые пятна, как показалось Александру Семеновичу, усеивали бревно. Оно начало вытягиваться, изгибаясь и шевелясь, и вытянулось так высоко, что перегнало низенькую корявую иву... Затем верх бревна надломился, немного склонился и над Александром Семеновичем оказалось что-то, напоминающее по высоте электрический московский столб. Но только это что-то было раза в три толще столба и гораздо красивее его, благодаря чешуйчатой татуировке. Ничего еще не понимая, но уже холодея, Александр Семенович глянул на верх ужасного столба, и сердце в нем на несколько секунд прекратило бой. Ему показалось, что мороз ударил внезапно в августовский день, а перед глазами стало так сумеречно, точно он глядел на солнце сквозь летние штаны.

На верхнем конце бревна оказалась голова. Она была сплющена, заострена и украшена желтым круглым пят-

ном по оливковому фону. Лишенные век, открытые ледяные и узкие глаза сидели в крыше головы, и в глазах этих мерцала совершенно невиданная злоба. Голова сделала такое движение, словно клюнула воздух, весь столб вобрался в лопухи, и только одни глаза остались и, не мигая, смотрели на Александра Семеновича. Тот, покрытый липким потом, произнес четыре слова, совершенно невероятных и вызванных сводящим с ума страхом. Настолько уж хороши были эти глаза между листьями.

— Что это за шутки...

Затем ему вспомнилось, что факиры... да... да... Индия... плетеная корзинка и картинка... Заклинают.

Голова вновь извилась, и стало выходить и туловище. Александр Семенович поднес флейту к губам, хрипло пискнул и заиграл, ежесекундно задыхаясь, вальс из «Евгения Онегина». Глаза в зелени тотчас же загорелись непримиримою ненавистью к этой опере.

— Что ты, одурел, что играешь на жаре? — послышался веселый голос Мани, и где-то краем глаза справа уловил Александр Семенович белое пятно.

Затем истошный визг пронизал весь совхоз, разросся и взлетел, а вальс запрыгал, как с перебитой ногой. Голова из зелени рванулась вперед, глаза ее покинули Александра Семеновича, отпустив его душу на покаяние. Змея приблизительно в пятнадцать аршин и толщиной в человека, как пружина, выскочила из лопухов. Туча пыли брызнула с дороги, и вальс кончился. Змея махнула мимо заведующего совхозом прямо туда, где была белая кофточка на дороге. Рокк видел совершенно отчетливо: Маня стала желто-белой, и ее длинные волосы, как проволочные, поднялись на пол-аршина над головой. Змея на глазах Рокка, раскрыв на мгновение пасть, из которой вынырнуло что-то похожее на вилку, ухватила зубами Маню, оседающую в пыль, за плечо, так, что вздернула ее на аршин над землей. Тогда Маня повторила режущий предсмертный крик. Змея извернулась пятисаженным винтом, хвост ее взмел смерч, и стала Маню давить. Та больше не издала ни одного звука, и только Рокк слушал, как лопались ее кости. Высоко над землей взметнулась голова Мани, нежно прижавшись к змеиной щеке. Изо рта у Мани плеснуло кровью, выскочила сломанная рука и из-под ногтей брызнули фонтанчики крови. Затем змея, вывихнув челюсти, раскрыла пасть и разом надела свою голову на голову Мани и стала на-

лезать на нее, как перчатка на палец. От змеи во все стороны било такое жаркое дыхание, что оно коснулось лица Рокка, а хвост чуть не смел его с дороги в едкой пыли. Вот тут-то Рокк и поседел. Сначала левая и потом правая половина его черной, как сапог, головы покрылась серебром. В смертной тошноте он оторвался, наконец, от дороги и, ничего и никого не видя, оглашая окрестности диким ревом, бросился бежать...

Глава IX
ЖИВАЯ КАША

Агент государственного политического управления на станции Дугино, Щукин был очень храбрым человеком. Он задумчиво сказал своему товарищу, рыжему Полайтису:

— Ну что ж, поедем. А? Давай мотоцикл,— потом помолчал и добавил, обращаясь к человеку, сидящему на лавке: — Флейту-то положите.

Но седой трясущийся человек на лавке, в помещении дугинского ГПУ, флейты не положил, а заплакал и замычал. Тогда Щукин и Полайтис поняли, что флейту нужно вынуть. Пальцы присохли к ней. Щукин, отличавшийся огромной, почти цирковой, силой, стал палец за пальцем отгибать и отогнул все. Тогда флейту положили на стол.

Это было ранним солнечным утром следующего за смертью Мани дня.

— Вы поедете с нами,— сказал Щукин, обращаясь к Александру Семеновичу,— покажете нам где и что,— но Рокк в ужасе отстранился от него и руками закрылся, как от страшного видения.

— Нужно показать,— добавил сурово Полайтис.

— Нет, оставь его. Видишь, человек не в себе.

— Отправьте меня в Москву,— плача, попросил Александр Семенович.

— Вы разве совсем не вернетесь в совхоз?

Рокк вместо ответа опять заслонился руками, и ужас потек из его глаз.

— Ну, ладно,— решил Щукин,— вы действительно не в силах... Я вижу. Сейчас курьерский пойдет, с ним и поезжайте.

Затем у Щукина с Полайтисом, пока сторож станци-

онный отпаивал Александра Семеновича водой и тот лязгал зубами по синей выщербленной кружке, произошло совещание. Полайтис полагал, что вообще ничего этого не было, а просто-напросто Рокк душевнобольной и у него была страшная галлюцинация. Щукин же склонялся к мысли, что из города Грачевки, где в настоящий момент гастролировал цирк, убежал удав-констриктор. Услыхав их сомневающийся шепот, Рокк привстал. Он несколько пришел в себя и сказал, простирая руки, как библейский пророк:

— Слушайте меня. Слушайте. Что же вы не верите? Она была. Где же моя жена?

Щукин стал молчалив и серьезен и немедленно дал в Грачевку какую-то телеграмму. Третий агент, по распоряжению Щукина, стал неотступно находиться при Александре Семеновиче и должен был сопровождать его в Москву. Щукин же с Полайтисом стали готовиться к экспедиции. У них был всего один электрический револьвер, но и это уже была хорошенькая защита. Пятидесятизарядная модель 27-го года, гордость французской техники для близкого боя, била всего на сто шагов, но давала поле 2 метра в диаметре, и в этом поле все живое убивала наповал. Промахнуться было очень трудно. Щукин надел блестящую электрическую игрушку, а Полайтис обыкновенный 25-зарядный поясной пулеметик, взял обоймы, и на одном мотоцикле, по утренней росе и холодку, они по шоссе покатились к совхозу. Мотоцикл простучал 20 верст, отделявших станцию от совхоза, в четверть часа (Рокк шел всю ночь, то и дело прячась, в припадках смертного страха, в придорожную траву), и, когда солнце начало значительно припекать, на пригорке, под которым вилась речка Топь, глянул сахарный с колоннами дворец в зелени. Мертвая тишина стояла вокруг. У самого подъезда к совхозу агенты обогнали крестьянина на подводе. Тот плелся не спеша, нагруженный какими-то мешками, и вскоре остался позади. Мотоциклетка пробежала по мосту, и Полайтис затрубил в рожок, чтобы вызвать кого-нибудь. Но никто и нигде не отозвался, за исключением отдаленных остервенившихся собак в Концовке. Мотоцикл, замедляя ход, подошел к воротам с позеленевшими львами. Запыленные агенты, в желтых гетрах, соскочили, прицепили цепью с замком к переплету решетки машину и вошли во двор. Тишина их поразила.

— Эй, кто тут есть! — окликнул Щукин громко.

Но никто не отозвался на его бас. Агенты обошли двор кругом, все более удивляясь. Полайтис нахмурился. Щукин стал посматривать серьезно, все более хмуря светлые брови. Заглянули через закрытое окно в кухню и увидали, что там никого нет, но весь пол усеян белыми осколками посуды.

— Ты знаешь, что-то действительно у них случилось. Я теперь вижу. Катастрофа,— молвил Полайтис.

— Эй, кто там есть! Эй! — кричал Щукин, но ему отвечало только эхо под сводами кухни.

— Черт их знает! — ворчал Щукин.— Ведь не могла же она слопать их всех сразу. Или разбежались. Идем в дом.

Дверь во дворце с колонной верандой была открыта настежь, и в нем было совершенно пусто. Агенты прошли даже в мезонин, стучали и открывали все двери, но ничего решительно не добились и через вымершее крыльцо вновь вышли во двор.

— Обойдем кругом. К оранжереям,— распорядился Щукин,— все обшарим, а там можно будет протелефонировать.

По кирпичной дорожке агенты прошли, минуя клумбы, на задний двор, пересекли его и увидали блещущие стекла оранжереи.

— Погоди-ка,— заметил шепотом Щукин и отстегнул с пояса револьвер. Полайтис насторожился и снял пулеметик. Странный и очень зычный звук тянулся в оранжерее и где-то за нею. Похоже было, что где-то шипит паровоз. Зау-зау... зау-зау... с-с-с-с-с... шипела оранжерея.

— А ну-ка, осторожно,— шепнул Щукин, и, стараясь не стучать каблуками, агенты придвинулись к самым стеклам и заглянули в оранжерею.

Тотчас Полайтис откинулся назад, и лицо его стало бледно. Щукин открыл рот и застыл с револьвером в руке.

Вся оранжерея жила как червивая каша. Свиваясь и развиваясь в клубки, шипя и разворачиваясь, шаря и качая головами, по полу оранжереи ползли огромные змеи. Битая скорлупа валялась на полу и хрустела под их телами. Сверху бледно горел огромной силы электрический шар, и от этого вся внутренность оранжереи освещалась странным кинематографическим светом. На полу

торчали три темных, словно фотографических, огромных ящика, два из них, сдвинутые и покосившиеся, потухли, а в третьем горело небольшое густо-малиновое пятно. Змеи всех размеров ползли по проводам, поднимались по переплетам рам, вылезали через отверстия в крыше. На самом электрическом шаре висела совершенно черная, пятнистая змея в несколько аршин, и голова ее качалась у шара, как маятник. Какие-то погремушки звякали в шипении, из оранжереи тянуло странным гнилостным, словно прудовым, запахом. И еще смутно разглядели агенты кучи белых яиц, валяющиеся в пыльных углах, и странную гигантскую голенастую птицу, лежащую неподвижно у камер, и труп человека в сером у двери, рядом с винтовкой.

— Назад,— крикнул Щукин и стал пятиться, левой рукою отдавливая Полайтиса и поднимая правою револьвер. Он успел выстрелить раз девять, прошипев и выбросив около оранжереи зеленоватую молнию. Звук страшно усилился, и в ответ на стрельбу Щукина вся оранжерея пришла в бешеное движение, и плоские головы замелькали во всех дырах. Гром тотчас же начал скакать по всему совхозу и играть отблесками на стенках. Чах-чах-чах-тах,— стрелял Полайтис, отступая задом. Странный, четырехлапый, шорох послышался за спиной, и Полайтис вдруг страшно крикнул, падая навзничь. Существо на вывернутых лапах, коричнево-зеленого цвета, с громадной острой мордой, с гребенчатым хвостом, похожее на страшных размеров ящерицу, выкатилось из-за угла сарая и, яростно перекусив ногу Полайтиса, сбило его на землю.

— Помоги,— крикнул Полайтис, и тотчас левая рука его попала в пасть и хрустнула, правой рукой он, тщетно пытался поднять ее, повез револьвером по земле. Щукин обернулся и заметался. Раз он успел выстрелить, но сильно взял в сторону, потому что боялся убить товарища. Второй раз он выстрелил по направлению оранжереи, потому что оттуда среди небольших змеиных морд высунулась одна огромная, оливковая, и туловище выскочило прямо по направлению к нему. Этим выстрелом он гигантскую змею убил и опять, прыгая и вертясь возле Полайтиса, полумертвого уже в пасти крокодила, выбирал место куда бы выстрелить, чтобы убить страшного гада, не тронув агента. Наконец это ему удалось. Из электроревольвера хлопнуло два раза, осветив вокруг

все зеленоватым светом, и крокодил, прыгнув, вытянулся, окоченев, и выпустил Полайтиса. Кровь у него текла из рукава, текла изо рта, и он, припадая на правую здоровую руку, тянул переломленную левую ногу. Глаза его угасали.

— Щукин... беги,— промычал он, всхлипывая.

Щукин выстрелил несколько раз по направлению оранжереи, и в ней вылетело несколько стекол. Но огромная пружина, оливковая и гибкая, сзади, выскочив из подвального окна, перескользнула двор, заняв его весь пятисаженным телом, и во мгновение обвила ноги Щукина. Его швырнуло вниз на землю, и блестящий револьвер отпрыгнул в сторону. Щукин крикнул мощно, потом задохся, потом кольца скрыли его совершенно, кроме головы. Кольцо прошло раз по голове, сдирая с нее скальп, и голова эта треснула. Больше в совхозе не послышалось ни одного выстрела. Все погасил шипящий, покрывающий звук. И в ответ ему очень далеко по ветру донесся из Концовки вой, но теперь уже нельзя было разобрать, чей это вой, собачий или человечий.

Глава X
КАТАСТРОФА

В ночной редакции газеты «Известия» ярко горели шары и толстый выпускающий редактор на свинцовом столе верстал вторую полосу с телеграммами: «По Союзу Республик». Одна гранка попалась ему на глаза, он всмотрелся в нее через пенсне и захохотал, созвал вокруг себя корректоров из корректорской и метранпажа и всем показал эту гранку. На узенькой полоске сырой бумаги было напечатано:

«Грачевка, Смоленской губернии. В уезде появилась курица величиною с лошадь и лягается, как конь. Вместо хвоста у нее буржуазные дамские перья».

Наборщики страшно хохотали.

— В мое время,— заговорил выпускающий, хихикая жирно,— когда я работал у Вани Сытина в «Русском Слове», допивались до слонов. Это верно. А теперь, стало быть, до страусов.

Наборщики хохотали.

— А ведь верно, страус,— заговорил метранпаж,— что же ставить, Иван Вонифатьевич?

— Да что ты, сдурел,— ответил выпускающий,— я удивляюсь, как секретарь пропустил,— просто пьяная телеграмма.

— Попраздновали, это верно,— согласились наборщики, и метранпаж убрал со стола сообщение о страусе.

Поэтому «Известия» и вышли на другой день, содержа, как обыкновенно, массу интересного материала, но без каких бы то ни было намеков на грачевского страуса. Приват-доцент Иванов, аккуратно читающий «Известия» у себя в кабинете, свернул лист, зевнув, молвил: «ничего интересного»,— и стал надевать белый халат. Через некоторое время в кабинете у него загорелись горелки и заквакали лягушки. В кабинете же профессора Персикова была кутерьма. Испуганный Панкрат стоял и держал руки по швам.

— Понял... слушаю-с,— говорил он.

Персиков запечатанный сургучом пакет вручил ему, говоря:

— Поедешь прямо в отдел животноводства к этому заведующему Птахе и скажешь ему прямо, что он — свинья. Скажи, что я так, профессор Персиков, так и сказал. И пакет ему отдай.

«Хорошенькое дело...» — подумал бледный Панкрат и убрался с пакетом.

Персиков бушевал.

— Это черт знает что такое,— скулил он, разгуливая по кабинету и потирая руки в перчатках,— это неслыханное издевательство надо мной и над зоологией. Эти проклятые куриные яйца везут грудами, а я 2 месяца не могу добиться необходимого. Словно до Америки далеко! Вечная кутерьма, вечное безобразие,— он стал считать по пальцам: ловля... ну, десять дней самое большее, ну, хорошо — пятнадцать... ну, хорошо, двадцать и перелет два дня, из Лондона в Берлин день... Из Берлина к нам шесть часов... какое-то неописуемое безобразие...

Он яростно набросился на телефон и стал куда-то звонить.

В кабинете у него было все готово для каких-то таинственных и опаснейших опытов, лежала полосами нарезанная бумага для заклейки дверей, лежали водолазные шлемы с отводными трубками и несколько баллонов, блестящих, как ртуть, с этикеткою «Доброхим», «Не прикасаться» и рисунком черепа со скрещенными костями.

Понадобилось по меньшей мере три часа, чтоб про-

фессор успокоился и приступил к мелким работам. Так он и сделал. В институте он работал до одиннадцати часов вечера; и поэтому ни о чем не знал, что творится за кремовыми стенами. Ни нелепый слух, пролетевший по Москве о каких-то змеях, ни странная выкрикнутая телеграмма в вечерней газете ему остались неизвестны, потому что доцент Иванов был в Художественном театре на «Федоре Иоанновиче», и, стало быть, сообщить новость профессору было некому.

Персиков около полуночи приехал на Пречистенку и лег спать, почитав еще на ночь в кровати какую-то английскую статью в журнале «Зоологический Вестник», полученном из Лондона. Он спал, да спала и вся вертящаяся до поздней ночи Москва, и не спал лишь громадный серый корпус на Тверской улице во дворе, где страшно гудели, потрясая все здание, ротационные машины «Известий». В кабинете выпускающего происходила невероятная кутерьма и путаница. Он совершенно бешеный, с красными глазами метался, не зная что делать, и посылал всех к чертовой матери. Метранпаж ходил за ним и, дыша винным духом, говорил:

— Ну что же, Иван Вонифатьевич, не беда, пускай завтра утром выпускают экстренное приложение. Не из машины же номер выдирать.

Наборщики не разошлись домой, а ходили стаями, сбивались кучами и читали телеграммы, которые шли теперь всю ночь напролет, через каждые четверть часа, становясь все чудовищнее и страннее. Острая шляпа Альфреда Бронского мелькала в ослепительном розовом свете, заливавшем типографию, и механический толстяк скрипел и ковылял, показываясь то здесь, то там. В подъезде хлопали двери, и всю ночь появлялись репортеры. По всем 12 телефонам типографии звонили непрерывно, и станции почти механически подавали в ответ на загадочные трубки «занято», «занято», и на станции перед бессонными барышнями пели и пели сигнальные рожки...

Наборщики облепили механического толстяка, и капитан дальнего плавания говорил им:

— Аэропланы с газом придется посылать.

— Не иначе,— отвечали наборщики,— ведь это что ж такое? — Затем страшная матерная ругань перекатывалась в воздухе и чей-то визгливый голос кричал:

— Этого Персикова расстрелять надо.

— При чем тут Персиков,— отвечали из гущи,— этого сукина сына в совхозе — вот кого расстрелять.

— Охрану надо было поставить,— выкрикивал кто-то.

— Да, может, это вовсе и не яйца.

Все здание тряслось и гудело от ротационных колес, и создавалось такое впечатление, что серый, неприглядный корпус полыхает электрическим пожаром.

Занявшийся день не остановил его. Напротив, только усилил, хоть и электричество погасло. Мотоциклетки одна за другой выкатывались в асфальтовый двор, вперемежку с автомобилями. Вся Москва встала, и белые листы газеты одели ее, как птицы. Листы сыпались и шуршали у всех в руках, и у газетчиков к одиннадцати часам дня не хватило номеров, несмотря на то что «Известия» выходили в этом месяце с тиражом в полтора миллиона экземпляров. Профессор Персиков выехал с Пречистенки на автобусе и прибыл в институт. Там его ожидала новость. В вестибюле стояли аккуратно обшитые металлическими полосами деревянные ящики в количестве трех штук, испещренные заграничными наклейками на немецком языке, и над ними царствовала одна русская меловая надпись: «Осторожно — яйца».

Бурная радость овладела профессором.

— Наконец-то! — вскричал он.— Панкрат, взламывай ящики немедленно и осторожно, чтобы не побить. Ко мне в кабинет.

Панкрат немедленно исполнил приказание, и через четверть часа в кабинете профессора, усеянном опилками и обрывками бумаги, забушевал его голос.

— Да они что же, издеваются надо мною, что ли?! — выл профессор, потрясая кулаками и вертя в руках яйца.— Это какая-то скотина, а не Птаха. Я не позволю смеяться надо мной. Это что такое, Панкрат?

— Яйца-с,— отвечал Панкрат горестно.

— Куриные, понимаешь, куриные, черт бы их задрал! На какого дьявола они мне нужны. Пусть посылают их этому негодяю в его совхоз!

Персиков бросился в угол к телефону, но не успел позвонить.

— Владимир Ипатьич! Владимир Ипатьич! — загремел в коридоре института голос Иванова.

Персиков оторвался от телефона, и Панкрат стрельнул в сторону, давая дорогу приват-доценту. Тот вбежал в кабинет, вопреки своему джентльменскому обычаю, не

снимая серой шляпы, сидящей на затылке, и с газетным листом в руках.

— Вы знаете, Владимир Ипатьич, что случилось? — выкрикивал он и взмахнул перед лицом Персикова листом с надписью: «Экстренное приложение», посредине которого красовался яркий цветной рисунок.

— Нет, выслушайте, что они сделали! — в ответ закричал, не слушая, Персиков.— Они меня вздумали удивить куриными яйцами. Этот Птаха форменный идиот, посмотрите!

Иванов совершенно ошалел. Он в ужасе уставился на вскрытые ящики, потом на лист, затем глаза его почти выпрыгнули с лица.

— Так вот что,— задыхаясь забормотал он,— теперь я понимаю... Нет, Владимир Ипатьич, вы только гляньте,— он мгновенно развернул лист и дрожащими пальцами указал Персикову на цветное изображение. На нем, как страшный пожарный шланг, извивалась оливковая, в желтых пятнах змея, в странной смазанной зелени. Она была снята сверху, с легонькой летательной машины, осторожно скользнувшей над змеей.— Кто это, по-вашему, Владимир Ипатьич?

Персиков сдвинул очки на лоб, потом передвинул их на глаза, всмотрелся в рисунок и сказал в крайнем удивлении:

— Что за черт. Это... да это анаконда, водяной удав...

Иванов сбросил шляпу, опустился на стул и сказал, выстукивая каждое слово кулаком по столу:

— Владимир Ипатьич, эта анаконда из Смоленской губернии. Что-то чудовищное. Вы понимаете, этот негодяй вывел змей вместо кур, и вы поймите, они дали такую же самую феноменальную кладку, как лягушки!

— Что такое? — ответил Персиков, и лицо его сделалось бурым...— Вы шутите, Петр Степанович... Откуда?

Иванов онемел на мгновение, потом получил дар слова и, тыча пальцем в открытый ящик, где сверкали беленькие головки в желтых опилках, сказал:

— Вот откуда.

— Что-о?! — завыл Персиков, начиная соображать.

Иванов совершенно уверенно взмахнул двумя сжатыми кулаками и закричал:

— Будьте покойны. Они ваш заказ на змеиные и страусовые яйца переслали в совхоз, а куриные вам по ошибке.

— Боже мой... боже мой,— повторил Персиков и, зеленея лицом, стал садиться на винтящийся табурет.

Панкрат совершенно дурел у двери, побледнел и онемел. Иванов вскочил, схватил лист и, подчеркивая острым ногтем строчку, закричал в уши профессору:

— Ну, теперь они будут иметь веселую историю!.. Что теперь будет, я решительно не представляю. Владимир Ипатьич, вы гляньте.— И он завопил вслух, вычитывая первое попавшееся место со скомканного листа...— Змеи идут стаями в направлении Можайска... откладывая неимоверные количества яиц. Яйца были замечены в Духовском уезде... Появились крокодилы и страусы. Части особого назначения... и отряды государственного управления прекратили панику в Вязьме после того, как зажгли пригородный лес, остановивший движение гадов...

Персиков разноцветный, иссиня-бледный, с сумасшедшими глазами, поднялся с табурета и, задыхаясь, начал кричать:

— Анаконда... анаконда... водяной удав! Боже мой! — в таком состоянии его еще никогда не видали ни Иванов, ни Панкрат.

Профессор сорвал одним взмахом галстук, оборвал пуговицы на сорочке, побагровел страшным параличным цветом и, шатаясь, с совершенно тупыми, стеклянными глазами, ринулся куда-то вон. Вопль разлетелся над каменными сводами института.

— Анаконда... анаконда...— загремело эхо.

— Лови профессора! —взвизгнул Иванов Панкрату, заплясавшему от ужаса на месте.— Воды ему... у него удар.

Глава XI

БОЙ И СМЕРТЬ

Пылала бешеная электрическая ночь в Москве. Горели все огни, и в квартирах не было места, где бы не сияли лампы со сброшенными абажурами. Ни в одной квартире Москвы, насчитывающей 4 миллиона населения, не спал ни один человек, кроме неосмысленных детей. В квартирах ели и пили как попало, в квартирах что-то выкрикивали, и поминутно искаженные лица выглядывали в окна во всех этажах, устремляя взоры в небо, во всех направлениях изрезанное прожекторами. На небе

то и дело вспыхивали белые огни, отбрасывали тающие бледные конусы на Москву и исчезали, и гасли. Небо беспрерывно гудело очень низким аэропланным гулом. В особенности страшно было на Тверской-Ямской. На Александровский вокзал через каждые 10 минут приходили поезда, сбитые как попало из товарных и разноклассных вагонов и даже цистерн, облепленных обезумевшими людьми, и по Тверской-Ямской бежали густой кашей, ехали в автобусах, ехали на крышах трамваев, давили друг друга и попадали под колеса. На вокзале то и дело вспыхивала трескучая тревожная стрельба поверх толпы — это воинские части останавливали панику сумасшедших, бегущих по стрелкам железных дорог из Смоленской губернии на Москву. На вокзале то и дело с бешеным легким всхлипыванием вылетали стекла в окнах и выли все паровозы. Все улицы были усеяны плакатами, брошенными и растоптанными, и эти же плакаты под жгучими малиновыми рефлекторами глядели со стен. Они всем уже были известны, и никто их не читал. В них Москва объявлялась на военном положении. В них грозили за панику и сообщали, что в Смоленскую губернию часть за частью уже едут отряды Красной Армии, вооруженные газами. Но плакаты не могли остановить воющей ночи. В квартирах роняли и били посуду и цветочные вазоны, бегали, задевая за углы, разматывали и сматывали какие-то узлы и чемоданы, в тщетной надежде пробраться на Каланчевскую площадь, на Ярославский или Николаевский вокзал. Увы, все вокзалы, ведущие на север и восток, были оцеплены густейшим слоем пехоты, и громадные грузовики, колыша и бренча цепями, доверху нагруженные ящиками, поверх которых сидели армейцы в остроконечных шлемах, ощетинившиеся во все стороны штыками, увозили запасы золотых монет из подвалов Народного комиссариата финансов и громадные ящики с надписью: «Осторожно. Третьяковская галлерея». Машины рявкали и бегали по всей Москве.

Очень далеко на небе дрожал отсвет пожара и слышались, колыша густую черноту августа, беспрерывные удары пушек.

Под утро, по совершенно бессонной Москве, не потушившей ни одного огня, вверх по Тверской, сметая все встречное, что жалось в подъезды и витрины, выдавливая стекла, прошла многотысячная, стрекочущая копытами по торцам, змея Конной армии. Малиновые башлыки мо-

тались концами на серых спинах, и кончики пик кололи небо. Толпа, мечущаяся и воющая, как будто ожила сразу, увидав ломящиеся вперед, рассекающие расплеснутое варево безумия шеренги. В толпе на тротуарах начали призывно, с надеждою, выть.

— Да здравствует Конная армия! — кричали исступленные женские голоса.

— Да здравствует! — отзывались мужчины.

— Задавят!! Давят!..— выли где-то.

— Помогите! — кричали с тротуара.

Коробка папирос, серебряные деньги, часы полетели в шеренги с тротуаров, какие-то женщины выскакивали на мостовую и, рискуя костями, плелись с боков конного строя, цепляясь за стремена и целуя их. В беспрерывном стрекоте копыт изредка взмывали голоса взводных:

— Короче повод.

Где-то пели весело и разухабисто, и с коней смотрели в зыбком рекламном свете лица в заломленных малиновых шапках. То и дело прерывая шеренги конных с открытыми лицами, шли на конях же странные фигуры, в странных чадрах, с отводными за спину трубками и с баллонами на ремнях за спиной. За ними ползли громадные цистерны-автомобили с длиннейшими рукавами и шлангами, точно на пожарных повозках, и тяжелые, раздавливающие торцы, наглухо закрытые и светящиеся узенькими бойницами танки на гусеничных лапах. Прерывались шеренги конных, и шли автомобили, зашитые наглухо в серую броню, с теми же трубками, торчащими наружу, и белыми нарисованными черепами на боках с надписью: «Газ» «Доброхим».

— Выручайте, братцы,— завывали с тротуаров,— бейте гадов... Спасайте Москву!

— Мать... мать...— перекатывалось по рядам. Папиросы пачками прыгали в освещенном ночном воздухе, и белые зубы скалились на ошалевших людей с коней. По рядам разливалось глухое и щиплющее сердце пение:

...Ни туз, ни дама, ни валет,
Побьем мы гадов без сомненья,
Четыре сбоку, ваших нет...

Гудящие раскаты «ура» выплывали над всей этой кашей, потому что пронесся слух, что впереди шеренг на лошади, в таком же малиновом башлыке, как и все всадники, едет ставший легендарным 10 лет назад, постарев-

ший и поседевший командир конной громады. Толпа завыла, и в небо улетал, немного успокаивая мятущиеся сердца, гул: «Ура... Ура»...

* * *

Институт был скупо освещен. События в него долетали только отдельными, смутными и глухими отзвуками. Раз под огненными часами близ манежа грохнул веером залп, это расстреляли на месте мародеров, пытавшихся ограбить квартиру на Волхонке. Машинного движения на улице здесь было мало, оно все сбивалось к вокзалам. В кабинете профессора, где тускло горела одна лампа, отбрасывая пучок на стол, Персиков сидел, положив голову на руки, и молчал. Слоистый дым веял вокруг него. Луч в ящике погас. В террариях лягушки молчали, потому что уже спали. Профессор не работал и не читал. В стороне, под левым сго локтем, лежал вечерний выпуск телеграмм на узкой полосе, сообщавший, что Смоленск горит весь и что артиллерия обстреливает можайский лес по квадратам, громя залежи крокодильих яиц, разложенных во всех сырых оврагах. Сообщалось, что эскадрилья аэропланов под Вязьмою действовала весьма удачно, залив газом почти весь уезд, но что жертвы человеческие в этих пространствах неисчислимы из-за того, что население, вместо того чтобы покидать уезды в порядке правильной эвакуации, благодаря панике, металось разрозненными группами на свой риск и страх, кидаясь куда глаза глядят. Сообщалось, что Отдельная кавказская кавалерийская дивизия в можайском направлении блистательно выиграла бой со страусовыми стаями, перерубив их всех и уничтожив громадные кладки страусовых яиц. При этом дивизия понесла незначительные потери. Сообщалось от правительства, что в случае, если гадов не удастся удержать в 200-верстной зоне от столицы, она будет эвакуирована в полном порядке. Служащие и рабочие должны соблюдать полное спокойствие. Правительство примет самые жестокие меры к тому, чтобы не допустить смоленской истории, в результате которой, благодаря смятению, вызванному неожиданным нападением гремучих змей, появившихся в количестве нескольких тысяч, город загорелся во всех местах, где бросили горящие печи и начали безнадежный повальный исход. Сообщалось, что продовольствием Москва обеспечена по меньшей мере на полгода и что совет

при главнокомандующем предпринимает срочные меры к бронировке квартир для того, чтобы вести бои с гадами на самих улицах столицы, в случае, если красным армиям, и аэропланам, и эскадрильям не удастся удержать нашествие пресмыкающихся.

Ничего этого профессор не читал, смотрел остекленевшими глазами перед собой и курил. Кроме него только два человека были в институте — Панкрат и то и дело заливающаяся слезами экономка Марья Степановна, бессонная уже третью ночь, которую она проводила в кабинете профессора, ни за что не желающего покидать свой единственный оставшийся потухший ящик. Теперь Марья Степановна приютилась на клеенчатом диване, в тени и в углу, и молчала в скорбной думе, глядя, как чайник с чаем, предназначенный для профессора, закипал на треножнике газовой горелки. Институт молчал, и все произошло внезапно.

С тротуара вдруг послышались ненавистные звонкие крики, так что Марья Степановна вскочила и взвизгнула. На улице замелькали огни фонарей, и отозвался голос Панкрата в вестибюле. Профессор плохо воспринял этот шум. Он поднял на мгновение голову, пробормотал: «Ишь как беснуются... что ж я теперь поделаю». И вновь впал в оцепенение. Но оно было нарушено. Страшно загремели кованые двери института, выходящие на Герцена, и все стены затряслись. Затем лопнул сплошной зеркальный слой в соседнем кабинете. Зазвенело и высыпалось стекло в кабинете профессора, и серый булыжник прыгнул в окно, развалив стеклянный стол. Лягушки шарахнулись в террариях и подняли вопль. Заметалась, завизжала Марья Степановна, бросилась к профессору, хватая его за руки и крича: — Убегайте, Владимир Ипатьич, убегайте.— Тот поднялся с винтящегося стула, выпрямился и, сложив палец крючочком, ответил, причем его глаза на миг приобрели прежний остренький блеск, напоминавший прежнего вдохновенного Персикова.

— Никуда я не пойду,— проговорил он,— это просто глупость,— они мечутся, как сумасшедшие... Ну а если вся Москва сошла с ума, то куда же я уйду. И пожалуйста, перестаньте кричать. При чем здесь я? Панкрат! — позвал он и нажал кнопку.

Вероятно, он хотел, чтобы Панкрат прекратил всю суету, которой он вообще никогда не любил. Но Панкрат ничего уже не мог поделать. Грохот кончился тем, что

двери института растворились, и издалека донеслись хлопушечки выстрелов, а потом весь каменный институт загрохотал бегом, выкриками, боем стекол. Марья Степановна вцепилась в рукав Персикова и начала его тащить куда-то, он отбился от нее, вытянулся во весь рост и, как был в белом халате, вышел в коридор.

— Ну? — спросил он. Двери распахнулись, и первое, что появилось в дверях,— это спина военного с малиновым шевроном и звездой на левом рукаве. Он отступал из двери, в которую напирала яростная толпа, спиной и стрелял из револьвера. Потом он бросился бежать мимо Персикова, крикнув ему:

— Профессор, спасайтесь, я больше ничего не могу сделать.

Его словам ответил визг Марьи Степановны. Военный проскочил мимо Персикова, стоящего как белое изваяние, и исчез во тьме извилистых коридоров в противоположном конце. Люди вылетели из дверей, завывая:

— Бей его! Убивай...

— Мирового злодея!

— Ты распустил гадов!

Искаженные лица, разорванные платья запрыгали в коридорах, и кто-то выстрелил. Замелькали палки. Персиков немного отступил назад, прикрыл дверь, ведущую в кабинет, где в ужасе на полу, на коленях стояла Марья Степановна, распростер руки, как распятый... он не хотел пустить толпу и закричал в раздражении:

— Это форменное сумасшествие... вы совершенно дикие звери. Что вам нужно? — Завыл: — Вон отсюда! — И закончил фразу резким, всем знакомым выкриком: — Панкрат, гони их вон.

Но Панкрат никого уже не мог выгнать. Панкрат с разбитой головой, истоптанный и рваный в клочья лежал недвижимо в вестибюле, и новые и новые толпы рвались мимо него, не обращая внимания на стрельбу милиции с улицы.

Низкий человек на обезьяньих кривых ногах, в разорванном пиджаке, в разорванной манишке, сбившейся на сторону, опередил других, дорвался до Персикова и страшным ударом палки раскроил ему голову. Персиков качнулся, стал падать на бок, и последним его словом было:

— Панкрат... Панкрат...

Ни в чем не повинную Марью Степановну убили и

растерзали в кабинете, камеру, где потух луч, разнесли в клочья, в клочья разнесли террарии, перебив и истоптав обезумевших лягушек, раздробили стеклянные столы, раздробили рефлекторы, а через час институт пылал, возле него валялись трупы, оцепленные шеренгою вооруженных электрическими револьверами, и пожарные автомобили, насасывая воду из кранов, лили струи во все окна, из которых, гудя, длинно выбивалось пламя.

Глава XII
МОРОЗНЫЙ БОГ НА МАШИНЕ

В ночь с 19-го на 20-е августа 1928 года упал неслыханный, никем из старожилов никогда еще не отмеченный, мороз. Он пришел и продолжался двое суток, достигнув 18 градусов. Остервеневшая Москва заперла все окна, все двери. Только к концу третьих суток поняло население, что мороз спас столицу и те безграничные пространства, которыми она владела и на которые упала страшная беда 28-го года. Конная армия под Можайском, потерявшая три четверти своего состава, начала изнемогать, и газовые эскадрильи не могли остановить движения мерзких пресмыкающихся, полукольцом заходивших с запада, юго-запада и юга по направлению к Москве.

Их задушил мороз. Двух суток по 18 градусов не выдержали омерзительные стаи, и в 20-х числах августа, когда мороз исчез, оставив лишь сырость и мокроту, оставив влагу в воздухе, оставив побитую нежданным холодом зелень на деревьях, биться больше было не с кем. Беда кончилась. Леса, поля, необозримые болота были еще завалены разноцветными яйцами, покрытыми порою странным, нездешним, невиданным рисунком, который безвестно пропавший Рокк принимал за грязюку, но эти яйца были совершенно безвредны. Они были мертвы, зародыши в них прикончены.

Необозримые пространства земли еще долго гнили от бесчисленных трупов крокодилов и змей, вызванных к жизни таинственным, родившимся на улице Герцена в гениальных глазах лучом, но они уже не были опасны, непрочные созданья гнилостных жарких тропических болот погибли в два дня, оставив на пространстве трех губерний страшное зловоние, разложение и гной.

Были долгие эпидемии, были долго повальные болезни от трупов гадов и людей, и долго еще ходила армия,

но уже не снабженная газами, а саперными принадлежностями, керосинными цистернами и шлангами, очищая землю. Очистила, и все кончилось к весне 29-го года.

А весною 29-го года опять затанцевала, загорелась и завертелась огнями Москва, и опять по-прежнему шаркало движение механических экипажей, и над шапкою храма Христа висел, как на ниточке, лунный серп, и на месте сгоревшего в августе 28-го года двухэтажного института выстроили новый зоологический дворец и им заведовал приват-доцент Иванов, но Персикова уже не было. Никогда не возникал перед глазами людей скорченный убедительный крючок из пальца, и никто больше не слышал скрипучего, квакающего голоса. О луче и катастрофе 28-го года еще долго говорил и писал весь мир, но потом имя профессора Владимира Ипатьевича Персикова оделось туманом и погасло, как погас и самый открытый им в апрельскую ночь красный луч. Луч же этот вновь получить не удалось, хоть иногда изящный джентльмен, и ныне ординарный профессор, Петр Степанович Иванов и пытался. Первую камеру уничтожила разъяренная толпа в ночь убийства Персикова. Три камеры сгорели в Никольском совхозе «Красный Луч» при первом бое эскадрильи с гадами, а восстановить их не удалось. Как ни просто было сочетание стекол с зеркальными пучками света, его не скомбинировали второй раз, несмотря на старания Иванова. Очевидно, для этого нужно было что-то особенное, кроме знания, чем обладал в мире только один человек — покойный профессор Владимир Ипатьевич Персиков.

Лазарь Лагин

ЭЛИКСИР САТАНЫ

1

Том рассчитывал поваляться в постели хотя бы еще полчаса. Он сладко потянулся и повернулся на другой бок. Но беспощадный звон будильника заставил его немедленно привскочить. Как бы не опоздать на репетицию. Он чертыхнулся и нехотя опустил голые ноги с кровати.

И тут случилось нечто совершенно неожиданное, фан-

тастическое, чудесное. Как в несбыточном волшебном сне.

Его ноги достигли пола и уперлись в мягкий, согретый утренним солнцем ворс ковра. Томас Симс, уроженец штата Коннектикут, человек ростом в 129 сантиметров, артист мюзик-холла «Золотой павлин», начал на тридцать первом году своей жизни расти.

Все еще не веря своему счастью, Симс подбежал к двери, на которой он пять дней назад отметил, по совету доктора Эрроусмита, свой рост. Результаты проверки превзошли всяческие ожидания. Меньше чем за неделю Том вырос ни более и ни менее, как на десять с половиной сантиметров.

С трудом натянув на себя свой новый шикарно-широкий костюм, Томас выбежал из дому. Нужно было спешить. До начала репетиции оставалось полчаса.

Широкие окна встретившейся на пути аптеки напомнили нашему герою, что он не пил сегодня своего обычного утреннего кофе, что вообще в городе стоит эфиопская жара и что поэтому невредно чего-нибудь выпить.

Том вошел в прохладную глубину аптеки и заказал себе порцию мороженого и бутылку содовой. Его сосед по столику, лениво раскинувшись в кресле, просматривал со скучающим видом газеты. Огромный портрет глянул на Томаса Симса с газетного листа и заставил его вздрогнуть.

— Не откажите в любезности, сэр, сказать, чья это фотография? — обратился он к своему соседу.

— Это портрет какого-то доктора Эрроусмита. Он открыл гормон роста и выращивает у себя в лаборатории огромных кроликов и собак... Это чертовски шикарно,— ответил тот без особенного воодушевления и продолжал перелистывать пухлую, пахнущую свежей краской газету.

«Какой-то доктор Эрроусмит!»,— возмутился про себя Симс и вспомнил, как пять дней назад капельдинер подал ему после спектакля визитную карточку доктора с припиской:

Если у вас есть часок свободного времени, не откажите в любезности поужинать со мной в ближайшем ресторане. Нам нужно потолковать по чрезвычайно важному делу.

Доктор Эрроусмит оказался жизнерадостным крепышом лет сорока. Ему не терпелось. Он приступил к делу,

как только официант закрыл за собой дверь отдельного кабинета.

— Дорогой мистер Симс,— сказал он и придвинулся поближе к Тому,— я хочу предложить вам, э-э-э, эксперимент, который на первый взгляд не лишен некоторой необычности... Как вы посмотрите, старина, если я, э-э-э, попытаюсь помочь вам вырасти...

— Я думал, что имею дело с джентльменом,— возмущенно промолвил в ответ Том и слез со стула.— Я думал, что буду иметь дело с джентльменом, а вместо этого должен выслушивать неумные насмешки над моим уродством. До свидания, сэр...

Однако доктор не позволил Тому уйти. Он почти силком снова усадил возмущенного лилипута за стол и продолжал:

— Ради бога, не думайте, что я над вами издеваюсь. Я, больше чем когда бы то ни было, далек от этого. Дело, видите ли, в том, что я уже лет десять изучаю проблему роста у людей и животных и не так давно добился кой-каких довольно существенных результатов. Мне удалось, видите ли, обнаружить в животном организме гормон, который я осмеливаюсь назвать гормоном роста. Вводя в кровь того или другого животного соответствующий реактив, я придаю этому гормону исключительную силу. И в результате, вы понимаете, животное растет. Я уже проверял его на крысах, кроликах и собаках. Результаты самые положительные. Мне кажется, что можно уже попробовать мой экстракт, названный мною «эликсиром жизни», и на человеке. Боюсь гарантировать вам безусловную удачу, но большинство шансов за то, что результат будет положительный. И тогда,— воскликнул доктор Эрроусмит и замахал руками в сильном волнении,— тогда перед человечеством откроются чудесные перспективы! Если же,— добавил он, помрачнев,— опыт не удастся, то вы отделаетесь только несколькими бессонными ночами... если не считать, конечно, вполне законного разочарования.

На минуту в кабинете наступило гробовое молчание. Затем побледневший от волнения артист мюзик-холла «Золотой павлин» Томас Симс протянул собеседнику свою крошечную руку и сказал:

— Валяйте, сэр.

Доктор вытащил из своего дорожного саквояжа флакон спирта, шприц и ампулу с изумрудной жидкостью.

Заперев дверь, он помог Тому раздеться, потер ему спину ваткой, намоченной в спирту, и впрыснул в позвоночник полный шприц «эликсира жизни». Том тихо ахнул и упал без чувств. Это дало себя знать сильное волнение. Сама по себе операция была совершенно безболезненной.

Когда доктор у выхода из ресторана распрощался с Томом, он крикнул ему напоследок:

— У вас есть с собой деньги? Пять долларов? Чудесно! Зайдите в гастрономический магазин и закупите себе возможно больше ветчины, сливок и фруктов. Клянусь моей лысиной, у вас через часок-другой появится чертовский аппетит.

2

Когда Том, в живописном одеянии ковбоя, лихо выехал на сцену верхом на крошечном пони, рыжий подвыпивший фермер в ярко-оранжевом костюме, сидевший в первом ряду, зевнул, и громко, на весь зал, сообщил своему соседу:

— У меня на ранчо таких лилипутов человек тридцать. Только этот, пожалуй, немножко повыше.

Легкий смешок пробежал по рядам.

— Чудак,— ответил сосед фермеру,— разве у твоих ковбоев такие писклявые голоса, как у Симса? У него голос птенчика. Он поет, как девочка.

Конферансье выступил на авансцену и торжественно возвестил:

— Сейчас мистер Томас Симс споет любимую песенку «Мамми, я боюсь этого черного негра».

Это был коронный номер Симса. Если закрыть глаза, казалось, что поет трехлетний ребенок. Том откашлялся и с ужасом почувствовал, что запел густым бархатным баритоном:

«Мамми, я боюсь этого черного негра.
Он меня украдет, я вовек не увижу тебя...»

Громкий хохот и свист покрыли последние слова куплета. Недоеденные апельсины, тучи банановых корок полетели на сцену. Пришлось дать занавес.

3

— Вы перестанете расти, или мне придется передать дело в суд, брат Симс,— елейно промолвил директор мюзик-холла и чуть слышно стукнул кулаком по столу.

Директор был в черном сюртуке. Его черная широко-

полая шляпа висела на ветвистом оленьем роге, прибитом около дверей кабинета. Всем своим обличием мистер Паттерсон смахивал больше на баптистского проповедника, нежели на директора зрелищного предприятия. В этом не было ничего удивительного, ибо до того как заняться мюзик-холлом, мистер Паттерсон лет двадцать торговал словом божьим в качестве проповедника. От своей прежней профессии он сохранил чувство несколько брезгливого презрения к греховным мюзик-хольным делам. А из всех греховных мюзик-хольных дел наш директор больше всего не любил те, которые приносили убыток.

— Я не могу перестать расти, сэр,— виновато прошептал Симс,— это не в моей воле.

— Вы забываете о неустойке, брат Симс,— продолжал мистер Паттерсон.— У нас заключен с вами контракт на три года. Если вы растете, вы тем самым нарушаете контракт. Лилипут, который вырос в человека нормального роста, сборов не сделает... Надеюсь, вам это понятно?

— Понятно, сэр...

— Так перестаньте расти.

— Я не могу, сэр. Это от меня не зависит...

— Значит, суд?

— Как вам угодно, сэр...

4

Наше перо бессильно описать невероятную шумиху, поднявшуюся вокруг этого неслыханного процесса. Некоторое отдаленное представление об этом читатель сможет получить, ознакомившись с наиболее характерными заголовками бесчисленных статей и заметок, буквально наводнивших собой все газеты и журналы городов, разбросанных на огромных пространствах Северной Америки, от Тихого океана до Атлантического и от Великих озер до Мексиканского залива.

СУДЯТ ЛИЛИПУТА ЗА ТО, ЧТО ОН ВЫРОС.

Ответчик — Томас Симс — впервые за тридцать один год своей жизни побрился, отправляясь в суд.

«У мистера Симса будет большая черная курчавая борода»,— говорит парикмахер, бривший вчерашнего лилипута.

По ходатайству представителей ответчика, поддержанному медицинской экспертизой, суд разрешает мистеру Симсу есть во время судебного заседания.

Томас Симс и К⁰ (торговля москательными товарами), 78, Третья Авеню, просит не смешивать его с выросшим лилипутом-однофамильцем. Фирма Томас Симс и К⁰ добросовестно выполняет все заключаемые ею контракты. Благотворительным организациям скидка.

Сали Симс, сестра подсудимого, кончила жизнь самоубийством. В оставленной записке она пишет: «Не могу перенести позора. В нашей семье никто никогда не был под судом».

«Я в первый раз узнала, что у лилипутов не растет борода»,— сказала нашему корреспонденту дочь мистера ван-Дрессера.

У меня последние восемь дней и все время страшный аппетит.

Все танцуют фокстрот «Ты такой большой, мой маленький Томми».

Подсудимый с большим аппетитом съел три бифштекса, принесенные из ресторана Мака Оверахера (114-я улица, у кино «Золотой Багдад»). «Это были,— говорит крошка Томми,— самые вкусные из когда-либо съеденных мною котлет».

В беседе с нашим сотрудником Томас Симс заявил: «Я нисколько не жалею, что вырос. Раньше я, идя по улице, видел только зады людей. Теперь я вижу их лица и понимаю, что я нисколько не хуже других».

НА ВОПРОС СУДА,
БУДЕТ ЛИ МИСТЕР СИМС ПРОДОЛЖАТЬ
РАСТИ, ПОСЛЕДНИЙ ОТВЕТИЛ: «НЕ ЗНАЮ»

Суд постановил: взыскать в пользу мистера Паттерсона неустойку в размере пяти тысяч долларов. В случае отказа подвергнуть Томаса Симса двухгодичному тюремному заключению.

5

— Ваши брюки чрезвычайно узки и коротки.
— Да, сэр.
— Рукава вашего пиджака тоже вас, по-моему, не особенно устраивают своей длиной.

— Да, сэр.
— Почему вы не купите себе костюм по росту?
— У меня в кармане нет ни одного пенса, сэр.
— Превосходно. Я вам куплю шикарный костюм.
— Благодарю вас, сэр.
— Я предоставлю самый удобный номер в гостинице.
— Не знаю, как я смогу вас отблагодарить, сэр, я ведь завтра должен на два года сесть в тюрьму.
— Почему бы вам не уплатить неустойку?
— Вы шутите, сэр. Я уже имел честь сообщить вам, что у меня не на что даже пообедать по выходе из суда.
— Хорошо, я уплачу за вас неустойку.
— Я вас всю жизнь буду считать своим благодетелем, сэр.
— Считайте меня лучше вашим антрепренером.

6

ДОГОВОР

Заключен настоящий между Томом Симсом, 31 года, артистом, уроженцем штата Коннектикут, с одной стороны, и Арчибальдом Г. Бриттлингом, директором мюзик-холла «Сильфида», 54 лет, уроженцем штата Южная Каролина, с другой стороны, в том, что первый обязуется выступать в мюзик-холле по особо договоренной программе в костюме, в котором он, Симс, фигурировал на суде, т. е. в брюках, на шесть сантиметров спускающихся ниже колен, и пиджаке, фалды которого на пять сантиметров ниже сосков. Со своей стороны мистер Бриттлинг обязуется: а) уплатить за мистера Томаса Симса причитающуюся с последнего неустойку в пять тысяч долларов, б) обеспечить последнего на все время действия настоящего договора питанием и номером в гостинице, в) предоставить ему в постоянное пользование два комплекта нижнего белья и один костюм шерстяной темно-синего цвета, г) кроме того, уплачивать мистеру Симсу по десять долларов в неделю на карманные расходы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для того чтобы обеспечить точное выполнение нанимающейся стороной взятых на себя обязательств, как брюки, так и пиджак мистера Симса скрепляются в ответственных местах особыми сургучными печатями нижеподписавшегося нотариу-

са, что должно обеспечить нанимателя от каких бы то ни было попыток перешить без ведома последнего упомянутые выше предметы одежды.

Срок действия настоящего договора неопределенный. Договор автоматически расторгается с момента достижения мистером Симсом таких размеров, при которых станет физически невозможным дальнейшее использование поименованных выше предметов одежды.

Договор подписали: *Томас Симс.*
Арчибальд Г. Бриттлинг
Нотариус (подпись неразборчива).

7

Что касается доктора Эрроусмита, то он на другой день после прививки нашему герою «эликсира жизни» вернулся к себе домой, в городок, каких так много в богатом и славном штате Канзас. Целую ночь он провозился у себя в лаборатории, складывал и перекладывал изумрудную россыпь ампул эликсира, и так, даже не прилегши отдохнуть после дороги и ночных хлопот, рано утром посетил одну за другой редакции всех трех местных газет.

На другой день, 24 июня, жители города с удивлением прочли в газете следующее необычайное объявление:

Если у вас есть телка или козочка и вы хотите, чтобы она быстро выросла и стала давать в два раза больше молока, нежели дает обыкновенная корова или коза, если у вас есть бычок или барашек и вы хотите, чтобы он в два месяца вырос до размеров и веса взрослого быка или барана, а через четыре месяца превысил вес нормального быка или барана в два раза, обращайтесь в дом № 73, улица генерала Смита, к доктору Эрроусмиту. За пять пенсов, составляющих себестоимость ампулы изобретенного им «эликсира жизни», молодым животным будет сделана соответствующая прививка. Операция абсолютно безболезненна и безопасна.

Прививки будут производиться, начиная с 27 июня, во дворе лаборатории.

Ваш друг доктор *Эрроусмит.*

8

В тот же день к дому № 73 на улице генерала Смита мягко подкатила щегольская машина. Из нее степенно вышел мужчина средних лет с ласковым лицом. Он легко поднялся по ступенькам на второй этаж в лабораторию доктора Эрроусмита.

— Я — юрисконсульт Канзасского синдиката скотоводов и мясопромышленников. Моя фамилия Смайльс, доктор Смайльс.

— Очень приятно, сэр. Чем могу служить?

— Сколько стоит «эликсир жизни»?

— Пять центов ампула, включая самую операцию прививки.

— Вы меня не понимаете, милый доктор Эрроусмит. Я спрашиваю: за сколько вы согласились бы уступить нашему синдикату исключительное право на ваше открытие?

— Я не хотел бы, сэр, продавать кому бы то ни было право на мое открытие.

— Неужели у вас так много денег, милый доктор, что вас не прельщает несколько сотен тысяч долларов?

— Видите ли, мне не нужно много денег.

— Но вы понимаете, что при нынешних затруднениях на мясном рынке, в момент, когда наш синдикат вынужден ежедневно уничтожать тысячи голов скота, чтобы предотвратить дальнейшее снижение цен на мясо, ваш «эликсир жизни» угрожает подлинной катастрофой на мясном рынке.

— Я надеюсь, что потребители мяса от этой катастрофы только выиграли бы.

— Ваше решение окончательно?

— Да, сэр.

— До свидания, доктор Эрроусмит.

— Желаю счастья, доктор Смайльс.

9

Есть ли здесь, в нашем городе, настоящий дьявол с рогами и копытами?

Как явствовало из объявлений, расклеенных на другой день по всему городу, ответ на этот интригующий вопрос обещал дать старейший и популярнейший из местных баптистских проповедников, сам достопочтенный Эдиссон Хэббард.

В восемь часов вечера отряды полиции и федеральных войск оцепили монументальное здание цирка. Световой транспарант во всю ширину фасада цирка кричал в сумерки теплого летнего вечера:

ПОКАЙТЕСЬ, ПОКАЙТЕСЬ, ПОКАЙТЕСЬ
ВО ИМЯ ГОСПОДА.
ЧИТАЙ БИБЛИЮ ЕЖЕДНЕВНО В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ.
ПО ГРЕХАМ ВАШИМ ПОЗНАЕМ ВАС.

Огромный амфитеатр цирка не мог вместить всех желающих послушать информацию достопочтенного Эдиссона Хэббарда. Тогда активисты Союза христианских молодых людей быстро приладили снаружи цирка добрый десяток громкоговорителей.

Ровно в девять часов на наскоро сооруженную на арене цирка кафедру взошел достопочтенный Эдиссон Хэббард, поддерживаемый под руку молодым проповедником Тэнессоном и членом церковного совета скотопромышленником Брюсом Бэртэном. И ровно в половине десятого он, под стенания и плач многих тысяч слушателей, доказал, что здесь у них в городе притаился и раскинул свои греховные сети настоящий дьявол, с искусно скрываемыми рогами и копытами. Что он готовится испортить весь скот города адским составом, обманно называемым им «эликсиром жизни». Что проживает он на улице генерала Смита, д. № 73. И что зовут дьявола д-р Эрроусмит.

10

Через два часа после проповеди доктор Эрроусмит получил по городской почте письмо.

«Дьявол, убирайся со своим «эликсиром сатаны» из нашего города.

Союз истинно американских христиан»

Эрроусмит бросил это письмо в помойное ведро.

Наутро, вместо ожидавшихся толп клиентов, на двор дома № 73 пришла только старая и глухая вдова Меррик с трехнедельной козочкой.

— Только это действительно безопасно? — в сотый раз переспросила она доктора, уводя домой свою единственную живность.

— Совершенно безопасно, дорогая тетушка Меррик,— прокричал ей на ухо, добродушно улыбаясь, доктор Эрроусмит...

Через два часа после прививки коза тетушки Меррик сдохла в страшных судорогах. Если бы кто-нибудь поинтересовался содержанием корыта, из которого эта коза успела отведать только немного пойла, он обнаружил бы в нем лошадиную дозу мышьяка.

Но так как в этом кое-кто не был заинтересован, то еще через два часа, когда несчастье тетушки Меррик стало известно всему городу, к дому № 73 по улице генерала Смита подкатили три грузовика, переполненные людьми в белых балахонах и капюшонах с прорезями для глаз. Люди не спеша выгрузились из машин, вошли в дом, деловито связали доктора Эрроусмита и уложили его ничком в грузовик. Затем, так же не спеша, люди проникли в лабораторию и методически растоптали всю аппаратуру и все заготовленные доктором изумрудные ампулы. Когда люди в белых балахонах отбыли в лес, чтобы там, вдали от городского шума, выкатать в дегте и перьях и изгнать навеки из города д-ра Эрроусмита, запылал от неизвестной причины и сгорел дотла его дом.

11

Конец артистической карьеры Томаса Симса пришел в сентябре.

Еще только вчера Том, в фантастически коротких брюках и пиджаке, раскланивался с заученной улыбкой перед публикой под оглушительный смех и аплодисменты всего зала. А сегодня, когда он перед выходом на сцену попытался напялить на свои раздавшиеся вширь плечи пиджачок, украшенный сургучной печатью, случилось непоправимое: пиджак с треском расползся по всем швам. Сыгравшая уже свою роль круглая сургучная печать раскачивалась на толстом шнуре вяло и безнадежно, как голова утопленника.

Тем самым договор между Томасом Симсом и директором мюзик-холла «Сильфида» Арчибальдом Г. Бриттлингом автоматически превратился в простой клочок бумаги. Пятнадцать долларов, составившие к этому моменту весь наличный капитал Тома, отнюдь не располагали к созерцательному и безмятежному образу жизни. Безрезультатно потолкавшись два дня по шумным и безрадостным залам биржи труда, Том решил обратиться за помощью к доктору Эрроусмиту. И так как две его телеграммы остались без ответа, он поехал к доктору Эрроусмиту для личных переговоров.

В прелестное сентябрьское утро он вышел из вагона и, обогнув вокзал, пошел разыскивать улицу генерала Смита. Увидев вместо дома № 73 обуглившиеся развалины, он осведомился у соседей и узнал, что дьявол, проживавший в этом доме под именем доктора Эрроусмита, изгнан навеки из города, будучи предварительно выкатан в дегте и вывалян в перьях местными добрыми христианами.

Благостная воскресная тишина висела над городом, как стеганое одеяло. Вереницы прихожан не спеша направлялись в церковь. Ласковый голос проповедника зазвучал вскоре из открытых дверей божьего храма. И так как до обратного поезда оставалось еще целых полчаса, Томас Симс от нечего делать зашел послушать проповедь.

Молодой проповедник Тэнессон сказал в этот день одну из лучших своих проповедей, проповедь о дьяволе и его кознях. Он повторил известную уже нам историю о дьяволе, пытавшемся сделать свое адское дело под личиной доктора биологических наук Эрроусмита. «Дьявол, в непомерной гордыне своей, захотел вовлечь верующих граждан штата Канзас в свою борьбу против установленного господом богом порядка произрастания злаков и животных. Но господь, в неисчислимой своей благости, не допустил сатанинского наваждения, и искуситель навеки изгнан из города. Только одна, временно заблудшая сестра наша во христе, мистрисс Меррик, поддалась дьявольскому соблазну, за что и лишилась по воле божьей единственной своей козы. Она раскаивается в своем прегрешении, заблудшая сестра Меррик, и просит всех нас помолиться за нее. «Помолимся же за нашу сестру во христе,— закончил растроганно достопочтенный Тэнессон,— будем просить господа нашего, чтобы он принял в свое стадо заблудшую сию овцу».

— Молитесь за меня, братья мои и сестры,— воскликнула, рыдая, тетушка Меррик и упала на колени.

И вот в ту торжественную минуту, когда засопевшие от умиления простодушные прихожане вознеслись в тихой молитве в заоблачные высоты духа, сочный, пронзительный свист прорезал наступившую тишину. Потом громко хлопнула дверь.

Томас Симс, плечистый парень, ростом в сто семьдесят шесть сантиметров, незаметно покинул церковь и уже на ходу вскочил в отходивший от перрона скорый поезд.

Георгий Шторм

ХОД СЛОНА

Повесть сия, хотя и в малую долю листа, однако ж многие нарочитые фолианты ловкостью написания превосходит, а также нельзя в разумение взять, о каких в ней повествуется временах.

СКОРОСТЬ СВЕТА

Ноленц, бактериолог, отодвинул от себя чашку с недопитым кофе.

На третьей полосе «Известий» были разлиты напряжение и тревога: Москву поразил загадочный, летучий и с виду безобидный «грипп».

Симптомы болезни были довольно обычными: резкое повышение температуры, озноб и проливной, как при малярии, пот; но странное ускорение нарушало жизнь организма и работу мысли... Очагом эпидемии являлась Красная Пресня, и подозрение падало на пруды Зоопарка; кроме того, циркулировал слух, что в городе обнаружен подозрительный *клещ*...

Комната, распахнувшая окна на уровне каменной головы Тимирязева, что у Никитских, была взбудоражена буйным светопадом и медной перебранкой трамвайных звонков.

Ноленц слыл весьма образованным человеком; между прочим, питал склонность к истории и археологии, коллекционировал exlibris'ы и состоял членом «Общества друзей книги», которое изредка посещал...

Дневник происшествий, заверстанный под заголовком:

СКОРОСТЬ СВЕТА,

отражал тропическую хронику «гриппа» более чем посредственным языком.

Складывая газету, Ноленц машинально отметил внизу под чертой краткое сообщение:

«В Зоопарке заболел чесоткой привезенный из Афганистана слон»...

Одиннадцать круглых золотых рыбок в строгом порядке выплыли из стеклянного аквариума часов, всколыхнув пространство волнообразным гулом.

Ноленцу через час предстояло читать доклад в I Университете; предварительно же необходимо было побриться. Он встал, надел шляпу, подхватил пухлый, чрезмерно раздутый портфель и спустился вниз.

Утро было душное, в низких, грозовых тучах. У ворот подслеповатый дворник беседовал с молочницей, исчезавшей в грохоте гулких опорожненных бидонов. Ученый, проходя, услыхал: «А зараза-то, думается мне,— от слона пошла»...

Ноленц вздрогнул. В сознании, выкроенная молнией догадки, проступила газетная заметка. Он ни секунды не сомневался, что напал на след.

Трубный слоновий рев раздался над ухом ученого, покрывая звуковую уличную гамму. На Ноленца угрожающе налезал краплаковый яркий квадрат; в нижнем его углу сиял щеголеватый номер. На ходу прыгнул в грузно колыхавшуюся машину. Стеклянные створки захлопнулись. «Получите, гражданин, билет!» — сонно промычал разомлевший от жары кондуктор. Ноленц, отчаянно хватаясь за летавшие гуттаперчевые кольца, протискался к выходу. Спустя три минуты он входил в Зоопарк.

* * *

В эти дни рдевшие ярким песком дорожки были почти безлюдны. Озеро, залитое из предосторожности нефтью, пестрело маслянистыми волокнами радужных пятен. Долгоносые пеликаны и нежно-розовые фламинго, не смея войти в воду, томились на берегу.

Ноленц торопился; от волнения его слегка знобило. Взгляд его бился о прутья клеток, унося в глубь парка, где помещался слон.

Филин смотрел на ученого медными, невидящими глазами. Орел-могильник казался похожим на простуженного императора, он был жалок и зол; для полного сходства с двуглавым ему не хватало лишь второй головы.

В обезьяннике кричали долгохвостые игруны. Тюлень-зеленец умильно выпрашивал рыбу. Белый полярный медведь выставил из бассейна голову мутно-зеленого, ледяного цвета и отряхнулся. Над ним загорелась радуга.

Хищники спали. Только в одной из клеток беспокойно прядал переливно-крапчатый барс.

Трубный пронзительный рев страдающего животного потряс воздух. Сердце Ноленца забилось. Обогнув площадку со страусами, он взбежал на пригорок. Небольшая группа людей окружала бетонированную изгородь; за нею — дымчато-сизым холмом возвышался слон.

Столбообразные ноги и все тело животного обвивали толстые морские канаты, концы которых были закреплены вокруг железных рельс. Время от времени канаты натягивались, и рельсы гнулись и звенели. Слон яростно тер хоботом лобные бугры и тонко-складчатую, морщинистую кожу. Несколько парковых служителей окатывали его из шлангов водой.

Это был очень старый самец с поротым левым ухом и неловко отпиленными бивнями. Его когда-то белая кожа приняла от времени аспидно-голубоватый цвет.

Щелевидные, налитые кровью глаза лежали глубоко в орбитах, полузакрытые веками, а в маленьком влажном зрачке вспыхивал совершенно человеческий гнев.

Седой пышноволосый старичок в чесуче и синей бархатной тюбетейке, не отрываясь, смотрел на вздымавшийся и опадавший слоновий бок. Лицо старичка показалось Ноленцу знакомым. Проследив направление его взгляда, ученый увидел на кожной сетчатой морщи выжженное тавро.

Четыре, некогда огнем вписанных, знака ҂З҃Ѿ҃Д҃

составляли число 7079.— «Поразительно!» — прошептал чесучовый старичок и порывисто схватил за рукав одного из служителей.— Скажите, пожалуйста, как зовут вашего слона?

— Тембо,— ответил, подтягивая шланг, сумрачного вида малый.

— Тембо?! — закричал старичок.— Слышите? — Тембо! — неожиданно обратился он к Ноленцу.

И тотчас же оба они узнали друг друга.

— Бактериолог Ноленц,— сказал ученый, приподнимая шляпу.

— Антиквар Волнец,— назвался старичок, протягивая руку.— Встречались в «Обществе друзей книги». Очень рад.

В это мгновение одна из рельс медленно согнулась. Слон заметался, забив по земле хоботом.— «Расходи-

тесь! Расходитесь!» — раздался чей-то распорядительный голос.— «Закройте парк! Вызовите конную милицию!»

Все бросились врассыпную. И немедленно же в одном из павильонов разлилось живое серебро телефонных звонков.

Ноленц и чесучовый старичок шли рядом, быстро приближаясь к выходу. Антиквар украдкой вытирал покрасневшие глаза.

— Несчастное животное! — сказал он, отворачиваясь от спутника.— Наделили беднягу клещом. Да что говорить,— не только зверей,— себя уберечь не можем. Кстати, что вы думаете по поводу эпидемии: малярия это или грипп?

— Возбудитель малярии,— ответил ученый,— проникает в тело при укусах комаров рода Анофелес, образуя в крови малярийные кольца. Однако едва ли это особенно интересно. Разрешите лучше узнать, что, по-вашему, означает виденное нами тавро?

— Тавро? — старичок остановился и даже покраснел от волнения.— Оно-то и привело меня сюда. Полагаю, что это — дата. 7079 — по старому летосчислению — 1571-й год, известный, между прочим, появлением на Руси первого слона.

— Неужели вы хотите сказать...

— Я ничего не утверждаю,— перебил старичок,— но... слоны живут долго, иногда значительно дольше, чем мы предполагаем; недаром индусское народное поверье говорит, что животные эти вообще не умирают. Что же касается нашей даты, то в 1571 году имел место поразительный эпизод.— Ивану Грозному был прислан из Персии слон, и прибытие его вызвало на Москве большую смуту. Впрочем (старичок похлопал себя по боковому карману), у меня имеется об этом, в некотором роде, документ.

— Нельзя ли взглянуть? Я чрезвычайно заинтересован! — загорелся Ноленц.

Его все больше знобило; временами виски покрывались обильным потом. Он провел рукой по щеке и вспомнил о предстоящем докладе:

— К сожалению, мне нужно спешить в парикмахерскую.

— Пожалуй, я тоже побреюсь,— согласился старичок.— Пойдемте! Пока дождемся очереди, успеем поговорить...

Было невыносимо душно. Ползли и кипели тучевые громады. Небо, полное грозы, свисало, как темный созревший плод.

* * *

Фарфоровые куклы изумленно посмотрели из окна в сторону Зоопарка и как будто прислушались.

Парикмахер, чем-то отдаленно напоминавший не то итальянца, не то негра, обернулся на стук открываемой двери и, произнеся обычное: — «Пожалуйте-с! Недолго!» — крикнул в стенное окошечко: — «Петруша! Д'ля бритья!».

Нервничая от сокрушительного наступления зеркал, Ноленц сел, с нетерпением поглядывая на антиквара. Тот, не торопясь, вынул из кармана завернутую в шелковый лоскуток небольшую, но толстую тетрадь.

— Вот,— сказал он,— протягивая к Ноленцу,— самое замечательное произведение, какое когда-либо проходило через мои руки. Не оторветесь, батенька, volens-nolens — прочитаете до конца. Судя по странному языку и сдвинутой хронологии, это — фантастическая повесть начала или же середины XVIII века. Но использован в ней безусловно достоверный исторический материал...— Друг мой, да у вас— жар! — внезапно сказал он с тревогой, заметив, как пошло пятнами лицо его собеседника.

— Пустяки! — буркнул Ноленц, увлеченный надписью в верхнем углу первой страницы.— «Повесть сия,— быстро читал он,— хотя и в малую долю листа, однако ж многие нарочитые фолианты ловкостью написания превосходит, а также нельзя в разумение взять, о каких в ней повествуется временах»...

— «Нарочитые» — это что? — не отрываясь спросил он антиквара.

— Знамени-и-итые,— с легкой укоризной протянул старичок.

Ноленц стремительно огляделся.— Мастера в белых халатах двигались сонно, как на замедленном фильме. Он вынул часы: они показались ему остановившимися.— Все-таки, всего вы прочесть не успеете,— сказал старичок,— обратите внимание на вторую и третью главы.

Лица сидевших вдоль стен людей были закрыты газетами. Двое склонились в углу над шахматной доской. Один из них совсем не умел играть. Его партнер давал пояснения:

— Этот ход B_2 делается для того, чтобы впоследствии белый слон мог угрожать черному королю...

Смуглый, равно напоминавший итальянца и негра парикмахер оглушительно выстрелил простыней и произнес: — «Прошу!»

Ноленц, не сомневаясь, что приглашение относится к нему, шумно отодвинул стул и с тетрадью в руках бросился в кресло.

Мыльные хлопья пены зашипели на его подбородке, в щеках. К глазам — от граненых флакончиков, банок с ватой и брусничной сулемою — протянулись цветные колющие иглы.

Он развернул тетрадь. Потная тугая пятерня со сдержанным недовольством повернула голову ученого, точно глобус. Тогда он скосил глаза и вытянул рукопись перед собой.

— Не беспокоит? — спросил парикмахер, касаясь щеки жгучим стальным жалом.

Ответа не последовало. Лоб Ноленца был горяч. Почерк в тетради четок и прям. Ветер времени, продувавший связку страниц,— страшен и прохладен...

ПЯТИСОБАЧИЙ ПЕРЕУЛОК

Промежуточные звенья событий исчезали для Ноленца в черном провале. Он не помнил, как вышел из парикмахерской и свернул за угол, быстро удаляясь в сторону глухих окраин. Вид незнакомой местности, наконец, привел его в себя.

Сморщенная старушонка собирала в лукошко рассыпанный крыжовник.

— Бабушка, какая это улица? — спросил ученый.

— Пятисобачий переулок, касатик, Пятисобачий...

Блеснула река... Лужайка... По склону — курные избы, деревня. Пестрота двускатных крыш, шатры, гребни, золоченые маковки. А подальше — город, каменный, глухой.

Тонкая девичья фигурка появилась на лужайке.

Два всадника ехали по росе.

Под одним — конь сер, правое ухо порото. Парчовый чепрак в каменьях. Властный всадник бьет бровью, косит. Второй спешился, схватил девушку за плечи.— «Вот

ты где, голубушка!» — Рванулась. Белая сафьянная рукавица ударила в зубы.

— Что вы делаете?! — пронзительно закричал Ноленц и потерял сознание. В мозгу его раскрылся ослепительный радужный подсолнух... Поплыло над ним сизое гудящее пятно. . . . .
. . . .

1

...Шумел круг Москвы бор от ворот Боровицких. Бежали по гребням крыш орлы, единороги, грифы да сирин-птица. Скрипели качелки, вертящиеся колеса; выкликались непристойности. Толпился на уличках празднишный народ, гудел.

Неладно говорили про новую царицу: «зело она на злые дела паду́щая».— Иван Васильевич взял жену из Черкасской земли — Марью Темрюковну. Третий день в Кремле пировали. Сыпали все колокола трезвон.

Стояли на белокаменных подклетах деревянных хоромы великого князя. Слитно брянкали цимбалы, домры и накры. Перед Красным крыльцом собрались песельники, накрачеи. Веселые люди, охорашиваясь, шуточки пошучивая, поддразнивали их.

В Столовой полате за двумя столами сидело двести человек гостей и бояр. Своды полатные были подписаны: изображалось на них звездотечное движение,— беги небесные и смиренномудрые назидания царю.

От царя к боярам, вразвалку, шли через стол чаши. Сидел Иоанн за столом вольяшного золота. По правую и левую руку — одетые в белый бархат рынды. На нем — опашень, оксамиченный золотом, и шапка на пупках собольих; на серебряной цепи — рака с багряницей Спасовой и зуб Антипия великого от зубной боли. Царь сидел прям, сухощав и высок, сопел тонким выгнутым носом, обводил желтым глазом полату, бил бровью, косил.

У смотрительного окна, что в тайнике, летни́к — в дорогах желтых гилянских, подложен крашениной лазоревой, по белой земле рыт мох червчат.

Секли смуглый царицын лоб темные брови. Держала в ручке опахально атласное: о середке — зеркальцо; белы́ перья, черно́ дерево индейское; часто гляделась в него. Подле нее на столике, крытом раковиной виницейскою,— подарок заморского гостя — кипарисный шкатун:

полон разных фарфурных стклянниц с пахучими для рук и лица водками, а на нем бил красными перьями царской попугай «Абдул».

Снова меж столов стольники, кравчие и боярыни. Высоко над гостями плыли на славу доспетые кушанья: щучьи головы с чесноком, рыбьи похлебки с шафраном, жареные лебеди и павлины, заячьи почки на молоке и с инбирем.

Ели руками человек по пять с одного блюда, складывали на тарелках кости, стопами опоражнивали мед.

Разносили вина: рейнский «Петерсемен», бургундскую романею, мальвазию и аликанте; пряные зелья: кур с лимоном, дули в сахаре, левашники, смокву да инбирь. Громко ели, тяжело наливались хмелем гости. Всех перепил обритый голо́ брат царицы — Кострюк.

Один намедни лишь из Колывани воротившийся боярин склонился к соседу, кивая на невеликого ростом человека с сизыми сросшимися бровями, в черном платье на немецкий манер.

— В милости он у царя, а особливо у царицы,— молвил тихо боярин.— Се-лютой волхв, нарицаемый Елисей. Ныне на Москве — волшба да гульба, да правеж — казнь лютая. Не можно сыскать, кто бы горазд грамоте был,— учиться-то негде. А допреж сего училища бывали, и многие писати и пети умели. Но писцы, и певцы, и чтецы славны — живы по русской земле и доднесь...

Сидел подле царского места царевич Иоанн, он меж гостей «мудрым смыслом сиял», вел с ним беседу магик Бомелий, Елисей.

Мрачен, не в себе был царской любимец молодой Шкурлатов.— Навек упали в душу горючие, синесветые глаза, тугая рассыпчатая коса. Лишь приметил за тыном — на другой день приехал к боярину челом бить. Позвал старик в горницу дочь, да не ту, а порченую, должно́, сестру ее меньшу́ю. В грязи подол; схожа лицом, а корежит всю и разумеет худо. Спросил Шкурлатов:

— Полно! Твоя ли это дочь, боярин?

— Верно говорю: моя. Кого хочешь, спроси,— не лгу.

— Добром прошу, не морочь! — Отдай девку!

Встал боярин, перекрестился на образа, замолчал и бороду — как по ветру пустил.

Так ни с чем и уехал.

Было то в середу, а в канун пято́чного дня прибежал к Шкурлатову дьяк Гаврило Щенок с известною ре-

чью: — Блудлив-де царь. Опасаются его да охальных людей бояре. И смотрел-де ты дворовую девку, а боярская дочь, Арина, в светелке сидит.

Солживил дьяк, оговорил боярина, во хмелю на него зло удумал.

— Аринушка то была, да прикинулась о ту пору па́дная немочь, дурная, ничем непособная болесть...

Зардело от вина лицо. Глядит,— поднимается с места Кострюк, совсем хмельной,— ну, бахвалиться.

— Кто супротив меня пойдет? Хочу поединщика!

— Добро! — засмеялся царь.— Кричи, бирюч, вызывай!

Встал Шкурлатов, хмель с него соскочил.— Я пойду!

Зашумели гости: — Ну, потеха! — И двинулись все на Красное крыльцо.

Вышла и царица, села с Иоанном на отдыхе. Завидели их скоморохи — загнусили, завертелись, затопали.

Один, самый шустрой, подскочил к балясам и — бух в ноги:

— Хочу, государь, жениться — приданого за невестой мало!

Спросил Иоанн: — А сколько ж дают?

Затрещал балаболка:

— Две кошки дойных, восемь ульев недоделанных пчел, а кто меду изопьет — неизвестно. Как невеста станет есть, так и неначем сесть. Две шубы у ней, крыты корой, что снимана в пост, подымя хвост; ожерелье пристяжное в три молота стегано; камни в нем — лалы, на Неглинной браны. А всего приданого — на триста пусто, на пятьсот — ни кола. У записи сидели кот да кошка, да сторож Филимошка. Писано в серую субботу, в рябой четверток; то честь и слава, всем — каравай сала; прочитальщику — обратнина пива да чарка вина!

Затряслось от смеха крыльцо, а балаболка вдруго́ряд челом ударил:

— Царь-государь, дозволь за потеху слово молвить!.. Не токмо скоморохи мы, а еще бедные сироты твои, разных деревень людишки. Бьем челом, не имянами — всеми своими головами. По указу твоему курим вино на тебя да на бояр, а нам вина сидеть нечем, а и пить-есть стало нечего. Пожалуй, государь, смилуйся, ослобони!

Встал царь, топнул ногой и сказал грозно:

— Знай скомрах о своих домрах, а с челобитьем не суйся!.. Не кладу я вины победителю. Мой подскарбий

пожалует его всем довольно. А кто будет побит, того, из платья повылупив,— на срам пустить!

Сказал и сел. Вышли на середину бойцы. Кострюк одежи не снял; раскорячил ноги, голову опустил, дожидается. Шкурлатов скинул однорядку лазореву: под ней — кафтан рудожолт да пра́зелен; руковицы на нем — таково туги — гулко бьют.

Хлопнул в ладоши царь.— Зачинайте! — Тяжело наседал Кострюк, увертывался Шкурлатов, разгорались его цвета некошеной травы глаза. На второй пошибке схватились за пояски.

— Чисто борются! — поддакивали гости.

Поднял Шкурлатов Кострюка, хватил о́земь. Крякнул тот, кулем осел, о́карачь пополз. Зашумели, повскакали с мест царь и бояре.

— Сымай одежу! — закричал Иоанн.

— Не гожее дело — брата моего на срам пускать! — вступилась царица.

Молвил Грозный:

— Не то нам дорого, что татарин похваляется, а дорого то, что русак насмехается... Сымай!

Стянул Шкурлатов с Кострюка порты. Еще пуще все загоготали. С лютой злобой глядела Марья Темрюковна на победителя. Лежал Кострюк на земле, громко бранился. Пошли гости в полаты, царица же к себе в тайник.

Только сели все на места, сбежала сверху боярыня, заголосила:

— Ой, силушка неключимая! Царица без памяти лежит!

Кинулся царь с Бомелием в сени, вбежали в тайник: лежит царица на лавке, под голову зголовейцо подложено; лицо бело́, закрыты веки, дрожат.

Глянул на нее Елисей — сказал сразу:

— Ясно дело, государь,— дурной глаз; околдовали! Молчал Иоанн,— от гнева языком подавился. А Бомелий мышью забегал.— Принес в лубяном коробке́ камень бе́зуй, что в сердце оленя родится. Отсчитал двенадцать ячменных зерен, растер, смешал все в белом вине, влил в рот царице.

Пришла в себя, поднялась.— Тяжко мне, государь мой, ох, тяжко!

Сказала боярыня Буйно́сова: — Может про все дознать знахарка Степанида; подле нее же и козни разные, и речей злотайных сплетение.

Сошел царь вниз, взял Шкурлатова за плечи и молвил — распечатал уста, что сургуч темен да ал:

— Сокол мой! Нет у меня друзей на белом свете. Хотят меня с царицей извести. Скачи в Занеглименье до ворожеи Степаниды, скажи ей мое царское слово: пусть покажет нам дурной глаз, что немощь на царицу наслал — пожалована будет. А не покажет — бить нещадно, зашить в медвежью шкуру, скормить кобелям!

Низко поклонился Шкурлатов, вышел из полат, кинулся к аргамачьим конюшням. Вывел коня, вскочил в седло, пыля, поскакал.

Конь-гнед, звездочол, за щеками зжено; играет. Разжался, шарахнулся в сторону народ. Одни домрачеи да скоморохи отплясывали лихо.

2

Было то в пятом, а в канун пято́чного дня привалила беда на двор боярина Данилы.

Горел на солнце князек и узорная причолина, решетилась подстрелинами кровля; бежал кругом облитый яблонным цветом сад.

Аринушка вышивала в саду, рушником солнышко ловила. Лежала на плече тугая рассыпчатая коса.

Сновала, сновала игла, да и обломилась. Сронила на шитье вздох,— на крыльце завидела отца. С той поры, как приезжал Шкурлатов, тосковал боярин, места себе не находил. Вспоминала, как сказал ей, по голове гладя:

— Не будет от сего добра. Распалит он царя. Извет наведет!

Потупилась Аринушка, слезу сглотнула.— Пришлись по душе зеленые, цвета некошеной травы глаза...

Нападала на нее падучая, немощь, ничем непособная и лютая. Слышался по ночам трубный язык; крадучись, шла за окольицу, и было ей кружение и великая маета. Все бла́знилось: не Аринушка она, а кто? — сказать не умела. Скрывал дочь боярин, никуда со двора не отпускал.

Сложила шитье, голову на колени опустила, задремала. А тем временем ударили в ворота. Рыжий, в телятинных сапогах, дьяк Гаврило Щенок прошел по двору и боярину писулю подал:

— Шкурлатов челом бьет!

Стал читать старик — заходило под ним крыльцо.

— Говорил я верно Шкурлатову,— сказал Данила,— одна у меня дочь — Аринушка.

— Не прогневайся, коли так! — молвил дьяк и сразу иным стал.— Пальцы — в рот; засвистал. Из-под полы сабля блеснула. Настежь — ворота; гикнули, ворвались обидчики. Накинули на боярина мешок, скрутили, к лошадям потащили. Повис над двором крик. Зашарили по клетям, стали грабить. Вскочила Аринушка.— Беда! — Проскакали за тыном,— отца и мать связанных повезли. Закричала, заплакала — никого нет, шумят в доме. Бежит кто-то по саду прямо к ней, траву мнет. Схоронилась за куст — прошел мимо; кинулась огородами. Выбралась на уличку, пошла, плача, сама не зная,— куда.

Уже все Знеглименье прошла. Куда идти дальше?.. Стоит изба курная, слепонько глядит волоковыми окнами. Бабка — чистой гриб — собирала в лукошко рассыпанный крыжовник.

— Куда идешь, дитятко? — И тронула Аринушку за рукав.

Зажалилась та, говорит в слезах;— так-де и так. Покачала старушонка головой.

— Сто лет живу, а о таких не слыхала; али не нашей ты земли? — речь у тебя смутная, не поймешь.

Вдруг затеплились глазки невидные, что божьи коровки красные.

— Ну, раз идти-то некуда, ступай в избу, дитятко, ступай!

Боязливо переступила Аринушка порог, вошла в сени. Обернулась через плечо на дверь.— Там — визжал стриж, текла, что мед, заря. Было небо — шелк шаморханской.

3

Собрала старушонка ужинать: ставец штей, битой коровай да ковшик вареного молока. Вскинула на нее Аринушка глаза синесветые, горючие. Села бабка на лавку.

— Ты кушай да слушай,— зашамкала.— Дай-кась, я те слово скажу. Знахарка я, Степанида. Вот и говорю я тебе, девица, будь ты мне заместо дочери (тут Аринушка заплакала). Не плачь, дитятко, не плачь! Идти тебе некуда. Живи у меня. Знатная из тебя ворожея выйдет.

Опустила Аринушка голову: о житье таком думала ли, гадала? Старушка зажгла лучину, достала из-под лавки, раскрыла берестяной сундук. Вот — сухие пауки — за-

шушукали в ладонях у ней разные растеньица да корневища.

— Гляди, учись, Аринушка, какие травы бывают; тут они у меня все. Вот — колюка-трава, она меткость пуле дает, держать ее в коровьем пузыре надо... Плакун-траву сорвешь в Иванову ночь — бесы тебя бояться станут. Сон-траву сбирай в мае, когда желто-голубое цветение ее: вещими сны будут... Вот — нечуй-ветер, ее слепцы ртом рвут,— она от смерти на воде сохраняет...

Долго еще говорила знахарка... Ночью той заснула Аринушка — как в ров повалилась. И сквозь сон слышала до зари: сторож колотушкой стучал.

4

На другой день поутру сказала бабка Аринушке:

— Проведала я: гость к нам будет; схоронись за дымником, сиди, не вылазь!

...Скакал по Занеглименью Шкурлатов. Всюду — народ. Скрипят качели, девки пляшут; ругаются мужики, не сымая шапок, в церкви входят.

Сдержал коня.— Не признался боярин, где дочь спрятал!..

Въехал к Степаниде на двор. Пошел в избу. Закланялась бабка, затеплились глазки, что божьи коровки красные:

— Давно поджидаю, чуяла, что приедешь, соколик; маете твоей сердешной пособить могу.

— Ты почем знаешь? — встрепенулся Шкурлатов.

— По лицу видать, как взошел, видать по лицу.

Забыл по што приехал, дело царское из головы вышло.

— Пособи, бабка, пособи!

Засмеялась ворожея — мелко, мелко орешки посыпала:

— Счас заговор на любовь скажем. Как звать-то ее?

— Ариной.

Зашептала старушонка в углу, где бревна во мху рублены:

— Исполнена есть земля дивности... На море, на окияне, на острове Буяне лежит разжигаемая доска; на ней — тоска...

Сказала заговор. Полез Шкурлатов за кошелем — вспомнил:

— Меня к тебе, старая, царь послал. Околдовали царицу, лежит без памяти. Покажи дурной глаз,— пожалована будешь, а не покажешь — учнут тебя мучить, на куски порвут.

Затряслась:

— Трудно это мне, соколик, ох, трудно!

— Твое дело, старая; царь велел.

— Ну, авось господь помилует,— спробую.

Приладила противу дымника зеркальный брус, зажгла травяной пучок; заклубилось чадно и с запахом.

— Сиди,— сказала,— доколе не увидишь.

Чихнул Шкурлатов, стал в брус смотреть...

Сомлела Аринушка в тесноте, сидя за дымником. Заслышала голос — потянуло выглянуть. Тут шепнула ей старушонка: — «Глянь-кась в зеркальцо скорёхонько!» — Поднялась Аринушка, увидала лишь стрелецкой кафтан — отпихнула ее бабка вспять.

Зашиблась, закликала и тут скарежила ее па́дная немочь, перекосила. Шумотит старая, глушит Аринушкин стон — гость не услыхал бы! А уж он кричит:

— Ведаю ныне, кто царицу сглазил! Приметил я боярина Данилы девку дворовую! Порченая она! Говори, бабка, где сыскать?

Подумала Степанида, пальцем золу поворошила и сказала:

— Ввечеру́ на выгоне, что подле речки, будет тебе стреча.

— Добро! — закричал Шкурлатов и кинулся вон из избы. Отвязал коня, напылил в воротах, вскачь пустился.

5

Хитро́ плела козни ведунья старая.— Ушла к недужному на Швивую горку, Аринушке ж наказала на поемном лугу козу пасти.

Взяла хворостинку, погнала козу Аринушка. Дальше, все дальше. Уже далеко изба, далеко. Дошла до речки, до луга поемного. Глядит в воду — себя опознать не может: перекосилось лицо, брови сломались надвое — ничем непособная была болесть.

Холодная была трава. Текла, что мед, заря. Рдело небо — шелк шаморханской.

Два всадника ехали по росе.

Под одним — конь сер, правое ухо порото; парчовый чалда́р в каменьях. Властный всадник бьет бровью, косит.

Другой спешился; закричал: — Царь Иван! Царь Иван! Она — это! И Аринушку за плечи — хвать! — Рванулась. Белая сафьянная рукавица больно ударила в зубы. Поплыло над ней сизое гудящее пятно...

6

Трое высоких кубчатых окончин положили на полу сеточку: свет-багрец.

Лежал Иоанн в опочивальне на цветной кровати индейских черепах. Стоял в ногах планидный часник, сделанный чернецом с Афонской горы, самозвонно отбивал часы денные и нощные.

Зело был царь учен. Знал числительные художества, в козмографии и философии силен был...

Распахнулся на нем далматик. Торчком стоял на груди рыжий волос. Насмешила его потешная книга, особливо одна ознаменка: «Коркодил ест свинью. Коркодила бьют. Коркодилу бревно в челюсти кладут».

Взял любимую свою «Степенную книгу» митрополита Макария, отчеркнул ногтем, где сказано было: «Кесарь Август поставил государем на Прусской земле брата своего Прусса, а от Прусса — четырнадцатое колено — Рюрик, первый русский князь».

Лежали в лукошке под кроватью белые слепенькие котята. Достал царь сразу двоих, улыбнувшись, поцеловал шерстку, поклал назад.

Вошел, весь в черном, лысый сизобровый Елисей:

— Чем нынче заниматься будем, государь, алхимией, або звездословием?

— Алхимией.

Поклонился Бомелий, стал подле.

— Что есть алхимия? — спросил Иоанн.

— Ал-химия сиречь — древний Египет, понеже наука сия оттуда пошла.

— Называй камни, которых не знаю.

Вычел по книжице магик:

— Бадзадир-камень — иное лицо желто, яко воск, иное рябо, яко змей: аще разотрут и посыплют на вкушение змеиное, место то исцелеет. Албогат-камень — червлен и светел — неодолимость в битве дает. Камень-фероза — от ядов змеиных и многих шкод. Рубины червленые — от снов тяжких.

— А что есть кровь человеков?

— Погляди, государь, сквозь тело на свет. Кровь есть солнце сгущенное.

Растопырил Иоанн узловатые пальцы — шевелился пятипалый в руке огонь.

Еще трое высоких кубчатых окончин положили сеточку: зелен лундыш-свет. Человековидно отбили часы пятнадцать раз. Вошел с поклоном Шкурлатов:

— Царю-государю здравствует хан Девлет-Гирей! Гонец из Крыма, государь, куды звать?

— В Грановитую,— усмехнулся Иоанн (поганые были у него зубы).— У крыльца постоит. А ты погоди. Девку ту куда схоронил?

— Как приказано было: в тайнике под теремами сидит.

Поднялся Иоанн.— Стеречь тебе ее денно и нощно.— Известил нас Бомелий: великая в ней есть сила; мы ею лечиться будем. Чтоб рук на себя не наложила, гляди!

Сказал Шкурлатов:

— Еще, государь, пришла Сенька Горюна вдовая жонка. Той Горюн для твоей государевой потехи медведя дражнил, и медведь его драл и ел. А ныне, как жонке его кормиться стало нечем, и она бьет челом: пожаловал бы ей што из твоей государевой казны.

Молвил Грозный:

— Таково скажи Горюновой жонке.— Царь-де и сам, што — Горюн: крымской медведь его драть хочет. А в казне-де царь-сирота не волен,— прибрали казну к рукам бояре. Пущай боярам и челом бьет!

Запахнул далматик, пошел с обоими на Красное крыльцо. Завидел его татарин — понял. Хлопнул ладонью по тубетею, языком защелкал, тонко закричал нехорошие дерзкие слова. Иоанн надул щеки, запыхтел на него и сказал:

— Хочу великих и сильных в подчинении имети, а на хана твоего — нам плевать!

Подскочил татарин к крыльцу,— Шкурлатов его ногой пнул. Зашептал царь на ухо ближнему боярину, сказал гонцу:

— Ответ будет!

Отвернулся тот, стал ждать.

Вынес боярин коробок с печатью, кинул татарину. Пошел царь в опочивальню, и все — за ним...

СЛОН ДА АРАП

Стали у Фроловских ворот стрельцы,— зёлены кафтаны на горлах лисьих. Едет большого полку воевода; на седле — шкура медвежья, кнутом в барабан бьет.

Вышел с Годуновым и боярами царь, идут купцы ашхабадские. Теснота учинилась. Тут Михайло Осетр, царский потешный, и немец Штаден, и Лоренцо, цырульник. Бают песни, в гусли гудут скоморохи. Приказные дворовых людишек гонят. Дива ждет стар и млад.

Подарил шах Тахмасп слона царю-государю.

Заиграли в сопели и в бубны. Бьют из пищалей. Идет слон: на груди — грамота печатная; клыки позолочены, ушища — тафтою поволóчены. Впереди — персы: два верхами, а два вниз головами; арап-бородач, трубач да толмач.

Затрубил трубач, считал арап грамоту, толмач затолмачил: — «Слон Тембо. Кожею бел. Умен и добр. А еще прозывается «Слугой справедливости». Да притом зело толст, а весу в нем полтретьяста пудов с пудом. Обитает в жарких Азии и Африке, а живет двести лет и больше, как доведется. Мыть тамариндовой водою. Прислал дар царю Ивану шах Тахмасп».

Поднесли арапу вина в братинке карельчатой. Подскарбий ему торбу червонного золота отсыпал. Гул в народе пошел: — «Скуп-де царь, а знатно пожаловал!» — Всякому за охоту стало арапом быть.

Молвил Грозный:

— За потеху и радость — шаху — поклон и наша верная дружба, а слону сей же день напятнать на пятенном дворе тавро!

— Тавро-абаса́ — в Персиде — краса! — сказал толмач и низко поклонился царскому месту.

Заиграли в сопели и в бубны. Захлопал ушищами зверь. Повели слона на Арбат...

Напятнали тавро ҂З̃Ѿ̃Д̃ от сотворения мира 7079.

Отвели вожаку в Кречетной слободе полаты. Пошел арап с толмачом Москву глядеть.

Видят: цырульня; подписано на дверях: «Веницейский мастер Лоренцо. Тут стригут, чешут и кровь кидают, а ещо зубы рвут гораздо». Взошли по приступкам: есть нужда бороды подвить.

Сидят люди на лавке: рожи вощаные, глаза подби-

тые, шепчутся. На одном — кафтанишко зелен на зайцах; у другого — зубы подвязаны, однорядка — без рукава да рваной шлык.

Увидали чужих,— разом скочили и на уличку вышли. Подбежал Лоренцо, мастер, к толмачу, заговорил:

— Быть вам на Москве с великим береженьем. Живет у нас зернь костáрня,— воровские игры в кости и в карты. Промышляют ими лихие шпыни, что по городу у людей шапки срывают, и те зерньщики и кабацкие питухи, проведав о вашем богатстве, удумали вас погубить!

Опечалились иноземцы. Неохота уж глядеть на московское житьишко. Знатно заплатили цырульнику и, бород не подвив — восвояси. Не ведают, с какой стороны беды ждать...

А наутро пришла беда.— Моровым поветрием стали мереть по слободам люди. Покрывали тело синие, железного цвету, пятна; невнятною становилась речь, а язык был как бы прикушен али приморожен, как у пьяного. И прошел из конца в конец слух: — «Черная смерть!»

Сидел в приказе дьяк Гаврило Щенок, вел счет на костках вишневых. Ввели двоих. На одном — кафтан зелен на зайцах, на другом — однорядка и шлык рваной; заговорили вперебой:

— Дознались мы, с чего мрут людишки.— Нанесли поветрие на Москву слон да арап!

Ударили тревогу. Зашумел народ, завыли по дворам бабы. А в полдень пришел к арапу со стрельцами детина в рваном шлыке и показал царской указ: — «Ехать вожаку со слоном в посад Городецкой, а буде и там начнут мереть люди — зверя убить, а клыки забрать в государеву казну».

Заплакал арап, таково жалко ему Тембу стало. Остались товарищи на Москве. Повели стрельцы слона с вожаком в Городецкой посад.

А уж там — мор. С полудня черной смертью мрут люди. Стали стрельцы совет держать. Порешили поставить до зари Тембу за тыном, а вожака запереть в избе на замок.

Притомился, задремал с кручины арап, и привиделась ему во сне тихая Индия. Будто едет он ночью в гору на белом слоне. Небо синё-синё, летят звезды, что снег, и от них — травы, дерева и все кругом — синее.

И вот уже будто по звездам едет... Закричал вдруг слон... Проснулся арап.— Трубит Тембо. Настежь — окно. Кто-то лезет в горницу.

Увидал однорядку без рукава да рваной шлык, а боле ничего не приметил. Лишь подумалось: «дай доснить!» Затянулась на шее петля. Захрипел и — опять: все синё-синё, опять — Индия...

Зашарил детина в углу, все перерыл — не нашел денег. Заругавшись, вылез в окно; оглянулся.— Ревел Тембо, выкрушал бревна из тына. Храпели у стен захмелевшие стрельцы.

Чуть заднéло, пришли будить вожака. Видят: лежит синий, не иначе, как черным мором убило. Вот скорёхонько вырыли яму под сосной грановитой, спихнули арапа, заровняли место землей.

Заревел тут слон, проломил тын и пошел, топоча, к могиле. Улегся на бугорке, смирен стал; из глаз слезы бегут.

Переглянулись стрельцы.— «Конать — так конать!» Приволокли смоляные верви. Привязали к соснам слона. Тихо лежал Тембо, не чинился грозен. Принесли ослопы, колья, бердыши, пилы, топоры.

Стали тут государевы люди смотреть с опаской.

— В стрельцы ставка добра, да лиха выставка! У царя на дню семьдесят думок. Чтó как убьем слона, а нам в приказе за то плетей надают?..

И решили, спилив бивни, послать с отпиской к Москве и ожидать царского слова. Накинули на хобот аркан. Стали пилить клык. Ворчал Тембо, терпел.

Уж второй бивень вот-вот отпадет, да, знать, невтерпеж слону стало.— Заметался, рвет путы, бьет хоботом стрельцов гораздо и в смерть. Грохнула пищаль. Распорол бердыш Тембо левое ухо. Вовсе извели бы, да прискакал из Москвы, машет грамотой гонец; кричит:

— Удержитесь убойства, люди государевы! Откупили зверя ашхабадские купцы! А царю-де пакостной слон и арап не надобны.— Пущай идут в арапские земли шаха Тахмаспа народ морить!..

7

Не сошла беда. Не утихло поверие. Пуще прежнего мерли люди.

Тут сказал Иоанну Бомелий:

— Не мирны в Крыму татаре, не снесет хан обиды,— пойдет на Москву войной.

Потемнел Грозный.

— Нет мне, Елисей, покою! Хочу за грехи свои пострадать!

Грянул магик в упор:

— Не время ныне подобное мыслить. Первым делом надобно хана извести.

Изумился Иоанн:

— А сумеешь?

— Сумею. Взглянем лишь, что книги скажут. Пойдем, государь, со мной в тайник.

Раздобыл Бомелий с кулак воску и нож вострый, захватил слюдяной фонарь на шесте. Пошли.

Из хором крытыми сенями в Благовещенской собор вышли; там в полу под ковром была дубовая дверь. Спустились в подземный ход. Бежал из стены родник, пол — гладким камнем выложен. Бомелий шел впереди, светил. Свернули за угол, повертел Елисей колесо,— отвел плиту в сторону. И вот: висит на цепи замок превеликой; за тремя дверьми — *либерея* — царской тайник.

Наставлена полата коваными сундуками до сводов, на каждом — печати на проволоках свинцовые, а один сундук стоит открыт.

Приладил Бомелий фонарь, достал «Книгу мудреца Маркуса о десяти Сивиллах», раскрыл наугад и прочел: — «Сивилла Ерифрея предрече: горе, горе тебе, Гог, и всем вкупе рода Магог; толкование сему: Гог, сиречь — скифе, татаре, варваре».

Закрыл книгу.— Добро, государь, изведем хана!

Задрожал Иоанн,— послышались ему шаги... Нет никого. Бежал за стеной родник, мышь пищала. Оправил Бомелий фонарь, стал воск мять...

8

Совсем потерялась в беде Аринушка. В темноте жалась к холодному камню и плакала, ничего толком не могла понять. Горько сокрушалась о родителях, то вовсе о них забывала, не ведала, за что осерчал на нее Шкурлатов, за что попала сюда — в гиблую холодную пустоту.

Вспоминала, как сон: ныне водили ее к немощной царице; сизобровый немчин клал Аринушкину руку на царицыну грудь; будто полегчало ей, встала, смеялась над личиком чудны́м, перекошенным... Притомилась и — век не смежив — забылась сном Аринушка, не видела, как дверной глазок заза́стило Шкурлатова лицо.

Посветил в тайник — обмер: на полу — боярышня пропавшая; недвижны глаза синесветые, горючие, рассыпалась в плеск тугая червонная коса....

Прислонился к камню Шкурлатов.

— Сгубил, сам сгубил горлицу ясную! А все хмельной дьяк попутал!..

Помыслилось: «Отворю тайник!»... Да хитер замок, засов — закладной, ключи — у Бомелия... Тут близехонько почуялись ему голоса. Пошел на шум,— голоса смолкли. Сделал по ходу круг (был тут давний пролом). И вот: на дверях — вислый замок отперт, красной струечкой бежит в щелку свет.

Заглянул в окошко: горит фонарь, царь и магик склонились над чем-то; стоят сундуки, как гроба.

Кинулся вспять. Нейдет из ума Аринушка. Жалит — жжет жалость неодолимая. Под дым спустил бы хоромы царские!..

Дважды спутал он преухищренно вырытый ход.

9

...Кончил Бомелий лепить. Лежала на его ладони скуластая чучелка, видать по всему — татарин. Засмеялся магик:

— Чем не хан?

Положил чучелку перед фонарем на пол, помолчал, свел сизые брови, стал шептать. Надулись на шее у него узлами жилы, глаза покраснели; быстро протянул нож:

— Коли, государь!

Ударил царь раз, другой, и третий ударил. Вдруг зазвенел нож, рухнул, захрипел Иоанн.

Сжал Елисей кулаки, кинулся рвать на царевой груди одежду; — и неловок же царь! — было под нею три алых ссадинки-пятна... Лежал Иоанн на полу, один глаз был закрыт, другой бился. Повернулся, плюнул Бомелию в лицо.

Утерся тот рукавом и опять завозился.

Не извели хана. Пищала в углу мышь, коптил фонарь, слюда чернела. Прыгал по каменным плитам светбагрец...

10

Кованое глухое небо над степью. Ветер, серый и терпкий, полынь мчит.

Были звезды. Нет звезд. Остались две: большая и маленькая.

У Ай-Ханым есть шелковый моток. Полететь на маленькую звезду, спустить нитку прямо вниз — шатер Девлет-Гирея там.

Проснулась Ай-Ханым, пошла по стану.— У шатра — упившийся — лежит отец. Села подле него, песню о шелковом мотке запела. Звенит степь. Храпит хан. Тишь. Звезды. Ай-Ханым песню поет...

Встал Девлет-Гирей, выругался и выпил ковш араки. Сидел на войлоке толстый, как жаба, растирал тело до утра.

Когда звездочка упала у шатра на́ руки Ай-Ханым, поставила она перед отцом еду. Вкусно пах бишь-бармак. Жирной пятерней черпал Девлет-Гирей густую лапшу и сало. Вдруг откинули ковер.

Гонец Хайреддин, что был послан к Грозному, встал на пороге и пал ниц. Подал коробок с печатью. Сорвал хан сургуч, вынул слепленное из теста свиное ухо. Молчал Хайреддин. Молчал Девлет-Гирей.

Потом сел, как сидел, и сожрал сразу полугодовалого ягненка.

Хайреддин рассказывал, как его принял Грозный.

Хан кончил есть, вышел из шатра. Толпились, подходили ба́тыри и беи. Сказал Девлет-Гирей:

— Собака — московский царь плюет на нас!.. Ты, Шигай, поведешь Улу-Юз, Тараклы́,— Урта-Юз, Кичи-Юз поведет хан Тявка. Впереди пойду я!

Запылал в солнце ханский малиновый в полосах халат.

— Привести русского!

Чужой рукой написал Девлет-Гирей Грозному ярлык: «Иду на тебя за Казань и за Хазторокань, а все ваше добро — переведу на прах».

Снимались шатры. Скрипели кибитки и кобзы. Сверкали колпачки и плоские круглые шапочки татар.

Клубились сплошным руном стада. Лился, как дождь, слитный цокот.

Цвела степь здесь; тронулась — процветет там.

Были звезды. Нет звезд. А если из того самого места, где стояла маленькая звездочка, Ай-Ханым теперь спустит нитку — шатра Девлет-Гирея уже не будет там.

Небо над степью — кованое, глухое. Ветер с полдня — красный и терпкий — полынь мчит...

11

...Под теремами в гиблой холодной темноте томилась Аринушка. Вошли стрельцы, повели; торопились чего-то. Подул ветерок, понесло будто рекой — сыростно. Повел ход влево и прямо, и вот — травка. Зажмурилась Аринушка, радостно пьет острый водяной дух.

Над нею — стена кремлевская. Нависли грозно машикули, торчат из бойниц самопалы, стрельцы на стене смолу ставят, ладонями кроясь, вдаль глядят. Стоит круг Москвы черный дым. Закричали со стены: «Идут! Идут!» — Поволокли Аринушку. Тут взмыло до небес красное одеяло — полыхнул по кровлям огонь...

Драл, спасаясь, царь со скарбом своим в село Коломенское. А в слободах уже резались татары. Мелькали их бараньи шапки и саадаки. Секли саблями кривыми черневыми, зажигали стрелами дома. Выл и бежал народ.

Били в три набата. Прутье железное, что кладено для крепости, в прах перегорало и ломалось от жара. Железо, как олово, разливалось по крышам. Плавились колокола, стекали на землю. Про́ливнем — в огонь — летело воронье...

НА МСКВУ!

1

Отовсюду стекались беглецы. В Кремле кипела работа. Царские хоромы давно уж были отстроены; ныне чинили стены, сколачивали приказы.

Вырос на вы́горище городок малый, имя ему — Скородо́м...

Лежал в опочивальне смертно затосковавший Иоанн.

Трое зеленых кубчатых окончин положили на полу сеточку: лундыш-свет. Были стены убиты жарким бархатом. Перед образом Деисусовым стояла поклонная колодочка; раскрыто было харатейное евангелие на ней.

От лежанья смялся опашень — «зуфь синяя с петли серебряны». Читал Иоанн, держа в руках четки — рыбий зуб, да меру гроба господня — шелковую тесьму.

Была та книга: «Повесть некоего боголюбивого мужа, списана царю Ивану, да сие ведяше, не впадет в сети отъялых человек и губительных волков».— Творился

в ней извет на Бомелия, и были там такие слова: «Понеже русские люди падки на волхование, Елисей отвел царя от веры, возложи ему на наших людей свирепство, а к немцам на любовь преложи». В самом же конце было написано тою же рукою: «А как рад заяц, тенет избегши, тако рад писец, книгу сию списав».

Вздохнул Иоанн:

— Заяц ты, заяц и есть!.. Ох, тяжко мне, тяжко! Хочу за грехи свои пострадать!..

Вошли Годунов и Елисей. Годунов сказал:

— Государь, по слову моему, а твоему указу учали в Новегороде кабаки ставить, и ныне зделалось там воровство и убойство. А допреж сего такова у них не бывало. Помысли, государь, о своей вотчине,— от хмельных людей ни проходу, ни проезду нет!

Махнул Грозный рукой.— Недосуг! Ужо, поразмыслю!

Нахмурился, ушел Годунов. Распечатал Иоанн уста, что сургуч темен да ал:

— Ведомо мне: живут в народе про житье мое слухи да подзоры,— занимается-де царь чернокнижством, а всех безымянных людей на бога оставил. Ну, худо было бы, кабы я за них взялся!.. Сказывай, за чем пришел?

— Привели, государь, либерею переводить Веттермана с товарищи.

Встал царь.— Веди тотчас в тайник! А гороскоп составил?

— Неладно стали звезды,— посмотрел Бомелий в упор.— Посох-то, государь, возьми, может, в темноте сгодится...

Еще трое высоких кубчатых окончин положили на полу сеточку: свет-багрец.

2

Смутный бродил Шкурлатов у ворот Колымажных.

Стало сердце, что уголь рдян; опахнула грудь любовь-жалость неодолимая. Каючись, вспоминал горючие, синесветые глаза; не ведал, как избыть беду Аринушкину.

Воротился царь из бегов,— опять свели под терема боярышню. Крепки двери железные, цепи — в кольца проемные, замки — вислые, ухищренные; бережет ключи сизобровый Елисей...

Кинулся Шкурлатов к замочному мастеру Ивашке Дранóму.

Сидит на полу Ивашко с братом Еремкой. Кипит работа. Раскидан по избе слесарной снаряд.

Под руками — жильные струны, дрель с гирей, напилок да наверточек; горит медь прутковая, играет на солнышке слоистая пестрая слюда.

Изумился Шкурлатов: — Что за диво?

— Летуна ладим,— молвил Дранóй,— летать мыслим; гляць-кось! — И впрямь! — стояло на печи чучелко соколье, дрожала в привертных тисах слюдяная летальная снасть.

— Эх, летень-летало — ума не стало? — осерчал Шкурлатов.— Закинь, Ивашко, потеху,— докука есть!..

Повел речь: так-де и так. Поразмыслил Дранóй и гостя по плечу ударил:

— Добро! Собьем замок!.. Завтра о полдень приходи с реки под башню Тайницкую. Ходы ж мне ведомы. Нарыл их, что крот, шалый царь!..

Ступил Шкурлатов за дверь,— из клети дьяк Гаврило Щенок вылез.— Наказал ему большой боярин быть у Драны́х, смотреть за работой.

— Ох-ох-ох! — зазевал.— И сладко ж мне спалось!

Ан солживил: и вовсе не спал, все дознал, все, козел рыжий подслушал.

Молвил:

— Ну-те, соколята, пойду-ка я красного квасу испить!..

3

Тяжко пали над головами косые низкие своды. Бросили по ним шаткие светы слюдяные фонари.

Стража ввела Иогана Веттермана с завязанными глазами и еще двоих с ним.

— Развяжите глаза! — сказал Иоанн.

Медленно и внятно заговорил Бомелий:

— Идет про тебя, Веттерман, молва, что зело ты погречески и по-латыне знаешь. Желает царь перевести свою либерею. Дадут вам десять человек писцов. Царь, аки бог: из мала — велика чинит. Коли переведете, как никто, пожалованы будете. Ну, гляди, какие тут книги есть!

Был Веттерман рыжеборód и благообразен. Степенно подошел к раскрытому сундуку.

— Плохое у тебя чутье! — засмеялся Иоанн и молвил Бомелию:

— Сымай печати!

Забегал Елисей, обламывая свинец, раскручивая проволоку. Один за другим со звоном раскрылись сундуки.

Стоял Веттерман, прямой, как доска; забрал несколько книг на́ свет. Попались алхимические: Анонима Космополита — по-латыни и арабские: Алмамун и Алманзор. Взял еще. Были то: Ливиевы «Истории», Светониевы «Истории о царях» и Юстинианов кодекс на пергамине.— Затрясся Веттерман; вынимал, обдувал пыль, громоздил на полу горы; волосы у него ко лбу прилипли, забыл про царя совсем.

Иоанн глянул в глаза: — Што, переведешь?

Поднял Веттерман голову, подумал, задышал шумно.

— Государь, сокровища, равного сему, в мире нет. Но, если б дал ты мне даже все свое царство, и тогда бы не взялся. Ищи, кто поумнее,— бессилен тут разум мой!

— Нет, нет! Не умеем! — закричали немцы. Дрожа, смотрели на Иоанна, грозы ждали. Засопел царь выгнутым носом, скосились глаза медяны́е.

— Опасаетесь, не просидеть бы весь век за работой? Ладно, ступайте! Других сыщу!

Ударил посохом — высек искру. Вышли немцы. Плюнул вслед, захлопнул сундук.

4

В великом гневе прошел Иоанн к себе в опочивальню. Не ведал, на чем бы душу отвести.

Была у него забава: птенцам голубиным головы сворачивать, стоя на крыльце, суке меделяновой своей бросать.

Кликнул кравчего:

— Подать мои два гнезда голубей кизылбашских!

Склонился тот, глаз на царя не смеет поднять!

— Повыпустил голубей молодой царевич Иоанн,— тихо сказал он.

Заклокотал царь, прелютостью наквашен:

— Зови тотчас царевича сюда!

Прошел в палату Крестовую, засопел, дожидаючись... Были подписаны стены темным золотом, пол мо-

щен дубовым кирпичом. Лежало полковра: по лазоревой земле — собаки и козы в травах.

Вошел царевич.

— Здрав будь, батюшка!

Удивился Иоанн, прошел гнев.

— Здравствуй, чадушко! Чего нынче ел?

Тихим, бледным голосом ответил царевич:

— Уху курячью, утку верчоную, тетерева глухого под варом.

— Славно ел,— кивнул Иоанн; взвизгнул, вдруг, тонко сказал в нос: — А голубей моих куды девал?

Дрогнул розовый на губе пух. Улыбчиво ответил:

— Повыпустил!

Изумился Иоанн: не было ярости. Тут — запотел в руке посох инроговой кости.

Царевич ладонью по волосам провел. (Не любил, коли кто таково делал.) Спросил грозно:

— А иных моих голубей тож повыпустишь?

— Повыпущу!

И опять рукой по волосам провел.

Взмахнул посохом Иоанн. Упал царевич. Потекла на ковер злая струечка. Застыл Иоанн, завопил, кинулся поднимать. Потянул за руки — вянут, не бьются голубые прóжилки, глухо стукает, назад запрокидывается голова.

Поднялся, завопил опять; никто не откликнулся. Прислушался к сердцу: ворочалась в нем склизкая, скверная немогота.

Полыхал кругом свет-багрец, багряными стали на ковре травы. Лежал царевич и — мертвый — «мудрым смыслом сиял»...

5

Крался Шкурлатов подземным ходом к башне Тайницкой. Были у него в руках железный лом да фонарь.

Где-то послышались голоса. Замер.— Нет никого. Ухало сердце. Шушукала, звенела гиблая темнота.

Вот и тайник.— Забит дверной глазок медью досчатой. Замок в кольцах проемных крепок... Давно уж на звоннице полдень отбило. Время — Ивашку Дранóго ждать.

Забродил по ходу Шкурлатов. Пробирался к реке, смотрел, не идет ли замочный мастер. Прошел час. И два. Невмоготу стало.— Покинул в беде Ивашко? Убоялся царя Дранóй!

Кинулся к тайнику. Грянул лом.— Гулом пошли своды. Что за диво? — будто и не заперт — отполз в сторону засов.

Отворил дверь — в глаза желтый, что пиво, свет ударил.— Стоят в тайнике: Бомелий, дьяк Гаврило Щенок, стража; качаются, коптят слюдяные фонари.

Сбили Шкурлатова с ног, накинули мешок, поволокли из полаты. Малость протащили и — метнули на пол каменный. Заскрипели куржавые петли, громыхнул засов, щелкнул замок...

6

Жалобно плакался, стонал в синеве перезвон: погребали царевича. Шел Иоанн за гробом, кланялся по сторонам, бил в грудь кулаком...

Секли у звонницы Петрока Малого людишек: искали на них государевых напойных денег — долги кабацкие. Не жалели дьяки прутья́.— «Пущай народ ноне гораздо терпит,— все легче будет царю горе снесть!» Опасались люди царского гнева, крестились широко, истово. Когда выносили из собора, потемнело вдруг,— солнце за тучу зашло.

Лежал на паперти Миколка блаженненький. Лохмотьишко на нем — клочья в полденежки. Подошел к нему Иоанн.

— Здрав будь, Микола, молишься?

Усмехнулся блаженный, взвел на него очи, полные гнева и слез.

— На тебя дивлюсь, на славного царя-губителя. Уж и великомученик ты, Иван, великомученики и все сподвижнички твои!

Забил бровью царь, быстро пошел прочь. Тут выглянуло солнышко. Жалобно плакался, стонал в синеве перезвон.

ЛЕТУН-РОКОТУН

Распростерся Иоанн перед образом Андреева письма Рублева, с поклонной колодочки трудного чела не подымал.

Вошел боярин-стольничий, стал в дверях: боязно слово сказать.

Не оборачиваясь, говорил Иоанн:

— ...Господи! Было у меня с тысячу человек детей;

народу побил много больше. Великой я людодей... Ныне — сына своего загубил...

Тихо сказал боярин:

— Государь, дьяк Гаврило Щенок на Ивашку Дранóго челом бьет!

Бил поклоны, качался, будто и не слышал Грозный. Молвил боярин:

— Закричал Ивашко намедни караул и сказал за собой государево слово. А у расспроса показал: сделает-де он с братом Еремкой крылья и полетит, что журавль. И по указу твоему, государь, сделал он летальную снасть, а не поднялся. А стали те крылья — шашнадцать рублей из твоей государевой казны.

Залютéл царь:

— Не про смердов Драны́х казна припасаема! Доправить на них плетьями шашнадцать рублей, а достатки их все продать!

— Еще пришли, государь, из дальних стран богомольцы, про дивные дива сказывают; прикажешь ли звать на Красное крыльцо?

Обернулся Иоанн лицом опухшим, поклонился боярину в пояс:

— А как тебя обо мне, убогом, в том бог известит...

Вышел царь в стихаре на крыльцо, сел с боярами на отдыхс. По бокам стыли рынды, знатные люди; внизу — богомольцы-странники.

Спросил Иоанн:

— Откуда путь держите, люди божие?

Поклонились все, а один заговорил:

— А идем мы селами да деревнями, городами теми с пригородками. Сбираем милостыньку спасенную для ради Христа, царя небесного. Ныне держим путь из города Мсквы. Исполнен есть дивности и лютых кудес город той. Как прошли мы от моря Хвалынскава до моря Синева на летний солнешной восход триста верст,— и в море том вода солонá,— стоит подле него гора соляная. Из той горы протекли три реки: река Вор, река Иргиз и река Гем; сия же, до моря не дошед, пала в ночь. Потом легли пески Каракум, река Кендерлик и река Сарса. Оттоле ж — две тыщи верст лесами дремучими, да еще две тыщи верст — и город Мсква.— Будто горы, там дома превеликие; без коней, огнем железные колымаги движутся; хитро ладят летунов рокотящих, кудесами на воздух подымаются. Там живут без царя,— звезде о пяти

концах поклоняются; стоят церкви закрыты; над Христовой верой насмехаются...

— Ой, вы, люди божие! — вскинулся Иоанн.— Сеете вы рожью, да жнете ложью! Али посмеяться надо мной задумали? Не может того на свете быть!

Закрестились, закланялись странники:

— Воистину видели все то, государь-батюшка! Дана им от бога власть на триста лет...

Тут подняли все головы вверх.

Закрыв солнце, летел над теремами летун-рокотун, сотрясая воздух, трубил страшно. Повскакали, попадали ниц бояре, закрывали стрельцы руками лица. Молча следил Иоанн жужжавый полет; билась за бровями грозная дума.

— Ивашко Драно́й летит! — кричал народ. Били тревогу... Тут летун-рокотун в небе растаял.

Позвал царь в палаты воевод и бояр.

НА МСКВУ!

Собрался походом Иоанн на Мскву — город лихой и дальный. Пришла конница с Терека, Ногайских степей и Волги, да иных земель многие прибылые люди. Строилось по улицам войско: пушкари, пищальники, опричники и стрельцы.

Ползли на смотр гуляй-города, крытые медной броней, пищали полуторные и затинные, пушки-огненки, гауфницы-волкометы. Торчком стояли кончары́, перначы, шестоперы да щиты.

Отслужил царь в Покровском соборе обедню, помолился жарко о даровании победы; потом объявил трехдневный пост . . . .
. . . .

7

От Самотека — к Мещанской непроходимою толщей — жирный сухаревский затор.

На развале толкаются, орут, торгуют. Зазывают к пыхтящим жаро́вникам: «откушать!»

— Обратите внимание
на мои несчастные страдания!

Гнусит калека:

— Я без рук, без иог,
меия оставил господь бог.
Ради Христа —
помогите, пожалуйста!

Льется в палатках с рук нá руки ситец. Несет дегтем и кожей. Прилип к синему небу — не отлипает пестрозвучный сухаревский гам.

В мясном ряду появились два человека. Были у них синие, будто с холоду, лица. Нелепая, старинного покроя одежда; тесаки и за плечами длинные ружья, словно только что снятые с музейных витрин.

Один из них унес с прилавка баранью ногу. Торговка схватила его за руку:

— Неча трогать! Проходи дале!

Встретилась глазами — отпрянула, заголосила: холодная была, как лед, рука. Тут странных людей заметили другие; метнулись прочь, опрокидывая лотки, давя друг друга. Заверещал свисток, закрутила, замела все суматоха. Через две минуты на площади была пустота...

У Петровских ворот в трамвай вошел воин. Его приняли за актера; но постепенно начало тревожить синее, будто с холоду, лицо. Стоявший рядом толстяк посмотрел ему в глаза и от страха умер. Трамвай стал. В давке зазвенели стекла. Все в ужасе бросились бежать...

В парикмахерскую, находившуюся вблизи Зоопарка, ввалились странные люди, грязные, усталые, точно пришедшие издалека. На них были черные овчинные шапки, выцветшие, зеленого сукна, кафтаны; у одного, высокого,— оторван рукав, у другого — подвязаны платком зубы. Они с любопытством осматривались кругом.

Высокий внезапно засмеялся, указывая пальцем на одно из кресел. Хлопотавший подле него мастер сверкал молниеносной бритвой. Сидевший в кресле человек читал, нелепо вытянув перед собой тетрадь.

— Зуб дергани-ка! — обратился к мастеру человек с восковым лицом и подвязанной щекою.

— Ступай! Ступай! — рассердился тот.— Здесь не больница! Зубов не дерем!

— Допреж сего дирали, а ныне горды стали,— проворчал высокий, и все трое молча повернулись к выходу.

— Ну-ну, деревня! — краснея, закричал на высокого парикмахер и шепнул в стенное окошечко:

— Петруша! Погляди, не стянули бы чего!..

В один и тот же час в разных местах, словно из земли, вырастали странные люди.

В учреждениях остановилась работа. Шире и шире раскручивал город судорожную спираль тревоги. Где-то возник и мгновенно оборвался трескучей скороговоркой — пулемет.

На Лубянке сплошной стеной перло войско. В него били с крыш, из подвалов, из окон всех этажей. Войско шло... Трижды кряду грохнула и смолкла пушка.

Больше не стреляли. В домах никого не было. Все бежали. Всюду была пустота.

«СЛУГА СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Медленно, молча, двигалось войско Иоанна.

По Серпуховской дороге шли стрельцы; переходила мосты конница Ногайских степей, Терека и Волги; ползли гуляй-города, пищали полуторные и затинные, пушки-огненки, гауфницы-волкометы. Торчком стояли в воздухе кончары́, шестоперы, пернаты и щиты.

Царь въехал в Кремль через Спасские ворота. На всем следы поспешного бегства. Пусто. Во дворце и теремах не было ни души.

Озирал Иоанн стены. Косились с них хмурые лица. В пустом кабинете судорожно вздрагивал телефон.

Поворошил под столом кучу бумаги и непонятных плакатов, сел в кресло. Ржали кони. Трубили в отдалении трубы. Плыла синева за окном.

Стрельцы ввели пойманного человека. Это был снятый с бившейся уже машины пилот. Мягкая рыжая борода ярко горела от крови. Несло от кожаной куртки маслом. На Иоанна с любопытством уставились серые веселые глаза.

— Кто таков? — припадая на посох, спросил Грозный.

— Летчик.

— Приказный, стало быть? А куда ж бояре те сгинули?

Пленный пожал плечами и усмехнулся.

— И откуда вы взялись, мать честная?!.

— Как звать?

— Драно́й, Иван Иванович.

— Эк, сиганул! — вскипел Иоанн.— Был Ивашко — стал Иванович! Сказывай, в чем вера твоя?

(За окнами возрастал трубный звук; временами он походил на рев страдающего животного.)

Летчик сказал:

— Вера моя: «бояр» твоих бить смертным боем, за волю народную страдать, за других душу свою положить!

Поднялся Иоанн, раскрыл рот, задышал, как рыба.

— Што же, вера сия — твоя токмо, али всех твоих товарищей?

Улыбнулся пилот.

— Одна у нас вера: с «боярами» всего света биться!..

И вдруг замолчал, прислушиваясь, и задорно, вполголоса запел: — «Долой, долой монахов, долой долой попов!..» Наши идут! — чуешь, старик, а?

Наплывая откуда-то из-за реки, росла и ширилась песня:

...Ребята, не робейте!
Не страшно пасть в бою.
У Грозного отбейте
республику свою!
Эх, вспомним ночь глухую,
весь в громе Перекоп.
Мы, время атакуя,
стрельцам ударим в лоб!
Полмира уж алеет,
и нас не проведешь.
Товарищи, смелее!
Опричнину — даешь!

«Лихая песня,— подумал Грозный.— Не гоже моим людям слушать!»

Быстро подошел к пленному, взял его за плечи и пристально посмотрел в серые глаза. Секунду длилось молчание. Внезапно царь отступил и, серея лицом, стал пятиться к окнам. В то же мгновение в комнату проник сильный, ровно нараставший гул.

* * *

Небо полнилось упругим железным шумом и рокотало. С севера неслись два самолета; за ними глухо громыхали взрывы.

— Драные летят! — кричали в страхе, задирая головы, стрельцы.

— Отход! Трубить отход! — приказал Иоанн.

Заржали кони. Затрубили походные трубы. И тотчас же гневный, пронзительный рев и тяжелый топот покрыли все звуки и голоса.

По Никитской — через Красную площадь — в Кремль мчался слон, вырвавшийся из Зоопарка. Земля гудела. Обрывки пут хлестали по трамвайным мачтам.

— Темба! Темба! — завопил Грозный, обращаясь в бегство. А слон уже бил хоботом стрельцов, все сокрушая и топча...

В это же самое время на всех площадях громкоговорители выкрикнули воззвание:

— ГРАЖДАНЕ, УСПОКОЙТЕСЬ!
— НЕТ НИКАКОЙ ОПАСНОСТИ!
— ЭТО ТОЛЬКО ВАШЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ —
ОБМАН ЧУВСТВ!

И сейчас же стали появляться робкие фигуры, их становилось все больше. Вскоре центральные улицы запрудил народ...

Иоанн поспешно отступал в Замоскворечье. Быстро уходило войско, словно врастая в землю.

На Ордынке лежали стрелецкие трупы. Из них текла ржавая зеленая кровь. . . . .

ШАХ И МАТ

1

С похода воротился Грозный, затворился в опочивальне; распалился лютым гневом на народ неведомо с чего. Поставил на Неглинной двор «для своей государевой прохлады». Горели на солнце терема, бежали по верхам фряжские травы, были узорочно вырезаны скирды и шатры.

Вот и стала опричнина за тыном крепким. На воротах — резные львы, заместо глаз — зеркала пристроены, сырости ради засыпали двор крутобелым песком.

И творили царские люди изветы.— Скакали по городу опричники, кричали:

— Даешь — изменников государевых!

В застенках и ямах денно и нощно мучили смердов, окольничих и бояр.

Тогда ж отписал Штаден, опричник, в немецкие земли:

«Великий князь учинил таково, что ныне — по всей русской земле — один вес, одна мера, одна вера.— Только он один и правит, и никто ему в том не перечит: ни духовные, ни миряне. И как долго продержится сие правление — ведомо богу одному»...

Показался Иоанн народу — обомлели все: вовсе стар стал, волосы все порастерял.

Вновь затворился. И прошел слух: занемог-де тяжко. И впрямь — стал он пухнуть, взошли по телу язвы да пухырй.

Давал ему Бомелий пить сало барсучье со струйкой бобровой: — не пособляло. С часу на час слабел царь. Шел от него тяжкой дух.

Приводили к нему Аринушку, ставили подле кровати. Глядела забытными невидящими глазами. Держал на царской груди ее руку Елисей. Заснул царь. Свели под терема Аринушку.

Тут стало в окне знамение: хвостатая звезда.

2

На другой день сказал Иоанн Бомелию:

— Тяжко мне, Елисей! Хочу о судьбе своей гадать.

— Какой способ тебе люб? — спросил Бомелий.— Есть гонтия, або некромантия — для сего духов вызывать надо; есть катоптромантия — по зеркалу; есть миомантия — по писку мышей и крыс.

— По зеркалу,— сказал Иоанн и ступил на ковер нагова цвету; были выведены по нем золотом павы, олени да орлы.

Бомелий принес два бруска, поставил один противу другого, велел Иоанну смотреть: сам стал зеркала наводить.

Долго смотрел Иоанн, начали веки слипаться.— Почудилось: шла навстречу зеленая глубина водяная; вышел из нее скуластый великан и положил ему руку на плечо. Как бы вольяшной меди была рука, глаза смешок затаили. Походил на барса. Были на нем немецкие сапоги; густо трубкой дымил.

— Так-то! — сказал, и свежо́ от него морем запахло.— Заедино мы с тобой оба. Однако ж, смердишь ты, фу!..

И пропал.

На месте том увидел Иоанн волосатую руку; неловко расставляла она шахматы по доске. Черный король все никак не стоял, качался и падал... Тут Бомелий схватил за рукав, от зеркала прочь оттащил.

— Не гляди, государь,— дурной час — лихое привидится!..

Молчал Иоанн. Все еще шла на него водяная зеленая глубина.

3

Не пособляло со струйкой бобровой сало барсучье. День ото дня слабел царь. Все больше пух, гноем цвели раны; отпал у него с корнем правый ус.

Послал Иоанн на дальний север за волхвами.— Приехали на оленях, на собаках даже; явились из Холмогорья, Лапландии и Корелы шаманы, знахари, чародеи, ведуны.

Упал близ Москвы с неба синь-камень. Монах один прочел по нем об опустошении царства. Стоял по слободам стон, плач бабий и суета.

— За грехи ваши посылает господь кару,— говорили попы.— Повсюду — плясание многовертимое, бесовские кощунания, да козлие лица. Кудесы бьют, в «Аристотелевы врата» смотрят, да по звездам глядают. Того бы не делать вам и книг тех не честь!..

А в Золотой полате заседал ведовской собор. Сидели на полу двое суток. Били в бубны, плясали, молились — каждый по-своему. И почти у всех был в волосах колтун.

На третий день сказали они царскому посланному:

— В этот год умрут три государя.

А больше ничего не сказали. Велел царь держать волхвов взаперти... Привезли иностранцы вести: умер в Испании Филипп II и Себастьян, король Феца и Марокко. Опять велел спросить Иоанн. Ответили чародеи:

— Умрет царь восемнадцатого марта.

Богдан Бельский стал перед Грозным молча.

— Ну,— покосился царь.— Назвали мой день?

— Восемнадцатое марта,— понуро ответил боярин.

— Таково тебе меня жалко?! — скривился Иоанн.— Ведай ты и ворогам моим скажи: не верю я ни в сон, ни в чох!..

4

Под теремами в гиблой холодной темноте томился Шкурлатов. Лежал на каменном полу, неминучей смерти ждал.

Погасая, чадил светец, стражей забытый. Вдруг заслышал он за стеной тихий плач. Посветил кверху — забрано решеткой оконце. Глянул.— Сидела в углу Аринушка, пригорюнившись, и плакала; сбежала с плеча, рассыпалась в плеск тугая червонная коса.

Тихо окликнул.— Дрожит, не ведает: к добру ли, к худу ль?

Молвил Шкурлатов:

— Не бойся, Аринушка!.. Прости!.. Моя вина — дьяк меня хмельной попутал.

Опустила голову, прикрыла лицо руками... Тут приметил он в тайнике подле нее стенное железное кольцо.

— Поверни кольцо,— зашептал,— отведешь плиту в сторону,— под нею ход откроется!

Встрепенулась, тянет за кольцо Аринушка,— не отходит плита, не по силам труд.

Стал отгибать Шкурлатов ржавые брусья. В кровь ободрался... Спрыгнул в тайник.— Добро, Аринушка! — Дерганул кольцо — открылся ход. Кинулись в него.

Повел ход влево и прямо. Запахло рекой сыростно. И вот — травка, брезжит свет, радостно пьют острый водяной дух.

А уж свод гудит: топочет, проведала о беглецах стража.

Закричал Шкурлатов:

— Беги, Аринушка! Может, у каких добрых людей от царя укроешься! Уж я задержу погонщиков. Лети на волю, горлица ясная, а мне за тебя — слаще сладкого — смерть принять!..

ШАХ И МАТ

Лежал Иоанн на кровати индейских черепах, покрыт одеялом камки шахматной. Стояла подле него поклонная колодочка, раскрыто было харатейное евангелие на ней.

Совсем вздулся царь, горело пятнами тело, цвели гноем раны; шел от него тяжкой дух.

Лишился сна Иоанн, в жару метался. Сказал Бомелий:

— Надобно раздобыть меру живых блох!

Послали по городу указ. Не блошиное было время — зима стояла. Не словили блох. Повелел царь выбить из народа правежом семь тысяч рублей.

Марта был восемнадцатый день. Стало Иоанну лучше. Сидел на кровати, быстро лицом светлел.

— Зови бояр, да подай мой шкатун с каменьями! — сказал Бомелию.

Вошли бояре. Поставили перед царем шкатулку хоромную.

Трое высоких кубчатых окончин положили на ней сеточку: свет-багрец.

Черпнул Иоанн горстью жемчуг рогатый, зерна гурмыцкие.— Застучала, полилась меж пальцев цветная струя.

— Все камни сии суть дивные дары божие,— заговорил он медленно.— Вот — магнит: без него нельзя по морям плавать, не узнавать пределы земные; его же силою стальной гроб Магомета в Дербенте на воздухе висит. Вот — радужной камень; — лопается, коли кто живет распутно... Бирюза открывает яд... Синий корунд проясняет зрение... Ну, будет! — Оборвался.— До другого разу.

Лег на спину, подтянул одеяло шахматной камки.

Поднялся вновь:

— Сыграть хочу. Тавлеюшки подайте!.. Сперва руки вымою.

Подали ему кусочек мыла грецкого и таз. Вымыл Иоанн руки, утерся рушником — повеселел вовсе. Принес Бельский шахматы персицкие; Родион Биркен стал с царем расставлять.

Черный король все никак не стоял, качался и падал. Поставили наконец. Начал играть.

Дуро́м пошел царь,— забрал у него Биркен одну за другою три пешки. Еще походил Иоанн.

Тут шахну́л ему белый с л о н...

Повалился царь, завопил истошно: — Темба! Темба!

Затрубил, прошел над ним слон, и разом в полате тихо-тихо стало.

— Шах и мат царю Ивану! — сказал Годунов.

Глянул на него Иоанн. Побагро́вел, хотел слово молвить — забился.

— Посох! Скорее — посох! — закричал Елисей.

Принесли посох инроговый, что от сердца болезнь отгоняет, и пауков в банке...

— Поздно! — прохрипел царь и забился снова. Склонился над ним Бомелий. Глянул Иоанн тухлым оком,— затих.

Торчком стоял на груди рыжий волос. Зеленым вдруг стало тело: трое высоких кубчатых окончин положили на нем сеточку: лундыш-свет.

* * *

Глухо стонал, перекатывался в синеве перезвон. Поставили гроб в церкви архангела Михаила. Поснимали терема белые пуховые шапки.— Сменила оттепель лютый палящетый мороз.

И валил народ ночью и днем нескончаемо, шли великие и малые — грозному царю последний поклон отдать.

Тискался на паперти Миколка блаженненький.

— Дайте глянуть,— шептал,— на славного царя-губителя. Успокоился ныне,— то-то отдохнет и народишко твой.

Скакали к рубежам гонцы. Пытали у них: — «Каковде новый царь будет?»

Стонал в синеве перезвон. Валил народ нескончаемо. Разливался под сводом церковным лундыш-свет . . .

. . . .

— Ландышем или гелиотропом? — допытывался парикмахер, комкая ладонью резиновую грушу.

— А! Что?! — вздрагивая, спросил Ноленц.

— Освежить, спрашиваю, чем?

— Освежить?.. Да! Разумеется! — быстро ответил ученый и оглянулся.

Наполовину прочитанная, наполовину созданная его бредом рукопись вываливалась из ослабевших пальцев. Он встал и, пошатываясь, подошел к антиквару.

— Неточность! — сказал он.— Весьма грубая ошибка: Бомелий был казнен Грозным за сношения со Стефаном Баторием.

Старичок, казалось, не замечал его, устремив непод-

вижный взгляд в пространство. Лицо его было багрово. Ученый положил подле него тетрадь и сказал:

— Друг мой, да у вас — жар!..

Шахматисты в углу закончили партию. Черные сдались. Один из игравших произнес:

— Теперь вы понимаете, зачем я в самом начале поставил слона на B_2?..

Ноленц расплатился и, с трудом держась на ногах, вышел в душный грозовый полдень.

У входа в Зоопарк стояла толпа.

«Неужели он вырвался?» — подумал Ноленц и нерешительно двинулся к воротам парка; дорогу ему загородил крипп-лаковый яркий квадрат; в нижнем его углу сиял щеголеватый номер. Это был тот самый автобус, который привез его сюда час тому назад.

Секунду колебался. Усталость победила. Ухватился за медные поручни. Стеклянные створки захлопнулись.

— Получите, гражданин, билет!

— Не задерживайте! Проходите! Проходите! Свободных мест́о много! — скороговоркой выпалил кондуктор, и Ноленц моментально сообразил: «Грипп!»

В следующее мгновение он увидел вывеску парикмахерской:

Coiffeur Lorenzo

— Поразительно! — вслух подумал ученый и вытащил из кармана записную книжку...

Быстро темнело. Лампочки налились тусклым скупым накалом. Кудрявое облако загорелось; грохнуло. За окнами полило.

Машина грузно выкатилась на Моховую. Ноленц вдохнул воздух, насыщенный влагой и электричеством, и почувствовал себя прекрасно.

Небо, прошитое над Кремлем грозою, трепетало.

Косым железным ливнем летело воронье.

Валерий Брюсов

МИР СЕМИ ПОКОЛЕНИЙ

ДРАМА В ДЕСЯТИ СЦЕНАХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

ПРАВИТЕЛЬ Мира семи поколений.
РИАРАУР, ЛЕОТОЕТ } члены Правления
АИТИА, жена Риараура
ЭАЛАЭ, жена Леотоета
МЕОР, ученый
КОАТОАК, СУУТЕЕС } друзья Риараура
МИАМИА, сестра Аитии
ТЮРЕМЩИК
СЕКРЕТАРЬ 1-ый Леотоета
СЕКРЕТАРЬ 2-ой его же
ПОСЛАННЫЙ
ОДИН из членов Правления
ОДИН, ДРУГОЙ — друзья Риараура
1-ЫЙ, 2-ОЙ, 3-ИЙ, зрители
ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ
ЗРИТЕЛИ и ГУЛЯЮЩИЕ, мужчины и женщины

Действие на комете, именуемой «Мир семи поколений», в близком к нам будущем.

СЦЕНА I

Балюстрада. Вечер.

Группы гуляющих.

Первый: Эта звездочка и есть Земля?

Второй: Да. И с каждым днем она будет увеличиваться. Потом закроет полнеба, как серебряным щитом.

Первый: И там есть жизнь?

Второй: Если верить астрономам.

Первый: И это из-за нее столько споров?

Второй: Говорят, мы с ней столкнемся.

Первый: По-моему, это им, живущим там, выискивать способы, как спасти себя. Какое дело нам? *(Проходят.)*

2

Суутеес и Меор

Суутеес. Учитель. Ты устал. Сядь здесь отдохнуть.

Меор: Я хочу видеть Землю. Глаза мои уже слабы. Но вижу. Вот она. Эта бледная звездочка.

Суутеес: Это — она, учитель.

Меор: Прошло двадцать поколений с тех пор, как мы не приближались к ней так близко. Что нового явит нам она на этот раз? Наступило ли там братство народов? Окончились ли там кровавые войны? Научились ли жители Земли понимать свое место среди других миров солнечной системы?

Суутеес: Учитель, ты помнишь, ее встреча с нами на этот раз будет роковой.

Меор: Я не забыл. Но этого не должно быть.

Суутеес: Ты думаешь о плане Риараура?

Меор: Нет. Я надеюсь на лучшее. Да, на лучшее.

Суутеес: Учитель, я тебя не понимаю.

Меор: Пойдем отсюда. Становится холодно. Но я ищу, я ищу. Помни ты: власть науки безгранична.

(Уходят.)

3

Коатоак, Аитиа, Миамиа.

Коатоак: Это прошел Меор со своим учеником.

Миамиа: Я боюсь этого старика. Он пережил свой век и среди нас как мертвец.

Коатоак: Он знает больше всех.

Аитиа: Я тоже боюсь его, как колдуна.

Коатоак: Твой муж чтит его.

Аитиа: Риараур был его учеником. *(Проходят.)*

4

Риараур и Эалаэ *(встречаются)*

Эалаэ: Товарищ Риараур, куда ты так спешишь?

Риараур: Привет тебе, прекрасная Эалаэ. Скажи, ты не видала здесь моей жены?

Эалаэ: Какой примерный муж! Он думает только о жене, он даже не замечает других женщин.

Р и а р а у р: Я обещал ей встретиться с ней здесь.

Э а л а э: И забыл свое обещание, и опоздал? Так помедли еще немного со мной.

Р и а р а у р: Да, конечно... Но мне необходимо сказать ей... Извини меня, прекрасная Эалаэ.

(Уходит.)

5

Э а л а э и Л е о т о е т *(наблюдая эту сцену со стороны)*

Л е о т о е т: Еще одно поражение? Не так ли, Эа?

Э а л а э: А ты подглядываешь за мной?

Л е о т о е т: Давно оставил это неблагодарное занятие. Просто пришел подышать прохладой и посмотреть на Землю.

Э а л а э: Землю! Вы все помешались на этой Земле! Какое вам дело до чужой планеты! Или у нас нет своей жизни! Все стали какие-то звездочеты. И ты в том числе, Леотоет. Не узнаю тебя. Ты стал скучен, как вчерашний день. Не подходи ко мне. Я хочу быть одна.

(Уходит.)

6

Л е о т о е т и Р и а р а у р *(возвращается)*

Р и а р а у р: А, товарищ Леотоет, не видал ли ты мою жену?

Л е о т о е т: Где твоя жена, я не знаю. Но моя жена бегает за тобой, это я вижу. Ищет тебя по горячему следу! Предоставляю тебе свободу. Прощай.

Р и а р а у р в недоумении.

(Уходит.)

СЦЕНА II

У Правителя

П р а в и т е л ь и Л е о т о е т.

П р а в и т е л ь: Нет, на это я не соглашусь никогда. План Риараура — бред. Безумие думать, что весь народ согласится на всеобщее самоубийство ради блага какого-то иного мира, который, быть может, и не существу-

ет. Но это — благородная мысль, было бы низостью за этот высокий порыв — казнить, убить. Это было бы позором для нашего поколения на века веков.

Леотоет: И, однако, это стало необходимо. Это не вопрос справедливости или несправедливости, благородства и низости. Это — вопрос нашей власти. Когда народ узнает, в чем план Риараура, он потребует его смерти. Если мы откажем, он сметет нас. Или Риараур, или мы, выбора нет.

Правитель: Пока власть в моих руках, я не уступлю тебе, Леотоет.

Леотоет: Не мне, а воле всего народа.

Правитель: Не играй словами со мной. Я знаю причину твоей ненависти к Риарауру. Мы с тобой старые товарищи, Леотоет, и я прямо говорю тебе: стыдись!

Леотоет: Я не стыжусь, когда [решается] вопрос о благе всего мира. Откажи народу в казни Риараура, и наше Правление свергнуто. И кто нас сменит? И что будет тогда? Или ты этого не знаешь?

Правитель: Я говорил с тобой как друг. Теперь буду говорить как Правитель.

2

Эалаэ *(входя)*

Эалаэ: И сочтешь мое появление здесь непозволительным? Так? Я вхожу без доклада.

Правитель: Прекрасная Эалаэ всюду желанный гость.

Эалаэ: Я немного подслушала ваш разговор. Вы говорили о Риарауре.

Правитель: Мы обсуждали вопрос государственной важности.

Эалаэ: Ба! Словно я их не знаю. Мой муж советовал тебе, ради государственных соображений, казнить Риараура. Посмей только это сделать. Я больше не скажу с тобой ни слова. Я сделаю так, что ни одна женщина не будет говорить с тобой!

Леотоет: Милая Эа! Ты забываешь, что ты — перед Правителем.

Эалаэ: Мы, женщины, создаем и низвергаем Правителей.

Правитель: Прекрасная Эалаэ. Ваш гнев мне страшнее немилости народа. Но гневаешься ты напрасно. Я только что сказал твоему мужу, что этой казни не допущу.

Эалаэ: Значит, это ты, Леотоет, добивался смерти Риараура? Низкий! Коварный! Ты знаешь, что народ больше любит Риараура, чем тебя. Ты знаешь, что дни вашего Правления сочтены. Что скоро Риараур будет Правителем нашего мира. И убийством хочешь удержать власть. Это — постыдно.

Правитель: Откуда у тебя такие сведения?

Эалаэ: Я знаю то, что знаю. Но я сказала свое. Продолжайте ваше государственное совещание. Я подожду в соседней комнате, когда вы закончите.

(Уходит.)

Леотоет: Мне кажется, она помешалась.

Правитель: Ты думаешь, Леотоет? До сих пор ее пророчества сбывались слишком точно.

Леотоет: Но ведь ты уже решил спасти Риараура, хотя бы ценой своей власти?

Правитель: Слушай, Леотоет: поступай, как ты сочтешь лучшим. Я высказал свое мнение. Но вмешиваться не буду. Что решит Правление, тому я подчинюсь. Теперь идем к твоей прекрасной жене.

Леотоет *(пропуская его вперед)*: Не женщина, а воплощенное коварство!

СЦЕНА III

Правитель, Риараур, Леотоет и другие.

Правитель: Слово предоставлено товарищу Риарауру.

Риараур: Товарищи! Кратко, но я должен напомнить вам, что вы знаете все. Вокруг солнца вращаются два рода миров: одни мы называем планетами, другие — кометами. Наш мир есть комета. Пути планет похожи на круги; на них зимы сравнительно мало отличаются от лета. Пути комет удлинены; они то близко подходят к солнцу, которое почти сжигает, то удаляются так, что солнце едва мерцает на небе далекой звездой, не посылая ни света, ни тепла.

Наш мир, нашу комету мы сами называем Миром

семи поколений. Почему? Потому что за время одного обхода нашего мира вокруг солнца, за эти 100.000 дней, сменяется шесть поколений. Когда наш мир наиболее удален от солнца, он весь обращается в лед; все живое на нем замирает. Напрасно принимаем мы вот уже ряды годов и столетий все доступные нам меры. Сон, неодолимый сон, для многих, для очень многих переходящий в смерть, овладевает в этот период всеми, кто живет тогда. Почти 10.000 дней в нашем мире нет жизни. Потом медленно начинает ощущаться спасительное влияние солнца. Иные из спавших пробуждаются в нагретых залах наших городов. Да, начинают пробуждаться, но немногие. Всего несколько миллионов существ возвращаются к жизни,— в мире, где потом живет их миллиард! Возвращаются к жизни, чтобы дать жизнь второму поколению.

Вам известно, что сила инстинкта делает то, что это уцелевшее племя быстро размножается. Вся энергия этих оживших мертвецов направлена на то, чтобы родить себе подобных. Женщины быстро вынашивают, быстро родят крепких детей, которым суждено жить в новых условиях. Пережившие смертный сон спешат передать этим детям все знания, все навыки, все традиции веков. Вырастает новое племя, новое поколение, также размножающиеся быстро,— поколение крепышей, сильных мышцами и умом. Они живут еще в холоде, еще в полумраке, но они смело встречают все трудности жизни. Вы знаете, что это второе поколение дает нам великих ученых, великих инженеров, великих строителей. Наши города выстроены ими, наша наука создана ими, наша относительная власть над природой дана ими же.

Но наш мир все приближается к солнцу. Его лучи действуют все более властно. Скудная растительность перерождается в роскошную. Вырастают чудовищно-громадные цветы. Оживают бабочки, слепящие цветами крылышек. Мириады живых существ насекомых, червей, птиц наполняют дебри наших взносящихся к небу лесов. Бушуют бури, гремят водопады, блистают радуги, огни бороздят ночную тьму. И в этой роскоши, в этом празднике жизни вырастает третье поколение — это поколение великих художников. Мы гордимся их стихами, наши музеи наполняются их картинами и статуями, их музыка чарует нас. Счастливое племя, племя наших

отцов, которому дано блаженствовать почти 15.000 дней.

Потом наступает тот период, в котором теперь живем мы,— четвертое поколение. Солнце слишком близко. Зной его спаляет нашу растительность. Сохнут и блекнут цветы, травы, деревья; животный мир на три четверти вымирает. И наши ряды редеют. У нас нет сил ни для подвигов, ни для искусств, ни для научных исследований. Все наши силы уходят на то, чтобы укрыться от зноя, от ядовитого влияния солнца. Мы — вялы, мы — слабы, мы безвольны. Но не буду говорить подробнее: что переживаем мы теперь, вам всем слишком известно.

И вы знаете, что все то же повторяется потом в обратном порядке. Наши дети, пятое поколение, будут вновь жить в условиях роскоши. Наши внуки, шестое поколение, в суровых условиях, способствующих работе. Но если для поколений второго и третьего впереди — надежда, то для этих, пятого и шестого, впереди — смерть. Их песни — грустны, их работы направлены к одному — уберечь себя от близящихся холода и мрака. Но они придут неизбежно, седьмое поколение, которое потом станет первым, все равно не найдет спасенья. Медленно жители того периода окоченеют в стуже и во тьме, впадут в смертный сон, из которого пробудятся лишь немногие. И весь круг начнется сначала.

Вы все знаете это все. Вы учили это в начальной школе. Зачем же я напомнил вам эти детские истины? Затем, что на этот раз произойдет нечто, чего еще не бывало никогда. Что? Это я сейчас объясню вам, товарищи. Но сначала — один вопрос.

Принадлежит ли наш мир к числу счастливых? Думаю, все ответят: конечно, нет! Пробегая огромные просторы мирового пространства, мы могли наблюдать другие миры нашей солнечной системы. Мы знаем три мира, где также живут мыслящие существа, где пышно и гордо разрастаются знания, искусства. Это — те планеты, которые мы называем: Венера, Земля и Марс. На Венере культура только зарождается; на Марсе она достигла высокого расцвета; но, кажется, уже не идет вперед; но на Земле, на этой зеленой планете с маленькой луной, мы каждый раз отмечаем мощные шаги вперед. Наша наука говорит, что для Земли есть все основания стать владыкой солнечной системы. Оттуда, с Земли, скоро понесут междузвездные корабли светоч знания на

другие планеты. В другие миры. Обитателям Земли суждено властвовать над всеми планетами солнца. Почему? Потому что там нет ужасных контрастов нашего мира. Потому что там жизнь совершенствуется мерно и мирно. Потому что обитатели Земли, поколение за поколением, незаметно подвигаются вперед к общему товариществу и к великой власти над природой.

Можем ли надеяться на такое будущее мы, обитатели нашего мира? Нет! Потому что вся наша энергия, все наши умственные силы уходили, уходят и будут уходить на одно: на борьбу с ужасающими условиями нашей жизни,— на борьбу, в которой мы всегда останемся побежденными. Потому что из наших семи или, точнее, шести поколений, сменяющихся в течение нашего долгого года, способно к работе лишь одно. И потому, что накопленные веками знания гибнут у нас в течение смертного сна в холоде и мраке.

Товарищи! Я все сказал. Теперь я отвечу вам на вопрос, зачем я говорил все это.

Вы знаете, что при приближении к солнцу наша атмосфера испытывает сильные изменения. Масса мельчайших частиц выталкивается из нее и отбрасывается в сторону, противоположную солнцу. С другой планеты наш мир, наша комета, должна представляться в форме звезды с ярким хвостом. Этот хвост тянется на миллионы миль; и на этот раз этот хвост, товарищи, покроет собой ту планету Землю, о которой я только что говорил.

Теперь слушайте.

Хвост нашей кометы содержит пары углерода. Наш организм дышит ими. Но для обитателей Земли углерод безусловно смертелен. Смешавшись с атмосферой Земли, хвост нашей кометы обратит ее в яд. Как только это произойдет, все живое на Земле умрет. Товарищи! Мы — летучая смерть. Мы несем гибель Земле. Мы для них ужас и судьба. Мы — палачи счастливейшей из планет, той, которой суждено было бы властвовать в солнечной системе. Мы, наша несчастная комета, мы несемся по нашей орбите с тем, чтобы убить Землю и все ее население.

Вот что я хотел сказать вам, товарищи! Теперь думайте над моими словами.

Общий ропот.

Правитель: Объявляю перерыв на 15 минут.

СЦЕНА IV

Там же.

(Смятение. Все кричат. Ораторы сталкивают друг друга. Правитель тщетно старается установить порядок.)

Правитель *(кричит, стуча в гонг)*: Соблюдайте порядок! Порядок! Порядок!

Леотоет: Слово мое!

Многие: Долой! Довольно! Не хотим! Все ясно!

Один: Смерть Риарауру!

Многие: Убить его! Убить его!

Правитель: Тише! Порядок!

Многие: Смерть Риарауру!

Леотоет *(на трибуне)*: Смерть Риарауру! Слушайте!

Многие: Слушайте!

Леотоет *(покрывая шум)*: Слушайте! Я говорю за всех! Здесь нас почти сто, но мы говорим за весь мир! Мы — его представители. Мы отвечаем Риарауру: не согласны! Так? Не согласны!

Все: Да! Да! Да! Не согласны!

Леотоет: Как? Говорят, будто наше приближение может быть опасно для какой-то чужой планеты. И поэтому мы должны уничтожить себя? Какое безумие! Мы, жители мира, где долгие столетия развиваются знания, где ярко сияет мысль, где сознание торжествует над косной природой — мы, мы, население мира семи поколений, мы уничтожим себя? Безумие! Бред! Преступление! Что знаем мы о других мирах! Одни предположения, догадки. Там, может быть, тоже мыслят; там, может быть, тоже есть науки. Но здесь-то, у нас, в нашем мире, это — несомненно! Мы-то, мы ведь мыслящие существа! Что же, даром пропадут эти века развития? Эти усилия наших отцов, дедов, прадедов, пращуров, всех наших предков? Да можно ли верить, что кто-то, в здравом уме, мог предложить такое безумие: совершить великое самоубийство! — истребить не только себя, но и все бессчетные будущие поколения, целый мир! Да! Нашелся безумец, который предложил это, и другие, которые соглашались с ним.

Многие: Смерть им!

Леотоет: Да! Они заслуживают смерти за свое преступное предложение! Достойны казни.

Многие: Смерть ему! Где он?

Р и а р а у р *(появляясь)*: Я здесь.

М н о г и е: Смерть ему!

Р и а р а у р: Товарищи! Вас много. Кажется, я остался один. Вы можете убить меня: вы — сильнее. Но вы не сделаете этого. Не сделаете уже потому, что горды силой своей мысли, своей культуры. Я,— я лишь высказал свое убеждение. Вы думаете, я не люблю жизнь? Я люблю жизнь. Я желал бы прожить все свои 10.000 дней. Я любовался бы этой увядающей природой, этим гибельным зноем солнца. Я мечтал о той роскоши природы, которой мне, в моем поколении, не суждено видеть, но которую видели наши отцы и возвращение которой я, быть может, встретил бы на закате своих дней. Я учился бы, я наслаждался бы музыкой, поэзией, всеми искусствами; я, как другие, был бы счастлив любовью! Но,— но, товарищи, я знаю, я убежден, что наш высший долг, наш мировой долг, наша обязанность пред вселенной — устранить себя с пути. Да! чудовищное самоубийство! Самоубийство не одного индивидуума, но целого мира! уничтожение всего его будущего, всех бесконечных веков, заключенных в нас и в наших детях! Но самоубийство, которое спасет нечто большее, нежели мы! Спасет иной мир, который достойнее нашего! Во имя блага всей солнечной системы наша маленькая, наша жалкая комета должна исчезнуть. Я это говорил, я это повторяю. Теперь убивайте меня.

Г о л о с: Он — сумасшедший. Его надо лечить.

Д р у г о й г о л о с: Выразить ему презрение и исключить из членов Совета!

П р а в и т е л ь: Ставлю на голоса предложение.

Г о л о с а: Нет! Смерть! Казнь!

П р а в и т е л ь: Хорошо. Будем голосовать два предложения: смертная казнь и исключение из членов.

Р и а р а у р: Разве это — суд?

Л е о т о е т: Мы высший суд, и ты это знаешь.

П р а в и т е л ь: Ставлю на голоса первое предложение. Кто признает товарища Риараура подлежащим смертной казни?

Г р о м а д н о е б о л ь ш и н с т в о: Мы! Мы! Я! Я! Смерть!

П р а в и т е л ь: Явное и громадное большинство. Нужен ли счет голосов, товарищ Риараур?

Р и а р а у р: Хорошо. Но по нашему древнему праву я апеллирую к народу. Лишите ли вы меня этого права?

Пусть все население нашего мира узнает о моем предложении. Пусть все обитатели нашего мира решат мою судьбу и свою собственную. Я требую референдума.

Правитель: Согласно нашим древним свободам, он имеет на это право.

Леотоет: Пусть! Неужели шестьсот миллионов живых существ сами подпишут себе смертный приговор! Передадим решение народу!

Голоса: Прекрасно! Пусть!

Правитель: Товарищ Риараур, вы арестованы. Товарищи, члены Совета, заседание закрыто.

СЦЕНА V

Аитиа и Тюремщик.

Аитиа: Приказание совершенно ясно: мне предоставлено свидание наедине.

Тюремщик: Но это противоречит всем данным мне распоряжениям.

Аитиа: Приказание скреплено Правителем.

Тюремщик: Я должен получить подтверждение по телефону.

Аитиа: Пожалуйста. Только поскорее.

Тюремщик: Тотчас же. Подождите меня здесь. *(Звонит в гонг, входит Помощник. Делает ему знак. Уходит.)*

Помощник *(тихо)*: Он отказывает?

Аитиа: Он будет обязан подчиниться.

Помощник *(так же)*: Слушайте. Когда будете говорить с Риарауром, не становитесь посередине зала. Акустическое ее устройство таково, что оттуда все звуки доходят в соседнюю комнату. Там слушают. Не отвечайте мне. Он возвращается.

Тюремщик *(входит)*: Вы можете иметь свидание наедине.

Аитиа: Пожалуйста.

Тюремщик *(Помощнику)*: Приведите сюда заключенного.

Помощник: Исполняю *(уходит)*.

Тюремщик: Свидание шесть минут.

Аитиа: С меня достаточно.

Помощник *(вводит Риараура)*: Заключенный Риараур.

Тюремщик *(Помощнику)*: *Идем* (Уходит.)

Риараур: Ты? Аи!

Аитиа: Я.

Риараур: Вот это — счастье.

Аитиа: У нас нет времени говорить друг другу ласки. Нет, не сюда. Отойдем в сторону. Не спрашивай, я знаю зачем. Теперь слушай. Ты должен бежать.

Риараур: Я? бежать? Нет.

Аитиа: Референдум идет быстро. Подано свыше 200.000 голосов. Едва двенадцатая часть против смертной казни. Ты осужден несомненно. Для бегства все готово. Правитель за тебя. Завтра в ночь...

Риараур: Напрасно. Да, дорогая, ты старалась напрасно. Я не могу бежать. Подумай. Я предлагал казнь всему нашему миру и испугаюсь своей собственной казни! Это значит — отвергнуть свои собственные слова. Разве я могу это сделать!

Аитиа: Риа! Ведь ты же понимаешь! Твоя великая идея — одно. Твоя казнь, бессмысленное убийство тебя — другое! Зачем ты умрешь, если все останутся живы!

Риараур *(улыбаясь)*: Чтобы подтвердить свои слова.

Аитиа: А я? Ты обо мне подумал? Ты хочешь меня оставить одну. Ты меня не любишь!

Риараур: Аи! Я тебя любил и люблю, как только можно любить. Но есть нечто, что выше любви.

Аитиа: Этого нет! Или все равно! Пусть есть! Но я не хочу потерять тебя! не могу быть без тебя! Ты хочешь, чтобы я тоже умерла. Мы будем так счастливы! Мы уедем на север. Я знаю одну долину. Нас не найдут. Риа! Риа! уступи мне. Живи! люби меня! *(Плачет.)*

Риараур: Слишком жестоко, что ты делаешь сейчас. Мне нужна вся моя воля. Ты пришла отнять ее. *(С энергией.)* Нет, Аитиа! Я хотел уничтожить весь наш мир. Я не отступлю перед тем, чтобы убить себя, свою любовь, тебя... да! и тебя. Так умри, если это надо.

Аитиа: Ты — чудовище! Риа! Ты ли это? Я боюсь тебя.

Риараур: Аи! Аи! Я люблю тебя!

Аитиа: Тогда живи! Беги! Завтра же ты будешь свободен. Будешь опять со мной.

Р и а р а у р: Нет.

А и т и а: Чудовище! Камень! У тебя идея вместо души!

Р и а р а у р: Тише. Нас услышат. Нет, Аи. Бежать я не могу. Я должен умереть.

Т ю р е м щ и к *(входя)*: Шесть минут истекло.

СЦЕНА VI

Кабинет Леотоета.

Л е о т о е т кончает работу. Э а л а э входит.

Э а л а э: Теперь можно к тебе?

Л е о т о е т: Если ты хочешь повторить утреннюю сцену, лучше не надо.

Э а л а э: Я хочу, чтобы между нами все было ясно. Утром ты осыпал меня упреками. Никогда я не подозревала, что ты можешь быть так груб.

Л е о т о е т: Что тебе еще от меня надо? Я исполнил все твои желания, все, что обещал тебе. Я требовал смерти Риараура. Он в тюрьме. Он будет казнен. С тебя не довольно?

Э а л а э: Но за него Правитель. Риарауру дадут возможность бежать.

Л е о т о е т: Буду очень рад. Риараур — могучий ум. Таких надо беречь, преклоняться пред ними, а не казнить.

Э а л а э: Он осужден приговором Совета, и дать ему бежать — преступление.

Л е о т о е т: Ты уже жужжала мне об этом. Успокойся, все меры приняты. Бежать ему не удастся. И это твое кровавое желание исполнено.

Э а л а э: Кажется, это был твой долг, а не мое желание.

Л е о т о е т: Эа! мы не первый день знаем друг друга. Здесь притворяться не пред кем. Ты, ты одна, сделала так, что Риараур умрет. Я знаю все твои козни, все твои интриги. Ты возненавидела его лютой ненавистью. Ты вырвала у меня обещание погубить Риараура. Догадывалась, что тому причиной — твоя отвергнутая страсть.

Э а л а э: Леот! ты опять оскорбляешь меня.

Л е о т о е т: Довольно! Знаю тебя вдоль и поперек.

Пришло время все сказать тебе в лицо. Воображаешь, что я все еще твой раб, за одну твою ласку готовый на все? Ошибаешься. Я слишком многое знаю теперь. Мне известны твои измены! Известно, как ты позорила меня и мое имя! Распутница! Продажная тварь! Нет, хуже. Ты отдаешься задаром, из-за одной ненасытной похоти!

Э а л а э: Леот! Леот!

Л е о т о е т: Да, я — Леотоет! Тот, который до встречи с тобой был честным. Что ты сделала! На какие преступления ты меня навела? Но довольно! Больше нет твоей власти надо мной. Уходи.

Э а л а э: Ты разлюбил меня?

Л е о т о е т: Прочь!

Э а л а э: Ты разлюбил меня! *(Поражает себя кинжалом.)*

Л е о т о е т: Что ты делаешь! безумная!

Э а л а э: Я люблю тебя. Прощай!

Л е о т о е т: Эа! Эа! *(Звонит в гонг, появляется секретарь.)* Нужен врач! *(Секретарь скрывается.)* Эа! Эа! *(Пытается остановить кровь.)*

2-ой с е к р е т а р ь *(входя)*: Врачу дано знать. Но я изучил медицину. В чем дело?

Л е о т о е т: Она ранила себя. Помогите.

2-ой с е к р е т а р ь *(осматривает Эалаэ)*: Поражено сердце! Она умирает.

Л е о т о е т: Спасите ее!

2-ой с е к р е т а р ь: Надежды нет.

СЦЕНА VII

У Коатоака.

Коатоак, Меор, один, другой, третий из друзей **Риараура**; в стороне **Аитиа.**

К о а т о а к: Товарищи, решим же! Довольно говорили. Ясно все. Риараура спасти должны. Согласны все. И все готово. Так исполним. Ясно?

О д и н: Но сам он не хочет бежать.

К о а т о а к: Опять? Уже обсуждалось. Согласны все. Риараур должен жить. Спасем его. Даже против его воли! Согласны?

О д и н: Я — нет.

К о а т о а к: Почему?

Один: Я уже говорил почему. Перед нами — вечность бытия, бессчетное число лет. Каждый год — наши семь поколений. В их ряду, жизнь одного — седьмая часть года: 30.000 дней из 200 000! Важно ли, если кто-то, пусть очень замечательный, проживет не эти 30.000 дней, а только 10.000. Все равно, то и другое — миг вечности! Стоит ли столько спорить, столько бороться, нарушать чужую волю — ради скольких-то лишних дней? Какая суета!

Аитиа: Он — Риараур.

Коатоак: Вы слышали? Да! Это — Риараур. Не «кто-то»! Такие — раз в десять [тысяч] лет. Раз в сто поколений! Он дал много. Он даст еще многое. Он нужен миру. Кто знает, что еще принесет он миру! Риараур должен жить!

Суутеес: Выслушаем, что скажет Меор?

Меор: Я говорил уже. Среди вас я как бы гость. Уже почти 40.000 дней я вижу свет солнца. К вам я пришел из иного поколения, из эпохи великой радости нашего мира. Но, когда я был молод, очень молод, моими учителями были деятели второго поколения. Помню их, вышедших из тьмы и стужи, мощных, гордых, прозорливых. Помню их голос, их заветы. В роскоши третьей эпохи я пытался следовать им. В увядании этих времен решаюсь еще раз вам повторять их слова. Знание, труд, терпение,— они преодолеют все. Одной силой не вырвешь тайн у природы. Только наука открывает нам пути. И нет путей иных, как ее. Наука решит наш спор.

Второй: Бесполезно было спрашивать старика: он давно выжил из ума.

Третий: Нет, мы, может быть, не понимаем, но в его речах — всегда истина.

Второй: Просто старческий бред!

Третий: Пророчества.

Один: Меор не скажет больше ничего?

Коатоак: Молчи. Видишь: он нас не видит. Уважай мудрость и старость. Товарищи! Мы слышали достаточно. Мудрый подтвердил. Мы должны спасти того, в ком воплощена наука.

Один: Нет! Смысл слов Меора — иной. Он сказал, что одной силой не вырвать тайн. Мы хотим именно одной силой спасти Риараура. Мудрый предлагает нам найти иной путь его спасения,— путь через знания, через науку.

Аития: Но казнь назначена через три дня!

Коатоак: Долго ли мы будем спорить? Все готово. Правитель с нами. Главный тюремщик наш. Аэроплан ждет. Назначена ночь на завтра. Риараур не хочет бежать? Он заблуждается. Ложно понимает долг. Спасем его насильно! Ясно! Согласны все?

Второй, Третий: Согласны!

Коатоак *(Одному)*: А ты?

Один: Подчинясь общей воле.

Аития: Друзья! Благодарю вас! Я знаю, знаю, что и он, Риараур, сам потом будет вам благодарен. Вы верные друзья.

Меор: Я увидел путь. Скорей отведите меня домой.

Третий: Что это?

Второй: Старческий бред. Не обращайте внимания.

СЦЕНА VIII

Камера Риараура.

Риараур в задумчивости. Входит Леотоет.

Леотоет: Привет, Риараур.

Риараур: Что тебе еще нужно от меня?

Леотоет: Я пришел говорить с тобой.

Риараур: Мне осталось жить два дня. Неужели нельзя отдать эти часы мне? Я хочу провести их сам с собой.

Леотоет: Я пришел говорить не для себя, а для тебя. Я скажу тебе многое, чего ты не знаешь. Ты должен выслушать меня, потому что это я убиваю тебя.

Риараур: Последнее ты преувеличиваешь, не ты казнишь меня, а косность народа, страх каждого за свою жизнь.

Леотоет: Нет, твоя близкая смерть — дело моих рук. Народ отвергнул бы твое предложение, Совет осудил бы тебя на исключение, на изгнание. Но, если ты приговорен к смерти, это сделал я.

Риараур: Ты?

Леотоет: Я, или, если хочешь, не я, а моя жена, Эалаэ. Ты помнишь ее?

Риараур: К чему мне слушать все эти басни! Какое мне дело до твоих счетов с женой!

Леотоет: Риараур! Ты привык витать мечтой в от-

влеченностях. А жизнь шла своим чередом. По-видимому, ты просто забыл свои встречи с Эалаэ. Забыл? Она любила тебя, Риараур.

Риараур: Какая нелепость!

Леотоет: Нелепость? Нет! Она любила тебя всей страстью женщины! Всей яростью зверя! Ей было нужно одно в мире — твоя любовь! Когда же ты даже не заметил ее страсти, она стала мстить. Она потребовала твоей головы. И я...

Риараур: Леотоет, мне жаль тебя. Мы — враги, но мне жаль тебя, если все, что ты говоришь, правда. Ты, подчиняясь страсти к женщине, сделал то, что сам считаешь преступным. Ты погубил меня и ко мне же пришел каяться. Бедный! Бедный!

Леотоет: Эалаэ умерла.

Риараур: Умерла? Когда и отчего?

Летоет: Сама закололась кинжалом.

Риараур: Друг! Я приговорен к смерти. Я уже чужд вашей жизни, мне больше незачем вникать в эти сплетения страстей, прошу тебя, оставь меня одного.

Леотоет: Мне уйти! А через несколько минут здесь будут твои друзья и уведут тебя на свободу.

Риараур: Это — ложь!

Леотоет: Это тоже правда. Правитель потворствует твоему побегу. Все тюремщики в заговоре или подкуплены. Аэроплан ждет, через четверть часа ты будешь лететь к полюсу, где уже готово безопасное убежище.

Риараур: Этого не будет никогда. Я отказался бежать. Я хочу смертью подтвердить свою правоту.

Леотоет: Твои друзья, Коатоак и другие, силою, или будто бы силою, выведут тебя из тюрьмы. И все мы знаем этот план,— да! задуманный хитро.

Риараур: Ты оскорбляешь меня своими подозрениями! Оскорбляешь, когда я бессилен защищаться.

Леотоет: Вовсе не бессилен. Вот тебе кинжал! *(Дает.)* Возьми, сильный сумеет его использовать. Теперь прощай: они уже идут.

Леотоет выходит. Почти тотчас в дверях появляются Коатоак и другие.

Риараур: Друзья! Ни шагу далее. Видите этот кинжал? Я пронжу себе сердце, если вы ступите еще шаг. Мне известен ваш план. Благодарю вас за вашу

любовь, но бежать я не могу, я не хочу. Я останусь здесь, и через два дня я умру. Я так решил. И никто не поколеблет моего решения. Не возражайте ни слова! А теперь уходите немедленно! Больше ждать я не в силах. Если промедлите еще миг, я вонзаю кинжал. Вот-вот, глядите, о! прочь! Он уже колет мое тело! Прочь!

(Все вошедшие скрываются за дверью.)

СЦЕНА IX

У Леотоета.

Леотоет один: входит 1-ый секретарь.

1-ый секретарь: С тобой хочет говорить жена Риараура.

Леотоет: Жена Риараура! — Но все равно. Пусть входит.

(1-ый секретарь впускает Аитию, сам уходит).

Леотоет: Ты пришла или просить за мужа, или мстить за него.

Аитиа *(молчит).*

Леотоет: Или за тем и за другим, будешь просить, чтобы я спас Риараура, а если я откажусь, ударишь меня кинжалом.

Аитиа *(роняет кинжал).*

Леотоет *(подняв кинжал, возвращает его Аитии)*: Хорошо отточен. Возьми его назад.

Аитиа *(берет кинжал машинально).*

Леотоет: Ты думаешь, я страшусь умереть? Или мне жаль жизни? 30.000 дней, 20.000 дней — велика ли разница? Ударь!

Аитиа: Ты не хочешь спасти его!

Леотоет: Зачем?

Аитиа: Но ты можешь! Ты можешь!

Леотоет: Я больше ничего не могу. Я больше ничего не хочу. И ты скоро поймешь, что ничего не нужно. Любить? Да. Я любил. Так любил, что ради любви совершал преступления. И женщина умерла,— один удар клинка, и нет любви, ничего нет. Еще власть?! Я обладал властью. Но нет любви, и на что мне власть? На что жизнь, если все уходит, если и сам я, и каждый, все мы — уйдем неизбежно. А! очередное поколение, чтобы потом жили другие... Другие, не мы! И чтобы любили

другие, и счастливы были другие... Не мы, нет, не мы...

Аитиа: Ты бредишь?

Леотоет: А, ты еще здесь? Почему же ты еще не ударила меня своим кинжалом?

Аитиа: Леотоет! Ты говорил о любви. Знаю, что Эалаэ умерла и что ты страдаешь. Но я, ведь я жива, и Риараур жив еще: и мы любим друг друга! И жизнь для нас счастье. Памятью твоей любви заклинаю: спаси Риараура! Ты можешь! Спаси его! Верни нам жизнь и любовь! Ты погубил его, а я на коленях перед тобой вымаливаю у тебя его жизнь.

Леотоет: Женщина, он убил мое счастье.

Аитиа: Неправда! Не он, а та... та, низкая, подлая, чья страсть...

Леотоет: Ты хочешь оскорблять память Эа?

Аитиа: Оскорблять! Проклинать! и ты знаешь, чего она достойна! И сам ты — зверь! Иди! Тебя должно убить, убить без жалости. Стыд мне, что я пришла сюда! Прочь, прочь!

Леотоет: Погоди, женщина. Чего ты хочешь? Чтобы Риараур не был казнен?

Аитиа: Этого требует справедливость.

Леотоет: Хорошо. Он не будет казнен. Пусть живет еще тысячи дней. А ты ступай.

СЦЕНА X

Балюстрада, около трибуны Правитель.

Аитиа, Миамиа и др. Много зрителей.

Миамиа: Будь спокойна, Аитиа! Леотоет обещал. Он всегда исполняет свои обещания.

Аитиа: Я как мертвая. Было столько ужаса, столько надежд, столько разочарований. Я ничему больше не верю.

Группа зрителей на переднем плане.

Первый: Все один обман: никакой казни не будет.

Второй: И будет справедливо. Потому что безумно казнить за мнение, с которым не согласны.

Третий: Нет, несправедливо. Риараура помилуют, потому что он один из Правления. Будь на его месте кто другой, его преспокойно казнили бы.

Второй: Риараур не только член Правления: он — великий ум.

Третий: Ум, который всем нам предлагал самоубийство.

Первый: Правитель! Правитель!

Правитель и члены Правления приближаются; среди них Леотоет.

Правитель *(на трибуне)*: Товарищи, молчание!

Третий: Послушаем мудрые речи.

Правитель: Правление, избранное всем народом, собралось сегодня на чрезвычайное заседание. Нам известно, что вопрос о вине товарища Риараура вызвал много несогласий. Мы вновь подвергли его обсуждению. И единогласно,— слышите, товарищи! — единогласно, Правление постановило, что вопрос должен быть вновь отдан на решение народа. Быть может, многие изменили свое суждение. Потому казнь товарища Риараура откладывается до этого нового решения. Таково постановление Правления, и оно сейчас всенародно будет объявлено товарищу Риарауру.

Третий: Что я говорил!

Миамиа: Ты слышала! Он спасен!

Аитиа: О, все тот же ужас в моей душе!

Правитель: Привести сюда товарища Риараура!

Леотоет: Могу я говорить к народу?

Правитель: Можешь.

Леотоет: Товарищи! Я первый внес предложение о казни Риараура. Он заслуживал смерть своим преступным планом. Но план Риараура отвергнут Правлением и вами. Он стал безвреден. И теперь, когда прошло наше негодование, мы спрашиваем себя: должен ли умереть Риараур? Риараур, ум и знание которого так много дали нам? Этот вопрос разделил нас на две части; идут споры; начинаются волнения. Не будем спешить. Спросим еще раз себя, всех, весь народ. Теперь мы вынесем решения, не подчиняясь порыву гнева. Согласны, товарищи? Правильно я говорю?

Отдельные голоса: Правильно! Согласны!

Многие: Да здравствует Леотоет!

Посланный *(возвращается)*: Товарищ Правитель! Я должен сообщить тебе тяжелую весть. Товарищ Риараур в тюрьме сам покончил свою жизнь, заколов себя кинжалом.

А т и а: О, мое предчувствие!

М и а м и а *(Леотоету, кричит):* Злодей! обманщик! Так вот твое коварство!

Л е о т о е т: Нет! И свою правоту подтверждаю смертью. *(Закалывается.)*

П р а в и т е л ь: Остановить это безумие.

С у у т е е с *(врываясь на трибуну)*: Товарищи! Правители! Остановите казнь! Она не нужна! Великий Меор нашел исход! Великий Меор решил задачу. Он нашел средство отклонить нашу комету от ее пути. Мы пройдем, не задев хвостом этой планеты Земля. Ей более не грозит опасность от нас. Да живет Риараур.

П р а в и т е л ь: Слишком поздно. Товарищи, разойдемся.

Лев Гумилевский

СТРАНА ГИПЕРБОРЕЕВ

ЗАГАДОЧНЫЙ СПУТНИК

Из Колы, направляясь в глубь полуострова, вышел 24 июня 1913 года топографический отряд. Отряд, состоявший из шести человек, намеревался обследовать течение реки Умбы, вытекающей, как не многим известно, из озера того же названия.

Никто из участников этой экспедиции не вернулся. Для огромного большинства составителей карт точное местоположение реки и озера остается по-прежнему неизвестным. На всех просмотренных мною картах Кольский полуостров кажется в огромной своей части безводной пустыней, а на большинстве их загадочное озеро не означено вовсе, хотя величина его составляет не менее трети огромного Имандрского озера.

Об отряде не было получено никаких сведений. Ни обстоятельства гибели его, ни самое место трагедии не было никому известно. Однако никто из туземных жителей не сомневался в том, что топографы и их спутники погибли на пути к Острову Духов. Этот остров, о котором лопари говорят только днем, и то шепотом, находится в самой середине озера Умбы. Существует предание, в достоверности которого никто еще не решился усом-

ниться, что всякий, пытавшийся переправиться с берега на остров, погибал в волнах Умбы.

Летом 1926 года, то есть тринадцать лет спустя, из той же Колы и совершенно по тому же направлению, имея целью своего путешествия также озеро Умбу, отправился другой отряд, хорошо снаряженный для путешествия, но состоявший всего лишь из двух человек. Одного из них, старого охотника с мурманского берега, Николая Васильевича Колгуева, в просторечии Колгуя, толпа зевак, провожавшая путешественников, знала так же хорошо, как и любого из соседей. Другой же не был известен обитателям Колы, а так как, кроме того, он лицом, манерами и поступками совершенно отличался от всех колычан, то и привлекал к себе всеобщее внимание. Этому способствовало еще и то обстоятельство, что всего лишь за два дня до путешествия этот загадочный спутник Колгуя, искавший в городе проводника, поставил на ноги старого охотника, лежавшего две недели в постели, дав ему шесть горьких порошков неизвестного лекарства.

Местный врач за две недели перепробовал на больном все свои, правда ограниченные, средства, но не добился ни малейшего улучшения в положении Колгуя, называвшего свою болезнь просто лихорадкой. Тем большее удивление вызвал своим средством приезжий, получивший тогда же среди шептавшихся колычан почтенное наименование доктора. Впрочем, странному путешественнику, искавшему в Коле проводника до Умбы, действительно не чужды были врачебные познания. Во всяком случае, когда он от десятка обывателей услышал, что, кроме Колгуя, нет такой отпетой головы в городе, кто согласился бы идти на Умбу, приезжий не задумался отправиться к охотнику, хотя и был предупрежден о его несвоевременной болезни.

Колгуй, скрипевший зубами не столько от боли, сколько от злости на болезнь, уложившую его в постель, когда охотники бродили и дни и ночи с ружьем, добывая песцов и лисиц, посмотрел на гостя не очень приветливо.

— Проведете ли вы меня,— сказал тот на чистом русском языке, но с необычной для постоянно говорящего на этом языке старательностью выговаривая каждое слово,— до Умбы, если я вылечу вас?

Глубокие, но не старческие морщины на смуглом лице гостя и серые, почти бесцветные, но слишком глубокие

и беспокоящие пристальностью взгляда глаза его и самая манера говорить с необычайной простотою, за которой чувствовалось достоинство, внушили больному доверие. Во всяком случае, необычного посетителя он не послал к черту, как это делал с другими, предлагавшими верные средства от болезни, хотя ответил не без резкости:

— Если вы меня поставите завтра на ноги, я послезавтра отведу вас не на Умбу, а на самый Остров Духов, если вы пожелаете. Лучше умереть у черта в лапах, чем на этих вонючих тряпках!

Он хлопнул исхудавшей ладонью по соломенному тюфяку так, как хлопал по рукам колычан, заключая какую-нибудь сделку. Колычане знали, что слово Колгуя, подкрепленное рукопожатием, вернее писаных векселей. Может быть, гость знал это, может быть, он догадался о том по одному взгляду на охотника, но он ответил тотчас же, коротко:

— Хорошо, я вас вылечу!

Он не был ни знахарем, ни фокусником, ни чародеем, потому что с внимательностью и тщательностью, свойственной далеко не каждому врачу, он, осмотрев больного, расспросил его о всех малейших проявлениях болезни. Напав на какой-то след, он сам досказал Колгую все остальное с такою точностью, что можно было подумать, будто он все две недели не отходил от постели больного, наблюдая за ним. Только после этого он ушел и вернулся с багажной сумкой, из которой извлек те шесть порошков, которые поставили Колгуя на ноги.

Обитателям древнего города Колы, как я уже сказал, все это было известно. Вот почему чужеземный доктор, к тому же избравший целью своего путешествия столь рискованное место, как Умба с его Островом Духов, привлек всеобщее внимание.

Впрочем, улицы Колы не велики, а сытые лошадки путешественников с такою охотой тронулись в путь, что маленький отряд не долго тешил своим видом зрителей. Колгуй, еще бледный и худой, но сидевший на лошади с большей уверенностью, чем в постели, помахал шапкой на прощание приятелям, и отряд скрылся с глаз зевак.

Спутник Колгуя оказался человеком не очень разговорчивым. До вечера он только раз, когда, увязая до щиколотки в болоте, лошади шли шагом, открыл рот.

— Не рано ли пустились мы в путь? — сказал он,

впрочем, сейчас же добавляя: — Хотя вы, кажется, чувствуете себя хорошо!

— Я думаю, что нагуляю себе жиру скорее в дороге, чем дома! — проворчал Колгуй.

Они пробирались вересковым кустарником. Бившиеся о колена коней вечнозеленые листья багульника издавали свой горько-пряный запах, и старый охотник оживал от аромата, точно не дышал, а пил кружку за кружкой колычанское пиво, сдобренное для крепости пьянящим настоем багульника. Кисти колокольчатых цветов андромеды веселили темно-зеленый ковер болота, но лошади пугливо поднимали головы прочь от ядовитой листвы ее, торопясь выбраться из топи на твердую почву.

— Тогда будем спешить! — отозвался спутник Колгуя сурово и замолчал надолго.

Колгуй, выбравшись из болота, молча последовал его совету и погнал коней вперед.

Безлесная равнина расстилалась впереди на десяток верст. Суровые ветры здесь сжигают все, что поднимается выше слоя снега, прикрывающего землю зимою. Низкорослый кустарник черники и брусники казался издали ровным луговым ковром.

Кони шли едва приметными и для острого глаза охотника тропинками. На сотни верст здешние дороги безлюдны, и Колгуй, привыкший, плутая в болотах и равнинах, молчать целыми днями, не очень тяготился молчаливостью своего спутника.

Однако на первом привале после полудневного пути и тряски, после сытного завтрака, запитого чашкой спирта, когда странный путешественник нетерпеливо поглядывал на щипавших траву лошадей, Колгуй не вытерпел.

— За каким, собственно говоря, дьяволом,— сказал он без всякой учтивости, законно исчезающей у людей среди диких равнин, не тронутых ногой человека,— несет нас, доктор, на Умбу?

Серые глаза доктора не оживились ни гневом, ни любопытством. Он ответил тихо и просто:

— Для чего бы я стал тратить время и слова на объяснение того, что вам станет ясным и так через два дня?

— Дельно сказано,— смутившись, пробормотал Колгуй и вытянулся на траве, словно не желая продолжать так ловко оборванный разговор, но тут же добавил, как будто для себя одного: — Я не верю ни в бога, ни в черта, но без большой нужды я не потащился бы на этот

остров... Я-таки отлично знал тех топографов, которые не вернулись оттуда...

— Оставаясь в постели, вы могли умереть несколько раньше, чем мы доберемся до Острова Духов,— с едва заметной усмешкой ответил доктор.

— Что? Я разве отказываюсь идти с вами? — вскочил Колгуй.

— Я не говорил этого,— тихо заключил доктор.

Можно было подумать, что разговор утомлял его больше, чем седло. Колгуй замолчал и молча пошел к лошадям.

— Я думаю, мы отдохнули довольно? — проворчал он.

Доктор молча кивнул головой, и через минуту они снова продолжали свой путь.

Спокойный и ровный путь этот, то незаметной тропою пробиравшийся в зарослях кустарника, то шедший между каменных скал, покрытых ржавым мхом, то выходивший в степь, то опускавшийся в болотистые низины, длился до таинственных северных сумерек, незаметно сменивших летний день на белую ночь.

Колгуй уже начинал поглядывать вопросительно на своего спутника, помышляя об отдыхе, и тихонько приглядывался к укромным уголкам, когда тот вдруг придержал лошадь и обернулся к проводнику.

— Что это? — спросил он, кивая в сторону.

Белая, прозрачная ночь сияла над миром, как загадка: не было теней, не было источника света. Все казалось прозрачным, все чудилось освещенным откуда-то изнутри. И развалины каменной стены, возвышавшейся над низкою порослью карликовых берез, были видны издалека.

Колгуй весело воскликнул:

— То, что нам нужно для ночлега, доктор. Мы не могли бы и желать здесь лучшего...

— Что это такое? — повторил тот, не замечая болтовни охотника.— Жилище?

— Да, иногда в них живут лопари... Я думаю, что им по тысяче лет, и те, кто их строил, были посильнее нас... Лабиринты — называли их топографы.

— Хорошо, мы ночуем там! — вдруг согласился тот и, круто повернув с дороги, направился к дряхлым камням с такою поспешностью, что Колгуй с недоумением погнал за ним свою лошадь, не понимая, откуда вдруг появилась в докторе такая охота к ночлегу и отдыху.

СЛЕДЫ

Тот, кому случалось забираться в глубь Кольского полуострова, встречал, конечно, как и Колгуй, исколесивший его во всех направлениях, среди зарослей карликовой березы и стелющейся по земле ивы необычайные каменные лабиринты, где лопари, остающиеся до сих пор язычниками, приносят жертвенных животных своим сердитым богам.

Стены этих странных построек невысоки. Они сложены из огромных камней, заставляющих вспоминать о великанах, которым одним только под силу могли быть подобные сооружения. Внутренность этих построек представляет собою ряд переплетающихся между собою ходами и выходами каменных коридоров. Они, кружась, в конце концов выходят к центру лабиринта, где водружен тяжкий, как скала, каменный очаг.

Обычно вокруг этих построек ютятся в своих оленьих чумах лопари, стекающиеся сюда на суд шамана по множеству своих семейных, житейских и оленьих дел. Иногда стены лабиринта, прикрытые земляной крышей, обращаются ими в постоянные жилища. Однако, глядя на низкорослых, заеденных холодом, голодом, вшами и нуждою обитателей циклопических построек, невозможно предположить, что они сами, деды их или прадеды строили эти угрюмые дворы, заставляющие вспоминать о каменном веке земли.

Казавшийся издали бесформенной грудой камней лабиринт, привлекающий внимание доктора, был брошенный на лето храм отправившихся к морю за рыбою лопарей. Колгуй, несколько удивленный поспешностью своего спутника, с которой тот направился в сторону мелькнувшей в зарослях постройки, признал в нем, кроме того, первый храм, лежавший на пути к Умбе.

Он спокойно последовал за доктором, спрыгнул, как и тот, с лошади, но вместо того чтобы броситься, как он, с необычайным проворством и волнением к заплесневелым камням, спокойно поймал лошадь своего спутника и вместе со своею пустил их на пышную и свежую траву, а затем, с удовольствием разминая ноги после седла, вернулся к нему.

— Мы на верном пути,— сказал он,— мы идем к Умбе, как по компасу. Завтра к вечеру мы встретим еще такой лабиринт, доктор! И послезавтра будем на Умбе!

Человек, не назвавший своего имени до сих пор и откликавшийся на признательное наименование его доктором, стоял неподвижно, скрестив на груди руки, возле стены. На фоне огромных камней, ничем не скрепленных друг с другом, но тяжестью своею связанных крепче, чем цементом, он был сам похож на каменное изваяние. Высокий и крепкий, запечатанный в кожаное пальто, отсвечивавшее в белой ночи шлифованным мрамором, он почудился старому охотнику выходцем из другого мира. И Колгуй вздрогнул, когда тот, не поворачивая головы, сказал со спокойной уверенностью:

— Да, мы идем по верному пути!

В тот же миг, точно разбуженный от своей задумчивости собственной речью, он перебрался через стену, доходившую ему до груди. Это движение отогнало странный призрак статуи, почудившийся Колгую, и он, встряхнувшись и оправляясь от минутного замешательства, крикнул сердито:

— Послушайте, доктор! Если вы знаете не хуже меня верный путь до Умбы, так на кой черт вы взяли с собой проводника?!

Вызывающий тон заставил странного путешественника поднять голову. Доктор посмотрел на Колгуя, но так, точно не видел его, и пояснил тихо:

— Я говорю не о том пути, о котором говорили вы.

— Что же, по-вашему, тут две дороги?

— Да, и каждый идет по своей!

Колгуй, бормоча себе под нос, посоветовал черту разобраться во всем этом деле и направился к лошадям. Когда он вернулся в лабиринт к очагу, долго путаясь в каменных коридорах с кошмами, одеялами, ужином и кожаными мешками доктора, туго набитыми не очень легким багажом, тот уже спокойно ожидал его.

Когда же все было разложено и ночлег приготовлен, к удивлению старого охотника, его спутник сам первый открыл рот.

— Вы сказали, что завтра к вечеру будет еще одно такое же сооружение? — спросил он.

— Да,— подтвердил Колгуй,— это будет один из самых больших и самых важных храмов. Он стоит на берегу Умбы, и туда приплывают лопари, отправляясь в море, чтобы заручиться согласием своих болванов и шамана... Там, я думаю, под залог наших лошадей, которые тем временем отдохнут для обратного пути, если,

конечно, нам прндется возвращаться, под залог лошадей мы достанем какую-ннбудь посудину, чтобы выйтн на озеро...

Он замялся, потом решительно досказал:

— Ну, и иа Остров Духов, разумеется, если вы думаете в самом деле побывать там!

— Да, мы переправимся туда! — коротко сообщил доктор.

— Стало быть, я верно догадался, что лодку нам добывать придется.

Колгуй охотно стал бы продолжать завязавшийся не по его почину разговор, но собеседник его, устало кивнув головой вместо ответа, уже заворачивался в шерстяное одеяло.

Колгуй не без досады улегся поблизости. Он не спал ночь, слушая лошадей, готовый подняться при малейшей тревоге. Поглядывая на своего спутиика, ои имел возможность не раз заметить, что н тот, погруженный в забытье, не спал, ио отдыхал в какой-то особенной, каменной неподвнжностн.

Он откликнулся ранним утром на зов Колгуя тотчас же и встал со свежнм, спокойным лицом, на котором нельзя было заметнть нн малейшнх следов сна, делающих измятымн и серымн лнца всех кольчаи.

Во всем этом ие было иичего загадочного и таинственного. Одиако, приготовнв лошадей и трогаясь в путь, старый охотинк искоса посмотрел иа своего спутнка, и во взгляде этом можно было прочесть далекое и смутное подозрение.

Впрочем, за весь день путн до самого вечера не было ннкакнх новых поводов для того, чтобы подозрение это выросло. Наоборот, уступая лн ласковой настойчнвостн солнца, старавшегося расплавить н смягчнть каменную недвнжность нзваянного лнца доктора, отравляясь ли пьянящим ароматом багульнника, загадочный спутнк Колгуя ие без удовольствия оглядывался по сторонам и не раз сам заговарнвал со своим проводником о посторонних вещах.

Несомнеино также, что если не радость, то заметное удовлетворенне скользнуло по его лнцу, когда, уверенно плутая по невнднмым тропам и дорогам, Колгуй выбрался иа поляику к каменному лабирниту, возле которого было раскинуто с полдюжнны лопарских чумов.

Осматривая каменные стены издали, доктор оживленно спросил:

— Долго ли плыть до озера по реке?

— Пустяки,— ответил Колгуй,— до реки два шага отсюда, а лабиринт у самого истока реки...

— А до острова?

— Не плавал,— отрезал Колгуй,— не знаю. Только с берега озера можно видеть остров, если нет тумана над водой. Я не совал своего носа в дела островных чертей, но если я сяду в весла, так доставлю туда вас не дольше, как за час работы...

— И столько же, чтоб вернуться назад? — с улыбкой спросил тот.

— Если мы выберемся обратно, я доставлю лодку назад, вероятно, за полчаса! — пробурчал Колгуй.

— Посмотрим,— просто заметил доктор, и впервые старому охотнику показалось, что все россказни об Острове Духов были по меньшей мере преувеличены.

Можно с уверенностью сказать, что Колгуй был первым из всех колычан, кто усомнился в достоверности известного предания, как верно и то, что он был первым, кто вскоре затем мог убедиться, что сказки об Острове Духов рассказывались не зря.

Впрочем, в тот момент ему некогда было думать об этом. Доктор бросил ему на руки поводья и немедленно отправился плутать по коридорам лабиринта, пробираясь к очагу. Колгуй же, устроив лошадей на попечение скалившего зубы лопаря, отправился бродить из одного чума в другой, расспрашивая о том, каковы были уловы рыбы, и осторожно осведомляясь, нельзя ли добыть к утру лодку.

Лодка нашлась, сделка после осмотра лошадей состоялась к обоюдному удовольствию. Однако старый, подмигивающий единственным глазом лопарь был заметно разочарован, когда на ехидный вопрос его — «не собирается ли охотник со своим товарищем отправиться на Остров Духов» — Колгуй сурово ответил:

— Как раз наоборот. Мы хотим спуститься вниз.

— А,— вздохнул лопарь,— конечно! Вы получите своих лошадей, когда захотите.

Доктор был доволен своим проводником. Он не только поблагодарил его, но уверил с улыбкой:

— Несомненно, что мы вернемся назад так же бла-

гополучно, как прибыли сюда, благодаря вашей опытности, ловкости, зиаиию и заботливости.

— Если бы вы были ие только доктором, ио и колдуиом, я и тогда бы подождал до послезавтра вам верить! — проворчал Колгуй.

ОСТРОВ ДУХОВ

Жители Севера ие избаловаиы судьбою. Упориая и тяжелая вечиая борьба с угрюмой природою приучила их думать, что путь к счастью загроможден препятствиями. И, как всякий истый северяиии, Колгуй видел в сцеплении удач скорее угрозу, чем благополучие. Поэтому он с большим удовольствием отчалил бы от берега в дырявом челиоке, чем в просмолениой рыбацкой лодке, к тому же оказавшейся изумительио легкой иа ходу.

Делать, однако, было нечего, и со вздохом ои взялся за весла, которые ие подавали ии малейшей иадежды иа то, что не разлетятся вдребезги, если ои ударит ими о подводный камеиь.

Все шло как нельзя лучше. Солнце разогиало туман с воды прежде, чем оии выбрались по реке в озеро. Скалистый остров посредиие его предстал перед ними в прозрачиой дали с такою четкостью и голубоватая поверхиость воды была так спокойиа, что и последияя иадежда Колгуя на опасиость плаваиия исчезла. Ему ничего не оставалось, как покориться. Ои закрыл глаза и налег на весла.

Лодка поиеслась стрелою.

Каменистый берег острова, где скалы, как маяки, ие давали никакой возможиости уклоииться от взятого иаправления, вырисовывался вдали все с большей и большей четкостью. Ои же и придавал острову характер дикости, иеобитаемости. Крутые камеииые обрывы, легко принимаемые издали за искусствеиио сложеииые крепостиые стеиы, охраияли остров с такой неприступностью, что в самом деле начинало казаться, что остров не мог быть жилищем человека.

Загадочный спутник Колгуя, стоя на носу лодки, спокойио смотрел вдаль. Ои был иедвижеи, ои не произиес еще ии одного слова после того, как они выбрались из узкого истока реки на озеро. Колгуй, увлекаясь увеличивавшейся скоростью лодки, работал крепкими веслами

без боязни их обломать. Он мгновениями начинал забывать о своих страхах: трудно в самом деле представить себе свору чертей, нападающих на путников среди веселого утра на голубом озере, к тому же спокойном, как совесть новорожденного ребенка.

И вдруг неожиданный шелест за его спиной, движения, колебавшие лодку, заставили его, подняв весла, оглянуться назад, на своего спутника. Доктора не было. Вместо него в лодке стоял высокий индус в шелковом шелестящем халате, отливавшем на солнце всеми цветами радуги. Белая чалма была глубоко надвинута на лоб, и, когда на крик Колгуя индус оглянулся, старый охотник не сразу признал в нем своего спутника.

Тот улыбнулся, сказал тихо:

— Что вы кричите?

Тогда Колгуй оправился от испуга.

Он опустил весла, но проворчал сердито:

— Если вы хотите распугать здешних чертей этим балахоном, так не мудрено испугаться и мне. Я не слыхал, как вы одевались.

— Это единственное средство быть принятым за гостя, а не за врага,— заметил доктор.

— Может быть, вы и на меня напялите что-нибудь вроде этого?

— Нет. Вы останетесь у лодки и не пойдете на остров. Я не могу позволить этого...

— Что за черт,— вспыхнул Колгуй,— не собираетесь ли вы и там распоряжаться?

— Я боюсь, что вы не справитесь за час, как обещали, если мы будем продолжать наш разговор,— сказал доктор, прекращая беседу и всматриваясь в даль.

Колгуй, выругавшись про себя, принялся грести со злостью. Это придавало ему новые силы. Лодка шла ровно и мерно, вздрагивая от удара весел. Если бы Колгуй мог и имел охоту понаблюдать за своим спутником, он, вероятно, не раз бы имел повод для того, чтобы, вскинув весла, обратиться к доктору за объяснениями.

Но он не оглядывался. Доктор же, стоя на носу, вглядываясь вперед, поднял высоко руки, точно приветствовал кого-то, стоявшего на берегу. Были ли у него необычайно зорки глаза или он, не глядя даже на берег, не сомневался в том, что обитатели острова наблюдают за дерзкими путешественниками, выжидая удобной минуты, чтобы их погубить, но он не ошибался.

Когда Колгуй, отыскивая подходящее место для причала, оглянулся на берег, он также увидел бородатых, спокойных людей, стоявших на скале. Их было шестеро. Несомненно, они были вооружены, хотя оружие их было незнакомо Колгую. То были копья, мечи и луки. Однако они не изъявляли ни малейшей готовности вступить в бой с дерзкими пришельцами. Наоборот, своим маскарадом доктор как будто расположил их к себе настолько, что, когда лодка ткнулась в береговую крошечную бухточку, образованную лощинкой между двух каменных скал, вооруженные люди немедленно двинулись навстречу прибывшему гостю.

Доктор продолжал стоять на лодке, ожидая их. Они спустились со скалы с проворством и ловкостью людей, привыкших бродить по обрывистому берегу. Тогда, снова приветствуя их поднятыми руками, обращенными ладонями к приветствуемым, точно показывая, что в руках гостя не спрятан камень или какое-нибудь оружие, доктор произнес несколько слов на неведомом старому охотнику языке.

Обитатели острова молчали. Доктор повторил то же на ином языке, и тогда странные люди закивали головами и стали ему отвечать.

Колгуй разглядывал собеседников своего странного спутника в немом изумлении. Они не были похожи ни на чертей, ни на духов. Это были упитанные, сильные люди с хорошо развитыми мускулами. Черты их лиц были резки и не очень правильны. Яркие цветные рубахи, длинные, до колен, прикрывали стройные фигуры. На одном из них, должно быть старшем в отряде, был накинут синий шерстяной плащ. Откинув его, чтобы освободить правую руку для ответного приветствия, он обратился к доктору с короткой, как показалось Колгую, почтительной речью.

Доктор ответил на нее. Когда предварительные переговоры были окончены, доктор обернулся к своему проводнику и предупредил сухо:

— Вы не должны покидать лодки ни на минуту. По закону жителей острова, всякий, кто ступит ногою на их землю, становится жителем их страны и рабом и должен будет подчиняться их законам. Главнейший же закон их заключается в том, что никто, раз ступивший на остров, не может его покинуть... Вы понимаете, в чем дело?

— Если бы я даже и забыл о топографах, так мне не нужно было бы долго объяснять этого. А вы, доктор?

— Я пойду с ними и вернусь ночью.

— А закон?

— Они сделают для меня исключение. Я поручусь за вас, чтобы освободить береговую стражу от обязанности следить за вами...

— Да уж лучше, если они уберутся отсюда, чтоб не мешать мне выспаться за две ночи...

Доктор вышел из лодки. Начальник береговой стражи вновь приветствовал его, затем окружил своими воинами, очевидно для почета, и все они двинулись по лощине в глубину острова.

Старый охотник, покачивая головою, не без сожаления посмотрел им вслед. Он не сомневался в ловкости доктора, которому, конечно, удастся вырваться от этих людей, но сам предпочел бы не только не покидать лодки, но и носом ее не касаться земли, а стоять поодаль на воде.

Нельзя сказать, чтобы Колгуй не был охвачен любопытством. Еще рискуя только жизнью, он, может быть, и отправился бы на остров приглядеться поближе к его странным обитателям. Но, считая свободу свою и независимость ценностью более существенной, чем жизнь, он не стал бы рисковать этими вещами даже и в том случае, если бы обитатели острова оказались бесплотными духами. К тому же, чувствуя себя связанным с доктором обязанностями проводника, он и подумать не мог о том, чтобы оставить его без своих услуг.

Поэтому, оглядев издали угрюмые скалы, утесы и обрывы каменного берега, Колгуй спокойно подчинился своей участи. Он устроил на дне лодки постель, прикрылся, как пологом, одеялом от солнца и растянулся с удовольствием путешественника, сделавшего добрую половину своего пути. Так как никто и ничто не нуждалось теперь в его охране, он спокойно заснул в тот же миг.

Две бессонные ночи и утомительный путь в седле на покачивающихся лошадках сделали свое дело: старый охотник спал как убитый весь день. Может быть, он проспал бы и до утра, если бы привычка спать настороже не заставила его очнуться от странного покачивания лодки и шороха шагов пробиравшегося к нему человека.

Колгуй открыл глаза, но не пошевельнулся, обманывая крадущегося врага своим спокойствием. Одеяло, при-

крывавшее его от солнца, тихонько приподнималось. Прежде всего Колгуй увидел в прозрачных сумерках белой ночи руку, державшую край одеяла. Это была узкая длинная белая рука с тонкими пальцами, украшенными кольцами. Несомненно, это была женская рука, и Колгуй отказался от мысли, блеснувшей у него в первый момент, схватить эту руку и сошвырнуть человека в воду. Наоборот, он приподнялся тихо, чтобы не испугать женщину, и даже пробормотал что-то вроде извинения, скидывая с себя полог.

В лодке в самом деле была женщина. Даже и в сумерках белой ночи можно было заметить, что она принадлежала к обитателям таинственного острова. Черты лица ее были правильны и четки. Она была не молода, но красива. Широкий плащ стеснял ее движения, но не мешал угадывать под ним ее сильную, стройную фигуру.

Колгуй приподнялся и сел на скамью, готовясь вступить в разговор с нежданной и довольно-таки приятной гостьей. Но она, смутившись на мгновение, тотчас же вынула из складок плаща какой-то сверток и, протянув его Колгую, сказала глухо:

— Возьми и прочти после.

Старый охотник принял подарок, свистнув от удивления. Родной язык в устах этой женщины звучал самой странной вещью из всех виденных им до этого времени. Он раскрыл было рот спросить, что это за штука, но женщина с кошачьим проворством и ловкостью уже выбиралась из лодки.

— Эге, погоди, красавица! В чем дело? — крикнул он, стараясь схватить ее за конец плаща в помощь не действовавшему на нее окрику.

Прежде чем он мог, однако, сделать это, женщина уже была на берегу. Крики Колгуя только подгоняли ее, и через минуту раздувавшиеся на быстром ходу полы плаща ее уже казались смутною тенью, падавшей от прибрежных скал в лощину.

Колгуй выругался, сплюнул в воду и стал рассматривать нежданный подарок. Это был свернутый в трубку тончайший пергамент, развернув который Колгуй, к окончательному своему изумлению, увидел рукопись. Вглядевшись в строчки и мелкие корявые буковки, он был потрясен еще более: это были русские буквы и русские слова.

Ошеломленный нежданным открытием, Колгуй забыл

о последнем слове женщины и немедленно принялся за чтение. И при свете дня он был не большим грамотеем, в сумерки же белой ночи рукопись пришлось разбирать, как ребус.

Тем не менее ему удалось прочесть вот это.

ГИПЕРБОРЕИ

«Кто может поверить мне и кто не сочтет эти записки бредом сошедшего с ума человека?

Я один из тех шести несчастных, кто был в топографическом отряде, вышедшем летом 1913 года на юго-восток из Колы с целью точного определения местонахождения реки и озера Умбы и обследования всей центральной части полуострова, остающегося и до сих пор никем не исследованным. Кто бы мог предположить, что никто не вернется из нас назад, и кто бы из нас поверил в тот яркий, солнечный день, что в трехстах верстах от Колы, в глуши лесных чащ, среди незамерзающего озера есть этот страшный, загадочный остров, прозванный лопарями Островом Духов?

Кто б мог поверить, что предание об этом острове ближе к правде, чем то проклятое веселье и шутки, с которыми мы переправились сюда с берега озера?

Я не сомневаюсь, что через несколько дней меня постигнет участь моих товарищей. Пять мучительных лет, каждую весну происходит одно и то же. Жрецы бросают жребий, чтобы узнать, кого требуют боги в жертву, и вот пять лет подряд жребий при помощи непостижимых их жульнических уловок неизменно падал на одного из нас. Приближается шестая весна, из шести остаюсь я один.

Разве можно ошибиться в предсказании, кого нынче пожелают избрать боги?

Это буду я. Они берегут своих людей, они дрожат над каждым человеком, потому что это вымирающие люди. На острове насчитывают не больше двух сотен жителей. Но у них почти нет молодежи, почти не видно детей... Их женщины бесплодны, и я думаю, что девушка, ставшая моей женою, пришла ко мне по наущению этих седобородых жрецов, которые, кажется, живут по двести лет.

Шесть лет мы пасем с нею тонкорунных овец, и я ви-

дел, как, уча меня их языку, год за годом она сближалась со мной. Жалость к обреченному пленнику породила в ней ко мне настоящую, не то материнскую, не то женскую любовь.

Она привязалась ко мне, и только вчера я взял с нее клятву, что она отдаст мое завещание первому чужеземцу, которому удастся уйти с острова.

Я научил ее говорить по-русски: «Возьми и прочти после». И с этими словами она передаст эту рукопись тому счастливцу, который придет и уйдет отсюда.

Кто это будет? Когда это будет? И будет ли? И не предаст ли она меня после смерти?

Нет, они соблюдают клятвы, если уж дали их. Но до чего трудно было добиться ее обещания!

Кто эти люди, населяющие остров? Их язык напоминает мне тот школьный латинский язык, за который я неизменно получал в гимназии колы и двойки. В их нравах и обычаях есть многое, заставляющее вспоминать не то римлян или греков, не то египтян... И в то время как за полтысячи верст отсюда люди летают на аэропланах, ездят на автомобилях, здесь каждое утро собираются в священную рощу потомки какого-то тысячелетнего народа славить солнце... Оно, или божество, являющееся его олицетворением, называется Апуллом, может быть, это искаженное Аполлон? Не знаю. Ему оказываются величайшие почести, и именно ему в жертву приносят ежегодно одного из обитателей острова на жертвеннике, помещающемся в таком же каменном лабиринте, которых с полдюжины мы встретили на несчастном пути сюда и в которых там живут лопари, а здесь...

А черт с ними — умереть лучше, чем чувствовать себя здесь рабом живых покойников.

В этой прекрасной роще, посвященной Апуллу, стоит тот самый шарообразный храм, который мы увидели с берега еще... И не я ли первый тогда настаивал на том, чтобы пойти посмотреть на эту штуку, когда некоторые из нас уже струсили и хотели удрать назад!

Этот храм украшен множеством приношений. Теперь там лежат и наш германский теодолит, и все инструменты. Я видел там кремневое ружье, два допотопных револьвера и старинный бульдог: очевидно, не мы первые добрались сюда и, боюсь, не мы последние не вернемся отсюда.

Тут все жители старшего возраста — жрецы божест-

ва. А большинство обитателей острова — кифаристы. Это нечто вроде наших гуслей или цитры. Они могут петь и играть целыми днями во славу своего божества... Да и нечего им больше делать.

Они выращивают на своих полях что-то похожее на пшеницу в таком количестве, что пресного хлеба им хватает иа всех. Едят они к тому же не по-нашему. Кусочек сыра из овечьего молока и две лепешки, испеченные на раскаленных камнях, да кружка молока — вот все, чем они живы. По-моему, они вымирают просто от тоски и скуки. Еще летом ничего: и работа и роща — все развлечение... Но эти зимы, когда они уходят в каменные щели, живут в камне, спят на камнях... Это ужасно. Женщины ткут свои плащи и рубахи из тоичайшей шерсти овец, которых я пасу... А мужчины положительно как медведи в берлоге: редко кто долбит иа камне какую-нибудь надпись или трудится над шкурой, чтобы выделать вот такую тончайшую кожицу, на которой я могу писать.

Чудные люди!

Сколько раз мы умоляли главного их жреца и царя — Бореада, чтобы позволено было уйти нам. Разве они отпустят таких выгодных рабов, как мы! Бежать отсюда невозможно. До берега не доплыть иикому. Озеро, как наша Екатерининская гавань иа Коле, никогда не замерзает... Соорудить же хоть плотишко какой-нибудь нельзя, когда за тобой следят каждую минуту. Я пишу это только потому, что связал клятвой мою подругу... Но сколько мук принимает она, охраняя меня от чужих глаз и предупреждая о всякой опасности.

Спасибо и на том. Женщины! Нет, всегда и всюду они одинаковы.

Моя подруга, мне кажется, готова считать меня даже за самого Аварида, проживающего инкогнито среди них. Она надеется, что жребий не упадет иа меия... Недаром же до сих пор я счастливо избегал этой участи.

Дело в том, что по существующему среди гипербореев преданию какой-то гиперборей Аварид тысячи полторы лет тому назад отправился куда-то путешествовать и пообещал вернуться... До сих пор о ием нет ни слуху ни духу. Бореад, царствовавший в то время, отправил с ним десять свитков папируса, в которых изложена история этого странного народа. Предки его были выходцы из Египта, и, застряв здесь, потомки еще не теряют иадежды этими папирусами списаться со своими родствеии-

ками. Только найдется ли где-нибудь человек, который разберется в их иероглифах?

Это трудновато, хотя понять их язык легче. Ведь у них, как это ни странно, есть чисто русские слова: «бсреза», например, и значит — береза, а напишут такими каракульками, что не понять. Много слов, какие слышал я у лопарей. Может быть, и наши лопари им родственники, только те одичали и все забыли, а эти дрожат над своею культурой и так цепляются за свое, что и еще тысяча лет пройдет — ничего здесь не переменится.

Аварид — тот умер и исчез, конечно, но папирусы где-нибудь хранятся. Один из моих товарищей помогал старшему жрецу работать над выделкой пергамента и узнал от него, что Аварид направился через Кавказ. Мы долго думали об этом путешественнике и решили, что он направился в Индию... Где-нибудь в Лхасе во дворце далайламы лежат эти папирусы, которые могли бы нас выручить из беды, если бы пришло кому-нибудь на ум разобрать их.

Но говорят, туда европейцев не пускают даже.

Аварид же пропадает тысячу лет, и только косоглазые гипербореи могут верить в его возвращение... Во всяком случае, до сих пор он не вернулся еще, но они ждут его постоянно. Это он не велел им переступать границы острова, и они свято блюдут этот закон, в ловушку которого попали и мы. Я думаю, что они дождутся какого-нибудь умного человека, который явится вместо этого Аварида и уничтожит закон...

Впрочем, едва ли кому-нибудь от этого большая радость. Если им показать автомобиль или аэроплан, они подохнут от страха... И что делать этим живым покойникам за чертой своей страны?

Меня же уже не спасти никакому Авариду.

День жребия приближается, и уверенность моей подруги едва ли поможет мне. Перехитрить жрецов невозможно. Пять лет наблюдаю я их и не могу разгадать фокуса, при помощи которого они заставляют вынимать жребий того, кто заранее для этого назначен.

Впрочем, повторяю, лучше подохнуть, чем жить в этой могиле, да еще на правах раба. Я буду рад уже и тому, что моя подруга сдержит свою клятву, и тем или иным путем эта рукопись дойдет до сведения живых, настоящих людей, которые рано или поздно превратят этот остров в музей и будут мне благодарными за то, что...»

ИНДИЙСКАЯ МУДРОСТЬ

Шум шагов, звон оружия, ропот глухих голосов заставили Колгуя торопливо спрятать недочитанную рукопись. На фоне багрового неба силуэты доктора и окружавшей его толпы вычертились необычайно отчетливо. Они спускались к берегу неторопливо и важно, сопровождая почетного гостя.

Колгуй встал, разглядывая странных людей, о которых повествовал на пергаменте несчастный топограф. Старый охотник, ошеломленный прочитанным, чувствовал себя, как во сне. Только спокойный вид доктора удержал его от немедленного бегства, но и это не помешало ему осторожно вытянуть со дна лодки старую, верную двустволку, опершись на которую поджидал он конца своего жуткого сна.

Доктор, облаченный все в тот же отливавший на солнце всеми цветами радуги шелковый халат, сошел первым на берег. Седобородые жрецы окружали его. Длинные плащи, свисавшие с их плеч, придавали им величественность. За ними стояли мужчины более молодые. Среди них находилось несколько воинов. Сзади толпились женщины. Детей не было видно вовсе, хотя не было никакого сомнения, что на проводы доктора стеклось почти все население острова.

Прощальные речи гостя и провожавших были не длинны. Они были прослушаны в благоговейном молчании окружавших.

Когда доктор направился к лодке, жрецы затянули унылую песню. Может быть, это был гимн солнцу. Его немедленно подхватили все мужчины и женщины.

Доктор ступил на нос лодки и поднял руки для приветствия. Колгуй облегченно вздохнул: конец сна приближался, и сверху всякого вероятия он не мог не быть благополучным. Старый охотник оперся веслом о берег, готовый по малейшему знаку доктора оттолкнуться и погнать лодку прочь.

И вдруг в ту же минуту, прерывая стройное пение отчаянным стоном, женщина в синем плаще вырвалась из толпы и, нарушая благочиние, бросилась на колени перед седобородым жрецом. Она в безумном волнении рассказывала что-то, махая руками, о чем-то просила, чего-то требовала.

Колгуй замер. Он узнал ее.

Доктор с недоумением слушал крики женщины, потом обернулся к Колгую.

— Разве вы выходили на берег?

— Нет! — буркнул он.

— Что требует от вас эта женщина?

— Не знаю.

Жрецы приблизились. Доктор перемолвился с ними и тотчас же снова оглянулся на своего проводника.

— Что вам дала эта женщина?

— Бумажку какую-то...

— Отдайте ее назад, если не хотите остаться здесь навсегда...

Колгуй вынул скомканный пергамент и передал его доктору. Тот, не взглянув на него, вручил его жрецам. Старший из них принял его спокойно, не глядя на Колгуя, который бормотал себе под нос нелестную для него ругань.

Женщина, нарушившая порядок, вернулась в толпу подруг. Они только изумленно отстранились от нее, но продолжали петь, не смея ни одним несоответствующим жестом или словом оскорбить солнечное божество, поднимавшееся над их головами. Колгуй счел минуту подходящей и, предупредив доктора, оттолкнулся от берега с огромной силою, с которой мог сравниться разве только гнев, душивший его.

Он взялся за весла. Лодка понеслась по зеркальной поверхности озера с невероятной быстротою, и скоро уже стройный гимн доносился с берега, как далекое эхо.

Дымящийся туман, как розовая вата, легко надвигаясь на остров, скрыл и самих певцов.

Доктор опустился на скамью.

Колгуй насторожился, полагая, что тот немедленно потребует от проводника объяснений всему происшедшему. Но странный путешественник не нарушил ни словом привычного молчания. Он снял свой костюм, уложил его в кожаный мешок спокойно и аккуратно. Под халатом на ремнях оказался фотографический аппарат. Доктор снял и его, уложив в тот же мешок. Затем, отдаваясь во власть теплого утра, он блаженно закрыл глаза и поднял лицо свое так, чтобы косые лучи солнца без помехи могли жечь его.

Колгуй не выдержал этого спокойствия.

— Я думаю, доктор, вы не пойдете со мной на спор против того, что будущей весной божество потребует в

жертву к себе именно эту женщину? — воскликнул он, готовый насладиться изумлением своего спутника.

Но тот не открыл даже глаз, хотя счел нужным спокойно подтвердить:

— Вероятно, жребий падет на нее.

Колгуй со злостью налег на весла, вымещая гнев на воде, омывавшей проклятый остров, так как не имел ничего другого под руками для той же цели.

— Что же, вы так-таки и оставите все это?

— А что бы вы хотели предпринять?

Он открыл глаза и посмотрел на своего проводника не без любопытства. Это подействовало на того, как поощрение.

— Как что? — закричал он, хлеща воду веслами со страстью и злобой.— Как что? Надо рассказать об этом, людей созвать... В газетах напечатать...

— Зачем? — холодно спросил тот.

— Как зачем? Чтобы все знали...

Серые глаза доктора впились в Колгуя с насмешливой ласковостью, но тут же погасли и затянулись, стали непроницаемо покойны и холодны.

— Не все ли равно,— серьезно и строго, не спрашивая и не отвечая, промолвил доктор,— не все ли равно, будут ли люди знать немножко больше или немножко меньше...

Колгуй сжал губы и замолчал. Каменное спокойствие его спутника было непреоборимо. От него веяло холодом тысячелетних лабиринтов, и в первый раз сорвалось с губ охотника резкое слово.

— Да кто вы такой, черт возьми? — крикнул он.

— Путешественник,— просто ответил тот.

— Откуда вы приехали?

— Из Индии.

— Зачем?

— Чтобы проверить, существует ли еще древний род гипербореев.

Простота и точность ответов обезоружили Колгуя. Он притих.

— Откуда вы знали, что они существуют?

— Из наших книг.

— И вы никому не объявите о том, что видели?

— Только тем, кто меня послал сюда.

— А я?

— Вы можете поступать так, как вам угодно.

Колгуй замолчал, налег на весла и больше уже не возвращался к прервавшемуся разговору.

Он не обманул своего спутника — обратный путь до реки и по реке до тропинки, по которой можно было подняться до чума лопаря, взявшего на себя заботу о лошадях, они совершили скорее, чем путь прямой — отсюда до острова.

Целодневный отдых на острове сделал свое дело. Сменив лодку на лошадей, Колгуй охотно согласился со своим спутником немедленно продолжать путь.

Этот обратный путь совершался с не меньшим благополучием, но в большем молчании. Доктор положительно не открывал рта, тем более что и проводник его на этот раз не очень тяготился молчанием.

Старый охотник чувствовал себя необычно. Он был погружен в трудное и непривычное занятие: он думал. С тяжестью и неуклюжестью мельничных жерновов перемалывал он в молчаливой задумчивости все происшедшее. И только когда эта мучительная работа подходила к концу, он прервал молчание и тихо спросил доктора:

— Так вы, может быть, из Лхасы, от самого далай-ламы притащились сюда, доктор?

— Нет,— спокойно ответил тот,— я из Тадж-Магала, близ Агры, из Индии...

— Это там нашли вы папирусы?

— Да,— коротко подтвердил он.

— И позвольте уже узнать,— продолжал допытываться Колгуй, вспоминая рукопись, читанную им в лодке,— какой черт помог вам разобраться в том, что там было накорежено?

— Сравнительное языковедение,— просто, точно говоря о ночлеге, ответил доктор.— Я не знал,— с улыбкой добавил он,— что вы не дремали в лодке, а успели основательно познакомиться с пергаментом, который вручила вам женщина.

— Да уж поверьте, что я знаю теперь ненамного меньше, чем вы, доктор! Есть-таки у меня много нового, о чем можно будет поболтать за кружкой пива.

— Но вы не знаете самого главного!

— Чего же это?

— Того, что ничто не ново под луной!

И снова погрузились спутники в молчание, и снова зашевелил жерновами своего мозга Колгуй, впрочем, ненадолго, так как путь их уже приближался к концу.

Маленький отряд вернулся в Колу поздней ночью, и надо сказать, что только это обстоятельство спасло путешественников от шумной встречи и выражений крайнего изумления по поводу их благополучного возвращения.

Только расставаясь со своим проводником, доктор точно пришел в себя и с большою учтивостью засвидетельствовал Колгую свою признательность крепким и теплым рукопожатием. Это растрогало старого охотника настолько, что он решился было снова возобновить разговор о гипербореях.

Однако доктор и на этот раз остался последователем индийской мудрости.

Он не изменил ей и впоследствии. Именно потому-то повесть о Стране гипербореев и становится известной читателю из третьих рук.

В. Ян

ЗАГАДКА ОЗЕРА КАРА-НОР

I. У ПАРТИЗАНСКОГО КОСТРА

Под деревьями на берегу Енисея горело несколько костров. Вспышки красного пламени озаряли обветренные лица, желтые полушубки, шапки с наушниками. Блестки играли на темных дулах ружей. Партизаны пили баданный чай, пересмеивались, чинили сбрую и одежду. В нескольких шагах от костров было уже темно. Там стремительно неслась бурная и мрачная река.

— Эй, гвозди! — хриплый голос покрыл шум разговоров.— Укладывайся на боковую. Парома, видно, не дождаться. Завтра чуть свет начнем плавить коней.

— Ладно, Туруков, дай уздечку справлю. Коли не выдюжит, коня потеряю,— он дикий, монгольский.

Из-под лохматой папахи торчал непослушный белокурый завиток. Молодое лицо Кадошникова склонилось над сыромятными ремнями. Ловко работало шило, всучивалась дратва.

Рядом на черном изогнутом корне корявого тополя сидел партизан в синей монгольской шубе. На широкой груди, расшитой черным плисом, распласталась рыжая

борода. В голубых глазах прыгали искры костра. Заскорузлая пятерня доставала из розового ситцевого мешка сухарные крошки, сыпала в деревянную миску, поливая мутным чаем из прокоптелого жестяного чайника. Огонь костра и тихая ночь располагали к мечтательности.

— Ядреная наша страна Урянхай![1] — говорил, расчесывая пальцами бороду, Колесников.— Сколько землицы и какого только зверя здесь нет. Какая птица! А рыбы всякой в Енисее сколько хошь.

— Только достань сперва ее,— буркнул мрачно парень, не отрываясь от уздечки.

— И достану! Все крестьянин могит достать, надо только, чтобы смекалка была в черепушке.

— А вот достань рыбу из нашего озера Джагатай[2], если рыба-то сверху вниз ушла.

— Поглубже невод спустить, дно зачерпнуть...

— А если у нашего озера дна нет?

— Дна нет? А на чем вода держится?

— У нашего озера подземный ход под хребтом Тануолой к другому озеру, что в Монголии. Говорят, что рыба кочует из того озера в это и назад. Буря подымется, воду всколыхнет, рыба к берегу всплывает, мы ее тогда неводами и подтягиваем. А дна у озера нет; сколько ни спускали мы бечеву с камнем, никак не достает, а кто-то вроде как перетирает бечеву. Вроде как зубом.

— Это ты, паря, брешешь. Кто же это бечеву будет в озере перетирать? Поди, цепляется за дно.

Кадошников поднял ремни в руках, потянул их, зацепив ногой в мягком бродне, и взглянул на рыжего:

— А ты не слыхал про черного гада, что сидит в монгольском озере?

Колесников закатил глаза к небу и показал белки.

— Это, поди, тоже брехня.

— Спроси Хаджимукова. Своими зенками видел. Вот он... Эй, Хаджимуков!

У соседнего костра стоял высокий партизан, весь зашитый в бараньи шкуры. За спиной болталась винтовка с подогнутой сошкой.

— А ежели он видел, почему не притащил на аркане? Коли увидел черного гада, взял бы его живьем и по-

[1] В царской России и в описываемое время Урянхаем (Урянхайским краем) называлась Тувинская автономная область. Урянхи, сойоты — тувинцы. *(Здесь и далее примеч. авт.)*

[2] Озеро Джагатай находится на юге Тувинской а. о.

слал в Москву. Пусть видят, какие звери в нашем краю водятся.

— Такого подлого гада в Москве кормить не станут. Перетопить его на сало, красноармейцам сапоги мазать.

Хаджимуков подошел: глаза раскосые, скулы выдаются, борода жесткая, что из конской гривы.

— Что, брат, Кадка рябая? В дорогу ехать, так шорничаешь?

— Коня мне Турков такого дал, что узда сразу надвое. А завтра его надо через Енисей плавить.

— Поди, утопишь... Чего кликал?

— Садись, Хаджимука. Колесников не верит, что ты гада видел, говорит: «Брешет косоглазый».

— Я-то не видел? А это что? — и Хаджимуков сунул к носу Колесникова нагайку. К деревянной ручке был прикреплен четырехгранный ремень толщиной в палец.

Колесников взял нагайку, пощупал ремень пальцами, попробовал на зуб. Кадошников тоже впился глазами и ткнул ремень шилом.

— Это от какого же зверя будет? Неужто от гада?

— Сказал — от гада! Это только от сосунка евонного. А с самого гада шкуры не снять, если и всех наших шорников сгомонить.

— А и врешь ты! Все вы, абаканские татары, путаники!

— Садись! Не серчай! Расскажи толком,— Кадошников схватил за полу владельца диковинной нагайки.— Садись! Кури! — он сунул ему кисет с табаком.

Хаджимуков сел к костру и набил табаком длинную самодельную трубку из кизилового сучка.

II. ЗА МОНГОЛЬСКИЙ ХРЕБЕТ

— Помните, прошлым летом, когда отряд Бакича наступал из Монголии, прискакал, как вот и сейчас, гонец от Туркова и поднял всех партизан собираться на белобандитов. «Торопитесь,— говорит.— А то перевалит он хребет, бои пойдут на наших хлебах, поселки пожгет. Какая нам будет корысть? Надо их ухватить, пока они наступают в Монголии, по дороге к нам». Мы, конечно, на коней, у кого коня не было, отобрали у старожилов — марш маршем под хребет. Дальше дорога на Улясутай [1]

[1] *Улясутай* — первый город на пути в Монголию, в 500 км от границы.

торная,— поди, каждый из нас туда пробирался. Командиром избрали Кочетова. Он не повел по прямой дороге. «Это, говорит, зря стукнемся им в лоб. Расшибемся об их пулеметы». А повел он наших парней по-за сопками, охотничьими тропами. Главная сила пошла слева от дороги, а нас, человек с десяток, Кочет послал справа, пошарить по сопкам, не замышляет ли Бакич ту же обходную уловку. Вот тут-то и начался переплет.

Наш десяток ехал не скопом, а разбился по тропам. Мне с Бабкиным Васькой пришлось переваливать через гору Сары-яш. Сперва мы ехали между отрогами, по ущельям, что елкой да чащей поросли. Потом стали подниматься голым таскылом[1]. Там дорога стала идти бомами[2] по-над обрывами. Внизу сажень[3] на десять поблескивал ручей. А кругом него болото, мшаники, бурелом навален — самое медвежье место. Переезжать через такие ручьи — последнее дело: лошади вязнут по брюхо. Мы и подались кверху, к вершинам, где пошли кедрачи. А троп много, потому зверья до черта, всюду видны следы. То вдавилась медвежья треугольная пята, то кусты объедены — лось проходил, то промелькнет между деревьями желтый бок маралухи.

Повременить бы там, мы бы без охоты не вернулись. Но нас общество послало, мы торопим коней, вздымаемся в гору и наконец видим «обо»: камни навалены кучей, хворост сверху и цветные тряпочки на ветках. Это монголы и сойоты, как дойдут до самой вершины хребта, камень на «обо» подкидывают — подарок ихнему богу, что гору стережет.

Мы обрадовались, что добрались до перевала. Сошли с коней, табачок раскуриваем, а Шарик мой лай поднял в кустах. Как видит, что винтовку беру,— разве его удержишь! Я с ним всегда белковать хожу. Лает Шарик, заливается. Думаю: будь ты неладен! Кто там в кустах хоронится?

Только подумал, выходят три сойота. Два бедных, шубы на них рваные, винтовки самодельные, кремневые на вилках. А один похозяйственней, шуба крыта синей талембой[4] и обшита бархатом, на голове шапка с плисо-

[1] *Таскыл* — скалистая, безлесная вершина.
[2] *Бомы* — каризы.
[3] *Сажень* — старая русская мера длины — около 2,13 метра.
[4] *Талемба* — китайская дешевая материя вроде ситца, служит для меновой торговли у охотников вместо денег.

выми отворотами. А винтовка в руках настоящая аглицкая. Мы ничего, честь честью поздоровкались:

— Мен-ду!

— Мен-ду!

Табаком их угостили. Сели они, посмотрели мы ихнюю аглицкую винтовку, а они — наши. Объяснили сперва, что охотятся на горных козлов — дзеренов, а потом признались, что ихний начальник — «нойон» — послал следить на этот перевал — пойдут ли на Урянхай белые или кто другой — и донести.

Мы им тут набрехали, что нас до страсти много, что за нами сотен пять партизан подтягиваются, и просим растолковать нам дальше дорогу. Тут они нам все и выложили.

— На монгольской стороне,— говорят,— за хребтом Тануолой идут щеки, глубокие да узкие, с трясинным дном, где конь наверняка утопнет. Потому надо идти по хребтинам. Из этих щек сбегают ручьи в большую речку Тэс; вьется она, как уж вертлявый, между скалами и вливается в большое озеро — Упса-нор. Вокруг озера собралось много монголов с баранами, быками и верблюдами. Пришли и урянхи. Там и аулы их, где они помаленьку хлеб подсевают: просо, ячмень, а также арбузы и мак для курева, чтобы обалдеть. Не доходя до Упсы-нора, повыше к хребтам, тоже есть озера, но помельче. Раньше около тех озер монголы и урянхи стояли, но только все враз оттуда разбежались...

— А почему,— спрашиваю я,— разбежались?

— А потому,— говорят,— что там в одном озере большой гад завелся, никто его убить не может: уж больно гад хитер, умнее человека. Все из воды видит, а на берег не лезет. Если бараны или телята пойдут на водопой, гад схватит за ногу или за морду и утащит под воду. А озеро называется Кара-нор — значит Черное озеро, и дна в нем нет, трубой уходит неведомо куда под хребет.

Тут мы с Бабкиным переглянулись и подмигиваем. Васька и говорит:

— Вот бы, паря, к этой Карьей норе попасть и гада взять на мушку.

Я тоже говорю, что медведей я без счета бивал, рысей, лосей, марала, а про гада водяного и не слыхивал. То-то будет разговоров по всему Урянхаю и Абаканской степи,

что мы гада подшибли. Тогда сразу собьем славу нашим охотнікам — Турову, н Нагнбнну, и самому Цедрнку[1].

Расспроснлн мы еще сойотов, как до Кара-нора добраться, отдали они нам от души окорок козла, на огне подкопченный, и тронулись мы с Бабкиным дальше. Тут нас взяло сомнение: зачем сойоты сидели на перевале, не подосланы ли белыми следить за тропами. Бабкин и говорит:

— Меня не то беспокоит, а не посылают ли они нас ненароком на Карью нору, потому что там, может быть, этот самый отряд Бакнча и засел? Оттого-то монголы во все стороны н разбежались, потому Бакич самый гад н есть, а на озере ннкакого гада н нет.

Все же мы решили ехать на озеро Кара-нор,— у сойотов тоже, поди, совесть человеческая, к тому же ребята артельные, козлятины иам дали по-хорошему.

III. ОЗЕРО, ОТ КОТОРОГО ВСЕ УБЕГАЮТ

Дия через два мы озеро нашли. Как урянхи говорили: длинное, километров на восемь, вначале узкое, а посередине шириной километра на два. На высоких берегах — осина, березняк и смородинные кусты. Один край берега чистый, засыпан мелкой галькой, хорошо бы с иего скотину поить. Мы еще издалека, как его завидели, коней за горой в лощинке к деревьям привязали, между кустами хоронимся, ползем, скрадываем, как звери.

Тихо иа озере. Малость рябит от ветерка. Вода черная, блестящая, как смола. Шарнка на ремне держу, н он, чего-то тоже, подлюга, смекает, уши настрожил, не рвется, а глядит вперед и носом поводит — дух, что ли, чует какой. Подобрались ближе. Никого, все тихо. Утки пролетели над озером, снизились, да будто их шибануло, опять поднялись и дальше перелетели. Сели, головки подняли, вертят по сторонам. Будто что их тревожит.

Бабкин меня подталкивает: гляди, значит, в оба, чего-то на озере есть! А чего — не вндать. Мы на высоком берегу лежнм в кустах, а озеро под намн, как в мнске. Кругом сопки, на них листвяк, рябина, елки. В монгольскую сторону сопки все ниже, а далеко опять поднялись

[1] Известные урянхайские охотники в 20-х годах.

высокие хребты с таскылами. Те горы Кукей прозываются, высочеиные, под самое иебо, и иа иих снег под солицем блестит.

Тут мы видим, будто кто-то в малиннике иа том берегу шереперится. Ветки шатаются, а кто — ие понять. Бурый бок видеи — то ли медведь, то ли бык. Я бы его снял в два счета, да не к чему раньше времени тревогу подымать. Потом кусты затихли,— видно, зверь отошел подальше.

Подождали мы маленько, опять поползли вдоль берега. Видим — поляна, мелким щебнем и кругляком усыпана. За ней откос, на нем сосны и под деревьями избенка, низкая, вся в землю ушла, только крыша высуиулась, из бревен связанная. Окошечко что глазок, в четверть, чтобы зверь не влез, а винтовку оттуда можио высунуть — и пали!

Смотрим: ие выйдет ли кто? И вот из избы вылезает иа кукорках баба в синей монгольской рубахе. Дверь, видно, тоже махонькая, в шубе едва пролезешь. Вскочила она, в одной руке туесок берестяной, а в другой топор на зверя. Спустилась по откосу, побежала к ручью, зачерпнула туеском и бегом назад, кругом оглядывается. Вползла опять иа кукорках в сруб и дверкой хлопнула.

Бабкии мие шепчет на ухо, сам позеленел и глазами косит:

— Верно, здесь медведи табуиами ходят, коли баба так в избе прячется и по воду с топором ходит. Кабы зверь иаших коией ие задрал. Давай шить с этого места!

— А ты, что ли, медведей ие видал? — говорю.— Сами, кажись, своей охотой сюда зашли. А коли баба здесь, значит, и мужик имеется — без него одна баба хозяйства не заведет ни в жисть!

Повременили малость, поползли дальше. Стали петлять, задумали избеику обойти и к тому месту выйти, где в кустах зверь шереперился. Большой круг мы дали и вышли опять к озеру. Тихое да гладкое, ничего на ием ие приметио. Залегли в кустах, малину и белую смородину подъедаем. Глядим: человек спускается между валуиов, и совсем голый, как палец. Спекло его иа монгольском солнце, так что бурый стал, что ржаиой каравай. А волосы на голове стоят копной, что у тураиского[1] попа, и борода в лохмах до пояса. Совсем одичал, бедияга. На

---

[1] *Туран* — большой поселок в северной части Тувннской а. о.

плече тащит пеструю кабаргу[1] удавленную. Подошел близко к воде, поднял высоко кабаргу, покликал: «Мен-ду, мен-ду!» — да и бросил в воду. По озеру волна пошла, точно большая рыба стаей пронеслась.

А тут из кустов выскочили две собаки, шерсть в клочьях, репьях, и напустились на нас. Храпят, давятся, так и лезут к горлу.

IV. ОДИЧАВШИЙ СТАРАТЕЛЬ

Голый человек насторожился и бросился бегом к нам... В руке у него, видим, топор-колун на длинной рукояти. Я встаю и иду открыто к нему,— чего мне бояться: у нас винтовки, а у него топор. А он, как увидел меня, взбеленился и начал крыть почем зря:

— Чего вы сюда пришли, острожники? Здесь места меченые, застолбованные. Монгольские правители мне документ выдали. Убирайтесь отсюда, а то я на вас моих гадов посвищу, они вам глотки перегрызут.

Смотрю я на него, дивлюсь, а он прыгает на камне, топором машет, кричит, слова сказать не дает. Вся морда шерстью заросла, только серые гляделки словно проколоть хотят. Думаю: где я рыжую башку эту раньше видел? И говорю:

— Карлушка Миллер, немецкая душа, не ты ли это? Как сюда попал?

Остановился он меня честить, разглядывает, а все поднятый топор держит.

— А ты кто такой? И откуда меня знаешь? А тебе я не Карлушка, а Карл Федорович Миллер.

— Неужто забыл, Карлушка Федоровна, как мы с тобой на речке Подпорожной[2] золотишко мыли, ничего не намыли, а последнее, что имели, проели?

— Теперь я вас припоминаю, геноссэ Хаджимуков. Мы в самом деле на Подпорожной золото мыли, и даже, как честный человек, скажу, что я вам остался должен за полфунта пороха и сто пистонов. Только если вы при-

---

[1] *Кабарга* — маленькая пестрая газель: представляет ценность благодаря так называемой «струе» (вытяжке желез), покупаемой китайцами для изготовления лекарств. Кабарга крайне пуглива и ловится обычно петлями и силками.

[2] *Подпорожная* — приток верхнего Енисея, около Больших порогов.

шли долг спрашивать, то пороха здесь ближе как на Улясутае не достать. А если хотите золотишком промышлять, так милости просим — откатывайте на другие озера, а здесь все позанято, и я никого не пущу.

— Полно дурака валять. Карлушка! Мы к тебе с доброй душой пришли, никакого мне долга не надо. Ты только расскажи толком, какие здесь кругом люди живут, показываются ли белые и далеко ли монголы?

— Ничего я ни про кого не знаю,— говорит.— Я человеконенавистник. Живу один вместе с медведями, лесом и озером и очень рад, что не встречаю ни одной человеческой рожи. Люди всегда меня обманывали. Как только найду я где золотую жилу, налетят все как галки, меня оттеснят, нажиться им поскорее надо. Оттого я и ушел от них в дикие места. До свиданья. Ауф видер зэен!

— Постой, Карлушка,— говорю,— ведь мы с тобой приятели были, калачи вместе ломали. И хотя ты гостей принять не хочешь, а все же мы против тебя злобы не имеем и вертаем назад. Только ты скажи нам последнее слово: правда ли, что в этом озере гад живет и баранов за морду таскает?

— Здесь обитает животное очень древнее, в других местах его больше нет, иштызаврус называется. Других людей и зверей, это верно, он хватает, а мы с ним дружны. Если бы не он, сюда бы народу прикочевало столько, что и меня бы отсюда вытеснили. А я этого гада подкармливаю и через два дня в третий приношу ему кабаргу или другую дохлятину. Для того я в тайге засеки[1] навалил и петли в проходах повесил.

— Значит,— говорю,— коли ты это животное кормить не будешь, оно тебя съест?

— И вас съест, геноссэ Хаджимуков, если вы в озере купаться вздумаете. Я очень извиняюсь, что больше не могу разговаривать с вами, потому я человеконенавистник...

— Не крути, Карлушка, не всех же ты ненавидишь. К примеру, в срубе не твою ли жену мы видели, монголку?

— Какое свинячество, что вы могли подглядывать в чужой дом? Фуй, как вам не стыдно! Больше я с вами

[1] В глухой тайге охотники устраивают заборы из наваленных деревьев, оставляя узкие проходы, где вешаются петли. Засеки тянутся иногда до 2—3 километров, перегораживая путь зверю. Охотничьими законами засеки запрещаются.

не разговариваю. До свиданья. Смотрите, если только вы будете близко подходить к моему дому, я буду стрелять картечью.— Тут кликнул Карлушка своих собак и побежал в кусты, волоса по ветру треплются. Овчарки кинулись за ним, и все стихло.

Колесников ударил ладонями по коленям, прервал рассказ Хаджимукова:

— Дивные дела! Чего только не бывает! А я ведь Карлушку хорошо знаю. Далеко же он от нас подался. Я его давно заприметил, еще когда он на Усу, на Золотой речке, золото мыл. Чудной был немец, вроде у него ум за разум зацепился. В круглой соломенной шляпе ходил, сам ее из камыша сплел. Ученый человек был,— гимназию, говорит, в Риге кончил, латинские слова знал и занятно рассказывал про всякие камни, зверей и звезды. Слух ходил, будто он на родине тещу убил самоваром,— очень она ему досаждала, в семейные дела мешалась. Его на каторгу сослали, и он с другими острожниками строил Усинскую дорогу[1]. Оттуда через тайгу к нам прибежал спасаться. Все хвалился, что найдет главную золотую жилу, с которой золотой песок смывается. Возле него и жались разные старатели, думали от него поживиться. А теперь, поди ж ты, в Монголии, у Карьей норы объявился! Не иначе как там золотую жилу раскопал... Ну, Хаджимука, валяй дальше! Что еще с вами было?

V. ГЛАЗ В ВОДЕ

— Поговорили это мы с Бабкиным,— продолжал Хаджимуков,— чего же дальше делать? Озеро как озеро, ничего в нем не видать. Купаться в озеро пойти — боязно. Может, и впрямь в нем гад ползает и за ноги в воду стащит. Пошли мы малость дальше берегом и увидали около воды большие камни-кругляки. Тут мы осмелели и спустили лайку, чтобы кругом пошарила. Шарик встряхнулся, завертел рыжей метелкой и забегал по берегу, камни обнюхивает.

— Зря спустили его,— ворчит Бабкин.

---

[1] Большая шоссейная дорога от Минусинска в Тана-Туву, построенная действительно «каторжным трудом» каторжников, проложивших ее в вековой тайге через Саянский хребет.

Стали мы подзывать к себе Шарика, а тот заливается, тявкает, как на лисью нору, лезет в воду, а шерсть вздыбилась, и зубы оскалил.

Вдруг выбросилась из воды лошадиная морда с острыми щучьими зубами, вытянулась кверху на зеленой гусиной шее, изогнулась да как схватит Шарика за спину. Взлетел Шарик на воздух, трепыхнул лапами, взвизгнул в последний раз и шлепнулся в воду. Покатились во все стороны светлые круги, а Шарика мы больше так и не видели.

Посмотрели мы с Бабкиным друг на дружку.

— Что же это такое? — говорю.

— Самый этот гад и был. Чего зевал? Надо было палить. Теперь твоему Шарику каюк! Уйдем-ка отсюда подобру-поздорову.

— Нет,— отвечаю,— шалишь! Партизан, да чтобы гада испугался? Не может этого быть: Колчака мы свалили, Унгерна колотим, Бакича ловим,— нет, так я не уйду! Давай-ка приляжем за камень.

Положили мы винтовки перед собой и стали следить за озером. А солнце уже садилось на елки, скоро и заворачивать надо.

И замечаю я на воде глаз — большой, темный, навыкате, как у вола. Лежит глаз на темной воде и смотрит на меня сторожко так да умно. Потом серое веко затянуло глаз, он опять открылся, прищурился и передвинулся поближе.

— Гляди, черная точка на воде,— шепчу я Бабкину.

— Где, где? — всполошился он.

Стал я наводить винтовку на глаз, а Бабкин уже заметил и шепчет:

— Постой, мы ему другую штучку покажем...

Отцепил он с пояса гранату, сорвал кольцо и спустился ниже к воде. Тихо, чтобы не вспугнуть, поднял гранату и бросил ее в темный глаз.

Граната на тихом озере взорвалась, точно чебултыхнулось на нас самое небо. Гром прошел, и во всех горах застукало. Вода забурлила, выкинулись зеленые лапы, захлопали, пену взбивают. Круглое брюхо, белое, с бурыми подпалинами, выпучилось над водой, перевернулось. Показалась злобная морда, нос разодран, весь в крови, на макушке петуший зеленый гребень. Колесом покатился гад по озеру, волны будоражит, длинный зубчатый хвост узлом крутит. Потом скрылся под воду, еще

раз показался, хлестнул хвостом и нырнул в последний раз.

— А если в озере еще такие звери остались? — говорит Бабкин.— И он поплыл на дно звать себе на подмогу? Давай-ка сматываться отсюда к лешему.

Думаю: время к вечеру, пока доберемся до лошадей — совсем стемнеет. Быстро пошли знакомой дорогой. Кони на своем месте. Развели огонь. Ночью не спалось. С озера шел какой-то рев. То ли гад кричал, то ли Карлушка по своем дружке панихиду служил, али медведь ревел,— кто разберет?

Хаджимуков замолчал, набивая трубку табаком. Партизаны наблюдали за ним, ожидая продолжения рассказа.

— Ну, и дальше что? — спросил Колесников.

— Мы к озеру больше не вертались. Проехали кружным путем к реке Тэсу, встретили там юрты монголов. Они нам поведали все, что знали про белых, и я с Бабкиным через несколько дней стрелись с нашей главной партизанской силой на Улясутайском тракте. Ребята ехали с песнями,— они навалились врасплох на белобандитов, когда те стояли лагерем, и не снилось им, что с сопок и сбоку и сзади начнется стрельба. Посадили они на автомобили своих барынь — и ходу назад, в Монголию. Все, кто мог,— на конях и пешие — бежали, побросав лагерь. А мы большую добычу забрали: и палатки, и оружие, и пулеметы, и серебро...

Колесников, прищуря недоверчивые глаза, прервал Хаджимукова:

— Это мы знаем, многие сами участвовали. А вот что мне сумлительно. Ты вот сказал, что плетка твоя из сосунка гада. Где ж ты ее подобрал?

— Где? Мне Карлушка ее подарил. Утром ведь он разыскал нас на другой день — нюх у него стал звериный. «От лошадей,— говорит,— дух ветром принесло». И пришел он к нам уже в портках из талембы и соломенной шляпе. Принес он мне эту нагайку и объясняет: «За порох и пистоны, что я должен остался, я вам, геноссэ, такую плетку дарю, какой во всех Европах ни у кого нет. У этого иштызавруса сосунок был, молоком его кормился. Подох он, и к берегу его ветром прибило. Я из шкуры его ремней накроил, петель наделал, чтобы в засеках кабаргу ловить. Так матка все приплывала, в сосунка носом тычет и мычит,— думала, что очнется. А потом

волки мясо объели, одни кости остались. Я с того места подальше перебрался и тут сруб сложил, где вы мою супругу-монголку стрели».

Последние огни облизывали раскаленные вишневые угли. Черная ночь все затягивала своей бархатной полой. Партизаны подбросили в костер хворосту и стали укладываться. Становилось холодно, и в оранжевом свете вспыхнувших сучьев было видно, как нагольные полушубки и приклады ружей покрылись матовым налетом серебристого инея...

Колесников пробормотал:

— И чего только немцу с голодухи не придет на ум. Сперва обезьяну выдумал, а теперь, поди ты, с гадом подружился. Не зря говорят: немец без уловки и с лавки не свалится!..

Семен Кирсанов

ПОЭМА О РОБОТЕ

Здравствуй, Робот,—
никельный хобот,
трубчатым горлом струящийся провод,
радио — обод,
музыки ропот —
светлым ванадием блещущий Робот!

Уже на пижонов
    не смотрят скромницы,
к Роботам жены
    бегут — познакомиться.

В глазах
    домовитых
        мадам-половин
встает
    хромо-никель
        его головы,

никто не мечтает
    о губ куманике,
всех сводит с ума

металлический куб,
кольчуг-алюминий
и хромистый никель
и каучук
нелукавящих губ.

Уже Вертинский
томится пластинкой,
в мембране
голосом обомлев,
и в «His Maisters Voice»

под иголкой затинькал
Морис Шевалье
и Ракель Меллер:

— В антенновом
мембранном
перегуде,
гуде,
катодом и анодом
замерцав,
железные
поют
и плачут люди,
хватаясь за сердца...

Электролы
в лад
поют о чудах
Робота
свет наплечных
лат,
иголка,
пой:
«Блеск
магнитных рук,
игра
вольфрама с кобальтом
фото — фоно
друг
о Робот
мой!»

И дочки пасторов
за рукодельем,
когда в деревне
гасятся огни,
о женихах мечтать
не захотели —
загадывают Робота
они:

рукою
ждущей
на блюдце
тронуты
в кофейной
гуще
стальные
контуры...

Все журналы рисуют
углы и воронки
золотым меццо-тинто
в большой разворот:
эбонитный трохей
и стеклянные бронхи,
апланаты-глаза
и сияющий рот.

Шум растет
топотом,
слышен плач
в ропоте
(пропади
пропадом!).

Все идут
к Роботу,
клином мир
в Роботе,
все живут
Роботом!

1

Весь в лучах,
игрой изломанных,
озаренный ясно —
тянет Робот
из соломинки
смазочное масло.

Отвалился, маслом сытненький,
каракатицей,
в пальцах
шарики в подшипниках
перекатываются.

И окно
в лицо спокойное
от рождения —
бросило
тысячеоконное
отражение.

И светит медный мир в мозгу
катодно-ламповый
стук-стук-тире
стекает с губ
с холодных клапанов.
Берет газету Робот
с неслышным треском искр,
и буква
входит в хобот,
оттуда в фото-диск,
в катушку,
в хобот снова,
и проволока горит,
свет
переходит
в слово,
и Робот говорит:

Лон
дон
лорд
Гор

дон
Овз
билль
внес
билль
о уууу...
о утверждении бюджета...

Гремит железная манжета,
и Робот
в злых «ауу!..» стихий,
скрипя, садится за стихи.

По типу счетной машины
в Роботе скрепками тихими
насажены на пружины
комплексные рифмы.

Слабый ток
ударит в слово
«день» —
и выскакивает рифма
«тень»,
электроны
тронут слово
«плит»
и выскакивает рифма
«спит».
А слова остальные
проходят
сквозь нитки стальные,

и на бумаге
строчек ли́нийка —
автоматическая
лирика:

Сегодня дурной
день,
кузнечиков хор
спит,
и сумрачных скал
сень

мрачней гробовых
плит.

Скушны автомату
газеты и книги,
берет
дощечку фанеровую,
и рыцарских рук
многокольчатый никель
врезается пилкой
в дерево.

И вдруг
ему взбредет уснуть —
в приемник
наплывает муть
и ток
высокой частоты
и сон
высокой чистоты.

И в ухо
чернотелефонное
и в телевидящий
зрачок
вплывает
небо Калифорнии,
снег,
Чарли Чаплин
и еще —
киножурнал,
петух Патэ
и пенье флейты в слепоте.

Дождем
частя,
эфиром
пронесен
в шести
частях
полнометражный
сон.

И во сне
смеется Робот
механический,
грудь вздымая,
как кузнечный мех(анический),
с сонных губ
слетает в хобот
смех(анический).

Робот спит,
забыв стихи и книги,
Робот спит
бездумным сном щенка.
Только окна
отражает
нике
лированная щека.
Катоды теплятся едва,
свет погасить в мозгу забыли...
И ноги
задраны,
как два
грузоавтомобиля.

2

Стальной паутинкой —
радиомачта.
Граммофоны.
Пластинки.
Трансляция начата.

Роботу шлет
приказания все
в синем шевьотовом
умный месье.

Коробка
лак-мороз,
где луч
и звук
синхронны —
нить
фосфористой бронзы

в четырнадцать
микронов.

И в аппаратную плывет,
то грянув,
то стихая,
продроглый гул
норвежских вод,
стеклянный шум
Сахары.

То провод
искоркой кольнув,
то темнотой
чернея —
любую
примет он
волну,
то Гамбург,
то Борнео,
то SOS
мертвящих глыб морских...
Планетным гулом
обнят,
одной волны —
волны Москвы —
принять
не смеет Робот.

Свист соловья
отослан
ввысь,
и трель,
и звонкий крик,
и Робот льет
синхронный свист
за километра три.
Monsieur включает
сытый смех,
и в хорду
входит хор,
а он,
упершись в бок-доспех,
смеется:
— Хо-хо-хо.

Monsieur надавит
кнопку «грусть»
(скрип похоронных дрог) —
и слышен
пальцев скорбный хруст
и горестное:
— Охх...

Струится пленка
в аппарат —
читает Робот
реферат:

«Болезни металлов,
распад молекул,
идет эпидемия
внутренних раковин,
в больницах
лежат
машины-калеки,
опухшие части торчат
раскоряками,
машин не щадит
металлический сифилис —
на Ниагаре
турбины рассыпались...»

Кончилась
лекция,
Monsieur
включает слабую,
жанром полегче,
волнишку
Югославии.

И Робот идет,
напевая,
пальцы,
как связка ключей:
«По улице,
пыль подыма-ая,
прохо-дил
полк гусар-
усачей.

Марш вперед,
труба зовет,
чер-ные гу...»

Оборвут на полслове
песенки тон,
и губами резиновыми
не шевелит он,
пораженный
чудовищным
энцефалитом,
Робот
ждет
передачи
с открытым
ртом.

3

Ровно в 7
пунктуально,
по Гринвичу,
руки сложной системы
от себя
потяготою
ринувши,
когда стены коробок
полосой озаряются красной,
просыпается
Робот,
в суставах коленчатых хряснув.
Подымает
скафандром
сияющий череп,
на волнистом затылке узор,—
это
родинка фирмы,
фабричный герб
из геральдики Шнейдер — Крезо.

И
с волны
золотого собора
переливом колеблемых волн
в ухо Робота звоном отборным,

колокольнею
вклинился
Кельн.

Он встает,
протирает
мелом и замшей
электрический чайник щеки,
пылесос
рукавицей взявши,
выметает сор и стихи,
и на службу —
в концерн,
к стеклянному дому
в конце...

Слышит дом
шага четкого клац,
Робот лбом
отражает
Потсдаммерплац.

Несгибаем и прям,
конструктивно прост,
нержавеющий Робот
ртутною мордой
улыбается
во весь рост
подъяремным
Линкольнам
и Фордам.

По доспехам плывут
вниз ногами прохожие,
и рекламами,
окнами,
спятив с ума —
светлой комнатой смеха
на никельной роже
гримасничают дома.

А на заводе,
крутя пружины,

уже заводят
парней машинных.

В краях
зазубрены,
поршнями
хрюкая,
впродоль
стены
стоят
безропотно —
кинжало-зубые
молотко-рукие
цельностальные
ребята — Роботы.

Один,
со спиною,
подобной танку,
имея на лице острие,
хватает крюками
железную штангу
и клювом
прокусывает ее.
Другой
вставляет
железную пробку,
широкая морда
висячим замком,
а третий
вылизывает
заклепку
напильником-языком.

А Робот-люксус,
выпучив цейсы,
к воротам завода
прирос полицейским.
(Не оглянувшись
на ворохи дыма,
живой
безработный
проходит мимо.)

И приторно тянет
ипритом оттуда,
стеклянно-синий
снят цилиндр,
заботливо
в баллон
укутан
нежнейший...
нитроглицерин.
Им ничего,
не дышат,
не люди,
вуалится газ
у лица
на полуде.

К табелю
табель,
ребята
привычные,
клювы
цапель
к лицам
привинчены.
А вечером
синим
апрелем
к Роботу
входит
тонная фрейлейн.
Шапочка —
наискосок,
с фетра
вуалинка,
тонкий
носок
у туфельки
маленькой.

На цыпочках
тянется
к блеску забрала,
и ниточкой —

ручкой
железо забрала,
И гуды
в антеннах
тогда
принимают
скрипичный
оттенок
со склонностью
к маю,
сияющий
иссиня
доспехами,
грубый,
он
пианиссимо
оркестрится
румбой.
Пошли
по трелям
стальные
ботинки,
и пальцы
фрейлейн
лежат
на цинке:

— Пойдем
глянцевитым
путем,
пойдем-пойдем —
Губы
синеватым аргоном,
румбу
отбивая ступней,
Робот
танцует спокойно
с фрейлейн
травинкой
степной...

Тихим радио
тинькая,
светит стекло

и на индеви
цинка
пальцев тепло...

4

Приемная зала стального картеля.
На глади паркета
ракета луча.
С официальностями не канителя,
сам Шнайдер
с портфелем проходит ворча.

Напрягся мозг
микрофарад,
контакт механик пробует,
сейчас начнется
смотр-парад,
приемка
новых Роботов.

Шпалером
стоят орденастые
представители
павшей династии.
Каски
шпиц
генерал
оф-Битц,
Генеральный
штаб
адмирал
фон-Папф,
с рекою-лентой
на груди
фельдмаршал
граф
де-Бомбарди.

Тряся лицо —
чертеж машин
(проекты
мин и ядер) —
сам Шнайдер

примет строй машин,
шутливый,
старый Шнайдер.

И мимо пиджаков
пушка зимы светлей
в Герленовых духах,
и в золоте затылок,—
прошла украдкой
лэди Чатерлей
и у колонны жилистой
застыла.

Забыт лесник
(они давно расстались)
ей нужен
Робот
первобытных эр —
оранг-утанг
несокрушимой стали,
чья сила:
Е,
деленное на Р.

Изобретатель
смотрит
вниз.
В полнейшей тишиие
ждут дамы
в светлых платьях из
инея
шитья Шанель.

Повернулись головы.
Лорнетки у глаз.
Об пол
слитки
олова
по лестнице
лязг...

Вдоль по рядам прокатился рокот,
дрогнули
люстры

в мелкую
дробь.
В зал — маршируют — за Роботом — Робот —
паркет
гололедицей
ромб
в ромб.
Идут ребята
страшных служб,
в дверях
отдавши
честь орлу.
А тени дам толпою луж
лежат на глянцевом полу.

— Рыцарской —— ротой —— железных сорок —
— Топорщась —— подагрой — кольчатых — лап,—
— Корпус — пружинит — на плотных — рессорах —
— Свет —— тиратронов —— кварцевых — ламп.—
— На каждом —— Роботе — надпись — «Проба» —
— Лбов —— цилиндрических — свет —— и сверк,—
— Панцири —— в глянце —— Робот — в Робот,—
— Радиоскопами ——— смотрят ——— вверх.—

Сто-ой:
(ударили тяжкой стопой).
А белая леди
мечтает о встрече:
— «Когда ж
я увижусь,
о, Робот, с тобой,
чтоб тронуть железо
и вздрогнуть,
и лечь, и
щекой ощутить
ферро-сплавные плечи.

Захочу,
заведу,
и нежный
гагачий
в пастушью
дуду
запоет

догадчив,
склонившись
антенной,
он чудный,
он тенор...»

Она видала видики,
но жить с живыми стало впроголодь,
и лапу
лучшей в мире выделки
рукою ласковой потрогала.
Каждый — Робот — проверен — и вышколен
Х-образная ——— грудь —— широка.——

№ и серию
вписывая
в книжку,
Шнайдер
обходит
строй сорока.

— Мерцает —— утроба —— кишечником —— трубок
— шарниры —— колесики ——— ролики —— стук.
— Напра —— во ать-два —— повернулись — угрюмо,
— светлозеркальные ——— сорок ——— штук.

— Дайте-ка
общий выдох и вдох! —
кинул механику
роботов бог,
и разом
сорок
резиновых легких
охнули в хоботы: «Гох! Гох!»

А лэди мечтает:
«Захочу — подкручу,
и Робот, грубый,
жестокий такой,
повалит меня
дивану в парчу
душить
ревнующею рукой.
А после,

блестя синевою под утро,
сентиментальный Робот
оперным тембром
гудит в репродуктор:
«твой
до гроба...»

А Шнайдер
рукой оттопырил ухо:
— «Вот этот вздохнул
немножечко глухо!» —

сказал и обмер,
дорожка по коже
как будто паук
пробежал рукавом, —
грустно
стоит
на других непохожий
Робот
номер сороковой.

Пульсирует веною,
странный что-то,
Что-то неверное
в низких частотах.

Сгорбился Робот,
вымолвить силится,
не может ожить,
и стрелка на «стоп»,
но около рта
морщинка извилистая:
(может — небрежность,
а может — скорбь...)
Светится
в прорезях
лампа сквозная,
и чудится Шнайдеру —
он по-людски
смотрит презрительно:
«Я тебя знаю...»
и тихо пульсируют
сталью виски.

Завитковый
соленоид
зеленеет
локоном,
и лицо его
стальное
худобою
вогнуто.

По резине
глянцевой
У стального
рта
тонко
жилка
тянется,
будто доброта.
И Шнайдеру страшно:
— Выгнать!
Испорчен!
Отходит под стражей
к Роботам
прочным...
Повернули тумблер
в латах —
(дан приказ...)
Вынули
аккумулятор,
свет погас.
Ни тепла,
ни рокота,
ничего
особенного:
вон выносят
Робота
забракованного.

Уже
ни стихов,
ни пенья,
ни гуда,—
горбом отражая
мерцание звезд,

цельностальное
зеркальное чудо
Бюссинг повез.

5

Зал гремит от топота:
что ни шаг —
залп!
Тридцать девять Роботов
покидают
зал.
Сплавом стали с кобальтом
клещи
свисли.
Тридцать девять Роботов
на работу
вышли.

Чтоб парламент пеплом вытлел,
рейхстаг
сжечь.
В Спорт-Паласе черный Гитлер
держит
речь.

Блещут фоно-дугами
никельного
сверка,
зашагали слугами
Гуго —
Гугенберга.

Пролетает морем синим
пылью
пар.
Облит синим керосином
Фили —
ппар.
Черной свастикой железо
на
щеке,

страшной цепью танки лезут
на
Же-Хе.

Отливает маслом потным
морды
сталь —
глядя дулом пулеметным,
Робот
встал.

6

Среди старья —
развинчен
и разверчен
развороченный,
как труп,
кошмар,—
Забракованный
за нечто человечье
Робот,
брошенный,
лежит плашмя.
Робот мертв.
Ржавеют валики.
Ненужный Робот
в грязном стоке
под грудой жести
спит на свалке,
его грызет
вода —
и окись...

Кто б
знал!..
Вороны,
каркая,
над свалкой пролетали,
и мимо —
так как пищи не увидели.
А мелкие,
блестящие детали

раскрали
юные радиолюбители.

Медь зеленеет
и пятнится,
как
осенний мох
под палою березою.
И чудный панцирь
разъедает рак,
металлов рак —
зернистая коррозия.

Осколки ламп
раскинуты пинком,
И руки врозь,
забывшие о жесте...
Спи, Робот,
спи,
прикрытый,
как венком,
обрезками
консервной
жести!

7

Запахом пороха
воздух тронут.
У пулеметов
лежим по два.
Траншеями изморщинен фронт.
Высота 102.

Темнеет.
За спиной — Республика.
Шинель у ног.
Комрот молоденький
(три кубика)
глядит
в бинокль

И в шестикратных
два круга
в деленьях навкрест

вплыл курган.
Сначала туманен и матов,
резче,
и вблизился в круг
рак,
в защитных латах
вытянув
лопасти рук.

Сумерки. Холм извилист...
Из-за пригорка
вылез,
сузив мерцанье линзы,
вытянув черный хобот,
глянув глазами слизней,
светлозащитный
Робот.

— Встааа-вай!..
— К пулеметам!..
(а вы пока
телефонируйте в штаб полка:
у речки Суслонь замечен отряд
бронированных, страшного роста;
ждем приказаний...)

С кургана
подряд
приподымались
количеством до ста
вооруженные
до подошв,
лоб
по графам размечен...
Птица упала
с облака в рожь,
в обмороке
кузнечик.

В атаку ли
ринуться?
Ждать?..
Наступать?..
— Прицел одиннадцать!

Це-лик пять!..
Из-за кургана
вполоборота
выходят,
баллонами
плечи сутуля.
Очередь грохота...
Не берет пуля...

Пружиня
в рессорах,
пулей не тронуты,
слонами
в проволочном лесу,
пошли — гипнотически — двигаясь
— роботы,
свинцовые
лапы
держа
на весу.

— Орудия... огонь! —
шарахнулся взвод...
Шепот цепочкой: «лечь...»
Но и снаряд
отклоняется от
странно мерцающих плеч.

Идут,
начинается газовый запах,
идут
на гусеничном ходу.
Как паровозы на задних лапах
идут,
несут беду.

Слизисто сиз люизит,
полполя
дыханием выжгли.
Маску сжимая, шепчет связист:
— Телефонограмма...
Держитесь...
Вышли...
Сейчас... (захрипел)

Из Бобриков
вылетели,
запрятавши в сталь
дизелей сердца,
из куска монолитного
будто вылитые,
топыря когти
хватательных цапф,
наши аэро.—
Беда!
На морде у Робота рупор,
пулеметною речью
орущий вокруг...
Ложится зарево
на лица трупов,
на крючья хватающих воздух рук.

Вытянув клещи чудесной закалки,
шагают
в рост колоколен.
Пунцовые!
В зареве!
Как при Калке!
Как на Куликовом!
Сквозь вихрь
напролом
аэро стремятся,
звезда
под крылом —
комсомольским румянцем.
Самолет
показался,
жужжа мириадами ос,
когти расправил,
полетом
бреющим
снизясь,
рванул одного,
схватил на лету
и понес
когтями железными —
Робота
в дымную сизость.
Ночь.

Забилась в кусты перепелка.
И Робот гудит
в железной руке,
как летучая мышь
вися в перепонках
в белизне
осветительных ракет.
А когти аэро
впиваются в латы,
как рука шахматиста
хватает ферзя,
и корчатся
поднятые автоматы,
разбитым стеклом
рассыпая глаза.
Но этого мало!
Сосновыми вышками
лес закачал,
и, мерцаньем пыля,
заколосились
холодными вспышками
советские магнитные поля.

И глохнут роботы,
слепнут,
и, выбившись из сил,—
не гром,
а осечек лепет
из пулеметных рыл.

Железные —
слепо
к траншеям тычутся,
резиной приторною
дымят...
В кругах концентрических
электричества
вздрагивает автомат.

А под землею
сосен пониже
спокойны
советские воен-инжи.

Приборами
бегают
стрелки скорые,
и голос
по-вологодски пропел:
— Последний робот
на территории
у точки Эл.

Взять сюда!
И где кустик щуплится —
раскрылся в земле
бетонный раструб
и вытянулись
коленчатосерые щупальца
и работа тащат
под землю,
вглубь
Уже произносится
слово:
Победа!
Над лесом пронесся
сияющий АНТ,
и песня победы
мотором пропета.
— Пожалуй,
успеем еще
пообедать!..—
Смеется
безусый лейтенант.

8

Остановилось метро.
Воздушка повисла.
Стали автобусы.
Ни одного пассажира.
Город застыл, полумертв.
И только, вытянув дыма перо,
аэро над городом мчится к сияющей
пропасти
и на вокзале
татакает пулемет.

Уже
у магазина Смитса и Верндта
висит афиша:
«Правительство свергнуто.
Исполнительный Комитет».

На площади Мира
четыре трамвая лежат.

Мимо витрины шляп
провели арестованных полицейских.

Ночь пришла.
По звездам
прожекторы тянутся,
и гильзами выстреленными соря
уже!
занимают радиостанцию
вооруженные слесаря.

Уже ревком
добивает войну
и, дулом лоб кольнув,
уже
говорят радисту:
— А ну
переведи волну.

Маузера у месье в висках.
— Давай-давай!
Под надписью «Робот»
распределительная доска,
и тихо ворчит мотора утроба.

Товарищ
в доску ткнул сгоряча,—
месье под маузером залихорадило.
— Не мешкать!
и вниз
опущен рычаг,
управляющий Роботами по радио.

И на фронте,
оступившись о траншею,

Робот мотнул
пневматической шеей.
Широкие пальцы
из никеля
скрючились...
и сникли.

Будто кровь
подобралась
под угли —
прожектора
потухли.
Заворчав
стальной утробой,
будто заспанный —
стал отваливаться Робот
на спину.

Замолчал на морде рупор,
замотались хоботы,
повалились
к лицам трупов
Роботы.

Помутнела линза глаза,
искривились челюсти,
и последний
выдох
глаза
низом тонко стелется.
Их радиаторы стынут.
И стынут
с подбородками-ямочками винты.
И уже мы стоим
на сияющих спинах,
наворачиваем бинты.

Утро легло
лиловатою тенью
на Роботов
в судорогах раненых поз,
и птица
села ему на антенну,
и суслик

в ухо вполз.
Аэро шло
со звездой на гондоле,
нимбом пропеллера
луч обогнав,
и сотнями
машущих
с неба
ладоней
летучки
с аэро
спускались
к нам.
И бережно-бережно,
с песней,
со знаменем
мы в город несем
на носилках двойных —
больших
и больных
потерявших сознание
стальных
инвалидов войны.

9

Ряды араукарий,
тенета ольх и лип
у института Ленина.

Детей глазенки карие! —
(И мы детей могли б
там покатать коленями.)

Глядят во все глаза
фиалки по Москве,
мы помним их по шалостям,

Сиренью и азалиями
завален каждый сквер,
срывайте их, пожалуйста.

К цветастым клумбам и траве
песочком тропок

приходит
с лейкой в голове
садовник Робот.

Доспехом светя,
идет —
быстрорукий,
на травку
летят
распыленные струйки.

Подходят детишки,—
Робот —
добрый —
дает им потрогать
и локоть
и ребра.

По Москве
в большом количестве —
ходят слуги
металлические.

Вот —
метлу держа
в ладоиях —
с тротуара ровного
пыль сосет
высокий двориик.
весь никелированный.

Железиый
полои лоб забот —
пылищу
вытянуть,
на лбу клеймо:
«МОСРОБЗАВОД».
Гуднули машииы,
пахнули булочные,
и Робот
другой —
в стекле —
управляет
движеиием уличиым,
блестя рукой.

— В Маяковский проезд
проехать как?
Робот
слов не тратит.
Карта Москвы
на стеклянных руках,
и стрелка снует
по карте.
А вот и столовая,
зайду, поем
после писания
трудных поэм.

Столы стеклянные
стоят.
Блестя щеки полудой,
эмалевый
официант
несет
второе блюдо.
От него
не услышишь:
— «Как-с, и что-с,
сосисочки-сс
слушаюссь
уксус-с
нету-с...»
Безмолвный Робот
качает поднос,
уставленный
фантастической
снедью.

И в мраморе бань,
потеплев постепенно,
Робот исходит
мыльною пеной.

Ноготки
у Робота
острее
лезвий «Ротбарта».
Станьте вплотную,
Робот ручьистый

вытянет
бритвы ногтей,
он вас помоет,
побреет чисто
и не порежет
нигде.
На вредных
фабриках красок
хлопочут
протертые
насухо —
Роботы
в светлых касках
без всяких
и всяческих
масок.
Ни гарь,
ни газ,
ни свинцовая пыль
отныне
людей не гробят
Железной ногою
в шахту вступил
чернорабочий Робот.
В вестибюле театра
у синей гардины
ждет металлический
капельдинер.
Светломедные дяди
торчат в коридорах,
и на водку
дядям не платят,—
человеческий труд —
это слишком дорого
для метлы
и снимания платья.
И куртку мою,
и твою шубку,
когда
в вестибюль
мы входим оба,
снимает
и вешает нежно на трубку
никельный гардеробот.

А ночью,
склонясь
над коляской —
нянька
на тонкой смазке —
Робот,
задумчив и ласков,
детям
баюкает сказки:
«Жил да был
среди людей —
Берень-дерень
Берендей,
бородатый
чародей,
чародатый
бородей».

На нем колотушки
и бубны висят,
а если ребенок
орет —
резиновый палец
кладет пососать
с молочною струйкою
в рот!
На перекрестках
гуляющих
тысячи.
Сидит со щетками
Робот-
чистильщик.

— Почисть,
дружище,
да только
почище!

И чистит Робот,
и бархаткой водит,
и щетку
по глянцу
торопит,
и даже мурлычет

по радио
вроде:
— Ехал
на ярмарку
Робот...

Если дверь
откроет Робот
вам в семье —
это вас не покоробит,
вовсе нет.

В дверь
спокойно
проходи-ка,
запах смол,—
это домороботиха
моет
пол.

Метлою и бархаткой
шибче шурши нам,
ты моешь,
метешь
и варишь —
живая и добрая
наша машина,
стальной
человечий товарищ!

Леонид Платов

КОНЦЕНТРАТ СНА

Глава первая

— Гоните его в отпуск, Николай Петрович! Без сожаления гоните! И накричите еще при этом.

Академик Кулябко с сомнением поглядел поверх очков на Федотова.

— Обязательно накричите,— повторил тот, по-владимирски напирая на «о».— Можно ли так работать? На

нем лица нет. Обедает на ходу. Отказался от выходных. Он даже ночует, по-моему, в лаборатории...

— Мне говорили о крепком чае,— заметил академик в раздумье.— Кажется, Гонцов пьет чай ночью, чтобы не уснуть.

— Восторженный мальчишка! — отозвался Федотов, который был всего на год старше Гонцова.— Уж я не говорю о самом предмете его опытов. Здесь вы, я знаю, в союзе с ним против меня и всей ортодоксальной физиологии... Молчу, молчу! Итак, мы просим построже с ним, Николай Петрович... Как вы умеете иногда...

Для благополучия упрямца, не желавшего отдыхать, Федотов пустил в ход даже лесть. Добрейший Николай Петрович, подобно многим другим добрякам, любил, чтобы его ассистенты делали вид, что трепещут его директорского гнева, и в этих случаях становился еще более сговорчивым, чем обычно.

— Прекрасно, я поговорю с ним,— сказал он, расправив веером свою пушистую длинную бороду, делавшую его похожим на сказочного Черномора, и снял трубку телефона.— Да, директор института. Лабораторию сна, пожалуйста... Гонцов?

Федотов вышел на цыпочках, озабоченно прикрыв за собой дверь.

Не в первый раз приходилось ему так решительно вмешиваться в дела своего беспечного, поглощенного научной работой друга.

Еще в пору совместного учения в университете, когда завязалась и окрепла их дружба, Федотов понял, что в мире практических вещей Виктор Гонцов — совершенный ребенок и нуждается в поддержке. Как только его увлекала какая-нибудь идея и он самозабвенно отдавался ее разработке, все окружающее переставало для него существовать. Вокруг могли плясать, петь — он не замечал ничего. Надо было даже напоминать ему о необходимости сна, о завтраке, обеде и ужине.

— Хорошо еще,— говорил шутливо Федотов, втайне гордясь своей ролью опекуна,— что тебя не надо кормить с ложечки, как Вильяма Гершеля во время его наблюдений у телескопа.

До этого не доходило. Но бывало, что среди ночи Гонцов вдруг будил Федотова (в студенческие годы они жили в одном общежитии), чтобы поделиться с ним новой, только сформировавшейся в мозгу медицинской гипоте-

зой. Под монотонный храп сокомнатников он излагал ее шепотом, а терпеливый слушатель подавал иногда мрачные реплики, звучавшие из-под одеяла глухо, как из суфлерской будки.

В таких спорах Федотов придерживался обычно осторожной, скептической точки зрения, что только раззадоривало Гонцова. На оселке его недоверия он оттачивал свои доводы до блеска.

Со второго или третьего курса, однако, Гонцов стал сдержаннее в своих научных догадках. Он твердо запомнил золотое правило Ивана Петровича Павлова, обращенное к молодежи:

«Изучайте, сопоставляйте, накопляйте факты! Как ни совершенно крыло птицы, оно никогда не смогло бы поднять ее ввысь, не опираясь на воздух. Факты — это воздух ученого, без них вы никогда не сможете взлететь».

Да, крылья научной мечты Гонцова были бы бессильны, если бы не опирались на факты, добытые им в результате упорного труда, в итоге бесчисленных экспериментов.

Трудолюбие, терпение и настойчивость молодого ученого стяжали ему в конце концов такое же уважение среди физиологов, как и удивительная сосредоточенность его мысли, возбуждавшая вначале шутки товарищей. Для всех в Институте физиологических проблем было ясно, что перед Гонцовым большое и яркое будущее.

Уже проскользнуло в медицинских журналах скупое сообщение о смелой научной работе, заканчиваемой Гонцовым. Многие сомнительно покачивали головами.

...Весь день после разговора с Кулябко Федотов раздумывал над тем, с какой стороны подойти к Гонцову, чтобы заставить его работать размереннее. Вечером, закончив один сложный, долго не удававшийся ему опыт, он прошел, как был в халате и шапочке оператора, на балкон покурить.

Над кудрявыми кронами Парка культуры уже колебался купол парашюта. Подрагивая зеркальными боками, проплывали мимо переполненные троллейбусы. Солнце зашло, и небо приобрело зеленоватый оттенок. Снизу тянуло жаром, как из печки; остывал разогревшийся за день асфальт.

Кто-то обнял Федотова сзади и легонько встряхнул.

— Так-то ты, друг Саша,— услышал Федотов и по интонациям голоса догадался, что это Гонцов,— нажа-

ловался на меня Николаю Петровичу? Эх, ты, старый ворчун!

Они стояли теперь рядом, опираясь локтями на балюстраду: спокойный, неторопливо раскуривавший свою трубку Федотов, почти квадратный в своем топорщившемся халате, и порывистый, смуглый Гонцов, лицо которого от острых скул казалось в сумерках треугольным.

Предчувствуя нагоняй, Федотов возился с трубкой дольше обычного.

— Ну и что из того, что нажаловался? — сказал он воинственно.— Ведь за тобой нужен присмотр. Иначе ты заболеешь, свалишься. Нельзя работать так напряженно и не отдыхать совсем.

— А почему ты думаешь, что я не отдыхаю? — Улыбка на лице Гонцова стала еще шире.— Разве обязательно спать, чтобы прогнать усталость?

— О, снова твои теории! — Федотов скептически сморщился, готовясь к отпору.— Я верю в нормальный жизненный ритм, в установившийся порядок вещей, которые нельзя и незачем менять.

Гонцов помолчал, не отрывая завороженного взгляда от дуговых фонарей, которые зажигались один за другим в неясной перспективе Большой Калужской.

— Незачем? — повторил он медленно.— Как незачем? Установившийся порядок вещей заставляет нас на одну треть укорачивать свою жизнь,— и ты так спокоен? Сочти! Человек в среднем спит восемь часов в сутки. Значит, если он прожил шестьдесят лет, он двадцать из них фактически не жил. Он проспал эти годы, провел их в оцепенении, в глупом бездействии. По-моему, жизнь человеческая слишком коротка, чтобы говорить о таком мотовстве спокойно.

— Но что же делать, если физиология сложилась именно так? — сказал Федотов, направляя спор в хорошо знакомое русло.— Миллионы лет...

Гонцов прервал его.

— Меня удивляет умственная боязливость подобных тебе ученых,— сказал он.— Почему, меняя природу вокруг себя, создавая новые виды животных и растений, вмешиваясь в работу желез внутренней секреции, нельзя поднять руку на сон, цепями которого опутано человечество с начала веков? Разве мы — физиологи-революционеры — не должны совершенствовать природу самого человека?!

— Ты прав отчасти,— заметил Федотов.— Но слабость твоей позиции заметна, как только ты переходишь от общих рассуждений к простым конкретным фактам. Я, например, разрабатываю принципы разумного питания. Значит ли это, что я когда-нибудь дойду до того, что буду отрицать необходимость всякого питания вообще?

— Прекрасная аналогия,— с живостью ответил Гонцов,— ты сам подбрасываешь мне материал для возражений. Итак, ты считаешь, что мы едим неправильно?

— Понятно. Мы неразборчивы в еде, едим слишком много, потому что качество пищи невысоко,— мало калорий, мало витаминов. На переваривание уходит масса энергии, драгоценные жизненные силы...

— Примерно то же мы можем сказать о сне. Мы спим слишком много, беспорядочно и неразумно.

Федотов снисходительно пыхнул трубкой, давая понять, что маневр собеседника ему понятен.

— Ты знаешь, что сон глубже всего,— продолжал Гонцов,— а следовательно, и эффективнее, в первые часы после засыпания. Под утро сон не крепок, его живительная освежающая сила как бы иссякает. Помнишь мои опыты фракционированного сна? Я делил время сна на части, заставлял принимать сон как гомеопатическое лекарство, маленькими дозами. Мои пациенты спали по полтора часа три раза в сутки. В общей сложности это составляло четыре с половиной часа. И что же? Организм освежался вполне, точно человек проспал обычные восемь часов без перерыва. За счет количества я улучшил качество сна.

— Поэтому-то под конец я и признал твою правоту. Но ты ведь не остановился на этом. Ты пошел дальше. Ты стал ломать голову над тем, чем бы тебе заменить сон, чтобы люди не спали вовсе. Ведь это фантазия, Виктор. Мечты, оторванные от земли, от реальных, зримых факторов.

Гонцов искоса поглядел на серьезное, доброе лицо Федотова, осветившееся на мгновение от огонька трубки.

Вокруг было уже темно, и за листвой деревьев, окружавших институт, мелькали смутные силуэты прохожих.

— Факты, Саша, факты! — сказал он как будто с сожалением.— Ты подбираешь их один к одному и любуешься наведенным тобою порядком. Извини меня, друг, ты — архивариус фактов, потому что не даешь себе тру-

да по-настоящему осмыслить их. Вспомни опыт. Человека помещали в абсолютно темную комнату, затыкали ему уши ватой, надежно изолировали его от всяких раздражений извне. Человек засыпал мгновенно и крепко...

— Элементарный опыт,— пробормотал Федотов, стараясь догадаться, куда клонит Гонцов.

— Но понял ли ты, что для многих людей такой темной комнатой была их жизнь, скучная, глухая, лишенная ярких событий и солнца? Представь себе какую-нибудь Обломовку или Замоскворечье, прозванное «сонным царством». Люди не знали, как скоротать, убить время. День-деньской их одолевала зевота. После обеда они почивали два-три часа. Это был малый сон, репетиция ночи. После ужина они отправлялись «капитально» спать, а поутру вяло раскрывали «Сонник», чтобы найти с его помощью тайный смысл в привидевшейся им чепухе.

— Ну а бедняки?

— Бедняки? Для них сон был чем-то вроде кратковременного психологического самоубийства. Человек выключал себя на несколько часов из действительности с ее ужасами и страданиями. Житейские бури оставались за его спиной. Он входил в укромную гавань сна и бросал там якорь.

— Сон как болеутоляющее?

— О, не более, чем вино, опиум и другие средства, с помощью которых у людей отшибало память на очень короткое время. Для нас важно другое. Чем печальнее, темнее, глуше была жизнь, тем больше места занимал в ней сон. И, напротив, чем светлее, звонче, ярче жизнь, тем меньше потребность сна у людей. Радость тонизирует, бодрит. Ты — физиолог и понимаешь, что это не парадокс, а вывод из общепринятой теории сна.

— Но уменьшение этой потребности,— вставил Федотов назидательно,— имеет какой-то предел, ты не должен забывать об этом.— Вот тут мы — физиологи — и должны прийти на помощь человечеству. Мы обязаны помочь ему не спать. Согласись, что жизнь так полна, так богата радостями в наше время, что жаль минуты, потраченной зря. Хочется жить без этих скучных антрактов, не покидая мира счастливой реальности ни на час! Веселиться, творить, действовать, переходя от одного увлекательного дела к другому! Бодрствовать всю жизнь, всю долгую, бессонную человеческую жизнь!

— Прихлебывая при этом твой фантастический концентрат сна?

— Да!

— Поэтично, согласен. И очень заманчиво в целом. Но, извини, Виктор, неправдоподобно. Когда мы в лаборатории эффективного питания изготовляем разнообразные пищевые экстракты и концентраты, это реально, это факт. Вот — тяжелая глыба мяса. Рядом маленький кубик, в котором спрессована вся теплотворная энергия этого мяса, тысячи заключенных в нем калорий. Вот — пирамида из лимонов. И рядом узкий бокал, наполненный янтарным витаминным соком, равноценным всей пирамиде. А что ты после многих лет работы можешь показать в своей лаборатории сна?

Гонцов выпрямился. Голос его прозвучал необычно резко:

— Фома неверный! Ты видишь меня и разговариваешь со мной,— заметна ли во мне усталость, клонит ли меня ко сну?

Пока удивленный Федотов размышлял над этими странными словами, Гонцов пересилил досаду и продолжал совсем тихо, точно стыдясь своей вспышки:

— Однако пока еще рано говорить об этом. Решающий опыт не закончен, и неосмотрительно было бы сейчас хвалиться и трубить победу...

И все же, друг, я уверен, я безусловно уверен в том, что в нашей лаборатории я найду заменитель сна, иное, более выгодное, совершенное и быстродействующее средство обновлять силы организма.

Федотов молчал.

— Ты помнишь, что весной у меня не ладилось с гидратами,— сказал Гонцов.— Формула была неверна, собаки издыхали на середине эксперимента. Недавно я принял решение добавить в формулу соли калия, тонизирующее действие которых известно. Николай Петрович одобрил мою мысль. Суди о результатах. Подопытные «Дэзи» и «Шарик» бодрствуют второй месяц и, по-видимому, не ощущают никакой потребности во сне... Итак, может быть,— видишь, как я недоверчив,— я стою на пороге небывалого в медицине открытия. Может быть, где-то тут передо мной — пока невидимая заветная дверь, и не сегодня-завтра ключи к ней будут подобраны?

Теперь ты понимаешь мое нетерпение. Я не вижу ничего, кроме этой далекой цели впереди. Поверишь ли, я

с радостью отдал бы несколько лет своей жизни, чтобы приблизить час, когда можно будет прокричать на весь мир: «Противоядие против сна найдено!»

— И потом, когда ты прокричишь это,— шутливо сказал Федотов,— мы, наконец, устроим тебе торжественные проводы в санаторий «Узкое».

— О, я успею еще отдохнуть,— ответил Гонцов, продолжая рассеянно смотреть вдаль, туда, где за балаганами Парка культуры мерцали очертания нового города.— Кстати, не думай, что я устал. Я никогда не чувствовал такого прилива сил и бодрости, как сейчас.

— Ну, ну! Боюсь только, что ты подбадриваешь себя крепким чаем и гирями...

— Честное слово,— сказал Гонцов, и Федотову в темноте показалось, что тот снова улыбается.— Честное слово, забросил все это. Просто не хочется спать, и только...

Трубка Федотова сомнительно пыхнула на прощанье, и они расстались.

Глава вторая

Продолжая улыбаться, Гонцов запер дверь лаборатории и опустил зеленый абажур над лампой. Предстояла одинокая бессонная ночь среди колб и реторт, в теплых отсветах электропечки, на которой кипятились инструменты.

Он прошел в дальний угол, где между шкафами лежали его гири, поднял их, рассеянно подержал на вытянутых руках, швырнул обратно. Зачем они ему теперь?

Историю этих гирь не знал даже Федотов.

В молодости настольной книгой Гонцова был Джек-Лондоновский «Мартин Иден». По много раз мог он перечитывать места, где упрямый матрос, твердо решивший стать писателем, ломает привычный уклад своей жизни. За год Мартин должен научиться тому, что люди в обычных условиях изучают десятки лет. Поэтому он разрешает себе спать только два или три часа и вскакивает по первому звонку будильника.

По-видимому, именно под влиянием этого друга из книги Гонцов начал свои всенощные бдения в лаборатории. Оставаясь там ночью один, он открывал первым долгом настежь окно и, жадно вдыхая прохладный воздух, делал гимнастику. Потом обтирался ледяной водой и, ос-

веженный, сбросив с себя липкую усталость прошедшего дня, садился к столу.

Проходило два-три часа, глаза начинали слипаться, тело тяжелело, наливаясь дремотой. Досадуя на несовершенную природу человека, Гонцов вставал и заваривал крепкий чай.

Гимнастикой, папиросами, крепчайшим чаем он поддерживал себя до пяти-шести часов утра, когда нервы окончательно сдавали и он засыпал внезапно и крепко, точно сон, подкравшись на цыпочках сзади, оглушал его ударом по темени.

Так было до недавнего времени. Теперь единоборство Гонцова со сном вступило в новую фазу, о которой не догадывался никто в институте. Бесполезные гири покрывались пылью в углу между шкафами. Чайник не пыхтел и не подскакивал больше на своей подставке. Гонцову не хотелось спать. Голова его была свежа круглый день, тело бодро, и мысли ясны, как после купанья, и только все время почему-то очень надоедливо, хоть и негромко, звенело в ушах.

Ни Федотову, ни Кулябко не признался он в том, что эксперимент проходит удачно. Вторую неделю уже в его тетради стояла графа: «Виктор Гонцов, 27 лет»,— и под ней записи давления крови, частоты пульса, различных химических и физиологических реакций.

Втайне от всех сотрудников руководитель лаборатории проверял на себе найденный им антидот[1]. Он не думал о риске, захваченный азартом исследователя. Он спешил принести человечеству освобождение от сна и первым вступал на эту неизведанную и, может быть, опасную тропу.

Гонцов пустил в ход реакцию в больших зеленоватых колбах и, прислушиваясь к равномерному журчанию переливающейся жидкости, сел за стол. Да, все развивалось нормально, довод цеплялся за довод, оснований для беспокойства не было.

Задумчиво потирая выпуклый, прекрасной формы лоб, Гонцов перечел записи, сделанные им накануне:

«Итак, можно считать доказанным,— было набросано

---

[1] *Антидот* — противоядие, которое в соединении с ядами превращает их в неядовитые вещества. Так, танин при отравлении алкалоидами (исключая морфий) образует с ними нерастворимые соли, окись магния при отравлении кислотами превращает их в соли и т. д.

его угловатым, решительным почерком,— что в основе деятельности центральной нервной системы лежат биохимические процессы. Отсюда и исходят авторы токсических теорий сна.

Вводя соли кальция в мозг кошки, Демоль погружал ее в сон, длительность которого зависела от дозы. Наоборот, введение солей калия прерывало этот искусственный сон. Бушар, проводя опыты над кроликами, обнаружил, что моча, выделяемая вечером, производит возбуждающее действие, между тем как моча, взятая утром, после сна, вызывает наркотический эффект.

Эррера считает главным возбудителем сна лейкоманы, образующиеся в организме в процессе бодрствования и парализующие высшие нервные центры. Накопление их и вызывает сон, который является результатом своеобразного самоотравления организма. По Эррера, сон, таким образом, представляет собой восстановительную функцию, способствующую освобождению мозга и других тканей от ядов. Во время сна происходит как бы ожесточенная война между лейкоманами и их антидотами, и каждую ночь человеческое тело, погруженное в дремоту, служит полем, где разыгрывается сражение.

Лежандр и Пьерон показали, что при длительной бессоннице в крови и в спинномозговой жидкости животного накапливается особое вещество — гипнотоксин. Если взять кровь, спинномозговую жидкость или экстракт мозга у собак, которым долго не давали спать, и ввести нормальным собакам, это вызовет у тех сон.

Работы руководимой мною лаборатории переносят центр тяжести именно на спинномозговую жидкость. Я считаю,— и доказываю это рядом экспериментов,— что одной из главных причин сонливости, как и самого сна, является изменение свойств и химического состава спинномозговой жидкости.

В этом направлении мы и работали в течение многих лет, подбирая всевозможные искусственные антидоты, которые могли бы частично или полностью заменить те естественные противоядия, которые вырабатываются в человеческом организме во время сна и вызывают пробуждение.

Трудность заключалась в том, что в обычных условиях, по-видимому, действует не один химический или физический фактор, как предполагали названные выше авторы, но целая совокупность их. В частности, не обраща-

лось достаточного внимания на роль желез внутренней секреции.

Кроме того, в результате сна происходит не только освобождение организма от вредных шлаков, но и вырабатывается новая энергия, совершается как бы зарядка аккумулятора нервной и мышечной системы.

Всем этим многочисленным условиям и должен удовлетворять идеальный антидот, могущий при регулярном введении в организм уничтожить потребность в естественном сне и создать...»

Часы, стоявшие высоко на книжном шкафу, мерно отсчитали три удара.

Время опыта!

Гонцов отодвинул тетрадь и, прищурясь, отмерил в градуированной мензурке испытываемый антидот. С каждым днем, согласно предначертанному плану, он увеличивал дозы в строго определенной пропорции.

За окном расплывался серый, рассветный туман. Уличные огни поблекли, и в тишине пустынной улицы с особой, бодрой отчетливостью прогромыхал грузовик, нагруженный бидонами с молоком. Ночь кончалась.

Шторы надулись, как парус корабля, готового к отплытию. Ветер, скользнув в комнату, быстро перевернул несколько листов тетради.

Гонцов очнулся от задумчивости. Он высоко поднял стакан, налитый до краев, и посмотрел на свет. Густая голубоватая жидкость переливалась там, и золотые искры вспыхивали в ней, как чаинки.

Ожидание необычайного вдруг охватило его.

— Ну, что ж, за здоровье будущих поколений,— пробормотал он шутливо и залпом выпил антидот.

Глава третья

Утром, в обычное время, пришли сотрудники лаборатории сна и нашли двери запертыми. Возникло предположение, что Гонцов, засидевшийся, как всегда, допоздна, захватил с собой по рассеянности ключи домой. Позвонили к нему на квартиру. Оттуда ответили, что он не возвращался ночевать.

Пока искали коменданта института с запасными ключами, звали слесаря и бегали за Федотовым, работавшим в другом корпусе, один из лаборантов взобрался на

дерево и заглянул в комнату. Гонцов был там, но не откликался.

Это увеличило тревогу, и кто-то распорядился выломать двери.

Руководитель лаборатории сидел неподвижно за столом, положив лицо на согнутые в локтях руки. Светлый круг от лампы падал на его затылок, тетрадь для записи опытов и стакан с остатками жидкости.

В комнате было полутемно; солнечный луч, проникнув через узкую прорезь между шторами, дробился в гранях стакана и отбрасывал радужные блики на тетрадь...

Безжизненное тело бережно перенесли на кушетку.

— Несомненно, отравление! — сказал Федотов, не сводя глаз с иссиня-бледного лица друга и в волнении не находя его пульса.— Пульса, по-моему, нет. Руки ледяные, как у мертвеца.

Кулябко отстранил его спокойно — врач не должен нервничать у постели больного,— потом поднес к губам Гонцова круглое зеркальце.

Гладкая поверхность осталась такой же чистой, как была.

— Не дышит,— пронесся приглушенный шепот.

— Ток! — приказал Кулябко грозно.

В тех случаях, когда смерть сомнительна и зеркало не затуманивается, врачи прибегают к последнему средству — пропускают электрический ток через мышцы и нервы тела.

Люди ждали, толпясь подле кушетки.

— Да, нервы реагируют на ток,— сказал Кулябко, поднимаясь.— Он спит. Vita minima, мнимая смерть, состояние, схожее с летаргией...

Тетрадь опытов была раскрыта на почти чистом листе, где стояло:

«Всем этим многочисленным условиям и должен удовлетворять идеальный антидот, могущий при регулярном введении в организм уничтожить потребность в естественном сне и создать...»

Запись на этом обрывалась. Следующее слово, выведенное каракулями, было неразборчиво. В этот миг в организме Гонцова произошла, видимо, загадочная катастрофа, погрузившая его в забытье.

Заскрипели колеса тележки, на которой обычно перевозили пациентов в операционную.

— Что ж, продолжайте работу! — обратился Кулябко-

ко к стоявшим вокруг него в молчании сотрудникам Гонцова.— Несчастье с Гонцовым должно заставить вас работать еще настойчивее, но вместе с тем и осторожнее. Исследуйте, прежде всего, синий осадок, оставшийся в мензурке. Где тетрадь записей, которые вел Гонцов?

— Она у меня, Николай Петрович,— сказал Федотов, показывая драгоценную тетрадь.

— Тогда пойдемте.

Кулябко и Федотов, негромко переговариваясь, последовали за тележкой, на которой покачивалось тело Гонцова. Оно было прикрыто простыней и сразу стало казаться длиннее. Лицо, запрокинутое на подушках, поражало своей странной прозрачностью.

— Я хочу понять, почему так случилось,— глухо сказал Федотов.— Он надорвался, Николай Петрович? Или в формуле была ошибка? Что произошло в его организме?

— Мы сможем ответить на это только после детального исследования. Скорее всего, он допустил ошибку в дозировке. Большинство противоядий, как вам известно, сами по себе яды. Это обоюдоострое оружие, обращаться с которым надо с величайшей осмотрительностью. Представьте себе, например, что случилось бы с больным, если бы врач выписал ему удесятеренную дозу стрихнина. Возможно, что то же произошло и с вновь открытым противоядием. Бедняга Гонцов был чересчур увлекающимся и нетерпеливым...

— Был? Вы сказали — был? — Значит, вы думаете, он не проснется больше... Умрет?

Николай Петрович сердито прокашлялся, чтобы скрыть признак слабости — предательскую дрожь в голосе.

— Я не хочу обманывать ни себя, ни вас,— сказал он, помолчав.— Надежды нет, мой друг. Река забвения уносит Виктора далеко от нас... Летаргический сон может длиться годами, и больной погибает от истощения. А искусственное питание, при современном знании этого вопроса, настолько несовершенно, что...

Продолжая разговаривать, они прошли вслед за тележкой в операционную, где решено было оставить тело Гонцова до медицинского консилиума.

За печальной процессией захлопнулась стеклянная дверь.

...Берясь за перо, Гонцов с удивлением отметил, что шум в ушах все возрастает, становится нестерпимым.

Ему представилось вдруг, что он еще смотрит в стакан, где плескалась голубоватая искрящаяся жидкость. Странные золотые пятна, мелькавшие там, особенно притягивали его внимание. Веки его тяжелели: он попытался придержать их пальцами, но они не повиновались ему.

Целый дождь желтых брызг струился перед его плотно зажмуренными глазами.

Спустя некоторое время он догадался, что это — падающие осенние листья. Они сыпались на него с ветвей, низко нагнувшихся над водой, задевали его лицо, и он не мог отвести их руками, потому что чувствовал скованность движений, как в кошмарах.

Да, он плыл, лежа навзничь, по реке. Шуршали падающие листья. Водоросли, вытянутые вдоль течения, цеплялись за его одежду.

Потом он начал медленно и плавно погружаться, не испытывая страха, но только очень сильную усталость, безучастный к окружающему.

Мелькнули желтые шары кувшинок, и чешуйчатая зеленая ряска сомкнулась над его головой.

Еле слышно журчали светлые струи, обегая группы подводных цветов и торчащие со дна камни. Он покачивался над ними, не опускаясь на дно и не всплывая на поверхность.

Что-то совершалось наверху, за голубовато-зеленой, подернутой желтыми пятнами, пеленой. До него доносился порой смутный шум, отголоски живущего мира, настолько сильные, что проникали к нему даже сквозь толщу его сна.

Прошло несколько минут или часов,— он не мог определить с точностью,— и быстрее закачались водоросли, мимо понеслись призрачные очертания предметов. Течение ускорилось.

Не веря себе, Гонцов услышал глухой, приближающийся звон колоколов.

Вокруг него мелела река, расступаясь, вынося неподвижное тело на берег. Он почувствовал, как жестко и неудобно дно, опустившись, наконец, на него, и открыл глаза.

Прямо перед собой он увидел граненый стакан и ру-

ку, размешивавшую ложечкой в стакане. Вот колокола, которые звенели над ним!

Серьезный голос произнес иегромко:

— Прошу вас, выпейте это лекарство и не разговаривайте пока. Вы были очень долго и сильио больны.

Гонцов послушно закрыл глаза.

Мысли его были ясны и отчетливы. Какой удивительный сои приснился ему: река, желтые листья, журчанье воды. Он вспомнил, как дошли до его меркиущего сознания чьи-то слова о Лете, реке забвеиия. Быть может, это и дало толчок его сновидениям? Звуки голосов стали глохнуть, точно удаляясь, и вскоре слились в ритмический гул, который был, по-видимому, только слабым биением его собственного пульса.

Сейчас самочувствие его было прекрасно: он совсем не ощущал своего тела. Дышалось легко. Воздух был чист, холодноват, и он вдыхал его с жадиостью, как будто подиялся только что иа гребеиь горы.

Он подумал, что друзья перевезли его в горный санаторий, куда-иибудь в Теберду или Абастумани, и открыл глаза.

Над ним в бездонной глубине ласково мерцали звезды, мириады звезд. Не будучи силен в астрономии, ои с некоторой гордостью отыскал знакомый ковшик Большой Медведицы. Усыпанные сверкающим инеем раскидистые ветви Млечного Пути осеняли его, и некоторое время он лежал неподвижно, собираясь с силами. Потом медленно повернул голову.

Там, где он ожидал увидеть стену, ие было ничего. За белой скамьей и столом, на котором стояли лекарства, начиналась пустота. Озареииые бледным светом звезд, тихо покачивались верхушки кипарисов и смутно чернела громада, которая показалась Гонцову памятником.

Только вглядевшись пристальиее, ои поиял, что и потолок и стены его комнаты были сделаиы из стекла или материала, подобиого стеклу.

Недоумевающий, встревожеииый, Гонцов сделал попытку приподияться. Необычность всего увидеиного на секунду расколола его смятенное сознание. Кто же проснулся только что в этой стеклянной комнате?

— Зеркало, если есть, пожалуйста,— прошептал ои нагиувшимся к нему людям в белых халатах.

Зеркало задрожало в руке. Краем глаза он охватил всю страшную худобу своей руки — кость, обтянутую

пергаментно-желтой кожей, и долго, не отрываясь, смотрел в зеркало. Со стороны, быть может, это было похоже на встречу после очень долгой разлуки.

Лицо Гонцова осунулось и постарело. В черных волосах кое-где протянулись белые нити, щеки запали. Зато живые, блестящие глаза были молоды по-прежнему, и по ним он тотчас узнал себя.

Глава пятая

Первый день после пробуждения тянулся для Гонцова нескончаемо долго.

Его взвешивали, измеряли, выстукивали. Его просили вздохнуть, кашлянуть, привстать, присесть. Врачи с серьезными, озабоченными лицами ходили вокруг, деловито помахивая стетоскопами и негромко переговариваясь.

При других обстоятельствах Гонцов не утерпел бы и вмешался в их ученый, пересыпанный латынью разговор. Первую фазу эксперимента, во всяком случае, он мог описать во всех подробностях, так как наблюдения над собой проводил до самого начала летаргии.

Сейчас, однако, ответы его были рассеянны и кратки. Покорно подставив грудь выслушивавшему его врачу, Гонцов смотрел в сторону, туда, где за стеклянной стеной зеленел удивительный мир, в котором предстояло ему жить.

— Доктор,— повторял он, упрашивая и одновременно сердясь,— мне бы встать уже, а, доктор?

Но только к вечеру Федотов разрешил своему пациенту встать и походить немного по комнате.

— Не делайте слишком резких движений,— строго сказал он при этом,— не перегружайте сердце. Если все пойдет хорошо, я думаю, что смогу разрешить вам выступить сегодня ночью по радио. Мир знает уже о том, что вы проснулись, и ждет с нетерпением встречи с вами.

Потом он ушел вслед за другими врачами, оставив Гонцова в одиночестве.

Испытывая огромное физическое наслаждение от ходьбы, Гонцов прошелся мелкими шажками по комнате.

Голова его слегка кружилась. Он усмехнулся старательности, с какой передвинул затекшими ногами, и тому еще, что жался пока поближе к стене. Со стороны, вероятно, он был похож на неопытного пловца, который

плещется на мелководье у берега, не решаясь пересечь широкую гладь пробегающей мимо реки.

За стеной-окном расстилалась манящая светлая гладь.

Солнце почти спустилось уже к темной черте горизонта. Багряные отблески лежали на кипарисах, вдали в чаще сверкали остроконечные голубоватые купола, и краски были так ярки, зелень так свежа, что казалось,— только что отшумел дождь.

Глаз почти не задерживался на близких предметах; может быть, поэтому Гонцов до сих пор не рассмотрел как следует памятника,— он сразу охватывал всю картину в целом. Необычайная глубина перспективы чудесно окрыляла взор.

Одновременно видны были из окон и башни моста, переброшенного через реку, и клумбы цветов подле набережной, и — отсвечивающие на солнце, по-видимому, тоже стеклянные, здания далеко за мостом, на холме.

Гонцову представилось на мгновенье, что он смотрит на волшебный город через какой-то драгоценный сияющий камень со множеством граней.

Куда вела от ворот пестренькая игрушечная мостовая? Что скрывали под собой голубоватые остроконечные купола? Не были ли они теми Дворцами Покоя, о которых вскользь рассказывал ему Федотов?

И тогда знаменитый ученый, не в силах совладать со своим нетерпением, совершил неблаговидный поступок, который покойный его друг в негодовании назвал бы мальчишеством. Пользуясь ослаблением присмотра, он попросту удрал тайком из больницы.

Ступая на цыпочках и говоря самому себе «тш-ш!», он прошел коридор, миновал комнату, где оживленно болтали о чем-то сиделки, и очнулся за воротами.

Тотчас ликование школьника, отпущенного на каникулы, охватило его и уже не покидало во все время прогулки.

Он задержался на секунду в воротах, раздумывая, куда ему свернуть: направо, к реке, или налево, к группе домов на склоне холма,— весь новый мир был перед ним, и он волен был выбирать. Потом он заметил рядом с собой пожилого человека в фартуке, который высаживал куст роз у памятника, освещенного косыми лучами заходящего солнца.

Гонцов скользнул любопытным взглядом по надписи

на постаменте — там стояло его имя. Он запрокинул голову.

Центральная фигура скульптурной группы изображала его, Гонцова, окруженного лежащими в разных позах спящими людьми. Сам он сидел в кресле, возвышаясь над ними, держа на коленях просыпающегося кудрявого ребенка. Ребенок тер кулачками глаза, улыбка его была мягкой, недоумевающей, полусонной. И добрый доктор склонялся к нему, ласково протягивая стакан с волшебным напитком.

Много лет уже, наверное, стоял этот памятник здесь, у входа в больницу, где лежало неподвижное тело мученика науки, заплатившего природе такой дорогой ценой за свое открытие. Тут было тенисто и тихо, и дети приходили сюда по утрам и играли вокруг мраморного постамента. Об этом говорили следы маленьких ножек на песке и чей-то смешной полосатый мяч, забытый в траве.

Взрослые, гуляя с детьми вдоль кипарисовой аллеи, конечно, указывали им на памятник и вполголоса, с приличной случаю торжественностью, рассказывали об ученых, самоотверженных друзьях человечества, которым очень редко выпадало счастье дожить до полного торжества своих идей.

— Я думаю, этот куст будет красивее выглядеть с краю,— вопросительно сказал садовник, критически осматривая свою работу.— А вы как посоветуете, товарищ?

Гонцов охотно вступил в разговор.

— Розы, пожалуй, именно то,— ответил он,— что не хватало этому красивому уголку для полной гармонии.

Садовник снова нагнулся над клумбой.

— Мне сразу бросилось это в глаза,— сказал он, энергично работая лопаткой.— С недавнего времени я стал ходить к себе в Академию новой дорогой мимо памятника Победителю Сна. Мне не понравилось здесь и захотелось украсить клумбы розами, чтобы сделать приятное людям, живущим на этой улице. Понимаете?

— А! Вы работаете в Академии Садоводства? — спросил Гонцов, присев на корточки и помогая садовнику разрыхлить землю.

— Нет, в Академии Радия. Я — физик, профессор Новак, если слышали. Мои книги о цветах менее известны.

Гонцов подумал, что в мире, где сон упразднен за ненадобностью, у людей столько свободного времени,

что им грешно ограничивать себя одной профессией и не проявлять свой творческий дух в самых разнообразных направлениях.

— Конечно, это дает более широкий взгляд на вещи,— пробормотал он,— делает жизнь полнее, красочнее. Я бы, например, выбрал, помимо физиологии, также живопись.

— У живописца должен быть вкус,— пошутил садовник.— А вы здешний, по-видимому, старожил, видите каждый день эти клумбы и до сих пор не догадались, что кусты надо пересадить вот так...

— Значит, ваш дом далеко отсюда? — спросил Гонцов, проверяя ход своих мыслей.

Садовник тотчас уловил скрытое значение вопроса.

— О, в этом смысле мой дом — всюду, так же, как и ваш, вероятно,— ответил он с улыбкой. Потом, помолчав, добавил: — Вы, право, задаете смешные вопросы. Вам разве не бывает приятно, когда вы доставляете маленькие радости людям?

Бережно расправив горделивые лепестки красивейшей из роз, он поднялся с колен, чтобы получше рассмотреть своего странного собеседника.

В разговоре возникла длинная пауза. Садовник сказал неуверенно:

— По-моему, это вы...

Щурясь то на Гонцова, то на памятник, он заговорил тверже:

— Определенно, вы... Победитель Сна!.. Подумать, а я болтаю с вами и ни разу не взглянул на вас, поглощенный своими цветами.

Он суетливо стал собирать инструменты. Затем, вспомнив о чем-то, протянул Гонцову несгибающуюся твердую ладонь:

— В ваше время, кажется, так прощались? — сказал он, улыбаясь.— О, не счищайте землю со своей руки. Моя ведь не чище... Ваш доктор не рассердится за то, что вы помогли мне посадить цветы?

Они разошлись, и уже большое расстояние разделяло их, когда Гонцов услышал, как садовник окликает его, сложив ладони рупором:

— О-гей, Победитель Сна!..

— Что?!

И до Гонцова донеслось ободряющее:

— Вам понравится у нас, Победитель Сна...

Глава шестая

Новый мир предстал перед Гонцовым безоблачно-ясный и белоснежный, на успокоительном зеленом фоне. Богатство оттенков его было неисчерпаемо: от изумруда веселых лужаек до строгой синевы лесов.

Плющ обвивал подножие мраморных колонн, пурпуром и янтарем отсвечивали прозрачные стены, на перекрестках громоздились пестрые пирамиды цветов.

Сплошной благоуханный сад был вокруг.

Город располагался на террасах, пейзаж виден был сразу в нескольких планах. Прямо перед путником сбегала вниз широкими уступами улица. Мостовая была выложена разноцветными плитами. Вдали, между двух холмов, поблескивала вода.

— Зелень, вода, мрамор,— сказал вслух Гонцов, разнимая пейзаж на его составные части, и усмехнулся милому кокетству города, который, казалось, без устали любовался собой в зеркале бесчисленных каналов.

Не было лучше отдыха для Гонцова, чем бродить одному по площадям и улицам незнакомого города.

Будучи предоставлен самому себе, он был совершенно счастлив и почти не замечал времени.

Солнце уже зашло, от лесных массивов поползли на город сумерки.

Он услышал совсем близко журчание и плеск воды. Несколько капель упало на его лицо. Он поднял голову. Перед ним был фонтан.

Мимо, обгоняя его, взбежала по выщербленным ступенькам группа молодежи.

Ветер сносил брызги фонтана в сторону. Улыбаясь, Гонцов поднялся вслед за молодежью туда, где в позеленевшей, покрытой мхом нише стояли высокие граненые стаканы. Они были наполнены до краев голубоватой искрящейся жидкостью.

— Пожалуйте, вам первому,— сказала молодая девушка в ореоле пушистых волос, подавая Гонцову стакан.

Ее серые милые глаза были приветливы. С огорчением вспоминая, что утром не успел побриться, Гонцов принял стакан из ее рук и вдруг услышал за спиной задыхающийся, но бодрый по-прежнему голос:

— Вам давно уже пора пить Концентрат. Можно ли

так запускать лечение? Я уверен, что вы не пили Концентрат с того времени, как ушли из больницы.

Сзади стоял Федотов.

— Я ищу вас по всему городу,— продолжал он ворчливо, завладевая своим пациентом и с осторожностью сводя его по ступенькам.— Как вы неосторожны, дорогой Гонцов. Ну, долго ли заболеть, когда организм так ослаблен...

Он выговаривал Гонцову и журил его все время, пока Гонцов не сказал, засмеявшись:

— Милый мой доктор, вы забываете, что я тоже врач. Я очень верю в психический фактор. Радость тонизирует нервную систему, понимаете ли? Как могу я заболеть, когда я так счастлив сейчас?

И с этими словами они вошли под своды большого зала, откуда должна была начаться радиопередача.

Глава седьмая

Стены этого зала были заняты большими экранами.

Гонцов взошел на трибуну, где стоял будничного вида столик.

Ударил три раза гонг.

И тотчас стена перед трибуной преобразилась. Площадь у входа в аллею фонтанов открылась Гонцову.

Вдали подпирал звездное небо изломанный строй кипарисов. Столбы воды сверкали под лучами прожекторов. А на переднем плане, на ступенях лестниц, у подножья колонн, были видны внимательные, настороженные взволнованные лица.

Головы вдруг задвигались, поднялись в приветственном жесте руки, и до Гонцова донесся глухой, нарастающий гул. Собравшаяся на площади толпа увидела его.

— Начинайте,— шепнул кто-то сбоку.

Гонцов оперся пальцами на столик, как делал всегда, когда читал в университете. Он не подыскивал слов, не жестикулировал, он думал вслух.

— Друзья! — заговорил он медленно.— Мало кто из нас знает, что у меня был предшественник. Писатель, прославившийся своими фантастическими романами, заставил в одном из них проспать героя двести лет. За это время небольшое состояние героя, отданное в рост,

неимоверно увеличилось, и он, к своему удивлению, проснулся миллиардером. Впрочем, оказалось, что он всего лишь марионетка в руках людей, фактически владевших его богатством. От нечего делать научившись управлять самолетом, герой на последней странице эффектно покончил самоубийством в воздухе.

Почему я вспомнил этот прочитанный много лет назад роман? Потому, что кое в чем напрашивается аналогия. Если рискнуть и назвать скромным научным состоянием те отрывочные догадки и мысли, которые я высказывал в свое время, то как разрослось это состояние теперь, благодаря моим многочисленным ученикам и продолжателям! Учение о природе сна и усовершенствованный Концентрат Сна стали подлинным богатством, причем принадлежит оно, к моей радости, не одному человеку, а всему освобожденному человечеству!

Гонцов помолчал, наклонив голову и пережидая, пока утихнут аплодисменты.

— Мир изменился с того времени, как я не был в нем,— продолжал он задумчиво.— Он сделался прекраснее во сто крат. Вы не имеете возможности наглядно сравнивать и просто не представляете, как он прекрасен. Все силы разума и сердца направлены на улучшение и украшение человеческой жизни, на борьбу с непокорной косной природой. И первое место в этом мире по праву принадлежит ученым, дерзким новаторам, исследователям вещей!

— Таким, как вы, Победитель Сна! — раздался восторженный голос из толпы.

Гонцов поднял руку, как бы защищаясь от незаслуженных похвал.

— Еще в мое время,— сказал он, улыбаясь,— было немало чудаков, которые боялись, что в коммунистическом обществе людям станет скучно. Они предполагали, что вы — люди коммунистического общества — будете жить в казармах и числиться за номерами. Кроме того, чудаки утверждали, что если исчезнет нужда, то замрет прогресс. Изнеженность и лень купающихся в изобилии людей погубят их, и они покатятся вспять, к варварству... Ну, вот вы и засмеялись! Славно ж вы смеетесь, друзья!..

Шутка о казармах и номерах была понята и воспринята хорошо.

Потом над затихающим в последних рядах смехом поднялся чей-то спокойный, уверенный голос:

— Включите Гренландию,— потребовал голос.— Пусть гренландские геологи расскажут Победителю Сна, как снова зазеленела ледяная пустыня. Ведь это, пожалуй, одно из прекраснейших дел последнего десятилетия.

Толпа подкрепила предложение одобрительным гулом.

Вид площади с чернеющей на ней громадой людей стал тогда тускнеть и расплываться. Контуры чего-то нового, смутные краски, неясные детали медленно проступали на экране перед Гонцовым. Вскоре звездное небо совсем исчезло, и на его месте закачались величавые складки северного сияния.

У подножия поросшего лесом плато на гранитной набережной толпился народ.

От одной из групп отделился невысокий человек и шагнул к Гонцову.

— Гренландия,— сказал он тоном лектора,— была, как вам известно, последним на земном шаре, уцелевшим с незапамятных времен ледником...

Но подо льдом лежал клад. Земли Гренландии таили в себе богатейшие угольные залежи.

Разрозненные попытки капиталистов добыть уголь не увенчались успехом. Надо было прежде растопить весь ледник, толщина покрова которого достигала в среднем двух с половиной километров.

А это стало по силам только организованному в одном усилии обществу.

Несколько лет назад ученые предложили зажечь под гренландским ледниковым куполом подземный пожар, чтобы сразу разрешить две задачи: получить энергию угольных пластов в виде газа и вместе с тем освободить Гренландию от льда навсегда.

На ледяном куполе были поставлены мощные трубобуры. По трубам вниз к углю пошел кислород. Электрическая искра зажгла горючие материалы, заложенные внутри центральной шахты, и на огромной глубине вспыхнул пожар.

Удивительные перемены, рассказывал гренландский геолог, стали происходить тогда. Над Гренландией, бывшей до этого зоной устойчивых антициклонов, заморосил дождь. Плотная пелена туманов окутала ее.

Люди работали в призрачном свете фонарей и день и ночь. Страшный рев хлеставшей из узких фиордов воды и сталкивавшихся, дробящихся льдин заглушал гудки экскаваторов.

Через полгода обнажилась земля в центральной части Гренландии. Вслед геологам прибыли сюда растениеводы, и над когда-то безжизненным плато зашумела листва. Сейчас, благодаря подогреву снизу,— подземная газификация будет продолжаться еще десятки лет,— явилась возможность выращивать в Гренландии многие растения.

— Но может быть,— закончил гренландский геолог,—вам это покажется менее замечательным, чем предполагающаяся экспедиция в ракетопланах на Марс.

Серьезное лицо рассказчика, пена прибоя у ног окружавших его людей, фиолетовые скалы и водопады на заднем плане стали в свою очередь бледнеть, отодвигаться, рассеиваться.

Через несколько мгновений Гонцов уже видел перед собой глубокое узкое ущелье, перепоясанное синей тенью. Присмотревшись к суровому ландшафту, он догадался, что это кратер потухшего вулкана. На дне таких вулканов, читал он где-то, было всегда темно, как в колодце, и в самый солнечный день видны были звезды.

Экран, по-видимому, передвинули в сторону, и Гонцов различил невдалеке длинное, заостренное тело ракеты, подвешенное к сооруженню, напоминавшему катапульт. Человек подошел к ракете, встал рядом с ней, и снова потекло размеренное повествование.— Спектральный анализ обнаружил на Марсе присутствие двух новых, неизвестных на земле элементов, свойства которых, однако, были с гениальной точностью предсказаны Менделеевым в его Периодической системе. Физики и химики взволновались. Начались приготовления к экспедиции на Марс на поиски за таинственными элементами.

Посланные вперед в качестве разведчиков ракеты-автоматы без людей достигли далекой цели и благополучно опустились на поверхность Марса. Радиостанция приняла оттуда сигналы автоматических раций. Все было в порядке. Самозаписывающие приборы с обычной исполнительностью отрапортовали на землю о том, какая в месте посадки температура, давление воздуха и так далее.

Путь был расчищен и обследован. За авангардом

предполагалось теперь послать главные силы — межзвездный крейсер с людьми.

— Откуда вы говорите сейчас? — спросил Гонцов экран и услышал:

— Наша стартовая площадка устроена вблизи лучшей в мире обсерватории в Кордильерах. Старт назначен на послезавтра.

Горное ущелье и длинное тело ракеты начали меркнуть, точно в горах выпал снег и стал оседать на них. До Гонцова донеслось, затихая постепенно:

— И все это не может пойти в сравнение с работами Академии Радия, где заняты превращением элементов.

Способность удивляться за этот день значительно притупилась в Гонцове: он встретил, как должное, появление на экране седого и румяного профессора Новака, давешнего своего знакомого, с которым вместе рассаживал розы близ памятника.

— Мы усовершенствовали нейтронную бомбардировку,— сказал профессор Новак, обращая внимание Гонцова на отполированный до блеска шар на четырех эбонитовых колоннах.— Она, кажется, применялась еще в ваше время. Помните мечты средневековых алхимиков, искавших какой-то философский камень, который превращал бы в золото любое вещество? Химера, не правда ли? Но мы с помощью незаряженных частиц атомного ядра — нейтронов — научились не только превращать элементы, но воссоздавать новые, не встречающиеся в природе!

Самые драгоценные в мире вещества — радиоактивные. Если я не ошибаюсь, в ваше время грамм радия стоил полтора-два миллиона рублей. На всем земном шаре в немногочисленных тогда научных институтах могли бы наскрести не более килограмма радия. Ну, а мы теперь изготовляем эти радиоактивные вещества на химических заводах.

Все труднее было Гонцову улавливать смысл объяснений. Порой в сознании возникали провалы, точно профессор вставлял целые фразы на незнакомом языке.Все чаще приходилось перебрасывать через эти провалы мосты воображения.

Гонцов двигался по ним все выше и выше, и голоса ученых XXI века сопровождали его в этом головокружительном восхождении.

Профессор говорил:

— Мы используем космические лучи... энергетический буксир далеких звезд... работаем над тем, чтобы поставить энергию звездной пыли на службу человечеству...

Голос смолк. Снова аспидно-черный экран был перед Гонцовым, и блески, похожие на бенгальские огни, пробегали по экрану.

Федотов помог Гонцову сойти с трибуны.

— Вы устали,— говорил он.— Столько впечатлений за день! На обратном пути домой мы зайдем на полчаса во Дворец Покоя.

— Но где самолеты? — Гонцов обвел рукой пустое небо.— Я думал, что ослепну от мелькания самолетов в небе. Их нет. Где они?

— На очень большой высоте. Их не видно отсюда и в сильнейший бинокль. Теперешние воздушные трассы проложены в стратосфере, куда не достигает рябь ветров и где стратолеты развивают предельную скорость. Мы пользуемся этим совершенным способом передвижения при полетах на дальние расстояния. Обычно же, в обиходе, нас устраивают мотокрылья — легкие летательные машины.

Гонцов подивился умиротворяющему спокойствию, разлитому вместе с запахом цветов в воздухе. В который раз за прогулку отметил он отсутствие неприятных раздражающих шумов,— не слышно было лязга и скрипа трамваев, автомобильных сирен, свистков, грохота,— и он опять обратился за разъяснениями к Федотову.

— Как,— сказал тот,— разве это случилось не в ваши годы? Да, значит, вы уже не застали Комитетов Тишины...

Комитеты Тишины, обладавшие большими полномочиями, составлялись из инженеров и врачей и в конце XX столетия произвели тщательную сортировку всех городских шумов. А когда в городах воцарилась тишина, с предложением своих услуг выступили композиторы. На расчищенном от сорняков поле, в освобожденном от визга и треска эфире они обязались вырастить сад прекрасных мелодий.

— Прислушайтесь,— сказал собеседник Гонцова.

Слабое дуновение музыки как бы струилось сверху.

Они сидели некоторое время неподвижно. Похоже было, точно ветер стряхивает с ветвей стеклянные капельки росы и те падают вниз с тихим перезвоном.

Мелодический ветер то нарастал порывами, то зати-

хал, подчиняя нервы какому-то внутреннему ритму радости. Гонцову вспомнилось вдруг печальное изречение Паскаля: «Люди никогда не живут настоящим, а только прошедшим или будущим». Вздор! Ощущение реальности всего происходящего,— и доброе лицо его собеседника с широко расставленными выпуклыми глазами, раскаленный диск солнца, падающий за холмы,— было счастьем, огромным, почти нестерпимым, как нестерпимым бывает яркий свет.

Гонцов зажмурился, потом засмеялся.

— Мне вспомнились описания людей будущего,— сказал он.— Какие страшные, злые шаржи! Люди-головастики в двойных очках и со слуховым рожком, подслеповатые, лысые, сутулые, кривобокие, на хилых, трясущихся ножках! Или люди, выродившиеся в насекомых, разумные пауки с душой убийцы! Или же один только мозг, дымящийся, как фимиам, на гигантском треножнике-машине!

— Что ж удивительного в этом,— пожал плечами собеседник.— Образы капитализма стояли вокруг писателя, заслоняя от него будущее. Уродливые тени их падали через его плечо на бумагу. На самом деле, как видите, мы совсем другие.

Да, вокруг были очень красивые и очень здоровые люди.

Изменилось ли их телосложение? Шире стали как будто плечи и грудь. Люди XXI века дышат, подобно горцам, чистейшим воздухом, который часто озонируется искусственными грозами. Спорт, разнообразные игры, гимнастические танцы прочно вошли в быт.

Незаметно они дошли до Дворца Покоя. Перед входом Гонцов произнес:

— В свое время я высказал предположение о том, что нервную систему можно заряжать, как аккумуляторы, электричеством. Я колебался только в выборе лучистой энергии.

Вскоре Гонцов, совершенно голый, лежал на циновке.

— Расслабьте напряжение мышц и мозга,— напутствовал его Федотов.— Старайтесь не думать ни о чем.

Широко открытые глаза Гонцова были устремлены в потолок.

В прорези между шторами проходил неяркий свет. Он думал вначале, что это свет с улицы, но потом увидел, что цвета меняются, пульсируют. Зеленые, голубова-

тые, нежно-фиолетовые лучи тянулись к нему со всех сторон, как бы поднимая его на воздух. Ему показалось, что он парит на гребне радуги.

Прошло не очень много времени, и Гонцов почувствовал потребность встать, говорить, двигаться. Нервная система его была точно промыта в этой радужной световой ванне.

— Вы отдыхали пятнадцать минут,— встретил его Федотов в фойе.— Ну как? Не правда ли, прекрасно дополняет ваш Концентрат?

Времени было всего четыре часа ночи. Город продолжал бодрствовать, не затихая ни на минуту. Так же играла музыка, звенел смех, над головой слышался немолчный шелест крыльев легких изящных машин.

Федотов, однако, воспротивился дальнейшему продолжению прогулки.

— Домой, домой,— сказал он неумолимо.— Вы не знаете меры ни в чем, мой друг. Превосходно проведете остаток ночи за книгой, а утром,— я не неволю вас, гуляйте.

Он завалил книгами столик подле кровати Гонцова и распрощался.

Млечный Путь по-прежнему осенял Гонцова своими раскидистыми, припорошенными инеем ветвями. Облитые жемчужным светом, в молчании стыли за прозрачной стеной кипарисы.

Гонцову попалась «Новейшая история человечества», предпоследний том.

1914 год — на полях Марны и Восточной Пруссии закипел бой. 1917-й — знамя Октября взвилось над одной шестой земного шара. 1930, 1935, 1940... Гонцов погрузился в чтение.

Тихо тикали часы на этажерке. Звезды меняли положение. Стеклянная комната, в которой сидел безучастный к окружающему пришелец из XX века, казалось, совершала бесшумный полет во времени.

...Пришедший утром к Гонцову Федотов застал его в довольно растрепанных чувствах.

— Что с вами, милый? — испугался Федотов, пробуя его пульс.— Не захворали ли вы снова?

— Пустяки, не то,— ответил Гонцов.— Просто понял, как ужасно я отстал от вас, людей XXI века. Мои знания совершенно ничтожны. Я, наверное, не смог бы работать сейчас и лаборантом.

Он заходил в волнении по комнате.

— А быть в тягость я не хочу,— говорил он.— И праздношатающимся туристом, зевакой тоже не могу быть. Я хочу работать наравне со всеми. Творить. Созидать. Понятно вам?

И снова, как раньше, на плечо этого вечно мятущегося, беспокойного человека легла успокоительно-твердая, дружеская рука.

— Почему же вы так отчаиваетесь? — спросил внук Федотова.— Учитесь. Нагоняйте.

Он продолжал с привычной рассудительностью:

— Вы очень быстро нагоните пропущенное. Занимайтесь хоть круглые сутки. А мы все поможем вам.

В. А. Обручев

ПРОИСШЕСТВИЕ В НЕСКУЧНОМ САДУ

Экспедиция Академии наук благополучно вернулась с острова Врангеля и привезла в Москву в огромном ящике-холодильнике труп мамонта, добытый на берегу острова. Этот ящик доставили с вокзала в Палеонтологический музей Академии, что находится на Калужской улице, в Нескучном саду, рядом с участком, отведенным пионерам.

В самое помещение музея ящик нельзя было втащить — пришлось бы выломать целую стену. Поэтому решили производить вскрытие ящика и изучение мамонта в специальном легком бараке, заблаговременно выстроенном возле музея в тени деревьев. В этот барак, состоявший из фанерных стен, накрытых легкой фанерной крышей, вдвинули ящик, вскрыли его, счистили снег и лед, покрывавшие мамонта, и оставили на ночь, чтобы он начал оттаивать.

На следующее утро в барак должны были собраться все члены Академии наук, приезжие заграничные ученые и масса репортеров и фотографов. Надлежало отметить соответствующими речами благополучное завершение трудной экспедиции: ведь впервые мамонта доставили целиком и в мерзлом состоянии из далекой Сибири в

Москву. Затем предполагалось произвести осмотр, обмер и описание наружности мамонта, фотографирование его с разных сторон и, наконец, анатомирование.

Ночь выдалась необыкновенно теплая. Настало утро торжественного дня. Мамонт оттаял полностью. Его пригрело солнце, заглянувшее через огромную решетчатую дверь — настоящие ворота,— через которую вдвигали ящик, и...

Никто не видел, как это случилось, но, очевидно, в какой-то определенный миг мамонт глубоко вздохнул, расправил свои члены, которые 30 тысяч лет были скованы морозом, потянулся, с большим усилием встал на ноги, пошевелил ушами, взмахнул хоботом и окончательно пришел в себя.

Обстановка, в которой он очутился, показалась ему странной. Он заснул на просторе, на пустынном берегу океана, а теперь вокруг него высились какие-то желтые утесы. Ему стало душно. А зелень деревьев, видневшаяся между утесами через решетку ворот, напоминала мамонту, что он давно уже не ел и страшно проголодался.

Рано утром в пионерском саду, по соседству, собралась делегация, которая должна была принять участие в торжестве. Пионеры хотели поднести членам «мамонтовой экспедиции» букеты цветов и теперь срезали на своих грядках георгины, астры, флоксы, золотые шары и другие осенние цветы.

Вдруг раздался страшный треск. Внутри барака, где лежал мамонт, послышались тяжелые удары. Пионеры сначала застыли у грядок с цветами в руках, потом послышались крики негодования:

— Что такое?! Мамонта рубят уже на куски, втихомолку, не показав нам его целиком...

Но тут с грохотом, вздымая тучу пыли, рухнула стена барака, и из глубины его выдвинулась красно-бурая гора со страшными белыми бивнями и поднятым кверху хоботом.

Визг, крики ужаса... На мгновение все окаменели. А потом, когда гора двинулась в их сторону, ребята прыснули кто куда: одни стремглав помчались к выходу из сада, другие — за ближайшие кусты. Двое полезли на дерево, а человек пять, стоявшие возле открытой сцены маленького театра, вскочили на нее и спрятались за кулисы.

Мамонт медленно двинулся к грядкам пионерского сада. Никогда еще он не видел такой яркой, сочной зелени, не нюхал запаха цветов. И вот его хобот начал прогуливаться по грядкам, выхватывая целые снопы цветов, которые исчезали в его огромной пасти.

Опустошив все грядки, мамонт, обрывая по пути ветки с деревьев, неторопливыми шагами отправился в глубь Нескучного сада знакомиться со своим новым местом жительства.

Ребята, удравшие от зверя на улицу, увидели сидящего у решетки сторожа дядю Семена. Запыхавшись, они подбежали к нему и, перебивая друг друга, начали объяснять, что случилось.

— Дядя Семен! Дядя Семен! Мамонт ожил. Да! Он встал, гуляет по Нескучному. Наверно, затоптал уже кого-нибудь. Скорее! Надо что-нибудь делать... Ну этот вот самый, замерзший!

Сторож сначала ничего не понял. Но ребята окружили его, потащили в сад и привели к разломанному бараку. Тут к ним присоединились остальные, соскочившие со сцены и слезшие с деревьев, как только чудище удалилось. Сторожу показали опустошенные грядки и выдавленные в мягкой почве огромные следы.

Но он все еще не верил. Он знал, что мамонт пролежал 30 тысяч лет в вечномерзлой почве. Не могла же этакая мертвая древность ожить да еще начать разгуливать и есть цветы!

Окруженный взволнованными ребятами, дядя Семен направился к Нескучному дворцу. А там...

На большом цветнике у фонтана спокойно пасся огромный красно-коричневый волосатый слон. Он то срывал цветы с грядок, то быстро и очень аккуратно щипал хоботом нежную траву лужаек. Затем, подойдя к фонтану, он напился, набрал хоботом воды и начал поливать себе спину и бока, на которых еще висели комья прилипшей земли — земли острова Врангеля. Глубокие вздохи и фырканье показывали, что обливание доставляет ему большое удовольствие.

— Что же теперь делать, дядя Семен? А? — тараторили ребята.— Надо его поймать, загнать назад в барак. Надо усыпить его. Ведь он все потопчет! А выйдет на улицу и пойдет гулять по Москве — бед наделает!..

Убедившись, что мамонт действительно ожил, сторож, огибая цветник подальше от страшного зверя, побежал в

здание Академии. Он торопливо прошел к телефону и стал куда-то звонить. Ребята остались в вестибюле.

— Тут, знаете, такой случай...— кричал в трубку дядя Семен.— Мамонт, которого сегодня хотели чествовать у нас в Академии... Ну да, вот-вот... которого с острова Врангеля... Так выходит, что он не мертвый, а живой... Да, да... Полностью живой... Оттаял, что ли, и ожил. Разломал барак, вышел, потоптал и объел все клумбы... Да, пасется теперь на лугу у фонтана. Перед Академией... Па-сет-ся, говорю, как корова в поле... Нет, пока никого не тронул... огромный зверь... да, да...

Наконец, озабоченный, он вышел в вестибюль.

— Ну, ребята, будем держать мамонта под наблюдением. Будем следить за ним издали. Только близко не соваться.

В начале десятого часа, раньше чем вести о событии разнеслись по Москве, директор Палеонтологического музея и все члены «мамонтовой экспедиции» собрались в Палеонтологическом институте, чтобы установить объем и порядок докладов на разных языках, которые предполагалось сделать в институте в 10 часов для иностранных ученых. Затем к 11 часам все должны были перейти в барак для торжественного открытия драгоценного экспоната.

Собрание едва началось, как зазвонил телефон. Директор снял трубку.

— Что? Что такое? Что вы говорите?.. Какой мамонт?.. Но это невозможно!.. Не ошибаетесь?.. Чудеса... Какие меры принимать?.. Конечно, живого... ни в коем случае не поранить... Величайшая редкость... Надо сейчас же спросить директора Зоопарка, он знает, как усмиряют разбушевавшихся слонов... Да, да... благодарю вас за сообщение...

Директор положил трубку.

— Товарищи! — сказал он, держась за сердце.— Я просто сам себе не верю... Но вот совершенно точное сообщение: наш вечномерзлый мамонт... Он оттаял, ожил, разломал барак и гуляет по Нескучному саду. Предлагаю обсудить, какие изменения это непредвиденное событие заставляет внести в программу нашего торжества.

Все повскакали с мест. Почти все присутствующие были готовы немедленно бежать в Нескучный сад. Директор призвал к порядку. После горячих споров решили: заседание с иностранными учеными открыть и, словно ни-

чего не случилось, провести по плану, а в заключение объявить: «Теперь же просим уважаемых гостей перейти через улицу в Нескучный сад, где этот самый мамонт гуляет на свободе».

Двух сотрудников немедленно отрядили в Нескучный сад для наблюдения за мамонтом.

В это время мамонт, хорошо наевшийся и пригретый утренним солнцем, собрался отдохнуть. На окраине большой поляны, близ танцевальной площадки и эстрады, он стал в тени вековых лип и дубов и задремал, опустив голову. Новизна и разнообразие впечатлений утомили его: огромные деревья, зеленые лужайки, пестрые цветы, каменные громады зданий и деревянные изгороди,— все это он видел впервые. Из всего этого слагался пейзаж, резко отличавшийся от того, что он знал дома, на острове Врангеля, на котором он прожил свою долгую жизнь.

Черные острые скалы окаймляли там прибрежную равнину, поросшую скудной травой и низкими зарослями полярной ольхи и березы. Неумолчный шум прибоя убаюкивал после однообразной и грубой еды, а свежий морской ветерок отгонял комаров, оводов и слепней. В осенние и зимние пурги мамонт уходил с прибрежья в глубь гор по извилистым ущельям и часами стоял и дремал там под защитой черных сланцевых обрывов. И теперь в Нескучном саду он дремал и грезил о природе далекого родного острова.

Но ему не дали отдохнуть. Сторож и дети скоро разыскали его и начали подкрадываться с разных сторон — одни вдоль изгороди танцевального помоста, другие из-за деревьев парка. Наконец, остановились шагах в 10—20 от дремавшего животного. Ребята переговаривались шепотом, передавая друг другу свои впечатления.

— Шерсть-то, шерсть. Рыжая, длинная, но не густая. Висит космами, как на искусственной пальме.

— А уши-то какие огромные. Лоп-лоп... Так и ходят. Все время движутся.

— Это он прислушивается, что мы говорим.

— Глазки маленькие, меньше, чем у слонов...

— А ножищи! Настоящие столбы! Наступит — в лепешку раздавит!

— Похож на слона и не похож. Шерсть, горб на спине, бивни иначе загнуты и куда длиннее...

Но тут с другой стороны поляны послышались громкие голоса.

— Нашли, нашли! Мамонт здесь. Вот он!

Вся Москва уже знала о происшествии.

На поляну высыпала толпа задыхающихся людей с фотоаппаратами, блокнотами, биноклями. Они вперегонки направились к мамонту. Сторож бросился им навстречу.

— Куда, куда? Остановитесь, граждане! Близко нельзя, он сердитый. Убьет! — кричал дядя Семен.

Но его уже обегали и справа и слева. Фотографы спешно вытаскивали камеры, расставляли треножники, мешая друг другу; несколько человек с киноаппаратами все забегали вперед, претендуя на лучшие места. Возгласы, перебранка...

Репортеры с блокнотами окружали сторожа и требовали «сведений». Подбежавшие ребята, перебивая друг друга, захлебываясь, тараторили:

— Я первый увидел, как он...

— Врешь! Ты цветы рвал, когда он разломал барак. Он вон откуда вышел к нам.

— Он сразу объел все клумбы. Георгины, золотые шары, все... Целыми снопами в пасть пихал.

— Весь наш цветник опустошил, обжора.

— А из фонтана воду пил и обливался.

Постепенно толпа расположилась большим полукругом, в центре которого тихо стоял мамонт. Защелкали затворы... Со стороны деревьев любопытные уже подошли к мамонту совсем близко. Говор, возгласы, крики усиливались с каждой минутой. Мамонт с изумлением разглядывал окружившую его кольцом толпу странных двуногих, беспокойных и крикливых. Она начала раздражать его, привыкшего к простору и тишине пустынного острова. Его уши захлопали, он стал быстро размахивать хвостом. Грузно поворачиваясь на месте, мамонт убедился, что пестрая толпа окружает его со всех сторон. Тогда он поднял хобот, затрубил и двинулся в сторону поляны. Раздались крики ужаса, визг, началась паника. Полукруг на поляне сразу пришел в движение, все бежали, спотыкались, напирали друг на друга, падали. Несколько фотоаппаратов, черных покрывал, треног, блокнотов, шапок осталось на траве. Мамонт топтал все, что попадалось под ноги, или подхватывал хоботом и швырял вперед в сторону убегавших. Поляна быстро опустела. Только сторож не принял участия в общем бегстве, а остался на посту. По счастию, чудовище двинулось не в его сторону,

Добежав до края поляны, мамонт остановился, поднял хобот и трубными звуками возвестил о победе над врагами. Но вот послышались гудки, и на поляну с одной стороны выехала пожарная команда, а с другой на рысях вылетел отряд конной милиции.

Красные машины пожарных показались мамонту страшными чудовищами, издававшими оглушительные звуки. Он грузно повернул в другую сторону, с которой надвигалась конница. Лошади резко остановились, начали пятиться, бросаться в стороны или взвивались на дыбы при виде рыжей громады, размахивавшей хоботом над огромными белыми бивнями. Весь отряд сбился в кучу, несмотря на усилия всадников, а мамонт, повернув вправо, перебежал поляну и скрылся в глубине парка.

Конные милиционеры, ребята, репортеры, фотографы и любопытные, число которых все увеличивалось, двинулись вслед за ним.

Мамонт отбежал далеко и спустился по косогору к Москве-реке выше пароходной пристани. Здесь было еще тихо и безлюдно. Увидев воду, он забрел в реку, напился и затем начал принимать душ, поливая себя из хобота, которым набирал воду. Благодаря этому остатки глины и песка, приставшие к его шерсти и слепившие ее в безобразные космы, отмылись окончательно, и мамонт вылез из реки чистеньким; он стал в тени деревьев на береговой аллее и снова задремал.

Но поспать ему опять удалось недолго. Его разбудил свисток парохода, подходившего к пристани, а еще больше встревожили фигуры людей, уже спускавшихся к реке. Мамонт сердито пошел дальше по берегу, затем свернул в большой овраг, поднялся по нему и попал в самую глухую часть парка, в заросли молодого леса. Там он объел несколько молодых кленов и лип и еще раз задремал.

Но и здесь мамонту не дали отдохнуть. Топот ног, хруст валежника, голоса сотен людей, перекликавшихся друг с другом, снова встревожили его. А когда между деревьями совсем близко замелькали черные, белые и пестрые фигурки, он заревел, вырвал с корнем молодое дерево и, размахивая им, бросился в атаку на толпу.

Опять паника, бегство. Один из фотографов остался на поле сражения, он споткнулся, упал, и мамонт на бегу растоптал его ногу. Прорвавшись на большую аллею, мамонт наткнулся на конную милицию, опять навел панику

на лошадей и, очистив себе дорогу, помчался дальше по аллее. Тут он увидел впереди машины пожарных, дождавшиеся на поляне, где было первое столкновение, свернул в сторону, попал в часть парка с молодым лесом вблизи Калужской улицы и скрылся в чаще, надеясь найти, наконец, спокойное место.

А в Палеонтологическом институте в назначенное время состоялся доклад участников «мамонтовой экспедиции» перед собранием советских и иностранных ученых, часть которых уже по телефону слышала, что мамонт ожил, но, конечно, не верила столь странному слуху. Поэтому, когда директор музея в заключительном слове предложил собранию перейти через улицу в Нескучный сад и посмотреть гуляющего на свободе мамонта, эффект получился необычайный.

Весь синклит убеленных сединами ученых поспешно оделся и перешел через Калужскую улицу к ближайшему входу в Нескучный. Ученые в сопровождении сторожа прошли к мамонту, который в это время, несколько отдохнув от своих злоключений, спокойно пасся, безжалостно уничтожая цветы на клумбах вдоль аллеи. Не пытаясь подойти слишком близко, чтобы опять не растревожить зверя, ученые насладились его видом и сделали большое количество фотографий с разных сторон.

Потом они осмотрели ящик, в котором мамонт пропутешествовал с острова Врангеля в Москву, и барак, который он разломал. Это было необходимо, чтобы убедить некоторых скептиков: кое-кто из них предположил, что в Нескучном им показали «искусственного» мамонта, т. е. автомат, придуманный и построенный каким-то хитроумным выдумщиком.

Три дня продолжалось осадное положение Нескучного сада и паломничество москвичей к чудовищу. В это время Зоопарк готовил для него помещение по соседству со слонами и особую клетку, при помощи которой хотели препроводить животное в Зоопарк. Мамонт за эти дни несколько привык к виду двуногих существ, гулял спокойно по всему саду, кормился, спал и чувствовал себя прекрасно.

Но на четвертый день случилось серьезное происшествие. Мамонту, вероятно, надоело гулять под деревьями Нескучного; рано утром с берега Москвы-реки он за-

метил на противоположном берегу ярко-зеленые огороды, уже освещенные солнцем. Его потянуло на простор, он перебрел через реку, выбрался на огороды и с аппетитом начал отрывать и жевать кочаны свежей капусты.

Весть о бегстве мамонта быстро распространилась, из Новодевичьего и Хамовников сотни любопытных повалили на огороды. Опять появились фотографы, репортеры, а затем началась облава. Милиция, зная по опыту, что на мамонта всего неотразимее действуют пожарные машины, вызвала несколько пожарных частей, которые оцепили огород полукругом, и, постепенно сближаясь, оттесняли мамонта к берегу реки. Мамонт, встревоженный приближением звонивших и гудевших чудовищ, сначала бегал взад и вперед по грядам в поисках выхода, передавив при этом бесчисленное множество кочанов капусты, и, наконец, бросился в реку и вернулся снова в Нескучный сад.

В сад в эту ночь уже доставили клетку, придуманную для поимки мамонта. Клетка представляла коробку из толстых железных прутьев, без дна и без крыши, но на колесах. Вся клетка была увита зеленью кустов и трав и в раскрытом виде представляла зеленую стену, высотой выше роста мамонта. Ее поставили на окраине самой большой поляны, на которой мамонт чаще всего пасся и которую он уже сильно потоптал и потравил.

Мамонт, вернувшийся в Нескучный после своей тревожной экскурсии на огороды за Москвой-рекой, около полудня вышел на большую поляну, увидел зеленую стену, обещавшую сочный и обильный корм, подошел к ней и стал кормиться, срывая хоботом пучки трав и веток, привязанных к прутьям. Увлеченный этим занятием, он не заметил, как оба конца зеленой стены стали медленно, очень медленно изгибаться и наконец соединились позади него, окружив животное довольно тесным овалом. Этот овал, влекомый несколькими грузовиками, начал полегоньку двигаться и, нажимая сзади на мамонта, заставил двигаться и его. Так внутри этой зеленой стены, скрытый от взоров любопытных и огражденный от всех возбуждающих впечатлений улиц и площадей, мамонт в течение нескольких часов, с остановками для отдыха, тихим шагом был препровожден через всю Москву и водворен в Зоопарк. Отряд конной милиции ехал вокруг зеленой клетки, ограждая ее от чрезмерного любопытства граждан, а позади двигалась пожарная

машина на случай буйства мамонта и его попыток разломать клетку. Но все обошлось благополучно, и мамонт очутился в Зоопарке, где молодые читатели могли бы его видеть ежедневно, если бы все описанное нами действительно произошло в Москве в начале осени 1938 года.

Возможно ли вообще такое происшествие?

Многие животные, например, личинки насекомых, жуки, лягушки, некоторые рыбы, переживают в мерзлом состоянии зимние месяцы и весной оживают. В последнее время советским ученым удалось оживить водоросли, бактерии, мелких ракообразных, которые были найдены в Сибири, в вечномерзлых слоях торфа, где они пролежали несколько тысяч лет. Это оживление организмов, живших так давно, но в мерзлом состоянии сохранивших свою жизнеспособность до нашего времени, навело автора на мысль описать оживление мамонта, которого экспедиция Академии наук должна была привезти в 1938 г. с острова Врангеля. К сожалению, экспедиция обнаружила, что на острове под слоем прибрежного галечника лежал не мамонт, как сообщали зимовщики, а современный кит.

Иван Ефремов

АТОЛЛ ФАКАОФО

Небольшой светлый зал был переполнен. Среди разнообразия штатских костюмов выделялись синие кители моряков. Неторопливо осмотрев зал, капитан-лейтенант Ганешин заметил чьи-то энергичные жесты из дальнего ряда — знакомые приглашали на свободное место. Ганешин стал пробираться к ним между рядами стульев.

— Даже вы прибыли! — сказал капитан второго ранга Исаченко, пожимая ему руку.— Весь флот, что ли, собирается?

— А что? — удивился Ганешин.

— Ткачев выступает с докладом.

— Это какой Ткачев? Тот, что по непотопляемости?

— Наоборот, по потопляемости,— сострил Исачен-

ко.— Командир сторожевого корабля Северного флота.

— Вот как,— равнодушно отозвался Ганешин.— А что за доклад?

— Так он ни шута не знает! — воскликнул Исаченко.

Окружавшие собеседников моряки рассмеялись.

— Ну-ну, просветите,— добродушно улыбнулся Ганешин.

— Сегодня ведь заключительное заседание сессии Академии наук, посвященной морским делам. Ну, а Ткачев выловил необыкновенного гада; командующий приказал ему обязательно довести об этом до сведения ученых. Ткачев — командир смелый, но насчет докладов не любитель... Впрочем, начинается,— оборвал разговор Исаченко,— следственно, сами узнаете.

Раздался звонок председательствующего. На кафедру решительно поднялся среднего роста светловолосый офицер с острым лицом. Орден Нахимова украшал его тщательно отглаженный китель. Моряк обвел глазами притихший зал и заговорил, в волнении часто и осторожно притрагиваясь к верхнему крючку воротника. Но вскоре докладчик овладел собой.

Ганешин не раз плавал в тех местах и поэтому слушал Ткачева с особенным интересом. Едва только Ткачев произнес: «Мой корабль пять суток патрулировал далеко в открытом море, около тридцать второго меридиана, по-нашему — в четвертом районе», как перед внутренним взором Ганешина встало хмурое, свинцовое море...

Водный простор не чувствовался в холодном, мутном от влажности воздухе. Горизонт был близок и потому таил в себе опасные неожиданности... Появление германской подводной лодки, шедшей полным ходом в надводном положении, было совершенно внезапным. Очевидно, немцы не предполагали встретить советский сторожевой корабль так далеко от берегов, и пока лодка погружалась, Ткачеву удалось сблизиться с неприятелем.

Над морем пронеслись подобные ударам в гигантский бубен выстрелы, и немного впереди того места, где только что скрылась рубка подводной лодки, встали столбы воды с проблесками красных молний и облачками черного дыма. Это рвались глубинные бомбы, поставленные на небольшое углубление. Опытный истребитель лодок, Ткачев мгновенно определил вероятный сек-

тор нахождения врага и начал забрасывать его бомбами.

Тем временем корабль достиг места, где скрылась подводная лодка. Ткачев приказал прекратить сбрасывание бомб и застопорил машину. Лейтенант Малютин подал Ткачеву наушники гидрофонов, одной рукой продолжая поворачивать рычажок усилителя. Неопределенный шум моря, отдававшийся в гидрофонах, не выдавал присутствия подводного врага. Ткачев понял, что подводная лодка услышала прекращение работы винтов над собой и тоже застопорила моторы.

Кивнув лейтенанту, Ткачев рванул ручку машинного телеграфа, машина заработала полным ходом, винты зашумели в гидрофонах, как водопады. Снова раздался звонок телеграфа. Машина мгновенно остановилась, и в отзвуках движения корабля Ткачев уловил ускользающий, казалось, очень далекий шум подводной лодки.

— Лево на борт!

По-прежнему из глубины неслись равномерные глухие шумы. Ткачев представил себе подводную лодку там, внизу, украдкой пытающуюся ускользнуть, виляя на ходу и стопоря свои электромоторы. Через несколько секунд подводная лодка опять остановила моторы. Шум винтов смолк. Но Ткачев уже знал пеленг, примерную глубину и направление бегства противника. Быстрые руки минеров установили гидростатические взрыватели иа глубину девяносто метров: взрыв тяжелых глубинных бомб эффективнее по направлению вверх, чем в глубину. Ткачев поставил ручку телеграфа на «полный вперед», судно рваиулось с места, мощные машины взбили за кормой огромный пенистый вал. Когда скорость корабля достигла пятнадцати узлов, Ткачев стал поочередно нажимать спусковые рычаги правого и левого лотков. Каждая глубииная бомба, похожая на бензиновую бочку, мягко шлепалась своей многопудовой тяжестью в пенящуюся за кормой воду, и на ее место важно и медленно подкатывалась другая. А сверху по лотку непрерывной цепью катились все новые черные гладкие бочки, такие безобидные с виду.

Сторожевой корабль прошелся по широкой дуге, оставляя за кормой зеленые водяные столбы, уже без огненных проблесков и более низкие. Ткачев следил за распределением взрывов, не переставая рассчитывать размеры завесы и площадь иакрытия. «Еще одну, послед-

нюю, для верности,— подумал Ткачев, нажимая правый рычаг бомбосбрасывателя.— Все равно никуда не денется. На дно ей не лечь, глубина здесь почти в километр. Попалась!»

Лейтенант, следивший по секундомеру, удивленно пожал плечами. Уже прошло необходимое для погружения бомбы время, а разрыва не было. Ткачев приказал повернуть корабль обратно, чтобы прослушать лодку в покрытой бомбами зоне.

— Гавриленко! — окликнул лейтенант минного старшину.— Вы как поставили взрыватель у последней?

— Точно как у всех: девяносто метров, товарищ лейтенант!

— Должно быть, взрыватель отказал. Странно, это у меня первый случай...— произнес удивленно Ткачев.

В этот момент в полукабельтове справа по носу встал низкий водяной бугор. Едва слышный удар донесся из глубины, сейчас же заглушенный громким всплеском накатившейся на нос волны. Корабль качнуло. Ткачев ухватился за поручень, отрывисто бросив:

— Время, лейтенант?

— Две минуты сорок пять секунд,— ответил Малютин.

— Ого! Значит, утонула чуть не на полкилометра, оттого и взрыв такой слабый. Ясно, во взрывателе дефект... Ага, попались! — вдруг вскричал Ткачев, впиваясь глазами туда, где по скатам невысоких волн расплывалось огромное масляное пятно.

Машина затихла, и снова чуткие подводные уши гидрофонов насторожились, следя за борьбой уже подбитой вражеской лодки. Послышался шум винтов, уже не ровный, а прерывистый, смолк, опять возник. «Ну и нырнули! Наверно, заклепки текут»,— подумал Ткачев и послал по новому пеленгу еще две бомбы, продолжая следить в бинокль за вспененной поверхностью воды.

— Слева за кормой предмет! — раздался позади голос краснофлотца.

Изумленный несоответствием только что взятого пеленга и местом всплытия, Ткачев резко повернулся, направил бинокль на смутное красное пятно близ места падения последней бомбы и чуть не отшатнулся от неожиданности. Хрустальный круг бинокля в опаловой дымке приблизил к его глазам очертания гигантского красно-бурого тела среди равномерного колыхания волн.

Это было какое-то животное невиданных размеров и цвета. Ткачеву показалось, что у него широкое тело, огромные плавники и могучая круглая шея; голову и хвост скрывали волны. Всего удивительнее была гладкая кожа, местами изборожденная морщинами и складками густо-красного цвета, переходившего в темно-бурый.

— Справа по носу пузыри!

Голос сигнальщика вернул командира к действительности, и Ткачев снова сосредоточился на борьбе с подводным врагом. Тысячи воздушных пузырьков усеяли поверхность волн. Минуту спустя корабль стоял уже над местом выхода воздуха, вслушиваясь в глубину.

Вдруг вода заклокотала от большого количества воздуха, сразу пришедшего снизу. Одновременно в гидрофонах возник короткий, тупой и невнятный гул. Люди молча смотрели. Корабль уже потерял ход и становился лагом к волне. Прошло несколько минут. Последние пузырьки воздуха исчезли. Ни одного звука не доносилось из глубины в гидрофон. Только масляное пятно расплывалось все шире, выравнивая заостренные гребни валов.

Где-то далеко внизу, под поверхностью моря, разбитая лодка, не смогшая всплыть, проваливалась все глубже в пучину, и беспощадное давление воды выжимало из нее воздух и масло. Ткачев дал ход кораблю и подошел к снимавшему наушники Малютину.

— Запишем еще одну, лейтенант, но чтобы окончательно убедиться, подождем немного, послушаем... Да, а как же чудовище? — вспомнил он.— Скорее к нему!

На месте всплытия неведомого животного моряков ожидало разочарование: никакого следа красного чудовища не было уже видно. Холодные волны были пустынны, насколько хватал глаз.

Ткачев досадливо потер заслезившиеся от напряжения глаза: «Неужели почудилось? Ну нет...»

— Товарищи, кто еще видел этого... как его... ну, всплывшего зверя? — обратился он к команде корабля.

Откликнулись сразу несколько краснофлотцев и старшина Гавриленко, который клялся, что это не что иное, как морской змей, оглушенный нашей бомбой.

— Нет, не змей,— перебил сигнальщик Епифанов,— я видел: туловище у него толстое, широкое и ласты есть — какой же змей?

— Ну все равно не рыба и не зверь морской, а гад подводный,— стоял на своем Гавриленко.

Гавриленко предупредил собственную догадку Ткачева, что животное было оглушено или убито бомбой и всплыло на поверхность. «Эх, досадно, что потонул! Поймать бы такое чудо,— подумал Ткачев.— А теперь кто поверит?..»

Словно угадывая невысказанный вопрос командира, лейтенант Малютин отозвался:

— Этот гад из глубины — глубоководное животное, и хлопнула его наша последняя бомба, та, что с испорченным взрывателем. Она ушла на глубину метров в пятьсот, да и всплыл-то зверь около этого места. Может быть, он потонул, а может, и очнулся... Впрочем, я все-таки успел... И Малютин вытащил из кармаиа «лейку».— За качество не ручаюсь, а пять раз щелкнул: уж очеиь занятиая зверюга! Удачио, что телеобъектив был ввинчен.

Ткачев восхитился иаходчивостью лейтенанта, не подозревая, что из-за этих снимков ему придется выступать с докладом в Москве...

Снимки лейтенанта Малютина были проявлены со всей возможной тщательностью, ио все же они не получились достаточно отчетливыми: серый день, малая выдержка и красный цвет гада были неблагоприятными совпадениями. Ткачев был вызван к командующему, изложил все обстоятельства дела, показал снимки и получил распоряжение ехать в Москву, иа морскую сессию Академии наук.

— Это неважно,— возразил командующий на уверения Ткачева, что никто не поверит.— Мы должны изучать море, мы обязаны оповестить ученых о таком необыкновенном происшествии. Если же ученые не поверят тому, что целая группа моряков видела, нечего тогда иа их авторитет полагаться...

Этими шутливыми словами адмирала, под одобрительный гул зала, закончил офицер свой короткий доклад и приступил к демонстрации снимков. Свет потух, и на высоком экране появилось неясное изображение.

Медленно прошли один за другим все пять снимков, но Ганешин так и не смог представить себе зверя: впечатление было ускользающим, неопределенным. Вспыхнул свет. Десятки людей, старавшихся определить животное в зыбких очертаниях снимков, шепотом делились

впечатлениями. Исчезло живое, общее всем людям очарование неизвестного, но осталось что-то. Это что-то, как определил Ганешин, было сознание реальности происшедшего — схваченной, но ускользнувшей тайны моря. Ганешин с удовольствием отметил, как молодо заблестели глаза у сидевших в его ряду почтенных ученых и суровых командиров. Словно в зале пронеслась мечта, приподнявшая и соединившая самых различных людей.

В президиуме собрания произошло движение. На кафедру поднялся огромного роста старик с широкой седой бородой. Зал стих: многие узнали знаменитого океанографа, прославившего русскую науку о море.

Ученый нагнул голову, показал два глубоких зализа над массивным лбом, обрамленным серебром густых волос, и исподлобья оглядел зал. Затем положил здоровенный кулак на край кафедры, и мощный бас раскатился, достигнув самых отдаленных уголков зала.

— Вот он, наш Георгий Максимович! — шепнул Ганешину Исаченко.— С таким голосом линкором в шторм командовать, а не лекции читать.

— Так ведь он и командовал,— бросил Ганешин.

— Товарищи,— говорил тем временем океанограф,— я очень рад, что мне удалось услышать изумительное сообщение капитана Ткачева. Как нельзя более кстати его доклад пришелся на заключительное заседание нашей сессии. Мы слишком привыкли к существованию неразгаданных тайн моря, многие вопросы океанографии считаются пока неразрешимыми. Но, я думаю, всем присутствующим знакомо сообщение отважного американца, профессора Биба, спускавшегося в стальном шаре — батисфере — на глубину километра. Биб наблюдал огромных животных, проплывавших в невообразимой тьме перед окнами его батисферы, слишком больших для ничтожного освещения, которое давал его прожектор, и для маленького поля зрения кварцевых иллюминаторов. Известно ли вам, что незадолго до войны у восточных берегов Африки была выловлена огромная рыба — латимерия — из породы, давно исчезнувшей с лица земли и считавшейся вымершей уже в древнюю геологическую эпоху, чуть ли не сто миллионов лет тому назад? И вот теперь неведомый гад, обнаруженный в Баренцевом море капитаном Ткачевым, дает нам еще

одно подтверждение таинственной жизни морских глубин. Это еще тень, только мелькнувшая перед нами, но тень реального, действительно существующего.

Несмотря на войну, флот и наши ученые продолжают расширять знания о море. Но победа уже близка, товарищи, и я надеюсь вскоре увидеть вас на послевоенной морской сессии, когда наши возможности неизмеримо возрастут.

Я обращаюсь к вам, товарищи моряки, от имени науки. Нашему флоту предстоит большое будущее. Вы, вооруженные техническими познаниями и огромной производственной мощью нашей страны, после войны, в спокойных условиях работы, можете оказать огромную по своему значению помощь науке...— Ученый остановился, шумно вздохнул и загремел сильнее прежнего: — Многие думают, что мы знаем море. О да, конечно, мы хорошо изучили его поверхность. Всем нам известно, например, что в Индийском океане встречаются наиболее крутые волны. Южный Ледовитый океан отличается гигантскими волнами с необычайно длинными фронтами, а Атлантический дает самую высокую волну. Мне незачем перечислять вам успехи океанографии — вы знаете их не хуже меня. Но как только от поверхности океана мы обращаемся к его глубинам, сразу же чувствуется наша слабость.

Конечно, мы знаем общее распределение осадков на дне океана. Изобретение эхолота резко двинуло вперед изучение рельефа морского дна, и недалеко то время, когда мы будем знать этот рельеф не хуже рельефа суши. Но все дело в том, что самое дно океана, строение и состав его коренных пород нам совершенно неизвестны. Я не преувеличу, если скажу, что поверхность Луны мы изучили гораздо лучше. Представьте себе океан в виде каменной чаши, налитой водой. Так вот, самую чашу мы совершенно не знаем и не в силах пока осуществить ее изучение.

Моря и океаны занимают семьдесят один процент поверхности нашей планеты. Поэтому геология в своем изучении земной коры вынуждена пока ограничиться только двадцатью девятью процентами этой поверхности. Неудивительно, что первейшие, основные вопросы геологии, познание которых дает нам подлинную власть над богатствами земных недр, не могут быть решены без исследования геологии морского дна. Нам нужны глаза

и руки в самых страшных глубинах морей. Вы, молодые командиры и инженеры, подумайте над этим!

Я позволю себе задержать еще на пять минут ваше внимание. В центре Тихого океана, к северу от островов Самоа, есть группа коралловых островов Токелау, часть которых представлена низкими атоллами — кольцеобразными коралловыми островами, часто с лагуной в центре. Среди вас много молодежи, и я не думаю, чтобы ей приходилось видеть настоящие атоллы. А низкий атолл, то есть остров, очень мало выступающий над поверхностью моря,— это незабываемое зрелище. Как метко выразился один из старых капитанов, низкий атолл — это кольцо беспрерывного грохота, тумана и пены от волн, неистово бьющихся вокруг. Белое кольцо пены, накрытое радужной блистающей шапкой преломленных в водяной пыли солнечных лучей, удивительно красиво издали на сияющей голубой глади моря. Но поблизости такой атолл выглядит сурово, а в часы прилива, пожалуй, и страшно. Ровные волны, колеблющие вокруг поверхность океана, у самого атолла вдруг вырастают, с гулом мчатся и с потрясающим грохотом обрушиваются на атолл. Если же вам придется побывать на низких атоллах в ураган, запаситесь мужеством. Густые облака погасят солнечный свет, и море сразу станет темным и грозным, изборожденным, словно гневными морщинами, черными провалами огромных валов. Волны, поднимаясь все выше, ринутся на атолл, затопляя и сокрушая все на своем пути. Лишь один-два небольших участка кораллового кольца останутся незатопленными, и на них, полузадушенный ветром, оглушенный грохотом, ослепленный брызгами, человек будет искать спасения. Ужас наполняет и неробкие души при виде острова, словно тонущего в страшном одиночестве посреди беснующегося вокруг океана.

Так вот, среди низких атоллов Токелау есть атолл Факаофо — небольшой остров, около трехсот метров в диаметре; однако населения на нем шестьсот человек. В прилив от Факаото над поверхностью моря виден только плотный серо-зеленый купол густой рощи кокосовых пальм. Атолл Факаофо лежит в девяти градусах к югу от экватора, на пути постоянных ураганов. В то время как ураганы затопляют соседние островки, обитатели Факаофо чувствуют себя в безопасности. Бронзовокожие прирожденные моряки-полинезийцы обнесли

остров стеной из крупных кусков кораллового рифа и сделали насыпь в середине, подняв поверхность своего острова почти на пять метров над уровнем прилива. Таким образом, туземцы, лишенные всяких механизмов, создали себе безопасный приют. Какое бесстрашие и глубокое вековое знание океана нужно было иметь, чтобы противопоставить грозной мощи стихии слабые силы простых человеческих рук!

Атолл Факаофо всегда служит для меня примером могущества человека и его власти над морем. И я рассказал об этом атолле, чтобы показать, чего можно добиться самыми простыми средствами. Неужели же мы, вооруженные всей мощью современной науки и техники, не добьемся окончательной победы над океаном — власти над его глубинами!

Вот все, что я хотел вам сказать. Позвольте мне остаться с надеждой, что некоторые из вас унесут хотя бы мечту о покорении глубин океана. А мечта умного и сильного человека — это ведь уже очень много...

* * *

Мелкий дождь, разгоняемый ветром, порывами налетел на корабль. Горизонт быстро приближался. Свет мерк, словно в воздух сразу вытряхнули огромное количество пепла. Наступала ночь.

Корабль плавно покачивался, равномерно вздрагивая от работы машины. Один из вахтенных задраивал иллюминаторы штурманской рубки. Ярко вспыхнул топовый огонь. Ганешин медленно расхаживал по мостику. Головная боль стихала, как бы растворяясь в сыром и холодном океанском ветре. Эти боли, последствия ранения в Великую Отечественную войну, повторялись еще и теперь, спустя несколько лет. Ганешин прислонился к поручням, вглядываясь в тьму. В неясном смешении мрака и судовых огней выступали белые надстройки корабля.

Стукнула дверь. Настил мостика рассекла широкая полоса света и исчезла. Вышедший из рубки, очевидно, приглядывался к темноте. Он нашел Ганешина и обратился к нему:

— Товарищ капитан первого ранга, опять острая зазубрина. Хотите посмотреть...

— Слушайте, капитан второго ранга, то есть Федор

Григорьевич,— перебил Ганешин,— хватит тебе меня величать, говорил уже не раз!..

— Верно, Леонид Степанович, верно! — рассмеялся Щитов, командир гидрографического судна.— Все еще живы привычки военного времени...

Офицеры вошли в ярко освещенную рубку, блестевшую полированным деревом, приборами, зеркальными стеклами окон. Переход от холодной темноты и безграничности моря к теплому уюту помещения был приятен. Ощущение усиливалось тихими звуками скрипичной мелодии, доносившейся из репродуктора в углу рубки. Мичман, стоявший перед большим циферблатом эхолота, оглянулся на входивших и при виде Ганешина вытянулся. Ганешин опять усмехнулся: он никак не мог привыкнуть к почтительному вниманию к себе товарищей по работе. Теперь, в мирной обстановке, это казалось ему излишним.

— Продолжайте ваше дело, мичман! — Ганешин сбросил дождевик, зюйдвестку и вынул трубку.

Мичман смутился, тихо ответил:

— Я... я, собственно... просто любовался на него...

— Ага, так вам нравится наш новый эхолот,— одобрительно посмотрел на юношу Ганешин.— А чем, по-вашему, он лучше хьюзовского, последней модели?

— Да как же можно сравнивать! — воскликнул мичман.— Во-первых, диапазон глубин — наш берет любую без всяких угловых смещений; огромная чувствительность; очень точная автоматическая выборка поправок, а главное, главное... сухая запись эхографа и тут же на ленте курсовые отметки...

— Очень хорошо! Я вижу, что вы уже вполне ознакомились с нашим прибором.

— Товарищ Соколов — энтузиаст глубоководных измерений,— вмешался Щитов.— Однако зубчик нужно посмотреть, а то лента уйдет.

Ганешин вынул трубку изо рта и шагнул к большому диску, где в центре горел оранжевый глазок и дрожала тонкая стрелка, окруженная тройным кольцом делений и цифр. Это был указатель глубин эхолота, а под ним, в черной прямоугольной рамке, за блестящим стеклом, медленно, почти незаметно ползла голубоватая лента эхографа — прибора, вычерчивающего непрерывный профиль дна на пути следования корабля.

Звуковые колебания высокой частоты, излучаемые из днища судна, летели вниз, в недоступные глубины океана, и, возвращаясь через сложную систему усилителей, заставляли стрелку колебаться, вычерчивая профильную линию. Мичман поспешил указать соответствующее место ленты. Здесь, между толстой чертой дна судна и косыми жирными отметками пройденного расстояния и изменений курса, шла плавная линия пологого дна, вдруг прерывавшаяся резким изломом: заостренная подводная вершина поднималась почти на два километра из четырехкилометровой плоскодонной впадины океана.

Ганешин удовлетворенно улыбался:

— За рейс четырнадцать «зубчиков» уже нашли! Не зря я пошел с вами...

— Леонид Степанович, признайся мне по чистой совести,— начал командир судна,— эти подводные «зубчики» тебе для нового прибора нужны?

— Угадал, угадал, Федор Григорьевич! — обернулся к Щитову Ганешин.— Сядем-ка, а то я по мостику километров двадцать пять отшагал. Мой новый прибор уже прошел все испытания, и мы с тобой будем его пробовать на работе, сразу как вернемся. Могу сейчас рассказать, пусть и мичман послушает — из принципа устройства прибора мы тайны не делаем. Мой прибор приспособлен для того, чтобы видеть под водой на самых больших глубинах, по принципу телевизора. Главная трудность задачи заключалась в освещении достаточно больших пространств, чтобы из-за огромного поглощения световых лучей в богатой кислородом глубинной воде телевизор не был подобен глазу очень близорукого человека. Я добился хороших результатов тем, что создал «ночной глаз» — прибор, который настолько чувствителен к световым лучам, что ничтожных количеств света ему достаточно для получения изображения. Далее я применил двойной прожектор с двумя совпадающими пучками лучей: одним — богатым красными и инфракрасными лучами, другим — синими и ультрафиолетовыми. Вы знаете, что вода скорее всего поглощает красные длинноволновые лучи; лучи коротковолновые идут значительно глубже (ультрафиолетовые доходят до тысячи метров от поверхности океана). Но зато вода с мутью рассеивает свет, и коротковолновые лучи в этом случае легко поглощаются, в то

время как длинноволновые лучше пробивают толщу такой воды. Соответственные комбинации самых коротких и самых длинноволновых лучей в пучке света моего прожектора пригодны для разных условий, могущих встретиться на глубине. Такой аппарат, опущенный в глубину, передает по кабелю наверх электрическими волнами изображение, которое превращается в видимое на специальном экране. Угол освещения и угол зрения моего аппарата очень широки; двойные объективы, раздвигаемые, как в дальномере, дают глубокое стереоскопическое изображение. Прибор видит шире и резче человеческих глаз... Что-то у тебя вид разочарованный, Федор Григорьевич,— улыбнулся Ганешин.— Ты думал, мое изобретение в другом роде?

— Нет, нет! — с виноватым видом стал оправдываться Щитов.— Я только не совсем понимаю, что им можно сделать на больших глубинах. Для всяких спасательных работ такой «глаз», разумеется, важен, но в этих случаях глубины невелики и такая сложность ни к чему... Ну, опустили, посмотрели скалу какую-нибудь или рыбищу, и все.

— Для начала и этого много, Федор Григорьевич.

— Так-то так, а дальше?

— А дальше — руки.

— Что такое? — не понял капитан.

— Сперва глаза, а потом и руки, говорю,— повторил Ганешин.

— Но рук-то еще нет?

— Нет есть, но пока в чертежах еще...

— Эге,— обрадовался Щитов,— хорошо иметь такой клотик, как твой! И я бы не отказался.

— Не знаю, Федор Григорьевич, иногда тяжело, когда бьешься годами над выполнением...— задумчиво ответил Ганешин, вставая и потягиваясь.— Задумать — одно, а выполнить... Подчас пустяковина с ума сводит... Ну, я пошел.— Ганешин набросил высохший плащ.

— Минутку, Леонид Степанович! — остановил его Щитов.— Скоро Ближние острова, а ты хотел захватить западный край Алеутской пучины. Остров Агатту уже близко. Где же поворачивать?

— Сейчас не помню,— подумав, ответил Ганешин,— где у них береговой огонь. На мысе Дог, кажется? Видимость его...

— ...восемь миль,— подсказал Щитов.

— Ну, это близко... Тогда по счислению, не доходя двадцати пяти миль.

Дверь за Ганешиным захлопнулась. Щитов и мичман остались вдвоем. Прошло около часа. Лента эхолота неторопливо ползла. Дно постепенно понижалось: уже пять километров глубины было под килем судна. Механики с точностью часов держали ход, от равномерности которого зависела точность получаемого профиля дна.

Щитов долго курил, размышляя о личной судьбе группы людей, когда-то спаянных великой войной. То ли был слишком крепок табак, то ли он курил очень жестоко, но скоро Щитов ощутил знакомую боль в груди и вышел иа мостик. Дождь все еще не кончался, порывы ветра по-прежнему срывали и вспенивали гребни волн. Вдруг Щитову показалось, что далеко впереди, прямо перед иосом корабля, что-то блеснуло, мгновенно исчезнув. Почти одновременно послышался хриплый голос вахтеииого: «Огонь прямо по носу!»

Понадобилось добрых пять минут, чтобы слабое мерцание превратилось в белую звездочку — встречное судно. Мииуты шли, ио никакого признака бортовых огней. Не больше двух миль разделяло сближающиеся корабли, когда Щитов скомандовал:

— Внимание, впереди гакабортный огонь!

— Будем обгонять, товарищ капитаи второго раига? — спросил вахтенный помощник.

— Обязательно. Оно едва плетется.

— А как же курс на промере?

— Не беда, немного отклонимся.

Корабли сближались, продолжая иаходиться в створе кильватера. Помощник взялся за цепочку гудка — два коротких, низких и сильных звука пронеслись над темным морем, рулевой привод застучал, и иос корабля покатился влево.

В просторной каюте Ганешина горела слабая ночная лампочка. Ганешин сбросил китель, сапоги и улегся на диван. Раздеваться и забираться на койку ие хотелось, да и вставать скоро... Ганешин думал о своем новом аппарате. Глубинный телевизор готов, за результаты окончательных испытаний изобретатель не беспокоился. Этим выполнена первая часть когда-то поставленной им себе задачи. Несколько лет назад старый ученый, которого сейчас уже нет в живых, гово-

рил о победе над океаном, об атолле Факаофо. Он говорил не только о «глазах», но и о «руках»; значит, теперь дело за «руками». Возник образ сложного механизма, всверливающегося, как буровой станок, в океанское дно под наблюдением телевизора и управляемого телемеханически. Основной принцип — работа без всяких герметических закупорок; уже давно изобретены низковольтные, высокоамперные электромоторы, прекрасно работающие в воде. Вода должна быть для этих механизмов такой же естественной средой, как воздух для наших земных машин: тогда не страшно огромное давление — вот в чем весь секрет успеха!

Отрывистые гудки заставили задрожать переборку. Ганешин машинально прислушался: два коротких — поворот влево. «Кого-то обгоняем...» Встреча судов в открытом море всегда волнует душу моряка. Ганешин вскочил и стал натягивать сапоги.

На мостике Щитов и помощник увидели красный бортовой огонь и выше топового огня — еще более сильный красный свет.

— Тралящее судно,— негромко сказал помощник.— Это не гакабортный был огонь, а круговой топовый, и выше — трехцветный фонарь.

— Вижу, вижу,— отозвался Щитов.— А это видите?.. Вахтенный сигнальщик, ко мне!

На не различимом еще борту неизвестного судна замелькал огонек. Короткие вспышки чередовались с острыми долгими лучами, вызывавшими ощущение протяжного крика «а-а-а».

— Вызывают нас,— буркнул Щитов.— Эге, вот оно в чем дело!

Три короткие вспышки сменились одной долгой: в темноту ночи летели одна за другой латинские буквы — просьба о помощи.

На мостике появился запыхавшийся сигнальщик с ратьеровским фонарем. Одновременно поднялся на мостик Ганешин.

— Скажите Соколову, чтобы остановил эхолот! — распорядился капитан.

Два корабля в океанской ночи некоторое время перемигивались световыми вспышками: «Риковери», «Сан-Франциско» — «Аметист», «Владивосток».

— У меня есть километр троса кабельной свивки,— пробурчал Ганешину Щитов,— могу им одолжить...

— Очень хорошо! Давайте подходить, может быть, еще чем-нибудь полезны будем...

— Прожектор! — скомандовал Щитов.

По палубе затопали проворные ноги. Мощный прожектор «Аметиста» пробил в темноте широкий светящийся канал. В конце его возникло черное низкое судно с далеко отнесенной назад палубой. «Пусть стоит на месте, подходить буду я,— подумал капитан.— Не знаю, как они ловки...» Прожектор потух, сигнальщик быстро выполнил распоряжение, затем «Аметист» снова зажег свет и начал сближаться с неуклюжим на вид «американцем».

— Любопытно! Тоже океанографы, как и мы,— оживленно заговорил Ганешин («американец» передал световым сигналом, что на нем океанографическая экспедиция).— Что у них стряслось?

«Аметист» подошел к кораблю, насколько позволяло волнение, развернулся лагом, и хорошо говоривший поанглийски Ганешин взялся за рупор. Из отрывистых слов, заглушаемых плеском волн в борта и подсвистом ветра, советские моряки быстро уяснили себе трагическую суть происшедшего. Батисфера — стальной шар, недавно построенный для изучения больших глубин,— с успехом сделала несколько спусков. При последнем спуске оборвался подъемный канат вместе с электрическим кабелем, и стальной шар остался на глубине около трех тысяч метров — наибольшей, на какую он был рассчитан. Батисфера снабжена парафиновым поплавком и должна всплыть самостоятельно при обрыве кабеля, как только прекратится ток, питающий электромагниты. Магниты перестают притягивать тяжелый железный груз, и батисфера всплывает. Но на этот раз не всплыла. В ней два человека: инженер, построивший батисферу, Джон Миллльс, и ученый-зоолог Норман Нурс. Запас воздуха — на шестьдесят часов. Уже сорок восемь часов идут безуспешные попытки нащупать батисферу и зацепить гаками за специально сделанные на ней скобы. Если шар цел и исследователи в нем живы, им осталось воздуха только на двенадцать — пятнадцать часов...

Советские моряки молча стояли на мостике. Большая грузовая стрела американского судна, вынесенная за борт, кивала своим носом, как будто показывая на волны, поглотившие стальной шар.

— Похоже, их дело труба, Леонид Степанович,— тихо сказал Щитов.— Разве нащупаешь на трех километрах в открытом море! Без берегов пеленговаться не на что... Да, не хотел бы я быть там...

Ганешин, не отвечая, хмурился, поглядывая на «Риковери».

— Федор Григорьевич, дайте мне шлюпку,— неожиданно сказал он.

Щитов увидел его тяжелый, настойчивый взгляд.

Американцы заметили танцующую на волнах шлюпку и быстро спустили трап. На мостике Ганешина окружили. Его спокойные и решительные глаза, смотревшие из-под козырька военной фуражки, прикрытой желтым капюшоном, притягивали к себе измученных борьбой людей.

— Кто начальник? — негромко спросил Ганешин.

— Я помощник начальника, капитан судна Пенланд,— ответил стоявший против Ганешина американец.— Начальник там.— Пенланд указал на море.

— Разрешите задать несколько вопросов,— продолжал Ганешин.— Извините за краткость, нужно спешить, если мы хотим...

— Вы хотите помочь нам? — звонким голосом спросил кто-то.

— Да. Но не перебивайте меня,— сухо добавил Ганешин,— я говорю с командиром.

— Слушаю вас,— быстро ответил американский капитан.

— Сколько у вас тралящих тросов?

— Два.

— Какой длины трос остался на батисфере?

— В том-то и несчастье, сэр, что канат оборвался около самого места своего прикрепления на шаре. Захватить за него нечего рассчитывать, только за скобы.

— На батисфере есть радио?

— Есть, но не работает, питание было только от кабеля.

— По вашим расчетам, у них воздуха еще на двенадцать часов?

— На двенадцать — пятнадцать. Это все, сколько они могут протянуть при самой жесткой экономии.

— Да, положение очень серьезное. А что вы думаете делать дальше?

— Продолжать теми же средствами — пока ничего

не поделаешь. В бухту Макдональд, на Агатту, прилетят два самолета. Утром они будут здесь и привезут усовершенствованные захватные приспособления. В день катастрофы по радио вызвано военное судно, оборудованное тралом-индикатором для отыскания батисферы электромагнитным способом. Оно идет со всей возможной скоростью и может быть здесь завтра. Это, собственно, наша последняя надежда,— заключил капитан Пенланд, зачем-то понижая голос и приближаясь к Ганешину.— Вместе с нами тралили еще два военных судна, сейчас они ушли в бухту Макдональд.

— Благодарю вас, капитан. Надеюсь, нам удастся помочь вам. Будьте любезны показать ваши лебедки и подъемные приспособления.

Ганешин с Пенландом спустились на обширную палубу, загроможденную бухтами тросов, с огромной лебедкой в центре. Качающаяся вместе с мачтой электрическая лампа освещала нагромождение самых разнообразных предметов.

— Мне кажется, положение безнадежно, сэр,— быстро сказал капитан Пенланд, едва они удалились от мостика.— Посудите сами: чудовищная глубина, открытое море, никакой возможности ни пеленговать, ни бросить буек... Я делаю, что могу, двое суток не уходил с палубы. Там, на мостике, жена Миллльса, гидрохимик нашей экспедиции. Я не хотел при ней высказывать свое мнение.

Ганешин вспомнил стремительный вопрос, почти вскрик на мостике.

— Это она спрашивала меня? — И, получив утвердительный ответ, пожалел о резкости, с которой оборвал говорившую.— Наметим с мостика примерный район нахождения батисферы, и я буду благодарен вам за полную информацию... Еще вопрос, капитан,— помолчав, сказал Ганешин, в то время как они осторожно пробирались по заваленной палубе,— зачем вашим исследователям понадобилось опускаться здесь, в открытом море?

— Видите ли, здесь одно из редких мест, оно изобилует крутыми скалами, и коренные породы совершенно обнажены от наносов. Одной из задач наших исследований является изучение коренных пород в глубинах океана. Только пока что-то не получается.

Ганешин ничего не ответил. Он легко взбежал по ступенькам на мостик:

— Сейчас мы примемся искать, поставим буек...
— Как — буек? — сразу послышалось несколько голосов.
— Увидите! — Ганешин скупо улыбнулся и поднял руку, но был остановлен маленькой рукой, притронувшейся к его рукаву.

Моряк обернулся и увидел огромные, сильно блестевшие глаза, смотревшие с мучительным напряжением.
— Сэр капитан, скажите мне прямо: есть надежда спасти их? Вы сможете это сделать?
Ганешин серьезно ответил:
— Если батисфера цела, надежда есть.
— Боже мой!..— воскликнула американка.
Но Ганешин мягко перебил:
— Простите меня, время не ждет,— и обратился ко всем стоявшим на мостике: — Советское гидрографическое судно «Аметист» немедленно примет меры для спасения. Это, разумеется, не исключает вашей работы, но сейчас, если вы согласны довериться нам, я прошу на время отойти от места погружения батисферы. Я располагаю приборами, крайне важными для настоящего случая, однако основной прибор находится во Владивостоке. Я вызову скоростной самолет. Раньше чем через пять-шесть часов он не сможет прибыть — слишком велико расстояние. За это время попытаемся найти батисферу и отметить ее место буйком, что сильно облегчит спасательную работу по прибытии самолета, когда времени у нас будет всего семь часов. Поднимать батисферу придется вам, у нас нет таких мощных лебедок и тросов. Все. Дайте сигнал нашему судну, чтобы погасили прожектор, и зажгите свой. Я возвращаюсь на «Аметист».

В прожекторе «Риковери» невидимый раньше за ослепительным сиянием «Аметист» вдруг показался во всем своем белоснежном великолепии. Острый очерк корпуса, легкость надстроек сочетались с мощью отогнутых назад труб — признаком силы машины.
— Это гидрографическое судно? — вскричал капитан Пенланд.— Да это лебедь!
Действительно, белый, блестевший огнями корабль походил на громадного лебедя, распростершегося на воде перед взлетом.
— Это военное гидрографическое судно,— подчеркнул Ганешин, поднес руку к козырьку и пошел с мостика.

Его шлюпка быстро понеслась по широкому световому коридору. Американские моряки молча смотрели ей вслед, слегка озадаченные как появлением Ганешина, так и его уверенными распоряжениями.

— Это, должно быть, важное лицо у русских, сэр,— проговорил наконец помощник капитана.— И если он сумеет спасти батисферу...

— Не знаю, спасет ли,— ответил Пенланд.— Но вы посмотрите на их корабль!

Прежнее молчание воцарилось на «Риковери», только настроение было уже другим. Безотчетно верилось, что белый прекрасный корабль, так неожиданно выплывший из океанской ночи, и этот человек с умными упрямыми глазами, дружески протянувший руку помощи, действительно сумеют помочь.

Между тем Ганешин, не теряя времени, вместе с Щитовым направился в радиорубку. Взвыл умформер, замелькали огоньки неоновых ламп, над тысячами километров океана понеслись условные позывные. Долго-долго стучал ключ, пока радист не повернул к офицерам вспотевшее лицо:

— Владивосток отвечает.

— Ну, сейчас решится судьба тех двух бедняг,— обернулся к Щитову Ганешин.— Если удастся вызвать командующего... А вдруг он в отъезде?

Ключ стучал, умолкал, в ответ слышался характерный треск морзе, снова радист работал ключом, и снова Ганешин напряженно прислушивался к скачущему сухому языку аппарата. Ждал и покачивающийся рядом корабль, и те двое, запертые в стальном гробу на дне океана, и уже загоревшийся желанием спасти американцев экипаж «Аметиста»...

В штабе сообщили, что адмирал в море, на своем корабле. В безмерную даль полетели позывные мощного нового линкора. Где-то в пространстве они нашли антенны грозного корабля.

— Наконец-то! — облегченно вздохнул Ганешин.

Ключ коротко, точно и ясно простучал просьбу и замолк. Несколько минут напряженного ожидания — и в треске тире и точек моряки услышали: «Даю распоряжение, желаю успеха».

Теперь все было просто.

Щитов повел свой корабль на противоположный край района предполагаемого нахождения батисферы.

— Приготовить глубоководный буй, две тысячи семьсот метров! — скомандовал помощник.

Мгновенно зацепили гак и вывалили за борт тускло блестевший снаряд, похожий на авиационную бомбу. Матрос дернул линь, гак выложился, и снаряд почти без всплеска исчез в зеленоватой черноте моря. Через четверть часа и пятьдесят секунд, по секундомеру помощника, над волнами в свете прожектора «Аметиста» выскочил слегка дымящийся предмет, раскрылся подобно зонту, и маленький белый купол лег на воду. Советский корабль просигналил «американцу» просьбу держаться на плавучем якоре и застопорить машину.

— Я хочу избежать малейшего резонанса их винтов,— пояснил Ганешин мичману, становясь сам у эхолота и неторопливо поворачивая различные верньеры регулировки.

— Разрешите спросить...— робко начал мичман.— Неужели вы думаете эхолотом нащупать батисферу?

— Конечно. Разве вы не знаете, что еще довоенные чувствительные эхолоты обнаруживали потонувшие корабли? Например, хьюзовский эхолот так прямо и вычертил эхографом контур «Лузитании», даже вышло расположение надстроек. И это на глубине в пятьдесят фатомов... Размеры батисферы, сообщенные мне американцами, конечно, несравнимы с «Лузитанией»: шар три метра, сверху грибовидный поплавок двухметровой высоты. Но ведь наш эхолот гораздо чувствительнее и излучает поляризованно...

— А... глубина? — осторожно возразил мичман.

— А точность регулировки? — в тон ему ответил шутливо Ганешин и снова склонился над шкалой, заглядывая в таблицы океанографических разрезов.

Американцы, непрерывно следившие за советским кораблем, видели, как он то появлялся в полосе света, то снова исчезал, показывая красный или зеленый огонь.

— Смотрите, они ставят буйки! — оживленно заговорил помощник, когда на втором повороте «Аметиста» перед носом «Риковери» закачался белый грибок.

— Очевидно, изобрели буй для глубин. Такие штуки давно употреблялись в подводной войне, и тут все дело в прочности линя. Они добились этой прочности, вот и все. Очень просто.

— Все вещи просты, когда знаешь, как их сделать! — буркнул помощник в ответ своему капитану.

Час за часом белый корабль бороздил небольшую площадь моря между четырьмя накрест поставленными буйками. Ветер стих, поверхность воды стала маслянистой, гладкой. У запертых в батисфере осталось воздуха на десять часов. Снова тяжелая безнадежность нависла над американским кораблем. Но все собравшиеся на мостике и на палубе не отрывали глаз от «Аметиста», как будто самое их горячее желание могло помочь ему в поисках. Вот «Аметист», показав зеленый огонь, опять повернулся к «Риковери» и пошел у самого левого края обозначенной буйками площади. Советский корабль все приближался, острый нос его вырастал, еще сотня метров — и опять безнадежный поворот к северу. Вдруг едва внятный шум машины на «Аметисте» прекратился. В безмолвии ночи было слышно даже, как прозвенел телеграф, донесся громкий голос капитана, отдавшего какую-то команду. В незнакомой плавности русской речи было понятно одно слово: «буй».

— Нашли... они нашли! — вскрикнула, вся затрепетав, жена инженера Миллься.

На американском судне заспорили, и это как нельзя лучше показывало оживление смертельно уставших людей. Но тут, поднимая, как на крыльях, и обещая так много, уже знакомый им голос с «Аметиста» спокойно сообщил в мегафон:

— Батисфера найдена!

Полсотни человек на палубе «Риковери» ответили радостным криком.

В штурманской рубке Ганешин набивал трубку, полузакрыв перенапряженные глаза. За четыре часа поисков лента эхографа покрылась серией кривых, сменявших одна другую, но ни один выступ не нарушал гладкой линии скального профиля. Корабль двигался очень медленно, однообразие получаемых результатов усыпляло внимание, и нужно было все время поддерживать бдительность волей. Недалеко от очередного поворота перо эхографа, до сих пор шедшее плавно, подскочило, и крошечная дужка едва приподнялась над ровной линией.

— Есть! — радостно вскрикнул Ганешин.

Помощник стрелой метнулся к мостику. Звякнул два раза телеграф: «стоп» и «назад». Щитов прокричал:

— Буй, две тысячи восемьсот метров!

И тяжелая бомба рухнула с левого борта.

— Ура, повезло! — поздравил изобретателя Щитов, зайдя несколько минут спустя в рубку.

— Ну, не очень,— устало отозвался Ганешин,— четыре часа крутились... Времени осталось мало, но нужно ждать. Я тут на диване поваляюсь, пока самолет...

В дверях появился помощник:

— Американцы спрашивают: может быть, им начать попытки зацепить батисферу сейчас же?

Щитов посмотрел на Ганешина. Тот, не открывая глаз, ответил:

— Конечно. В таком положении нельзя пренебрегать ни одним шансом.

«Аметист» уступил свое место у буя американскому судну. Отойдя на несколько кабельтовых, он плавно покачивался, будто отдыхая. И в самом деле, уставшие моряки разошлись по каютам, оба командира устроились в рубке. Только вахтенные смотрели в сторону американского судна. Там слышался лязг лебедок, свист пара и скрежет тросов: американцы снова действовали, зараженные удачей советских моряков.

Ганешин и Щитов проснулись одновременно от шума самолетов.

— Нет, не наш,— определил Щитов.

Светало. Сырость и холод забирались под одежду, подбодряя невыспавшегося капитана. С мостика море казалось необычайно оживленным: у бортов «Риковери» ныряли, качаясь, два самолета, а немного поодаль стояли два военных судна — длинный серый высоконосый крейсер и приземистый сторожевой корабль.

— Население увеличивается, — усмехнулся Ганешин.— Сейчас должны быть и наши. Проедусь-ка я к американцам, посмотрю, что и как...

На этот раз еще при подходе шлюпки с борта «Риковери» раздались приветственные крики. Однако лица встретивших Ганешина людей были серы и невеселы. В течение трех часов работы захватить батисферу так и не удалось, не удалось даже ни разу зацепить ее тросом. Для спасения находившихся в глубине океана осталось семь часов.

— Судно с тралом-индикатором еще не пришло,— говорил капитан Пенланд Ганешину,— но оно сейчас уже менее нужно после вашего замечательного вмеша-

тельства. Как захватить батисферу на этой проклятой, немыслимой глубине? Тросы, должно быть, отклоняются... возможно, какое-нибудь течение в глубоких слоях воды. Буек ведь тоже не дает точного места...

— Может отклоняться,— поддержал Ганешин, покосившись на приближавшуюся к нему жену Милльса.

Он повернулся к молодой женщине, приложив руку к фуражке. Глаза американки под страдальчески сдвинутыми бровями встретили его взгляд с такой надеждой, что Ганешин нахмурился.

— Мы работали все это время...— Слезы и боль звучали в словах молодой женщины.— Но ужасная глубина сильнее нас. Теперь я надеюсь только на ваше вмешательство...— Она тяжело перевела дыхание.— Когда же вы ждете ваш самолет?

Ганешин поднял руку, чтобы взглянуть на часы, и вдруг громко и весело сказал:

— Самолет? Он здесь!

Все подняли вверх головы. Самолет, вначале неслышный за грохотом работающей лебедки, снижался, потрясая небо и море ревом моторов. «Пикирует для скорости»,— сообразил Ганешин.

Узкая машина, несшая высокие крылья, взбила водяную пыль, повернулась и вскоре, смирная и безмолвная, покачивалась возле «Аметиста». Утренний туман, словно испуганный самолетом, расходился. Высоко вознесся голубой небосвод. Солнце заиграло на тяжелых, маслянистых волнах, осветило белоснежный корпус «Аметиста», засверкало сотнями огоньков на медных, ослепительно надраенных частях. Ганешин перевел взгляд с самолета на «Аметист» и, улыбаясь, сказал американцам:

— Сейчас мы увидим батисферу.

Женщина, подавив восклицание, сделала шаг к Ганешину. Тот, угадывая ее мысли, добавил:

— Если хотите, я с большим удовольствием... Сейчас поедем.

Ганешин попросил капитана Пенланда подождать установки телевизора, а после нахождения батисферы немедленно сближаться с советским кораблем и действовать по его сигналам.

В это время на «Аметисте» механик, размахивая ключом, держал речь к машинистам и монтерам.

— От скорости установки привезенной машины,— говорил он,— зависит спасение людей, у которых на шесть часов воздуха. И еще: если мы их спасем — это будет чудо, сделанное руками советских моряков.

— Еще бы не чудо! Я водолазом работал, понимаю, что значит с трех километров такую козявку достать,— ответил один из машинистов.— Справимся, я так думаю...

Капитан Щитов не удивился появлению гостьи. Ее пригласили в рубку, и Щитов немедленно прикомандировал к ней мичмана, владевшего английским языком. Жена инженера Миллься рассеянно слушала его объяснения и часто поглядывала в окно рубки, откуда можно было видеть кипевшую на палубе работу: там свинчивали какие-то станины, тащили провода, выгружали из самолета ящики.

На минуту в рубку заглянул Ганешин. Молодая женщина сейчас же бросилась ему навстречу:

— О, простите меня, но ваш прибор, кажется, очень сложен. Его могут не успеть собрать, ведь...— И она молча показала на большие часы, ввинченные в переборку.

— Еще шесть с половиной часов в нашем распоряжении,— ответил Ганешин.— Прибор действительно сложен, но наши моряки, если захотят, сделают эту — не скрою — невероятно трудную работу. А они хотят... Верьте нашим морякам, миссис Миллься, вы можете им довериться.

Для молодой женщины снова потянулось мучительное ожидание. Если бы она могла помочь в приготовлении этого таинственного аппарата... Страшный рев оглушил ее. Для натянутых нервов молодой женщины это было слишком.

— Боже мой, что это такое? — В изнеможении она прислонилась к переборке.

— Гудок. Он у нас в самом деле очень силен,— деловито пояснил мичман.— Это «Аметист» дает сигнал, что аппарат готов и поиски начинаются.

Мичман не ошибся. Сейчас же явился Щитов и пригласил жену Миллься вниз. Телевизор был временно установлен в темной лаборатории. Глубоководная часть аппарата раскачивалась на вынесенной за борт стреле, огромная катушка троса и кабеля была вставлена в лебедку. Корабль медленно шел к буйку, обозначавшему место батисферы.

— Опускать? — обратился Щитов к показавшемуся на палубе Ганешину.

— Пожалуй, пора.

— А ты не боишься?

— Чего?

— Ну, мало ли чего... Аппарат только что собран, наскоро установлен — вдруг откажет! Я и то волнуюсь...

— Нет, много раз испробован, испытан. Спускай смело, побыстрее...

Телевизор быстро скрылся в волнах, а кабель сбегал еще долго через счетчик катушки, пока чудесный «глаз» не достиг наконец нужной глубины. Трос присоединили к амортизатору, смягчавшему качку судна, и в тот же момент в темноте лаборатории Ганешин включил ток. Жена Милльса, вне себя от волнения, смотрела на овальную пластинку экрана, которая вдруг из черной превратилась в прозрачную, пронизанную голубоватым сиянием. Ганешин бросал непонятные американке отрывистые слова Щитову, от него команда передавалась на палубу, к лебедке.

Как только телевизор был установлен на высоте пятнадцати метров над дном, Ганешин стал нажимать две кнопки справа от экрана. Там, внизу, маленькие винты заработали, поворачивая аппарат. В голубом свете экрана показалась черная тень, и сразу стало понятным, что эта светящаяся голубизна — прозрачная глубинная вода, в которой тончайшая муть осадка носилась роем крошечных серебристых точек, отражая и рассеивая свет. Вид океанского дна в экране телевизора был необычаен. Человек, попавший на другую планету, наверно, был бы так же поражен и не способен понимать видимое. Один Ганешин, освоившийся с видом океанских глубин при прежних испытаниях своего «глаза», осторожно направлял аппарат. Черный, слегка клубящийся от мути горб слева был плоским выступом скалистого дна. Дальше к северу дно чуть-чуть понижалось, потому что красноватый отсвет дна впереди исчезал, отрезанный тем же серебристым голубым сиянием.

Манипулируя разными рычажками, Ганешин менял границу резкого изображения, одновременно медленно поворачивая прибор, и соответственно менялось изображение на экране. Сначала вдали возникла черная стена, которая приобретала красный оттенок под усиленным светом прожектора, затем в ней начали выделяться под-

робности: косая огромная трещина, выпуклый выступ... Но тут телевизор повернулся, и мрачные скалы утонули в сияющей голубизне прежнего освещения. В глубине экрана показались туманные острые зубцы, они стали резче, но, приближаясь и становясь отчетливее, терялись своим основанием в сине-черной темноте заднего плана.

— Предел освещения,— пояснил Ганешин,— около километра.

Высокие зубцы подводной каменистой гряды смотрели грозно и мрачно, едва выделяясь среди вечной тьмы и холода подводного мира. Телевизор обошел полный круг — везде простиралось бугристое скальное дно, прикрытое слоем ила, блестевшего в лучах осветителя, как алюминиевая пудра. Вид океанских глубин вызывал ощущение чего-то враждебного, таившегося в глубочайшем мраке, окружавшем поле зрения телевизора. Это был чуждый земной поверхности грозный мир безмолвия, тьмы и холода, неподвижный, неизменный, лишенный надежды и красоты.

Батисферы нигде не было видно. «Неужели промахнулись буем так сильно? — мелькнуло в голове Ганешина.— На полкилометра! Ясно же, она должна лежать в этой впадине!» Ганешин стал наклонять объективы аппарата вниз. Смутное темное пятно появилось с края рамки. Ганешин быстро повернул рычажок. Пятно передвинулось в середину, приблизилось и вытянулось. Неясные края его стали резкими. Черный цвет опять стал казаться красным... Молодая женщина за спиной Ганешина слабо вскрикнула, сейчас же зажав рот рукой. Яйцеобразный аппарат, наклонившись, стоял в центре рамки, казавшейся теперь прозрачным стеклом. Четкость изображения была настолько велика, что ясно виден был свисавший сверху кусок оборванного троса, толстые петли спасательных скоб и отсвет на круглом иллюминаторе, который смотрел на моряков, как блестящий гранатово-красный загадочный глаз.

— Иллюминаторы у батисферы со всех четырех сторон, значит, они уже видят нас,— объяснил Ганешин жене Миллься.— Сейчас самое главное — посмотрим, живы ли...— Ганешин поспешно поправился: — ...попробуем поговорить с ними.

Он щелкнул чем-то и положил длинные пальцы на кнопку. Соответственно движениям пальцев экран гас и вспыхивал снова. Присутствующие сообразили, что, гася

и вновь зажигая осветитель, Ганешин посылал в окно батисферы световые сигналы морзе. Много раз повторив один и тот же вопрос, Ганешин выключил свет и замер в ожидании ответа перед погасшим экраном. Все собравшиеся в тесной каюте затаили дыхание, сдерживая волнение решающей минуты. Она прошла — экран оставался черным. Медлительно и зловеще потянулась вторая минута, и тут в темноте экрана возник яркий бирюзовый огонек, исчез, вспыхнул ярче и разлился широким синим кругом — безмолвный ответ, принесенный светом со дна океана.

— Живы! Передайте на «Риковери», пусть подходят зацеплять батисферу! — радостно закричал Ганешин. В это время синий свет замигал подобно сигнальному фонарю.— Они говорят...— обернулся Ганешин к жене Миллься, но услышал вздох и мягкое падение тела.

— Отнесите в рубку, врача к ней! — обратился Щитов к подбежавшим людям.— Не выдержала, бедняжка. Почти трое суток... Ну, что там? — обратился он к Ганешину.

— Передают, что оба живы, экономят кислород как могут, но больше двух часов не протянут. Батисфера в порядке, не отделился груз...— читал мелькавшие на экране вспышки Ганешин.— «Не можем понять, как...» Не поймете, подождите,— вслух отозвался моряк и услышал гудок американского судна.

Спуск тросов с захватами уже начался. Синий круг на экране погас, и сейчас же замигал прожектор телевизора. Ганешин передал запертым в батисфере людям о принимаемых мерах к спасению.

Еще час прошел в беспрерывном наблюдении в окно телевизора. Свистки, крики в мегафон, шум машины американского судна, шипенье пара и грохот лебедок разносились над морем. А людям в батисфере оставался еще час жизни — шестьдесят минут,— когда уже почти шестьдесят часов усилия сотни людей оставались безрезультатными.

Незаметно и внезапно подошла победа. Огромные храпцы, опускавшиеся с «Риковери» по указаниям Ганешина, ухватили за боковую скобу, громко рявкнул гудок «Аметиста», и в тот же миг машинист на лебедке «Риковери» переставил муфту на обратный ход. Медленно вышла слабина громадного, в руку толщиной, троса, барабан заскрипел от напряжения: гибкий сталь-

ной канат, сплетенный из двухсот двадцати двух проволок, вместе с батисферой весил шестьдесят тонн — в три раза больше допустимой рабочей нагрузки.

Трос выдержал. В голубом сиянии экрана телевизора батисфера качнулась, выпрямилась, дернулась вверх и медленно начала подниматься. Ганешин, вращая объективы, некоторое время следил за ней, пока она не скрылась, выключил ток, зажег свет в лаборатории и, постояв немного, чтобы привыкли глаза, вышел на палубу. Телевизор был более не нужен. Все внимание сосредоточилось теперь на лебедке «Риковери», медленно извлекавшей из глубины непомерную тяжесть. Капитан Пенланд неотрывно смотрел на аккуратно ложившиеся на барабан витки, вычисляя в уме скорость подъема — сорок минут оставалось до рокового срока. «Не успеем, задохнутся...»

Взяв на свои плечи смертельный риск, Пенланд приказал ускорить подъем. В напряженном молчании лебедка застучала чаще, барабан стал вращаться быстрее. Прошло еще несколько минут. Острый свист пара рассек вдруг однообразный шум лебедки. Лебедка сделала несколько быстрых оборотов; мгновенно побледневший машинист перебросил рычаг на «стоп». «Трос!..» — испуганно выкрикнул кто-то. Ужас приковал людей на обоих судах к месту и заставил одним движением вытянуть шеи, вглядываясь за борт. Пенланд мгновенно вспотел, во рту пересохло, мысли разбежались. Он не мог командовать, да и не знал, что скомандовать. Но тут из медленного колыхания волн быстро выскочил огромный голубой яйцеобразный предмет, исчез в столбе брызг и через секунду плавно закачался в белом кольце пены.

Это внезапно отделился груз батисферы, она рванулась кверху, и храпцы автоматически раскрылись, освободив аппарат от тяжести троса. Люди разразились победными кликами, сейчас же покрытыми могучим ревом четырех гудков. Суда бросали в простор океана весть о новой победе человеческого разума и воли.

Ганешин стоял расставив ноги и пристально смотрел на спасенную им батисферу. Щитов положил свою тяжелую руку на его плечо:

— Леонид Степанович, адмирал запрашивает о результатах.

— Сейчас иду. Ты распорядись поднимать телевизор... А как наша гостья?

— Я отправил ее назад, там она нужнее,— улыбнулся Щитов.— Она так и смотрела во все стороны, видимо искала тебя — благодарить.

Ганешин слабо махнул рукой и направился в радиорубку. Батисферу уже буксировали к «Риковери».

Выходя из радиорубки, Ганешин снова увидел Щитова.

— Я тебе вот что хочу сказать,— строго и серьезно произнес Щитов,— насчет твоего телевизора. Я его напрасно ругал...— Дальнейшие слова его были заглушены ревом моторов нашего самолета, взмывшего в высоту.

Ганешин крепко пожал протянутую ему руку приятеля.

— Что дальше будем делать? — спросил Щитов.

— Как — что? — удивился Ганешин. — Закончим подъем телевизора и пойдем своей дорогой.

— А разве ты к ним не поедешь? — с недоумением воскликнул капитан.— Я и шлюпку приказал не поднимать.

— Нет, не поеду.

— Вот диво! Разве не интересно посмотреть на спасенных, расспросить? Они ведь тоже изучают дно...

— Конечно, интересно, но, понимаешь...— Ганешин шутливо сморщился: — Ведь будут благодарить... Жена инженера смотрела такими глазами... А мы сейчас дадим ход и удерем.

На судне американской экспедиции были заняты подъемом и открыванием батисферы и не заметили, как советский корабль быстро поднял шлюпку и телевизор. «Аметист» запросил о здоровье спасенных, получил ответ, что «слабы, но вне опасности», развернулся и начал набирать ход. Американцы с недоумением смотрели на действия «Аметиста» и только тогда, когда на фалах нашего судна взвился сигнал традиционного прощания, поняли, в чем дело. Сигнальщик с «Риковери» отчаянно замахал флажками, но «Аметист» увеличил ход, и только мощный гудок и махавшие бескозырками матросы посылали дружеский прощальный привет. Спасенные исследователи, офицеры и матросы, как один человек, смотрели вслед белому кораблю, становившемуся все меньше и меньше в солнечной дали. Внезапно гулкий грохот орудий раскатился над зелеными волнами: крейсер дал салют удалявшемуся «Аметисту». Опять и опять гремели орудия. В ответ на «Аметисте» взвились звезды и полосы Америки.

Советское судно как ни в чем не бывало шумело винтами, рассекая тихоокеанские волны. Ганешин наблюдал за уборкой телевизора, мечтая о мягкой койке: спасение американской батисферы далось ему не даром. С мостика послышался голос Щитова:

— Леонид Степанович, иди-ка, вызывают американцы.— В словах капитана звучала дружеская насмешка.— Техника тебя все равно достанет, даже из глубины океана.

Американцы вызывали «Аметист» по имени, без позывных, и название драгоценного камня настойчиво звучало в эфире. Радиоаппарат выстукивал любезные слова благодарности, просьбу сообщить фамилию командира, руководившего спасением, восхищение беспримерной работой русских моряков, чудесным изобретением. В сухое потрескиванье радио с «Риковери» вдруг вмешалось резкое щелканье позывных «Аметиста», характерное для мощной радиостанции нового линкора. Радист простучал ответ, и Ганешин выслушал четкие сигналы, славшие привет американской экспедиции и поздравления личному составу «Аметиста». Особенное удовольствие адмирал выражал Ганешину. Ответив командующему, Ганешин приказал радисту:

— Передайте на «Риковери» начальнику американской океанографической экспедиции Милльсу: «Командующий советским Тихоокеанским флотом только что передал вам поздравление со спасением и пожелания дальнейших успехов в вашей отважной работе».

Через пять минут Ганешин крепко спал у себя в каюте.

* * *

Осенний владивостокский дождь лил нескончаемыми потоками, хлестал в высокое окно кабинета Ганешина. Моряк перечитывал, собираясь отвечать, письмо от обоих спасенных им полтора месяца назад американских ученых. Догадливые люди направили письмо на имя командующего с просьбой передать Ганешину, разыскать которого не составило для адмирала затруднения.

«Только тот, кто провел в безнадежности и отчаянии шестьдесят часов на недоступном дне океана, может понять, что сделали вы,— писали ученые.— Несколько часов изо всех сил мы пытались отделить с помощью винтового пресса присосавшийся груз, задыхаясь и обливаясь потом в леденящем холоде батисферы. Нельзя

передать, что пережили мы, уже впадая в тупое безразличие перед лицом неотвратимой судьбы, когда увидели свет в иллюминаторах и поняли ваши сигналы. С этой незабываемой минуты мы живем с твердой верой в безграничную силу человека, в его светлое будущее, в то, что нет одиночества даже в самых смелых, еще не понятых миром исканиях...»

Перечитав письмо, Ганешин начал писать ответ.

«На вопрос, как я достиг таких результатов в завоевании океанских глубин, мне трудно ответить. Пожалуй, главное здесь было в точной направленности поставленных задач и, конечно, в огромных материальных возможностях. Первое дал мне наш старый ученый, который несколько лет назад призывал нас, моряков, помочь науке найти «глаза» и «руки», которые могли бы достать океанское дно. Он же показал нам, на что способен человек в борьбе с морем, рассказав о замечательном атолле Факаофо. Второе дала мне родная страна.

Я только развил идею, отказавшись пока от необходимости опускать человека в пучины океана и заменив его прибором, не нуждающимся в воздухе и не боящимся страшного давления. Так возник мой телевизор — «глаз» человека, опущенный на дно, таковы будут мои бурильные приборы для взятия коренных пород со дна океана — эти протянутые на дно «руки». Вспомните глубоководных животных. Некоторые из них обладают глазами на длинных стебельках; вот что натолкнуло меня на мысль использовать телевизор...»

Ганешин писал еще некоторое время, задумался, потом быстро закончил: «Поэтому я считаю, что ваша благодарность должна быть направлена не мне лично, а моей стране, моему народу. Ибо что такое я и вообще любой человек без родины, без поддержки большого числа людей,— самый умный и выдающийся останется лишь мечтателем и фантазером. А поддержка, помощь правительства, огромного коллектива флота, разных людей, от ученого до слесаря,— всего, одним словом, что является для меня моей родиной,— привели к тем достижениям, которые показались вам почти сверхъестественным могуществом. И это только начало, мы будем продолжать...»

Ганешин кончил письмо, встал и подошел к окну. По стеклам струилась вода, сквозь которую, будто очень далекий, виднелся поросший дубами скалистый мыс.

ОБ АВТОРАХ

Андрей Платонов

1899—1951

Молодые годы Андрея Платоновича Платонова пришлись на революцию и гражданскую войну, в которой он принимал непосредственное участие. Он сформировался как литератор под воздействием этих великих событий, это ему принадлежит замечательное определение революционной действительности как «прекрасного и яростного мира».

А. Платонов родился в семье воронежского железнодорожного рабочего. Еще подростком он начал писать стихи и очерки, сотрудничать в местных газетах, потом в московских журналах. С 1927 года живет в Москве. С октября 1942 года до конца войны, несмотря на тяжелую болезнь, оставался фронтовым корреспондентом газеты «Красная звезда».

Произведения А. Платонова зачастую встречались с недоброжелательством, иногда даже объявлялись «клеветническими», поэтому при жизни он печатался сравнительно мало. Существовали, правда, и другие, более объективные и дальновидные оценки. Известно, что платоновский талант высоко ценил А. М. Горький, а Э. Хемингуэй называл писателя в числе своих учителей.

Начиная с 60-х годов советский читатель стал открывать творчество А. Платонова во многом наново. После смерти писателя осталось большое рукописное наследие — рассказы, повести, пьесы, киносценарии, сказки. Сейчас уже трудно представить себе фантастику 20-х годов без «Эфирного тракта», хотя эта повесть увидела свет лишь в 1968 году, а предвосхищающий космические просторы, которые вскоре откроются перед людь-

ми, рассказ «В звездной пустыне» и того позже — в 1986-м. Тем не менее оба эти произведения, как и многие другие сочинения А. Платонова, остались памятником «прекрасных и яростных» 20-х годов.

Тексты печатаются по изданиям: Платонов А. В звездной пустыне // Книжное обозрение, 1986, № 40; Эфирный тракт // Фантастика, 1967. М., 1968.

Ефим Зозуля

1891—1941

Хотя Ефим Давыдович Зозуля и родился в Москве, но первые шаги он делал в литературных кругах Одессы, а также Лодзи, где был арестован за революционную деятельность. В столицу он приехал в 1919 году и быстро стал одним из ведущих московских журналистов, связавших свою судьбу с такими популярными изданиями, как «Огонек» и «Прожектор». Из литобъединения, которым он руководил, вышли М. Алигер, Я. Смеляков, С. Михалков... Антимещанские рассказы Е. Зозули пользовались большим успехом в 20—30-х годах. Автор их погиб на фронте в начале Великой Отечественной войны.

Рассказ «Граммофон веков» был впервые опубликован в 1919 году в журнале «Солнце труда».

Текст печатается по изданию: Зозуля Е. Я дома. М., 1962.

Валентин Катаев

1897—1986

Творческий путь одного из виднейших советских писателей, Героя Социалистического Труда Валентина Петровича Катаева начался в той же Одессе. Первые свои опыты он опубликовал в тринадцатилетнем возрасте. Во время первой мировой войны В. Катаев был на фронте, дважды ранен, отравлен газами; с 1919 года служил в Красной Армии. В Москве живет с 1922 года, активно сотрудничает в столичных газетах вместе со своим родным братом Евгением Петровым. Это ему принадлежит замысел романа «Двенадцать стульев».

Самое значительное среди книг В. Катаева довоенного и военного времени — повести «Белеет парус оди-

нокий» (1936) и «Сын полка» (1945), ставшие любимым чтением советских детей. Заметным литературным событием оказались автобиографические повести В. Катаева 60—80-х годов «Святой колодец», «Трава забвения», «Алмазный мой венец» и др.

В раннем творчестве В. Катаева значительное место занимает политическая фантастика. Речь прежде всего идет о двух его романах 1924 года — «Повелитель железа» и «Остров Эрендорф». Рассказ «Сэр Генри и черт» написан в 1920 году, а «Экземпляр» (в первой публикации — «Редчайший экземпляр») — в 1926-м.

Тексты печатаются по изданиям: Катаев В. Собр. соч. Т. 2. М., 1969; Собр. соч. Т. 2. М., 1983.

Николай Асеев

1889—1963

Николай Николаевич Асеев знаком читателям прежде всего как известный поэт, соратник и друг Маяковского, автор прекрасных лирических стихотворений «Мальчик большеголовый», «Синие гусары», «Не за силу, не за качество...», «Еще за деньги люди держатся...», поэм «Лирическое отступление», «Семен Проскаков», «Маяковский начинается»...

Появление имени Н. Асеева в сборнике фантастики может показаться неожиданным, однако, особенно в раннем творчестве, он писал и прозаические произведения; среди его книг есть даже сборник, который так и называется — «Проза поэта» (1930). А к фантастике, которая позволяла заглядывать в будущее и обличать все то, что мешало строительству нового мира, обращались в ту пору едва ли не все ведущие советские литераторы.

Н. Асеев родился в городе Льгове Курской области, учился в Курске, Москве и Харькове, служил в действующей армии, участвовал в утверждении Советской власти на Дальнем Востоке. Как поэт он начал печататься до Октябрьской революции. С 1922 года жил в Москве, входил в литературную группу «Леф», возглавляемую Маяковским.

Тексты фантастических повестей «Завтра» и «Только деталь» печатаются по изданию: Расстрелянная земля: Сборник // Б-ка «Огонька». М., 1925.

Всеволод Иванов

1895—1963

Наиболее значительной в творчестве Всеволода Вячеславовича Иванова оказалась пьеса «Бронепоезд 14-69» (1927), постановка которой во МХАТе стала одной из главных вех в истории советского театра. Пьеса эта возникла на основе «Партизанских повестей» (1923) — крупного явления зарождающейся советской прозы. В судьбе молодого писателя решающую роль сыграл А. М. Горький, к которому Вс. Иванов с трудностями добрался в 1921 году из Сибири, где успел перепробовать множество профессий — наборщика, матроса, грузчика, циркового актера. Его юношеские похождения нашли отражение в автобиографическом романе «Похождения факира» (1934—1935), продолженного книгой «Мы идем в Индию» (1960).

Фантастикой писатель занимался от случая к случаю, однако из его произведений этого жанра удалось составить целый сборник — «Медная лампа» (1984). Рассказ «Странный случай в Теплом переулке» в этот сборник не вошел. Текст печатается по журналу: 30 дней, 1935, № 5.

Константин Паустовский

1892—1968

Константин Георгиевич Паустовский родился и умер в Москве, но начало его жизненного и творческого пути связаны с Одессой и Киевом; об этих годах, о своей «беспокойной юности» писатель впоследствии расскажет в многотомной «Повести о жизни».

К. Паустовский — представитель романтического направления в советской литературе, его привлекают незаурядные личности, «высокий» строй чувств в человеке — мужество, благородство, самопожертвование, взаимопонимание. С романтикой связано и его обращение к фантастике. Он один из самых проникновенных певцов русской природы («Мещерская сторона», «Повесть о лесах»). Большое место в его деятельности занимают книги о творчестве и о творцах — художниках и писателях («Орест Кипренский», «Исаак Левитан», «Тарас Шевченко», «Золотая роза»).

Рассказ «Доблесть» был впервые напечатан в «детгизовском» сборнике 1935 года.

Текст печатается по изданию: Паустовский К. Г. Собр. соч. Т. 4. М., 1958.

Илья Ильф

1897—1937

Евгений Петров

1903—1942

Выдающиеся советские писатели Илья Арнольдович Ильф и Евгений Петрович Петров широкому читателю известны прежде всего как авторы одной или, точнее, двух книг — «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Их совместному перу принадлежит еще несколько томов фельетонов, рассказов, повестей, киносценариев; они написали, может быть, лучшие советские очерки о заокеанской стране — «Одноэтажная Америка». Сатирическая повесть «Светлая личность» была создана всего за шесть дней в 1928 году, в том же году, когда были опубликованы «Двенадцать стульев», это было время наивысшего творческого подъема знаменитого дуэта. Повесть была напечатана в «Огоньке», где ее проиллюстрировали девять самых крупных художников-графиков того времени — Б. Ефимов, М. Черемных, А. Дейнека, К. Елисеев и другие.

Оба писателя родились в Одессе, там же были их первые публикации. В 1923 году перебрались в Москву, а познакомились в 1925-м. Их содружество длилось немногим более десяти лет: в 1937 году И. Ильф умер от туберкулеза, а Е. Петров погиб в 1942 году, возвращаясь на самолете из осажденного Севастополя.

Текст печатается по изданию: Ильф И., Петров Е. Собр. соч. Т. 1. М., 1961.

Михаил Булгаков

1891—1940

Личная судьба Михаила Афанасьевича Булгакова и судьба его творческого наследия оказались весьма не-

простыми. При той прижизненной славе, которая выпала на долю его пьесы «Дни Турбиных», дата публикации главного произведения М. Булгакова, философского романа «Мастер и Маргарита»,— середина 60-х годов, к тому времени самого мастера уже давно не было в живых. Постепенно возвращаются к читателям и другие неопубликованные или полузабытые произведения М. Булгакова и уточняется его истинное место в истории советской литературы.

К использованию фантастических приемов писатель обращался неоднократно, начиная с рассказов, вошедших в сборник «Дьяволиада» (1925). На приеме «машина времени» построена и его комедия «Иван Васильевич» (1936), тоже не увидевшая света при жизни автора, но поставленная на сценах многих театров у нас и за рубежом в тех же 60-х годах. По мотивам этой пьесы режиссер Л. Гайдай создал популярный кинофильм «Иван Васильевич меняет профессию». Нельзя забывать, что «Мастер и Маргарита» — тоже фантастика, каким бы непривычным для этого несколько заштампованного жанра ни выглядел роман.

Врач по образованию, М. Булгаков вырос и учился в Киеве, там же начиналась его литературная деятельность, но тем не менее он с полным правом может считаться истинно московским писателем. Он с такой любовью воспел старинные московские переулки, бульвары, даже отдельные здания, что мы вправе говорить об особой «булгаковской» Москве.

Повесть «Роковые яйца», обличающая авантюризм и бесхозяйственность, была опубликована в 1925 году и с тех пор не переиздавалась.

Текст печатается по изданию: Булгаков М. А. Дьяволиада. М., 1925.

Лазарь Лагин

1903—1979

Автор всем известного с малых лет «Старика Хоттабыча» (1938) Лазарь Иосифович Лагин дебютировал в 1922 году в комсомольской печати как поэт и фельетонист.

Творчество Л. Лагина оставило заметный след в ис-

тории советской фантастики. Не говоря уже о «Старике Хоттабыче», многие его произведения издавались неоднократно.

В большей своей части его послевоенные романы и повести — это остросюжетные памфлеты, использующие элементы фантастики и сатиры для обличения антигуманности капиталистического строя — «Патент АВ» (1947), «Остров разочарования» (1951), «Атавия Проксима» (1956), «Майор Велл Эндъю» (1962) и др. «Путешествию» советского юноши в дореволюционную Россию посвящен его роман «Голубой человек» (1967).

Рассказ «Эликсир дьявола» впервые увидел свет в журнале «Огонек» за 1935 год.

Текст печатается по изданию: Лагин Л. 153 самоубийцы. М., 1936.

Георгий Шторм
1898—1978

Георгий Петрович Шторм родился в Ростове-на-Дону и учился на историко-филологическом факультете Донского (ныне Ростовский) университета. Первое его прозаическое произведение было опубликовано в 1924 году, а известность пришла с выходом «Повести о Болотникове» (1930), которую М. Горький отметил среди других исторических повестей и рассказов эпитетом «талантливая». С тех пор исторические и историко-литературные темы становятся определяющими в творчестве Г. Шторма — «Ход слона» (1930), «Труды и дни Михаила Ломоносова» (1937), «На поле Куликовом» (1934), «Флотоводец Ушаков» (1946), «Страницы морской славы» (1954). Ему принадлежат поэтический перевод «Слова о полку Игореве» и вольное переложение памятника древнерусской переводной литературы «Повести о мудром Хикаре».

Книга Г. Шторма «Потаенный Радищев» (1965) вызвала большой читательский интерес и споры среди специалистов.

Текст печатается по изданию: Шторм Г. Ход слона. М.; Л., 1930.

Валерий Брюсов
1873—1924

Большая часть творческого пути Валерия Яковлевича Брюсова приходится на дореволюционное время. Его имя стало одним из наиболее почитаемых в русской поэзии начала XX века. О его наследии, прежде всего поэтическом, написано огромное количество исследований, регулярно проводятся специальные Брюсовские чтения. К столетию со дня рождения поэта было издано семитомное собрание его сочинений.

В. Брюсов был коренным москвичом и учился на историко-филологическом факультете Московского университета. Октябрьскую революцию он принял безоговорочно и, вопреки заявлению, сделанному в одном из ранних стихотворений — «Ломать я буду с вами, строить — нет!», немедленно включился в тяжелую работу по созданию новой, социалистической культуры. Вместе с А. В. Луначарским он работал в Наркомпросе, сотрудничал в Госиздате, читал лекции в университете; в 1921 году он создал Высший литературно-художественный институт, которому впоследствии было присвоено его имя. В 1920 году он вступил в ряды Коммунистической партии.

Кроме стихов В. Брюсов писал романы, рассказы, пьесы, был крупным литературоведом. С юных лет интересовался фантастикой, экспериментировал в этом жанре, пытался найти для него новые формы. Так, его перу принадлежит утопическая трагедия «Земля» (1907), это чрезвычайно редкий в фантастике жанр.

Уже в советское время, в 1923 году, была написана предлагаемая читателю маленькая драма «Мир семи поколений», предназначавшаяся для Театра им. Вс. Мейерхольда. Данный вариант публикуется впервые по рукописи, хранящейся в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина. (Более поздний вариант, не завершенный автором, напечатан в журн. «Звезда», 1973, № 12.) Публикация С. Гиндина.

Лев Гумилевский

1890—1976

Лев Иванович Гумилевский начал печататься еще до революции. Его творчество 20-х годов было неоднородным. Наиболее известная повесть «Собачий переулок» вызвала критику и дискуссии в молодежной среде. С начала 30-х годов писатель целиком переходит в область научной популяризации — «Рудольф Дизель» (1932), «Русские инженеры» (1947), «Создатели двигателей» (1960).

Рассказ «Страна Гипербореев» был впервые напечатан в журнале «Всемирный следопыт» в 1927 году.

Текст печатается по изданию: Библиотека приключений: Приложение к журналу «Сельская молодежь». М., 1966, № 2.

В. Ян

1874—1954

В. Ян (Василий Григорьевич Янчевецкий) широко известен как автор исторической трилогии «Нашествие монголов» — «Чингисхан» (1939), «Батый» (1942), «К «последнему» морю» (1955).

Он окончил историко-филологический факультет Петербургского университета, работал газетчиком, преподавал, был военным корреспондентом во время русско-японской и первой мировой войн. В 20—30-х годах публиковал исторические и приключенческие рассказы.

Рассказ «Загадка озера Кара-Нор» впервые появился в одноименном посмертном сборнике 1961 года, хотя был написан еще в 1929 году.

Текст печатается по указанному изданию.

Семен Кирсанов

1906—1972

Семен Исаакович Кирсанов — известный советский поэт, как и Н. Асеев, он входил в ближайшее окружение Маяковского. Печататься начал в 1922 году в Одессе, где он родился и откуда вышли многие московские литераторы. Переехал в Москву в 1925 году. Во время войны был корреспондентом армейских газет, участвовал

в выпусках «Окон ТАСС», издавал солдатский лубок «Заветное слово Фомы Смыслова».

Среди весьма разнообразного поэтического наследия С. Кирсанова заметное место занимают его социально-философские поэмы, во многих из которых активно используются элементы фантастики и сказки.

Текст пророческой «Поэмы о Роботе» печатается по сборнику: Три поэмы. М., 1937.

Леонид Платов

1906—1979

Современному читателю имя Леонида Дмитриевича Платова известно прежде всего по его крупным послевоенным произведениям: научно-фантастической дилогии «Повести о Ветлугине» («Архипелаг исчезающих островов», 1949; «Страна Семи Трав», 1954) и приключенческому антифашистскому роману «Секретный фарватер» (1963). Но начинал Л. Платов как фантаст в 30-х годах, его первые рассказы охотно публиковали молодежные журналы тех лет, прежде всего — «Вокруг света».

Рассказ «Концентрат сна» был впервые напечатан в журнале: Вокруг света, 1939, № 10—12. Текст печатается по указанному изданию.

В. А. Обручев

1863—1956

Владимир Афанасьевич Обручев — выдающийся геолог и географ, путешественник, писатель, академик, Герой Социалистического Труда, почетный президент Географического общества СССР.

В. Обручев совершил за свою долгую жизнь немало путешествий, в том числе крупных, по Сибири, Китаю, Центральной Азии, он участвовал в проектировании Закаспийской и Транссибирской железных дорог, преподавал в нескольких университетах, написал около 1000 научных трудов общим объемом свыше 24 тысяч страниц. Именем В. Обручева названы горный хребет в Туве, гора в верховьях Витима, оазис в Антарктиде, а также минерал обручевит.

Из научно-популярного наследия В. Обручева наибольшей известностью пользуются его постоянно переиздающиеся фантастические романы «Плутония» (написанная в 1915 г. и опубликованная в 1924-м) и «Земля Санникова» (1926).

Рассказ «Происшествие в Нескучном саду» (под названием «Событие в Нескучном саду») был впервые опубликован в журнале «Костер» за 1940 г.

Текст печатается по изданию: Обручев В. А. Путешествия в прошлое и будущее. М., 1961.

Иван Ефремов
1907—1972

Ко времени публикации своих первых научно-фантастических рассказов Иван Антонович Ефремов был уже признанным ученым, создателем нового направления в палеонтологии — тафономии, науке о закономерностях чередования различных осадочных слоев, за что в 1952 году он был удостоен Государственной премии СССР.

Первые «рассказы о необыкновенном» И. Ефремова были напечатаны в 1944 году на страницах журнала «Новый мир», они привлекли внимание А. Н. Толстого, отметившего «правдоподобие необычайного». Появление в 1957 году главного труда его жизни — романа «Туманность Андромеды» умножило известность писателя не только у нас, но и за рубежом. И. Ефремов становится признанным лидером советских фантастов.

Перу И. Ефремова принадлежат также фантастико-исторические романы «На краю Ойкумены» (1949), «Путешествие Бауреджа» (1953), «Таис Афинская» (1973). После «Туманности Андромеды» автор написал еще несколько научно-фантастических произведений («Сердце Змеи», 1959; «Лезвие бритвы», 1963; «Час Быка», 1969), вызвавших интерес читателей и нарекания критики.

Характерный для раннего творчества И. Ефремова рассказ «Атолл Факаофо» был впервые напечатан в журнале «Техника — молодежи» в 1944 г. под названием «Телевизор капитана Ганешина».

Текст печатается по изданию: Ефремов И. А. Собр. соч. Т. 3. Кн. 2. М., 1976.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ В НЕСКУЧНОМ САДУ

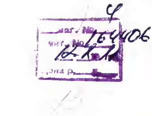
НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСА, ПОЭМА

Составитель
ВСЕВОЛОД АЛЕКСАНДРОВИЧ РЕВИЧ

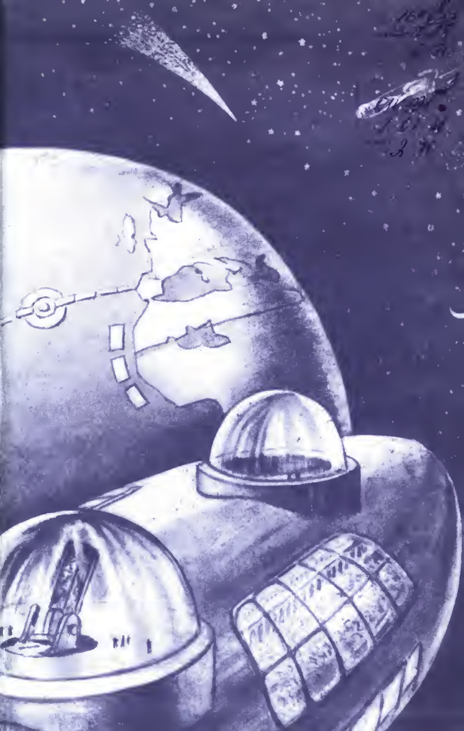
Заведующая редакцией *Л. Сурова*
Редактор *С. Митрохина*
Художник *А. Лепятский*
Художественный редактор *И. Сайко*
Технический редактор *О. Иванова*
Корректоры *З. Комарова, З. Кулемина*

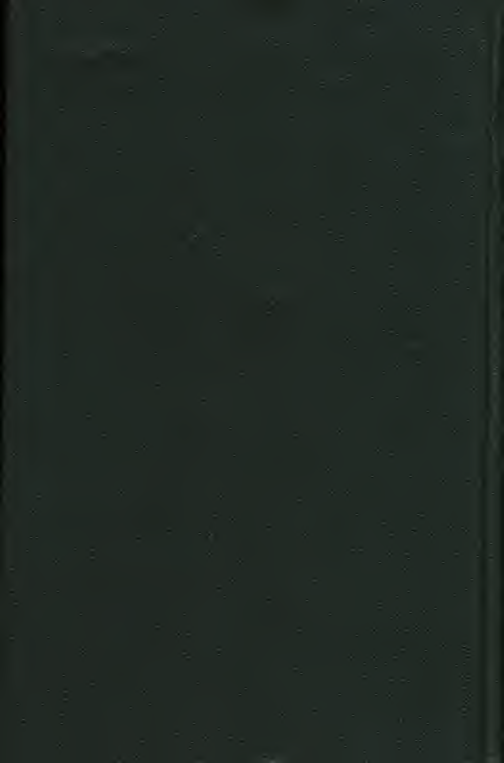
ИБ № 3641

Сдано в набор 24.07.87. Поднисано к печатн 04.01.88. Л53001. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Лнтературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 28,56. Усл. кр.-отт. 29,82. Уч.-нзд. л. 29,71. Тнраж 125 000 экз. Заказ 3067. Цена 2 р. 70 к. Ордена Трудового Красного Знаменн издательство «Московский рабочнй», 101854, ГСП, Москва, Центр, Чнстопрудный бульвар, 8. Ордена Леннна тнпографня «Красный пролетарнй». 103473, Москва, **И-473**, Краснопролетарская, 16.










ПРОИСШЕСТВИЕ
В НЕСКУЧНОМ
САДУ